

ISSN 0130-7673

НОВАЯ МИРА

4

НОВАЯ
МИРА

1991

4



1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (796)

Апрель, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ТАСК — Изогнуло, как подкову, горизонт..., стихотворение	3
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ — Чью душу желаете? Повесть	4
МОИСЕЙ ЦЕТЛИН — Сверстница времени, стихи	87
ЗАВОДЬ — Сергей Пахомов, Федор Сухов, Юрий Беличенко, стихи	89
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ — Год великого перелома. Хроника девяти месяцев. Окончание	91
АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ — В этот день, стихи. Подготовка текстов и предисловие Бориса Можая	135
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ДАМА В ЗЕЛЕНОМ. Уолтер Рэли, Томас Уайетт, Джон Донн, неизве- стный автор. Из поэзии английского Возрождения. Вступительное слово и перевод Григория Кружкова	147
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
П. ПЭНЭЖКО — На семи оврагах	154
ПУБЛИЦИСТИКА	
ВИКТОР ЛЕГЛЕР — Уроки кооперации	163
РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР	
СЕРГЕЙ ФУДЕЛЬ — Воспоминания. Публикация и подготовка текста Н. Плотникова. Комментарии В. Борисова. Окончание	182

(См. на обороте)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

- П. Б. СТРУВЕ — За свободу и величие России. Вступительная статья, составление, публикация архивных материалов и комментарии Н. А. Струве 213

В МИРЕ ИСКУССТВА

- БОРИС ЛЮБИМОВ — «Большевики» уходят со сцены? Заметки о театральном репертуаре 233

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС — Страна слов 239

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 252

Александр Носов. Эпилог исторической драмы.

- РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 256

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. На возврате дыхания и сознания. Раскаяние и самоограничение. Образованщина. ...Колеблет твой треножник. Статьи.

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Там была пара. Рассказ. Лаз. Повесть.

АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ. Я человек исторический. Повесть.

МАГДАЛИНА ВЕРИГО. Воронка мальстрема. Стихи и мемуарная проза.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. Дневник. 1918—1923. Публикация Елены Чуковской. Окончание.

А. АВТОРХАНОВ. Загадка смерти Сталина. Главы из книги.

В. НЕПОМНЯЩИЙ. Ното liber (Юрий Домбровский).

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Конец прекрасной эпохи. Заметки на полях книги о критике и критиках.

СЕРГЕЙ ТАСК

* *
*

Изогнуло, как подкову, горизонт,
Спавший город зазвенел, как тетива,
И вошел в его артерии озон,
И вздохнули облегченно деревья,
Разгулялись по щетинам помазки,
Человечьи затрезвонили рои,
На Плющихе, на Полянке, на Ямских
Стариковские гоняются чай,
А на рынках спозаранок толчея,
Там лоточников поболее, чем лотков,
Но, житье отшелушив от бытия,
Вдруг расходятся все сорок сороков,
Раскаляется чугунное литье,
И как будто с раскаленной высоты
Низвергается сейчас не воронье —
С колоколен низвергаются кресты,
Сыпанул из электричек, как горох,
Раскатился во все стороны народ,
И куражится распевный говорок,
Колобродит и городит огород,
Ох чадит великий город, ох чудит,
Все чудит от полнокровья своего,
Город дышит, и шаманит, и шумит, —
Только города уж нету самого:
Нет бульваров, и слободок, и застав,
Нет толкучек, электричек и церквей,
Нету больше ледохода — ледостав,
Нету дождика грибного — сухойей,
Чай в стакане испарился, и рука,
И рука, что ухватилась за стакан,
Ни помазанника нет, ни помазка,
Только черный расплзается туман,
Все черно на белом свете, все темно,
Тишина на этом свете, тишина,
То ли тот он, то ли этот — все одно,
Между ними уничтожена стена...
Сколько дней же этой муке, сколько лет?
Ты оставь меня, оставь меня, оставь.
«Это сон, — вскричал Создатель, — это бред!»
Ангел Смерти улыбнулся: «Это явь».

ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ

*

ЧЬЮ ДУШУ ЖЕЛАЕТЕ?

Повесть

Из отвергнутой рукописи:

Детство свое Платон Иванович любил вспоминать с того момента, когда вдруг понял, что у него не стало родных — ни отца, ни матери, ни сестры. Это было первое открытие жизни. Это было осевшее в памяти недосмотренное свидение: как ни взглядывался четырехлетний Платоша — досмотреть не мог, родные не возвращались. Жизнь поддалась и повернулась неожиданной стороной. Ему и раньше бывало плохо, но он знал, что это «плохо» пройдет, мир пообреет и все станет на место. А теперь жизнь повернула его в такое глубокое «плохо», что не было никакой надежды, что оно пройдет. Одиночество следовало за ним, точно тени за солнцем. Он уже не мог отличить в своей памяти маму от папы или сестры. Он был так запрессован в детдомовское кодро, что не мог бы отделить свое одиночество от чужого.

Пацану — мальчишек и девчонок — Платоша знал хорошо, но не по именам и даже не в лицо. То есть и имена и лица он знал, но в них мало было надобности. Он был вживлен в каждого, каждый выдергивал из него что-то для себя, и вся эта пацанья масса непрерывно клубилась, перемешивалась. Если ему хотелось чего-нибудь для себя, ему приходилось выдергиваться, вытягиваться, как из пластилина.

Худенький, темноглазый, он зыркал по сторонам, напряженный до крайности и до крайности развинченный. Он быстро забыл тот язык, в котором было его прошлое и его дом. Это прошлое ушло, высосав из Платошиной памяти все свои слова. Тоша овладевал жаргоном, как телодвижениями. Полуголодный, он был лишь оболочкой, гнущейся вокруг ненасытного чрева. Он теперь совсем не вспоминал родных, а сладкая сердцевина этих воспоминаний без остатка ушла в сладость смоляной корки черного хлеба.

Детдомовское кодро воспитывали столовка, забор, деревья, особенно фруктовые. Тоша не умел жрать зеленую алычу, если не видел, как это делают другие. У кодрла один живот, один рот; живоглоты, каждый тянул себе, но все пропадало в общем кодрле. Если у Тоши тибрили шнурок, он знал — когда-нибудь он стибрит у другого, то есть вернет свой шнурок. Тоша ловчил, на рожон не лез, он был труслив и вместе с тем отчаян. Сильно его не трогали, его обижали, но старались не доводить. Если доводили, он напрягался тоненьким горлышком, из-под желвачков вытягивались струнки, глаза бешено уходили под лоб, обнажались облитые слюной зубы — визжа, кидался Тоша на обидчика.

Вражды как таковой, неугомной, не было. Кража была явлением обычным, как сон или голод. Вражды не было, но не было и расслабленности; было непрерывное зрение и всматривание, было напряжение суставов — тела и души. Тоша вертел темноглазой головкой, как птичка, не зная наперед, когда клюнет, когда щебетнет, когда взлетит, когда долбанут собратья.

Между ними не было разницы, как не было ее между мальчиками и девочками. Но случались тревожные, таинственные времена, какие-то переливы, что ли. Платоша прилеплялся к кому-нибудь. Это мог быть мальчик.

Платоша ходил за ним или стоял поодаль, смотрел, забыв и зябкость воздуха, и саднящие заедами губы. А мальчик, пацан Сяка, в таких же серых штанах и синей рубашке, до ломоты в горле становился вкусным. Крошки на губах Сяки, сухие, песочные, доводили Платошу до полубоморока. Он вдруг узнавал, как живет Сяка, и в этом узнавании — болезненно, расслабленно, температурно — узнавал самого себя. Это он, он сам, Платоша, бегал по двору, дергая лопатками под Сякиной синей рубашкой, кричал хриплым, сопливым голосом, доказывая право на колесо-обруч от бочки. И само колесо, приплюснутое, хромоте, катилось сквозь внезапно округленный мир двора, забора, запаха перловки из мокрой двери кухни. Платоше хотелось схватить руку Сяки, найти на ней ладонь, гребешок пальцев и, сцепив его со своим гребешком, сжать так, чтобы в костях, костяшках проступила нежная, мучительная боль.

Все это было непонятно, как непонятно было, когда умерла десятилетняя давалка Ксюша. Они ходили смотреть, как она лежит на кровати под тонким серым одеялом. Головка в светлых волосах торчала прямо, будто Ксюша не касалась спиной матраца, головой — подушки. Тоша смотрел и думал, что она так же лежала, закрыв или прикрыв глаза, когда давала мальчишкам. Лежала, вытянувшись всем телом, ногами, животом, вся собранная, мертво ожидающая, а мальчишки вперемежку укладывались на нее, заозя расщепленные зады. Мальчишки перегаривались, а Ксюша молчала. Потом она поднималась и отходила помочиться...

Как ни напрягался Платон, не мог вспомнить, как же все-таки их кодловые игры переходили в эту странную игру с Ксюшей. Переход был загадкой, которая обнаружилась так открыто в теперешней неподвижности Ксюши. Мальчишки перешептывались, им не хотелось, чтобы она лежала так при всех, словно выдавая их. И Платоше казалось, что человек не умирает, а ложится и напряженно ждет. Душа Платоши сжималась, он не знал, что нужно этому человеку с прямой головкой, окруженной мушками вьющихся волос, — что нужно Ксюше. Тоша думал, что умершие капризничают, они ложатся, и молчат, и ничего не хотят видеть. Они ждут чего-то, чего-то требуют такого, чего ни один из живых дать не может, и тогда живым надодает и они увозят упрямыцев на кладбище.

Кодло враждовало с городскими и боялось их. «Городские идут» — вызывало судорожную панику. Девчонки задергивали занавески, мамка Баня Семёнова бегала по комнатам.

— Ослы! Бараны! — кричала она, вылавливая пацанов. — Сколько раз я учила вас — бейте и кусайте! Швыряйте камнями — я за все отвечаю!

Кодло разбегалось, пряталось в сортире. Платоша еще не видел ни одного городского, их приближение создавало в груди Платоши смесь праздника и страха. Сначала Платоша думал, что приехала бочка, и он побежал к задним воротам, крича, чтобы соблазнить других:

Говночист, говночист,
 Проглотил соленый глист!
 Сталин армию пошлет,
 Говночистов перебьет!

Но бочки не было, не было дядьки-старика в желтом гремучем плаще, и он не стучал скребком о толстые бока бочки, не двигал страшной квадратной задвижкой.

Тоша думал, что городские начинаются сразу за забором и существуют для того, чтобы бить их детдомовское кодло. Прямо от деревьев, от густых теней (если было лето) или от сугробов, от света, отраженного в снеге, выливались сумерки — «Городские!», — выливались и меняли воздух. Место во дворе становилось таким маленьким, словно со всех сторон шла вода или запах-вода, вонь-напльв. Платоша боялась смотреть в небо — там тоже менялся свет, там тоже кружились и падали, давили, захлестывали сумерки. Да вот это что — всякий раз наступало солнечное затмение, у Платоши рябило в глазах, сердце внезапно, как на жидкой границе засыпания,

колыхалось. Платоша вытягивал голову — среди дня, под солнцем или в сыпучем свете снега, — вырывал руки из карманов и бежал в тень, в темные коридоры, в кровать под одеяло. Курица, цыплак, напуганный неимоверным сломом в природе, — бегом, бегом от непомерного страха, словно, добежав и прислонившись, он тут же уснет.

Летом в солнечные дни Тоша любил пастись у самого забора. Он прижимался к доскам — так солнце было теплее — и смотрел в щель: там стояли толстые высоченные деревья, а дальше опасный мрак. Под самым забором с внешней стороны был куст старого крыжовника. Мелкие, круглые, медовые ягоды. Пацаны посмелее перемахивали через забор, жадничая, лезли прямо на иголки, иные подползали под куст и торопливо нажирались.

Слеdivшие из двора сквозь щели забора ждали городских, полуслепыми глазами озирая лесок, неприметную дорогу, и туча ли перевернет тень в листе, выбежит ли из-под травы на дорогу собака — взрывались криками, свистом, стучали в забор ногами, кулаками. Тоша кричал, бился у забора, страхась прислониться к вдруг ставшим опасными доскам и с каким-то праздничным чувством восторженно глядя в щель.

Однажды Тоша решил — пацаны хвастали, что ягоды остались только в самой гущине; куда мало кто продирался. Тоша прополз к самым стволам матерого куста, обвитым паутиной, пахнущим дождевой заваркой. Куст изнутри был и темный и светлый, и листики тоже были и темными и светлыми, и те, что были светлыми, прозрачно светились в редких лучах солнца, и эти листики трудно было отличить от ягод. Но сначала Тоша даже не мог есть — так ободрался, саднило плечи, лоб, колени. Он сидел на земле, глаза слезились от трухи и паутины. Было душно и удивительно тихо, хотя кодро гомонило в нескольких шагах. Теплая паутина баюкала паучков, у которых брюшко светилось, как ягодки крыжовника, и было таким же медово-мутным. Мошки повисали на полосках солнечных лучей, тихо-тихо зудели или еще тише свистели. Присев на короточки, Тоша помогился. Он наслаждался, не вспоминая, не засыпая, плавая в капризах сиюминутной памяти.

Привычно мякая крайнюю плоть, Платоша гонял под ней верткий шарик. Другой рукой он срывал ягоды и медленно, подражая неторопливому паучку, высасывал.

С той стороны, где гомонило кодро, листики загорались ярко, как спички, и быстро гасли. Голоса были ровными, понятными, словно свист птицы или гавканье детдомовского кобелька. Комок под пальцами пружинил. Тоша сглотнул крыжовную кожицу, вытягивая шею и запрокидывая лицо, он потянулся выпрямиться. В спину саданули иголки. Солнце затрепало своими полосками, как фанерками. Тоша услышал нахлынувший шум и тихий вскрик: «Атас!»

Листья ярко, прозрачно вспыхнули, кодро ушло за забор. Тоша сунулся было из-под куста, но, вялый, расслабленный, испугался иголок, они торчали — длинные, в мизинец. Платоша вспотел, он тихо позвал не то мамку Баню Семеновну, не то дедушку-говночиста.

Потом он услышал голоса городских. Не слышал слов, но слышал звуки, как будто горло каждого подносили к самому уху. Это были чистые городские голоса — их ртами кричал напаленный свет, высоченные стволы, их свистом визжало небо. Они волокли за собой ужас, они все были одеты по-разному, они набегали, их лица были сначала безглазыми, а рты огромными. Они были чужими, как жаба или змея. Их лица вспыхнули над кустом, их ресницы и брови сверкали вместе с листвой, их дыхание теребило паутину. Они рвали землю возле куста, они пропихивали сквозь иллы взгляды, он думал, что они не найдут ягод и исчезнут, но вспомнил, что сам сидит под кустом.

— Гля, вот он!

— Эй, суходрочка, вылазь!

Они швырнули в него палкой, он схватил ее и не выпускал; побелев, он держал палку, чувствуя, как чужая, уничтожающая сила тянет ее и выкручивает вместе с его руками. Платоша плакал, задыхался, и никак не мог

умереть, и опять плакал, и визжал, но из него тянули палку, которую можно было вырвать или выкрутить только вместе с его жизнью. Наконец смерть сжалась над ним, и он забился в припадке.

Даже в баню Платоше было зябко выходить из детдомовского двора. Он уже знал, что человеческое, особенно бабье, добро коротко и надо успеть извернуться, чтобы этим добром воспользоваться. Он по глазам научился узнавать, когда это чувство достигает своей высоты и мутит голову сострадателью. Это было особенное собачье искусство. Не прямо в глаза, а искоса, не краем сознания, а всей душой. Нельзя смотреть в глаза тому, кого ты выловил на живца жалости, а боком, как бы себе самому кивая головой, что-то себе самому приборматывая, но при этом всем сердцем, без остатка, так сильно, что любовь твоя светится каждым твоим волоском, ты весь осиян ею и тебя пушинкой по ветру тянет к избраннику. И самое тяжкое в этом, что на тебе тело, что ты в трусах, майке, в коже, в костях, тебе тяжело, мослы болят, горло давит, тебе стыдно так же нестерпимо, как бывает нестерпимо желание помочиться. А тетушка-избранница глядит на тебя во все глаза и все силится распознать в тебе что-то, нечто ею как бы либо забытое, либо утерянное, — а что в тебе такого, лыся башка с котяшком чубчика? Оббитые лодыжки? Сопли на губе — несмыаемый леденец соленого счастья? Темно-карие глаза, которые сами собой закатываются набок? Хихикаешь и скребеешь пятку о пятку.

В баню их водили мимо зарешеченного окна заводского буфета. Подоконник с двойным кирпичным выступом и решетка в палец толщиной. У тетки-продавицы было светлое лицо и светлые волосы. Когда кодро шло мимо окна, тетка маячила за решеткой спиной, придвигалась лицом к решетке.

Поздняя осень была, дорога мерзкая в лужах, бульжники тротуара плавали в густой жиже... Впрочем, может быть, было солнечно, и осенние деревья были облиты влажным желтым ожогом. Кодло стучало, шурило по бульжнику. Кодло торопилось, оно всегда торопится. Платоша взглянул на решетчатое окно и увидел светлую спину тетки. Позвоночник Платона рассосался, плечи стали легкими, лопатки затрепетали. Платон замер глазами, тетка обернулась, улыбаясь лицом и белым халатом. Двойное предвидение овладело Платоном. Так солнце подбригает тени: когда они не исчезают и не появляются, а на мгновение загораются тонким миражем — то ли это вещи, то ли их полное солнечное затмение? — и длится это мгновение ясной пронзительной полнотой, и ты видишь в с е: две дороги перед тобой разветвили путь и даже сказали, что будет, пойдя ты одной из них, ясно сказали, сквозь веки просочившись высоким собранным солнцем. Все ты знаешь, и дышишь полной грудью и равновеликостью этих дорог, и счастьем своего прозрения дышишь, и счастлив покоем в ы б о р а... но двинулось солнце, чуть съехал набок его строгий лик, оторвались тени от мира вещей, и пало на тебя указание свыше... Так предвидел Платон: была впереди еще дорога вдоль забрызганных грязью заборов, потом поворот, высокие железные ворота и еще дальше опять забор, тротуар приподнимется над мостовой, и здесь будет уже треснутый люк канализационного слива и еще чугунная решетка, сквозь которую в холодный воздух осени клубами выпадает мыльный пар... И до окна с двойным кирпичным подоконником было высоко, но Платон выстроился всем истончившимся телом детдомовского подлючонка — было, было и унижение малостью в густом, теперь тесном кодре, и стыд был, что мог не так отгадать улыбку тетки-буфетчицы, и страх, обжигающий живот, гортань, задницу, страх, что перехватят, и сама тетечка улыбалась, поглядывая с плеча, шептала: «Бери, бери, не стесняйся». На лету, как ласточка, не умеющая присесть, Платон скользнул вдоль подоконника, унося конфету — блестящую серебром под прозрачной, в голубых птицах оберткой.

Серебряную бумажечку он будет долго, до зеркальной нежности, разглаживать ногтем, испытывая блаженство соответствия своего тетушке-буфетчице. Ему навсегда понравилось, как она протягивала конфету сквозь узлы решетки — воровато, и при этом торопила и улыбалась, и лоб ее

морицился, а лицо светилось... От кого она скрывала? Он ничем не отличим от другого, но — тетечка выбрала его, и стал он блаженным образом соответствовать себе самому, увидел если не себя, то свою тень в изнеженном зеркальце серебряной обертки, понимая, что такое бывает лишь одно мгновение, как солнечная точка в воде, как дождевая капля, бегущая шариком пыли.

Хрустящая прозрачная обертка с голубыми, в крыльях изогнутыми птицами пахла шоколадом, и Платон обсасывал ее, пока она не растворилась.

Две тетки — двоюродные сестры отца — забрали Платона в середине лета. Удивительные были тетки — рыжие, древовидные. Одну звали Раисой, другую Зиной. Обе полные, твердые, голубоглазые. Ладони с тыла у них блестели, как обратная сторона древесного листа, и были покрыты желтыми пятнышками. Первые дни у Платоши, когда он глядел на теток, во рту выступала слюна, ему хотелось лизнуть локоть или ладонь тетке Раисе или тетке Зине.

У них была одна комната в двухэтажном деревянном доме, керогаз в общем коридоре и жестяная баночка, полная спичек. На дверях были большие медные ручки с шариками, но шарики, хоть и блестели, не отвинчивались. В комнате на столе стояла вазочка с конфетами-горошинками, и в комнате пахло этим горошком. Кровати теток стояли друг против друга по обе стороны большого створчатого окна. Кровать для Платоши тетки поставили у третьей глухой стены.

Сначала Платоша не понимал, кто из теток и что ему говорит. Он пособачи смотрел мимо глаз и так напрягался, что болело за ушами, но ничего не мог расслышать. Когда напряжение доводило его до безумия, он кривил лицо, чтобы думали, что он вот-вот заплачет. Он втягивал голову в плечи, боясь, как удара, того, что его поглядят. Голова вообще казалась ему слишком большой, особенно после того, как тетки сводили его в парикмахерскую.

Уборная была во дворе — строение из кирпича с отделениями для мужчин и женщин и для слива помоев. Платоша никогда не видел таких туалет-уборных. Детдомовский хезальник был простой, деревянный, с узкими прямоугольными дырками. Платоша привык к такому и был уверен, что других не бывает. Теткин же хезальник был высоченный, с цементным полом, с выступами-подошвами для ног и глубокой, как труба, дырой. Всякий раз Платоша ставил свои ноги на выступы так, как будто упирался в подошвы дядьки-великана, — осторожно, целясь в дыру, чтобы не разозлить великана, следящего за чистотой.

Но чаще Платоша обманывал теток и только для виду ходил в эту уборную. Был конец июля, железная крыша была накалена, душный, едкий воздух летел из дыры, как из зада дядьки-великана. Платоша присаживался, терпел несколько минут, громко шуриша бумагой, потом тихо выходил и бежал за сараи, которые обступали дом плотной линией. Здесь, среди тяжелых, горячих лопухов, Платоша сидел долго, проветривая лицо и ягодицы, с тупой и жалкой тоской глядя на свои уже почерневшие кучки, и ему было не так тяжело.

Потом Платоша стал различать, что тетки пахнут по-разному. Они обе были животастые, но живот тетки Зины всегда был окутан запахом вареной картошки. Тетка Рая была, как догадался Платоша, старшей, и волосы у нее темнее, лицо длинное, живот же и фартук пахли размокнушей тряпкой.

Когда тетки ложились спать, Платоша отворачивался и подглядывал. Тетка Зина ему больше нравилась. В детдоме, когда тетки взяли его манатки и стали смотреть на него, как две тыквы, Платоша закатил глаза и хотел обмочиться. Его даже затошнило от того, что его отрывают от кода или хотя бы украть и куда-нибудь завезти. Тогда тетка Зина сказала: «Да пусть остается».

Потом они ехали в поезде, в душном вагоне, где, в общем-то, было нормально — и ноги на полках, и тетки с подобранными платьями, и кор-

зины, и мешки, и чай с колбасой. Тетка Зина все зырила Платоше в глаза, все как бы старалась своими голубыми выпрямить темные, забегающие глаза Платоши. А тетка Рая молчала, глядела в окно, вся какая-то серо-серебристая, полувидящая, и так же базлала с соседками, говорила о Платоше, о его мамке-папке и все примеривала, примеривала Платошу к чужому голосу, постороннему совету, дорожному жалению.

Платоша сожрал колбасу, подавился пирогом с капустой, но чай пить почему-то отказался, заупрямился и не глядел, отодвигался от стакана. И тетка Зина тогда опять сказала, когда медленный поезд остановился: «Не будешь пить — высадим». У тетки Зины был белый выпуклый лоб и надо лбом курились рыжие кошачьи волосенки. Один раз она толкнула Платошу, а потом прижала к себе, к пухлым, как зад, грудям.

Каждый день Платоша все заново начинал и никак не мог дотумкать, что нужно теткам. Он присматривался к ним, поджидая, что вот-вот все выяснится и его опять вернут в детдом. Присматриваться было трудно, потому что тетка Зина уходила на работу с утра, а тетка Рая только вечером. Платоша молчал, из-за чего тетки говорили ему громко, как глухому. Особенно тетка Рая. Платоша все слышал, но не сразу понимал. Он смотрел на теток — тетке Зине в глаза, тетке Рае на подбородок, но чаще той и другой в рот, следил, как они выговаривают и помогают руками, объясняют, но он понимал медленно, неохотно и еще медленнее, через силу отвечал. Он пугался, когда тетки обращались к нему, боялся своей головы, того, что в голове светилось. Он совсем забывался и не мог сообразить, что они говорят, потому что видел только рот или только губы, шевеление кожи у рта, челюстных косточек. Он видел, как топорчатся темноватые волосинки на верхней губе тетки Раи, и такие же волосинки шевелились на ресницах и бровях. Когда она говорила, лицо ее, казавшееся замершим, двигалось то влево-вправо, то вверх-вниз, уплывало, виски, стянутые над ушами сильными рыжими волосами, лоснились, так и голос и слова голоса были всего лишь лоснением лица, дерганьем щек, дрожанием волосинок.

Платоша забывал дышать, низ живота тяжелел, Платоше казалось в такие моменты, что понимать можно только грудной клеткой, дыханием, а — не дышалось, сердце сбивало слова с привычного смысла, слова падали, как гусеницы с паутинок, ползли, щекотали, забивали рот, кололи язык, душили.

Тетка Рая разозлилась:

— Запомни, в курятник свой никогда не вернешься! Хватит, что я тебя, звереныша, еле отмываю! — И схватила Платошу за плечо. — Покажи язык, ну! — Она толстыми пальцами надавила на щеки, под скулы. — Скажи: «А»!

Платоша увидел глубокую дыру теткой гортани, тяжелый мокрый язык и серые кости зубов.

Тетки готовили по-разному. Тетка Рая варила борщ и жарила котлеты. Тетка Зина — варенье, а по утрам — картошку и заставляла пить молоко. Платоша лил его обратно через нос, он это умел, но тетка пугалась и злилась.

— Смотри, — говорила она и краснела так, что даже рыжие волосики надо лбом розовели, — выйду замуж — тебе хуже будет.

Платоша глотал пеночку, ему было стыдно, неуклюже было ему, он боялся быть мужем тетки Зины. Но чтобы она не подумала, что он стыдится, Платоша зажег спичку и сунул ее себе в рот.

Дворовых Платоша избегал как умел. Прятался в коридоре под лестницей или сразу шмыгал к теткам в дверь. Он облюбовал во дворе старую яблоню, ствол ее рос полого, прислоняясь к самой крыше. Платоша забирался по стволу и перелезал на крышу. С яблони его, застукав, гоняли дворовые, он закреплялся на крыше, швырял припрятанные камни.

На яблоне было место — выпуклый ствол, точно большущий локоть, подпирал сам себя в бок. Платоша сидел здесь часами. Обрывал смолку,

размазывал по зубам. Древесный вкус теплого клея успокаивал. Он смотрел сквозь листву в небо, посасывал мелкие яблочки (если находил их), жевал долго, пока мякоть и кожура не сваривались во рту. Ноги висели в пустоте, ступни, пятки, голени невели, онемение поднималось выше, к глазам, и тогда наступало забытьё. Платоша парил над землей, лопатки, прогретые солнцем, не чувствовали мух, спина делалась воздушной, кожа тонкой, пушистой. Бабочка проталкивалась сквозь тени и синеву, билась в невидимой мякоти духоты. Паутинка гусеничной слюнки изгибалась и превращалась в долгую искорку, гусеничка сворачивалась кулачком и вдруг распрямлялась, искорка тончилась, вонзаясь в черную головку червячка, и червячок, казалось, обрывался, падал, но неожиданно опять зависал. Платоша плевал вниз, целясь в изворотливый узелок зеленого тельца. Потом Платоша припадал животом к стволу и слушал, как тренькают кишки и шевелится кулачок в паху.

Поодаль от дома теток стоял другой дом — одноэтажный и тоже деревянный. Там на веранде возилась девчонка. У нее была короткая толстая серая коса, а волосы на голове были похожи на кукурузные волокна. Она поглядела на Платошу, потом подошла и посмотрела, боком подняв лицо, прищурив глаз.

— Ты откуда приехал? — спросила она. Ветер подкручивал ее красный сарафан, таких не было в детдоме, девчонка была босиком, пальцы на ногах были пыльные и розовые.

Платоша состроил ей рожу и швырнул сухим сучком. Девчонка повертела пальцем у виска и вернулась на веранду.

Платоша посмотрел на пустую трубу на крыше дома, увидел, как за трубой горбятся светящиеся серые облака, и животом, грудью вспомнил он, что там где-то детдом и еще дальше свекольное поле. Когда после дождя кодро выбегало в поле, клубни свеклы скользили под босыми ногами.

Однажды Платоша не захотел слезть с дерева. Тетка Рая грозила, делала неподвижные глаза. Платон сидел молча с перекрученным от страха лицом. На смену тетке Рае пришла тетка Зина. Она подхватила руки под грудью и стала говорить Платоше что-то ласковое и насмешливое. Но Платоша, точно кошка, заползшая на ствол, обезумев, боялся двинуться головой вперед. Колени и ягодички одеревенели, руки ломило, шею сводила судорога. Тетка Зина вынесла швабру и стала толкать ветки. Солнце, шедшее на закат, уже поднимало в небо черные лучи. Вернулся дворовый пес Найден. Тетка Зина подозвала пацана Бусю. Лет десяти, сильный, с веснушками под глазами, Буся, горбом выпятив зад, полез на дерево. Платоша сначала не поверил, а потом стал раскачивать ветку. Буся остановился, пережидая. Платоша черными от гнева глазами следил, как у Буси множеством веревочек напрягается короткая шея.

— А если достану? — сказал Буся и еще продвинулся.

Платоша затрясся вместе с веткой. Буся уже балансировал или прижимался к стволу, босые ноги его с толстыми большими пальцами хватили ствол, звонко илелпали.

— Не подходи! — закричал Платоша. — Не подходи, сука, угроблю!

Буся ощерился большими зубами, толстыми деснами, он протаскивал зад через рогатину. Платоша забился на ветке, достать его было невозможно, дерево раскачалось, Буся раскорячился, присел.

— А если достану? — повторил он. На его лице коркой лежали веснушки.

— Ну если достану, что тогда с тобой сделать?

Платоша смотрел в рот Бусе, ему хотелось кусать, рвать зубами и его голос и его слова.

Тетка Зина позвала:

— Тошка, слазь, остынет же!

Но это было уже далеко внизу. Он хотел обмануть свое имя, он хотел быть деревом, чтобы его имя осыпалось сухими веточками. Жилочки бешенства напряглись от уха и по всему стволу. Глаза карей смолкой прятались под корою лица.

Подошел Серый. Насупленный пацан с белыми проволочными бровями.

— Серый, — сказал Буся, — тяни сюда швабру.

Тетка Зина швабру не дала.

— Отстань от него, — сказала она.

— То просят, то не надо, — сказал Буся, не сводя глаз с Платоши.

Серый тоже полез на дерево. Лез он, припадая животом к стволу. Повадки Серого напомнили Платоше детдомовского Пецу, тот всегда прижимался к спине и давил подбородком в плечо. Платоша хотел вырвать ствол из-под пуза Серого, но на корнях тяжело, безнадежно висела земля.

Платоша с болью отломил от себя ветку и швырнул в Серого. Буся перескочил от рогадины к локтю ствола. Платоша потянулся к крыше.

— У-у-у! — закричал Серый и тряхнул ствол. Ветви ударили в жестяной водосток, заерзали по краю.

— Оставьте его! — крикнула тетка Зина. — Прекратите сейчас же!

Платоша мстительно побелел, зубы у него стучали и болели, как от оскомины, и мучительно больно было вдыхать воздух. Он ободрал спину и локти, ветка обжигаяще вжикала о жесть. Серый перешиагнул через Бусю и усмехнулся. Он лег на дерево, лицо у него надулось — Платоша понял, что теперь ему, как детдомовской Ксюше, уже ничего не объяснить этим людям и поэтому надо умереть.

— Свалю, падло! — завизжал Платоша. — Я тебя одной левой!

Он плакал, слезы лились, как слюна, огонь в нижних веках раздирал зрачки.

— Уходите! — Тетка Зина ударила шваброй Серого.

Выскочила мать Буси, потом мать Серого.

— Ты что себе позволяешь? — крикнула мать Серого. — Сергей, не приставай к этому ублюдку!

— Ну, я тебя достану, — сказал Буся.

— Дайте ему слезть! — Тетка Зина оттолкнула шваброй Бусю.

— Не тронь! — подскочила мамаша Буси. — Роди, а потом тькай!

Буся попятился, Серый же все крался, и тогда Платоша выскочил на крышу. «Ну, рыжая сволочь», — прошипел Серый. Он развел ноги и опустился под ствол. Он не уходил, он упрямо добирался до Платоши. Тетка Зина зацепила его шваброй.

— Чего вы деретесь? — заголосоил возмущенно Серый. — Сами просят, а потом дерутся!

— Ты что себе позволяешь? — закричала мамаша Серого. — Вы посмотрите на эту кралю! Немецкая овчарка! Как таких советская власть терпит? Подстилка фашистская, я тебе всю морду разобью!

Тетка Зина крутанула шваброй.

— Катись, чертова дура!

Платоша перебрался на другой скат крыши. Он слышал, как орал бабы, пацаны, потом вмешался мужик и тоже орал на тетку Зину, и все это слышал Платон, как будто голоса шли из отломленного мира, перегнутого за жестяной скат крыши. Он все представлял, но ничего не мог понять... Ночью его сильно потянули за волосы. Он открыл глаза, под ногами было черно, колотым сахаром рассыпались звезды. Он знал, что под ним пустота, что ноги не найдут опоры. Торопливая дрожь сотрясла его, он подогнул колени. Над ним ползла огромная летучая мышь и тянула теплой лапой за волосы, за кожу головы, и ужас нес ему облегчение.

В детдоме Платоша жил под диктовку голода, и память простиралась не дальше протянутой руки. Стараниями теток, их заботами о его животе Платошу стало преследовать воображение. Оно проступало словно вода сквозь бумагу, словно свежая розовая кожа из-под обвалившихся струпьев. Оно было невидимо рядом, и от него почесывалось все тело. Платоша старался окорачивать память, память-воображение, но опасность приходила внезапно. Возле своего сарая тетка Зина варит варенье. Медный таз стоит на кирпичках, под днищем гуляет пламя. Снимая сливовую пенку, тетка Зина приседает на корточки. Платоша отворачивается от ее голых ляжек и накапистых грудей, он уже обелся пенкой. Но в том, как булькают черные сливы, как льдистая липкая пенка подбирается к раскаленным отверстиям

таза, в том, как щурится и отворачивается от жара и дыма тетка Зина, — во всем этом столько легчайшего неутолимого голода! Платоша не мог понять, что ему надо — не то дышать, не то вспомнить нечто, идущее вместе с запахом и ветром совсем рядом от лица, от глаз, от памяти. Томимый съестной красотой тетки Зины, он прижимался к ее плечу. Тетка смеялась, отстраняла его локтем, но он опять прижимался, ломаемый стыдом, любовью, неумением понять самого себя. Он прятал лицо от тетки, стараясь подстеречь на нем улыбку и показать ее тетке, и ему казалось, что поймал ее, что вот она — как пламя днищем медного таза — играет его лицом, и он смотрел на тетку Зину, кривясь от непонятной — не то от радости, не то от злобы — гримасы.

Платоша боялся своего воображения. Входя в дворовый туалет, помещая свои ноги на ступни великана, он уже чувял дыхание памяти, а потом на спину, на плечи, на затылок ложилась тяжелая и пустотелая ладонь воображения. Платоша откидывал большой крючок и вырывался наружу.

Чтобы погасить воображение, Платоша забирался на деревья. У него было два облюбленных. Пологая яблоня выводила его на крышу. Он отвоевал ее у дворовых, и даже Буся приходил к нему сюда дружески. Другое — старая, перегнутая над забором слива. Она стояла почти в углу двора — упругая, сердитая, в застарелых лохматых ранах. Сердито же она втыкала ветки в штaketник забора, ее полуборванные сучья торчали над тротуаром. Со сливы Платоша видел и двор по-иному, и тротуар асфальтовый уводил его взгляд куда-то вдоль улицы, дальше которой он думать не хотел. На сливе он жил опасливо, зверовато. Люди проходили по тротуару необычные, сторонние, неся на себе зернистое, песочное солнце. Их говор похож был на изворотливое гудение ветра. Слива была ниже яблони, но она наваливалась на забор, глядя вдоль которого Платоша испытывал ту свободу, которой манило небо. Не было на сливе ни одного плода, но всякий раз Платоше казалось, что он видит его — в небесных беломорозных разводах, холодных на вид, затуманенных небесным дыханием. Плоды множились, холодили сливовую тень, и Платоша сам уже ощущал себя плодом, глядел на двор, на пятна рассыпанных песочных куч мягкими, назревшими глазами... И бабку древнюю он увидел сразу, только не мог понять, как она оказалась возле дерева. Бабка была в черном пиджаке и коричневой юбке, она держала перед собой палку и как бы на минутку остановилась. Платоша во все сливовые глаза глядел на это чудо. Бабка подняла лицо, над складками нижних век дрожали голубые безумно легкие глаза.

— Ты Кольку не видел? — Голос был похож на скрип ветвей.

Бабка пристально, нечеловечески, как если бы смотрели два цветка, глядела на Платошу. Платоша никогда еще не видел таких старых людей. Может быть, она уже и не была человеком. Седые, до синевы и серости, волосы висели за ушами и грязным кулачком прижимались к затылку. Руки блестящие, как ее старая палка, и стеклянно отражали солнце. Ногти облегли пальцы и подворачивались желтыми крючками.

Она стояла так, как будто земля под нею была наклонной и только палка, тонкая палочка, держала ее, и даже не ее, а только ее наклонное положение. У Платоши кружилась голова и от самого наклона, и от запаха мокрых вырванных корней, который шел от ее одежды, а бабка все стояла и все выпучивалась, вываливалась по наклону прямо под сливовым деревом, а лицо пучилось несуразницей беспамятства, подтекало тяжелыми синими морщинами, и только глаза, легкие и цепкие, как у птицы, узнавали Платошу.

Тяжелое чудо бабки перевернуло ему сердце. Оказывается, она жила в том же дворе, что и тетка, и Серый, и веснучатый Буся, рядом с той девочкой, у которой серые волосы и толстая короткая коса. А значит, она жила рядом с ним, с Платошей, бывшей детдомовской шаболой, жила такая же безродная, исходящая каменной угрюмой духотой.

Платоша обнюхал себя и заплакал. Слезы шли сами собой, без саднящей дрожи. До сих пор он знал, что всякий раз новой бывает еда, что только рот и язык да еще руки и пальцы испытывают нечто новое. Проникновенное родство с бабушкой обнаружило новый мир, в котором надо не только рвать,

жевать и осязать, надо притираться, глядеть во все глаза, надо быть начеку возле своего воображения и надо учиться заново говорить, не так дышать и прислушиваться к отбойному стуку сердца.

Однажды девочка с толстой короткой косичкой уговорила его в дочку-матери. Девочку звали Леной, она была серьезная и кукол в руки не давала, а если он тянул свои пальцы, то она ругала его и даже била по рукам. И он не обижался, он сидел возле нее и никак не мог свободно вздохнуть.

Они играли за сараями, в тени бузинового куста. Она принесла кукольные одеяла, кукольную кровать и двух кукол — двух девочек. Одна была в платьице, другая в трусиках и маечке. Платоша смотрел в глаза кукол — одной с неподвижными зрачками, другой с плавающими, сонно закрывающимися — и не мог насмотреться. Куклы, Ирина и Машенька, все чего-то ждали, все подстерегали чего-то. Платоша, может быть, потому и не мог надыхаться, что не знал, чего же ждут от него куклы-дочки. И не мог еще он понять, что куклы — это дочки, и все же любил их неожиданно, туго завязавшись на их лицах, ручках-ножках и умении выжидать.

— Ты мой муж, а это наши деточки, — говорила Лена.

Озноб пробегал по позвоночнику Платоши, и сладостно ломило лопатки. Платошу умиляли темные прядки, каким-то сказочным образом вплетенные в светлую, огоньками посверкивающую косицу. Он видел, как мушки перебирают лапками по волоскам, и ему хотелось коснуться темных прядок. Он пугался, когда она ему что-нибудь говорила, и не знал, что ему делать. То есть он слышал ее, видел, как она, хмурясь, дует губы, даже светлея белой щекой, говорит ему, но не мог оторвать взгляда от ее лица. Она нетерпеливо повторяла ему, слегка ругая, а он все глядел на нее и мимо нее и видел дочек-кукол, которым что-то надо от него, и видел жену Леночку, она сидела наприсядках, перебирая простынки и подушечки, и он видел ее напряженные под платьищем ноги и длинные, выгнутые, с блестящей кожей мышцы и сборчатые, в розовых цветочках трусики.

— Иди принеси воды, — говорила Лена.

Он брал крохотное ведерко и, с тяжелым сердцем расставаясь, шел к колонке. Он напивался сам, а потом предлагал ей. Она укоризненно качала головой и принималась стирать белье.

— А ты иди погуляй с дочками.

Платоша брал трепетных дочек под спинки и шел, шелестя травой, неторопливо, нетревожно передвигая онемевшие ноги. Он заходил за бузиновый куст и тут, ликуя почти слезной радостью, прижимал дочек-девочек к себе, касался щекой жестких — коричневых и желтых — волосков и так стоял, что-то мыча или показывая им синицу, перебежавшую полулетом с куста на куст сирени. Он слышал горячими ладонями, как они насторожены и как притворяются спящими, он слышал, как урчат их животики и как тихие слова, не достигая розовых ротиков, мурлыканьем затихают в груди. Он терялся от стука собственного сердца, ему казалось, что оно бьется уже за его грудью или, может быть, это вздрагивали во сне его дочери. Он прикладывал сорванный листочек к лицу то одной, то другой, проверяя, как они спят. У одной были закрыты глаза, другая не могла закрыть, но он уже знал, что и она спит, — так спал в детдоме Керя, запрокинув голову, во всю ширину распылив зенки.

Потом Платоша опять боялся, что они его обманывают, что они поглядывают друг на друга — одна неподвижными открытыми глазами, другая не менее хитро из-под прикрытых век, и тогда он срывал травинку и щекотал им лица, подбородки или заглядывал им за трусики, как советовала из-за куста Лена, чтобы проверить — сухие ли, не нужен ли им горшок.

Когда Лена говорила, ему казалось, что ее слова, ее строгий голосок попадают прямо ему в рот, и он ворочал языком, ловя вкус и аромат ее голоса, отсасывая сок каждого слова, прихватывая зубами зернышки звуков, слетевших с ее шевелящихся губ.

— Иди сюда, — сказала она.

Он вернулся, быстренько отстраняя от груди дочек.

— Мы должны с тобой решить, нужен ли нам еще один ребенок, — сказала Лена и посмотрела на него открытыми строгими глазами.

Он увидел голубые, с зелеными крапинками, как у кукол, радужки, угулся, спрятал свое лицо, он испугался, он не мог опять понять, что же ей надо, он пожал плечами и усмехнулся.

— Ты же хотел мальчика, — сказала Лена, и он вспомнил, что ведь хотел, да, хотел, он кивал, кивал, и улыбался, и вспоминал очень ясно, что хотел иметь братишку — так называл Серый своего младшего друга, — иметь младшего братишку, такого же, с каким гулял Серый, которого иной раз лупил, иной раз защищал, но сразу видно было, что он ему б р а т, и Платоша ярко, больно-радостно представил своего маленького брата и представил также, как его жена Лена стирает маленькому штанишки и маечку и вешает рядом с чистым крохотным бельем кукольных дочек...

— Ты хочешь мальчика? — сказала Лена, близко подведя свое лицо под его лицо. — Ну же, что же ты молчишь как пень?

Платоша кивал, он улыбался, ему было и жарко и холодно, к нему липла паутина, и назойливо щекотали мушки.

— Тогда давай сделаем ребеночка, — сказала Лена.

Платоша оглянулся, ища подходящую палочку, или камешек, или какую-нибудь щепочку. Он заторопился, но Лена сказала:

— Да что ты такой дурной. — Она поерзала рукой в кармане сарафанчика и чуть-чуть высунула головку маленькой куколки. — Это же понарошке. Только сначала надо е..., так все мужи и жены делают, а потом я тебе выродю ребеночка.

Платоша закинул голову вверх, он увидел, как по небу, точно тающая льдинка, побегало облачко, как за облачком потянулись прозрачные струйки. Платоша услышал такое, отчего в голове у него, как в орехе, треснуло. Он знал это слово и знал, что оно всегда оскорбляло Лену, если этим словом ее дразнили во дворе. Теперь же она произнесла это слово так, как будто ничего в нем постыдного не было, как будто так и надо. Платоша не мог опустить лица, не мог посмотреть на Лену, но видел, что она делает, и ему стало плохо. Это же не была девочка из кодла, это же была совсем другая девочка, это же была его жена, и рядом с ними лежали их дети — две дочки, они смотрели друг на друга и на мать с отцом. Платоша силясь, но никак не мог припомнить, что такое мать-отец, хотя они всегда присутствовали в детдомовских играх. Платоша не мог бы отличить мужчину-дядьку и женщину-тетку от отца и матери. Тетки забрали его, пригласили, тетки уговорили его, тетка Зина даже пообещала усыновить его. Но только здесь, под кустом бузины, Платоша, как лопнул, потек странным чувством нежности к себе, к девочке, деткам-куколкам, чувством нежности телесной, нежности к глазам, рукам, к коленкам, к сонным лицам настороженных кукол.

— Ну-ка, — сказала Лена, поворачивая и накрывая кукол, — спите, а когда проснетесь, мамочка купит вам братика.

А потом она села, оправила подол сарафана и сказала:

— Иди ко мне, Тошенька... Ты что боишься? Мы же понарошке.

Платоша отвернул лицо и подошел к Лене. Она откинулась в тень и, как кукла с опавшими веками, глянула на него.

Тетка Рая вывалила грязное белье прямо на пол. Она стала отделять белье, и Платоша увидел свои трусы и майку и хотел дернуть за дверь, но тетка Зина дала ему кусок мыла и терку.

Тетки поставили цинковое корыто на два табурета и втащили толстую кипящую виварку. Сквозь пар и банный запах Платоша услышал, как тетки заспорили, кому из них выгоднее выходить замуж: тетке Рае за бухгалтера или тетке Зине за шофера.

Он поглядывал, как тетка Зина взбивает пену в тазу. Такую же пену взбивала Бая Семеновна, мамка детдомовская, она перемывала сначала девочонок, а потом запускала мальшню. Платоша орал, умолял мамку не мылить его. Ноги скользили по мерзкой слизи. Он хватался за мокрых нянек,

они смеялись, отрывали его, ему казалось, что смеются их животы, зады, он ловил мамкины глаза, он распускал слюни, сопли, он хотел быть таким же мерзким, как слизь на полу, чтобы мамка поняла его и пожалела. Мамка ухала на голову пену, Платоша сдирал ее с глаз, но резь выжигала глазные яблоки, Платоша слеп, искал в темноте мамкину рубашку, взбешенным сознанием вдруг понимая, что когда-то были и такой же таз и пена, но лицо у женщины было совсем другое, не мамкино...

— Эй, чудило! — крикнула тетка Зина. — Чей жених лучше?

Платоша увидел белую ухмылку на рыжем лице тетки Раи. У него, как у лошади, задрожали мышцы. Платоша склонился над миской с мыльными обрезками, дыша и сглатывая с трудом, как сквозь воспаленные миндалины.

Платоша улыбался ухмылкой тетки Раи. Он теперь понимал, о чем они говорят — не бекают, не визжат, не лают. Вот только он удивлялся, почему же они такие большие телом. Ведь он-то маленький, худой, легкий, он все понимает, а тетки большие, всю комнату занимают, особенно тетка Рая, она давила на свет сильнее тетки Зины, но и тетка Зина была высоченная. Когда она надевала чулок, все раскручивая и раскручивая шелковую колбаску, основание ноги долго не показывалось.

Тетки делили белье и спорили. Тетка Рая, выхватывая из кучи лифчик или трусы тетки Зины, трясла ими и говорила: «Такую за... только за... возьмет!» Но Платоша уже знал про себя, что первой выскочит тетка Зина. Она брала его на огород, там они собирали помидоры. Платоша искоса наблюдал, как под солнцем краснеют теткинны спина и лицо, и чувял запах ее пота — квасной и липкий. Нанюхавшись, Платоша отходил. Потом приехала полторка и выскочил дядя Митя — с коричневым загаром до груди и до локтей. Он посадил Платошу в жаркую кабину, и Платоша сквозь желтоватое стекло видел, как они искали тень. Было жарко, душно, тетка Зина то так, то эдак подставляла свои сплывшиеся ноги, но у дяди Мити ничего не получалось. Платоша упоенно вращал руль, тянулся и носками сандалет изо всей силы давил на педали. И было мгновение, ему показалось — машина пошла, но тетка наконец разлепила ноги.

...Платоша обстругал кусок мыла до кругляша. И мечтал, как обмылит и сделает мячиком. И покажет Лене, спросит: «Что это?» Подошла со спины тетка Рая, схватила его за руку, сжала.

— Вот так, вот так!

Она дергала, коверкая, кругляши, в миску длинными стружками скувыркивалось мыло. Тетка висела над ним распаренной тушей, ее грудь тяжело шмякала Платошу по голове.

— Терпи, Платон! — крикнула тетка Зина. — Вот Митя станет твоим отцом — он защитит тебя!

— Двигай, двигай, — сказала тетка Рая и отшвырнула его руку.

Платошу опять захватила судорога, она пошла из-под уха, натянула стружками шею, ударила в живот и сцепила ноги. Платоша сильно хотел, чтобы тетка Зина отомстила тетке Рае и привела Митю, но он сильно не хотел, чтобы Митя был его отцом; он сильно хотел, чтобы Митя катал его на машине, но он сильно не хотел видеть, как трудно ему справляться с липким, огромным телом тетки Зины, он не хотел, чтобы Митя был отцом, чтобы Митины руки хватили его так же, как они хватили, выбеливая, тетку Зину, но он сильно хотел жить с теткой Зиной и не знал, за что и как надо любить тетку Раю, — раньше он думал, что собаки едят всякое мясо, но теперь он знал, что собаки едят не всякое мясо.

Только сейчас Платоша понял, что тетка Зина и тетка Рая сестры. Не то памятью, не то позвоночником понял, что если они сестры, значит, между ними был или должен быть некто третий.

Платоша подковылял, ханнул мыльную пену и шлепнул себе на лицо.

— Тю, сдурел, — сказала тетка Рая.

Платоша нашел ее по голосу и, глядя на нее обожженными глазами, ждал, что она узнает его.

Вечерние игры пацанов изумляли Платошу. Он боялся, но подглядывал.

Никогда раньше не знал он, что можно словно под ветром полететь в любую сторону, что можно начать игру и бросить или играть до сумерек, до темноты и в темноте, взявшись за руки, кричать: «Чью душу желаете?» — ощупкой продолжая ускользящий простор дня.

Сговорившись, пацаны шли в рощицу у подножия холма. Платоша — от столба к столбу, за дерево, за куст — маячил следом. И пока они свистали, горланили, он взбирался на высокий каштан. Вершинные ветки были удобными, пальцы рук и ног оставляли на гладкой голубой коре влажные, словно на потном стекле, следы.

Пацаны канались до хрипоты, а потом вдруг исчезали. Платоша поднимался во весь рост, оглядывал рощицу, удивляясь, как это пацаны так ловко обманули и саму рощицу, и желтоватый холм, и даже небо, высокое, помеченное катямишами облаков, — ведь мгновение назад все жило их криками! Боясь, что пацаны обманули и его, Платоша вытягивал шею, вырастал головой над широкими листьями каштана, и ветер судьбы, словно сорвавшись с холма, округло налетал на него и быстро ерошил волосы.

Вы пишете в рецензии, т. К-ов, что вам не нравятся мои рассказы, что я не владею языком, что у меня нет характеров, что меня скучно читать... И вы думаете, что так можно отвадить графомана? Я человек, т. К-ов, и меня не убить презрением. Презрение, как живая вода, только оживляет меня.

Я скушен, неинтересен, у меня не т о образование, не т а культура. Я не т а к радуюсь жизни. Я трачу себя, а вы подгрёбаёте под себя культурный гумус, так ведь? У вас родословная, у вас папа и мама — да? — культурные, интеллигентные. Значит, и вы как минимум интеллигент во втором поколении. О, вы это учитываете! Вы, москвичи, этому цену знаете и цену эту держите! Даже если папа-мама сами из деревеньки, но, обжившись, потершись по Садовому кольцу, они будут охранять свою интеллигентность, как буржуи собственность.

Да вся Москва со своими москвичами — это сплошь интеллигенты! Вы только посмотрите на себя, идущего к Ленинке, или послушайте, как вы говорите по телефону, — дитя голубой крови, вы на самой вершине российского мира. А если понаблюдать за вами в магазинах, где вы почти вежливы с иногородними, особенно в булочных... Вот-вот, в булочной, именно в булочной можно встретить почти музейного интеллигента — былиночку-сухостойку, идущую вдоль хлебных стеллажей как вдоль книжных и лопаточкой, лопаточкой теснящую свежие бока хлебов. Вот он, цвет и смак московской интеллигенции, она з н а е т цену хлебу — не это ли говорит она всем своим видом?

Но пройдите переулочками, сверните в подворотню Печатникова или какого-нибудь Лукова, где мусорные баки с блевотиной отходов, где каменный кал породистых сенбернаров, где стены исписаны руками ваших грамотных детей... Вы сворачиваете, и лицо ваше тут же меняется, меняются ваши повадки, походка, вы сутуливаетесь, не смотрите по сторонам, не смотрите под ноги, вы даже дыхание задерживаете и, держа на весу спортивную сумку, торопитесь проскочить подворотню, подъезд, лестничную площадку... Впрочем, может быть, это вовсе и не вы, а э т о т. Потому что вы д р у г о й, не так ли?

Я не знаю, как жить, потому пишу. Перед вами нет этой проблемы — вас ведут коридоры. А я живу как пишу, я все вижу и хочу понять жизнь и что значу в ней я и что значите вы со всеми своими связями и литературным ранжиром. Гнитесь и подличайте, т. К-ов, а мое дело — разоблачить вас. Вы загнали меня в угол, история моей болезни написана вами на двух с половиной листах вашей рецензии, я помню ее наизусть. Но прежде чем меня уничтожат, вы должны узнать, кто я такой, чем жил и мучился. И пусть эту историю зачитают вам на Страшном суде. Может быть, хоть там и тогда решите вы взять в руки топор или камень... Возьмите камень, т. К-ов! Вспомните, как это делается, как делало это в детстве: возьмите камень в ладонь, прикиньте вес, осяжите форму, прицеливаясь, сощурьте левый глаз, плавно отведите руку назад раз, другой — и швыряйте. Сколько в этом искренности, сколько

правды! Ударьте меня, т. К-ов, взгляните, как течет кровь, и — заверяю вас — вы получите подлинное человеческое удовлетворение. Но не совершайте преступления пером, не разлагайте людей рецензированием. Это занятие, оплачиваемое и поощряемое, большее преступление, чем простое убийство.

И все-таки: почему же вы отказываете мне в праве на собственную память? Не потому ли, что я не тот опыт соотношу с «вашей» культурой? Нечистый опыт, ведь я не так жил, не на том воспитывался... Какой-нибудь рязанский мешочник в Елисеевском, да? Нет, глубже? Родители мои не так жили, верно? Опыт у них грязный, не выдерживали они испытания государственностью? Нет, еще глубже: они просто не способны были понять происходящее и приспособлялись как умели во имя живота своего. Я вижу это, т. К-ов, по тому, как вы задним числом историю выстраиваете: одни гнулись, подличали, другие — как они оказывались жертвами? Вначале был случай, а теперь-то случай вы ставите им в заслугу. Генетики разделяете — и после этого вы хотите, чтобы я принял ваше прощение? Я буду каяться, а вы прощать, я — каяться, вы — прощать...

Справедливости ради скажу, что видел вас по телевизору, где вы сказали (о, черные глаза! о, белый воротничок под горлышко!), что жертвой был весь народ. Я ждал, что вы когда-нибудь скажете это, — ведь как же без народа? Без «народа» нельзя вам, ибо чьим именем превозносить жертвенность и клеймить выроdkов? Вот до чего мы дошли: отделяем жалких, притрухнутых жертв от жертв-подвижников!

Я графоман, вы эстет, я экстремист, вы демократ. Я мерзок своим уродством, вы — своим благообразием, вы пугаете мной, чтобы уважали вас... Не потому ли, что боитесь увидеть родственную вам улыбку на моем подлородном лице?

Я боюсь тебя, новый человеке, дитя логического Евангелия. Солнце дано тебе логосом, и светит тебе солнце светом разума.

Где твое детство, человеке? Ты болеешь им как болезнью. И да излечит тебя мерою разум.

Чему уподобился ты, сын божий, отвергший всевышнего? Ищи его — не найдешь. Душа твоя жаждет не откровения — жаждет смысла. Вечность покинула тебя, время спеленало тебя. Не быть в тебе христианину;

где сердце твое, где душа, где дух? Какой высший судия скажет: вот сердце его, полное лжи, вот душа его, полная тлена, вот дух его, исчервленный корыстью? Не придет, не скажет, а ты не выйдешь ему навстречу, ибо сердце твое вне тебя, душа твоя алчет язычества, дух твой, одичавший, ищет толпы.

Господи! создавая, создашь ты Адама своего и Еву из ребра его. Ты дашь ему обмануться, и рассекновен будет на добро и зло...

Плод сорванный горше желанного. А что древо как не зерно вывернутое? Что огонь как не язык вышедший? Всякий человек во чреве матери есть всечеловек.

Ты дал ему сердце, он вернул тебе разум. Ты дал ему Слово, он вернул тебе толпу. Ты наслал на них кару за грехи, они восстали к тебе домом твоим. Где они?

О господь, где поводырь твой с чутьем собаки, с всепрощающей хитростью, с чудом в ладонях своих? Пусть войдет он в дом твой и скажет: вот грешник, я вижу лицо его, я чую запах его прелюбодеяния.

Не найдет он грешника в доме твоём: сердце его за дверью, живот его среди других, душа и сума рядом, дух его в мертвой скорлупе. Кого пришел ты карать, сын божий? Кого пришел ты исцелять? Ладони твои у горла твоего и дыхание твое — дыхание пустыни.

Не виновен я, господи! Миллионы таких рождает чрево матери твоей от непорока. Или ты лукавил, господи? Поди роди, Мария, от голубиногo света, прими, Мария, летучее семя господа твоего. Родишь без мук.

Ты же начал этим, господи. Я кончил этим, господи. Ты сказал свое слово во лono непорочной, я вышел словом из лона порока. Ты пестовал, я выпестован.

И пришел я не в сад добра и зла, а в сад человеков. Ты привел меня в рай,

господи, ты избавил меня от порока, как от меня самого. Моя правая рука — как правая рука любого из малых сих, мое правое око не отнимает свет твой у левого — так един я с любимым из малых сих. Где ты найдешь меня?

Из отвергнутой рукописи:

У теток родители забрали Платошу зимой.

У них было две комнаты с выходом на застекленную веранду.

В первой комнате стоял большой квадратный стол и маленький столик у окна на веранду. Стоял глухой высокий шкаф. Стояли две кровати. По одну сторону от двери в другую комнату стояла кровать сестры, по другую сторону, у печки, стояла кровать, на которой спал Платоша.

Отец, большой, высокий дядька, был мильтоном. Его почти не бывало дома, а когда он приходил, его гимнастерка, галифе и шинель висели на плечиках не в шкафу, а снаружи.

Иной раз по утрам мама, черноглазая, исподтишка внимательная женщина, уходила на рынок. Платоша оставался один. Вещи в комнатах стояли тихо и прочно. Платоша, не двигаясь, заглядывал в комнату родителей. Там тоже было тихо и прочно — кровать, этажерка, комод, на комод длинные, словно зеленые ноги птицы, вазы с бумажными цветами.

Платоша стоял, боясь оторвать ноги от пола, ему казалось, что и покачиваться нельзя. Свет в окно через веранду вдвигался ясный, квадратный. Тихо-тихо стравивался Платоша с места и, минуя скрипучие половицы, шел в комнату родителей, к окнам. Он заглядывал то в одно, то в другое. Там была зима. Он видел иней на деревьях, на проводах. И видел птиц — маленьких воробьев и тяжелых черных ворон. Но тревожило его प्रतिположное окно, что глядело через веранду. Оттуда всегда ясно, обманно и хорошо просматривалось лето. Платоша никак не мог этого понять, и от непонятности кружилась голова.

Платоша некоторое время бегал на цыпочках от окна к другому окну, стараясь перехватить солнечный свет в то мгновение, когда он меняет зиму на лето. Набегавшись, вспоминал, что мама не пускает его в уборную на улицу. Платоша находил смешной белый тяжелый горшок. Он колебался, надо ли ему садиться или можно обойтись стоя.

Он задвинул было горшок под кровать, но вспомнил, что вернется мама, а потом сестра. Потом вспомнил, что дверь входная заперта, и даже знал, каким замком; уходя, мама навесила замок с блестящей стальной накладкой. Платоша таранился на дно горшка, вдыхая заваристый запах. Он смирял, укрощал ненависть — к себе, к маме, к сестре, к отцу-мильтону, к надвигающемуся позору, — он уговаривал свою ненависть замереть, потому что эта непределная ненависть как бы усиливала безвыходность. И тогда он поднял тяжелый горшок, поднес к печке, сдвинул гремучие конфорки и вылил на угли.

Как только едкий пар придушил его, он кинулся в комнату родителей, вскочил на окно и оторвал форточку. Он подергал окно, раму, но оно было круговую заклеено. Он стоял на подоконнике, облокотившись на раму форточки, он боялся дышать комнатным запахом, он часто, глубоко дышал морозным воздухом, панически веря в то, что чем больше он вдохнет, тем быстрее выветрится распаренная вонь.

Когда все были дома, Платоша все время следил за тем, куда падает свет из окна веранды. Они обедали за квадратным столом. Огромный отец-мильтон в нательной рубашке двигался по комнате, гня половицы, и Платоша старался так попасться ему на глаза, чтобы свет не падал в лицо отца. Избегал Платоша и сам подставляться свету, когда отец смотрел на него. Лицо отца было спокойным, но на лице были глаза, они смотрели, и Платоша никогда не мог понять, как к смотрят глаза отца. Если они уходили в тень, а Платоша оказывался на свету — «Ты что ж такой щуплый? Ешь мамкин харч, отдайся!», — Платоше хотелось стать меньше меньшего, и он смущался, удивляясь тому, что, имея сильнейшее желание само-

уничтожиться, он остается таким же светопрочным, как шкаф или обеденный стол. Если же лицо отца уходило на свет, глаза прищуривались — голубые, светлые, с кровавыми пружинками в белке, — а Платоша нырял в тень, все менялось как-то странно, непонятно. Платоша хотела показать всем своим видом, мелодвижениями, мнущейся мимикой, что в нем нет никакой тайны, но надо прищуриваться, что вот он сейчас подаст голос — и все услышат, что он пуст внутри, что голос его выдаст до доньшика, и Платоша спрашивал, квадрата язык непривычным словом «папа»: «А ты стреляешь в бандитов?»

От мамы он спасался, утыкаясь в тарелку. Он торопился сесть за стол так, чтобы папа-мама были по обеим сторонам и поровну делили на себя свет. Вот только сестра, сеструха, тогда оказывалась под носом, но Платоша уже привык подсматривать, пугая ее или зля косым взглядом. Детдомовские ухищрения как нельзя кстати пришлись для войны с сеструхой. Платоша сидел над тарелкой, водил ложкой по дну, елозил, набирал картошки, капусты, придерживал чуть на весу и, вознося, поднимал сдвинутые к переносью зенки. Сеструха Ольга старалась не смотреть, она прозвала его Петькой и всегда держала прозвище про запас. Но чаще она не выдерживала — прищавив лоб начинал розовеет, она стягивала носом сопли раз, другой и наконец кричала: «А чего он рожки корчит!» Платоше было как-то даже свободнее дышать, когда он обнаружил, что все то, что он знал и имел в себе для самоунижения и что так ходко применял, униженный, в детдоме: рожки, гримасы, жесты, язык вон, глаза треугольниками, нос вверх или рот до ушей, с насадом, — все это пошло теперь в ход и приносило неожиданную пользу — независимость и даже почти превосходство. Но надо было быть все время настороже, не передразнить, когда Ольга впадала в истерику и уж без перерыва, безбоязненно орала ему: «Петька! Петька! Дурак Петька!» Тут уж душа Платоши обрывалась, он терялся не то от бешенства, не то от полной слабости, не понимая, чем же так оскорбительна эта кличка. Ведь и в детдоме и во дворе рыжих теток его дразнили, но ни одна кличка не доводила его так, как эта. Он не мог смотреть на лицо Ольги, он хотел убить ее — именно лицо убить, вцепиться, вгрызться, разорвать, как будто это лицо было самостоятельным существом-зверем, существом-мерзостью, существом бесформенным — что такое?! нос, рот, глаза, губы! что это такое?! какой в этих отроптах и дырах смысл? Собака бегае на четырёх ногах и убегае, червяк ползае, выпучивая глотками брюхо, но лицо — оно и бегае, как собака, и пучится червяком, и еще совершае другие движения, дерганья — и все не от себя, без всякой связи с самим собой, заемными движениями. Чужое лицо, которое, дразня и гримасничая, обманом хотело быть родным.

Мама читала ему сказку. Но сначала Платоша пересмотрел картинки, он вынюхал все картинки, даже металлические скрепки понюхал. Он запомнил картинки, но когда мама стала читать, он ушел за ее плечо, потому что там был медведь большой, медведь средний и медвежий медвежонок. Но сначала там была девочка с косичкой, и Платоша сразу понял, что это Леночка. Он ее хорошо помнил, он ее очень хорошо — словно рядом — чувствовал, он помнил запах ее шеи и помнил, как щекотали ему щеку ее светлые, словно птичье перышко, волосы. И теперь она пришла к нему в гости. «Рррр-рра!» — сказал он ей и, улыбаясь, раскрыл рот, красный, как у собаки, с бледно-розовой, в кольцах-пружинках пастью.

Став медведем, Платоша принюхивался к запаху мамы. Она пахла кухней, от волос тянулся густой запах керогаза. Платоша сторонился ее волос, старался не глядеть на гибкие складки шеи.

Он все время облизывался, медвежий медвежонок, и протягивал Леночке лапу. Он был хитрый и понимал: раз она в гости пришла, пусть пожимает лапу. И пусть не боится. И тогда он пригласил ее за стол и налил компот (так делала тетка Рая, когда приходил кто-нибудь из пацанов) — целую миску компота — и положил еще несколько слив, раздетых до волосатого брюшка. «Пей, пей», — говорил он ей, и разевал пасть, и пил сам, облизывался, потому что у него изо рта бежала слюна и скатывалась прямо в

шерсть. Ему было смешно смотреть, как Леночка, вытягивая верхнюю губу, точно два пальчика, вылавливает из голубой мисочки разваренную сливу. Он не торопил ее, он ждал, чтобы сказать: «Давай играть вместе». Но Леночка все пила компот, приподнимая чашку, а потом уронила ее. И тут медвежий медвежонок закричал (Платоша отшатнулся от плеча мамы, заглянул ей в лицо, под большой лоб, в пищащий рот): «Кто хлебал из моей чашки и разбил ее?» Платоша не хотел так кричать, он не хотел пугать девочку и стал распухать от ужаса. Но мамин голос не слушался его и так поворачивал все, как будто Платоша в самом деле был медведем, и медвежья шкура стала привариваться к телу и раздувала Платошу. «Там все не так! — крикнул Платоша и заглянул в книгу, там буквы кривлялись, точно сеструхино лицо. — Там все не так!» — крикнул Платоша, и пусть мама не обманывает его. Пусть она лучше расскажет, как спасала Платошу от голода и бомбежки и поэтому отдала его в детский дом. Вот как! И чтобы Леночка знала, что две рыжие тетки были в оккупации, а потом стали лебезить перед Платошиным папой, хотели искупить свою вину и взяли Платошу к себе, пока папа был в Потсдаме. И пусть мама расскажет это так же, как тогда, улыбаясь, подзадоривая Платошу жить заново, подмигивая, когда называла теток немецкими подстилками, звеня голосом, когда говорила, как они с Олькой помогли папе, стирали подворотнички и рубашки. Вот как было на самом деле. И Платоша хотел, чтобы Леночка узнала об этом. Для того он и предстал медведем, чтобы потом сбросить шкуру и оказаться самим собой. Но мама обманывала, сговорившись с буквами, и Платоша оставался медведем, и медвежья слюна скапливалась во рту, а потом вдруг горячо побежала из глаз.

Встряхивая легкое сеструхино пальто, мама сказала:

— Надо перелицевать.

Платоша напрягся. Сеструха сидела за маленьким столом, делала уроки. Папа, заслоняя печку огромной спиной, курил в поддувало. Платоша не знал, что такое «перелицевать» — выгодно это Ольке или нет? Произнесено было слово, назревало событие, а Платоша не знал, как к этому относиться. Олька поглядела на мать, на пальто и отвернулась. Коса с обсосанным бантиком скользнула по спине. «Обманывает», — подумал Платоша. Он теперь следил, что и как делают между ними родители. Это была игра серьезная, забирающая большую часть Платошиной души.

Платоша пробежался по комнате, поглядел, как розовое поддувало втягивает в себя густые дымные выдохи из папиного носа и рта. «Перелицевать», — думал Платоша, беря слово на себя, на язык, на лицо. Не понимал, какой мимикой надо выстилать его. В детдоме все было уже давным-давно ясно: всякому событию было готово выражение лица, слово, жест. Тут побеждал тот, кто первый успевал почувствовать. Никогда не бывало так, что событие или слово оставались без чего-либо в ы р а ж е н и я, без чьего-либо л и ц а. Даже если Платоша не успевал или не знал, что чувствовать и каким быть лицу, всегда находился тот, кто первым понимал и заражал других.

Платоша подозрительно и, как мама, исподтишка заглядывал в лицо то сеструхи, то самой мамы. Не понимал — лицо мамы было замкнутым, озабоченным. Сеструха таращилась в книжку. Платоша подкрался к сеструхе и дернул книгу.

— Папа, а Петька мне мешает!

Папа хекнул в поддувало, не обернулся.

— Не дразни его Петькой, — сказала мама.

Платоша загримасничал перед сеструхой. Он примеривал, прикидывал, прицеливался — какая гримаса спровоцирует, разозлит. Ничто не выходило. Изредка Олька огрызалась, но и это никак не объясняло Платоше таинственного слова «перелицевать».

Платоша уволокся в угол со своей деревянной грузовой машиной. Он у е з ж а л от них ото всех, потому что ему мерещилась жизнь, которой они жили до него или вместо него. Это была прошлая жизнь, в которой его

не было, — это было странно, страшно. Платоша никогда не знал такого прошлого, в котором бы его не было. В этом прошлом было синее сеструхино пальто, а Платоши там не было. Это было прошлое, на лице которого он не мог разглядеть никакого выражения... Платоша двигал машину вдоль светотени, надавшей от края кровати, от свисающего серого одеяла, и медленно подъехал к отцу. «Би-би!» — сказал Платоша ногам. И заглянул в лицо отца — глаза отца безбоязненно высматривали свет раскаленных углей, голубые, подогретые жаром, и все лицо было таким же неподвижным, глядящим из той жизни, которая выдавливала Платошу из бытия.

По слякотному зимнему тротуару — где бульжники, где кирпичи, где просто густые, со снегом и грязью лужи — шли они с мамой к портному. Мама оскользлась на высоких каблуках резиновых бот, и Платоша, дождавшись, пока она, хватаясь за штaketник, переходила по кирпичам, спросил: «А что такое перелицевать?» «Вывернуть наизнанку, — сказала мама и пояснила: — Ср... наверх». Платоша облегченно засмеялся вслед за ней. Тайна была почти разгадана, сеструхе выпадал ший наизнанку.

Солнца не было видно, и свет его, медленно таемый, сочился в тучах, ощущимо влажно касался лица. В больших зеленых воротах мама толкнула маленькую толстую дверь. Двор был большой и, словно под тяжестью бульжника, прогибался неглубокой чашей. Платоша понял: здесь живет тот самый портной, который, как несколько раз говорила мама звонким, доверяющим голосом, шьет «и дешево и сердито».

Порожка у двери не было, и бульжник накатывался прямо на косяк. Дверь открыла старушка и сразу впустила. Из крохотного коридорчика, раздевшись, они с мамой прошли в комнату. Платошу поразило обилие кружевных покрывалец. Под потолком, на лампочке, абажуром свисало кружевное голубоватое покрывальце. На окошке торпорицалась белая кружевная занавесочка. На полочках висели треугольнички кружевных салфеточек. Изпод клеенки на столе выпадала дырчатymi узорами розоватая скатерть. И вдруг в кружении кружев Платоша увидел старика-старичка — коротко стриженная седина, улыбочивое лицо с вырезными морщинками и сама улыбка на лице медленная, с голубыми сквозными глазами.

Мама вынула из сумки сеструхино пальто и заговорила, и Платоша сначала удивился ее сложному, играющему тону — пренебрежительному, когда она разворачивала пальто, заискивающему, когда она объясняла, что нужно, шутливо-гордому, когда рассказывала, где пальто куплено, — но потом, вслушавшись в ее тон и всмотревшись в старичка-портного, Платоша понял, что так и надо с ним говорить... вот только напористой была речь мамы, а говорить надо спокойно.

Вошла старушка и, походя улыбаясь Платоше, сняла салфеточку с прозрачной вазы. В чаше горкой лежали разноцветные круглые конфетки — горошек. Старушка кивнула Платоше, потом взяла горсть и сунула Платоше в руку. Горошек пах ванилью и какими-то, казалось ему, духами. Он взял один шарик в рот — голубенький, — раскусил, в серединке долек оказался еще один шарик, маленький, Платоша хотел было вынуть и посмотреть, какого он цвета, но не решился. А между тем старичок-портной все оглядывал сеструхино пальто, а мама рассказывала, как и на что она выменяла его.

— Да, — сказал старичок-портной, — хорошая работа. И фасончик удобный, довоенный... Значит, немецкое?

Мама гордо кивнула, она так и не сняла платок — серый, пуховый. Только раскинула концы по плечам. Она говорила улыбаясь и так, как будто работа, в общем-то, несерьезная — да и может ли быть работа серьезной, если пальто детское и на каждый день! — вот только рукава удлинить, да в плечах расставить, да если можно, то и полы отпустить.

Старичок-портной надел круглые очки с пружинистыми дужками. Дужки светились насквозь, светились и колесики вокруг глаз — коричневым или желтоватым прозрачным светом. Платоша досасывал сердцевинку, она уже покалывала язык. Он уже понимал совсем, что такое перелицовка —

вывернуть изнанкой, убрать выгоревшие и потертые манжеты, полы, цвет на изнанке был темно-синий, свежий, но если бы не вытертый верх, если бы не лоснящиеся карманы! Они делали перелицованное пальто хуже старого.

— Крепкий материал, — сказал портной.

— Да не старое! Это дочка заносила его быстро. Знаете же, дети какие. Девочка, а никак не приучу.

— А этот богатый, значит...

— Да, — быстро сказала мама, — был все время у родственников. — Она посмотрела в лицо Платоше, сжав мимолетно брови. — Совсем отвык!

— Ничего, — сказал старичок-портной, он теперь, также через очки, смотрел на Платошу. — Ничего, привыкнет... Да?

Голос у старичка был такой добрый, что Платоша сразу в с е вспомнил. Ему стало нестерпимо быть здесь, сейчас, влетаться в кружевные салфеточки, скатерочки, покрывальца, высматривать внимательно-предупреждающие глаза мамы — и там, где ничего из этого не было, где был он один, где не было этого старичка-портного с таким неслышанно добрым голосом. Во рту, на языке осталась только бороздка сладости. Платоша забеспокоился, положил в рот сразу два шарика, так голос старичка-портного был ближе, так было лучше его слышно — каждый звук, каждую интонацию. Это был добрый голос, чувствовал Платоша. И сама доброта была такой ровной, такой текуче-проникающей, словно ни один предмет не мешал ее течению, и даже порой казалось, что старичок-портной исчезает в этой доброте, а появляется затем, чтобы усилить доброты течение. Он разглаживал на столе Олькино пальто, пальцы выщипывали ворсинки из швов, пальцы — с чистыми ногтями, с веснушчатой блестящей кожей — направляли ветерок доброты на темно-синюю освеженную изнанку. Как все просто было в голосе и под пальцами этого старичка! Доброта текла из того же прошлого, где не было Платоши, легко натекала в эту комнату, кружилась в вырезных узорах, выстилала сеструхино пальто — одна и та же доброта сладкими ядрышками каталась за щекой, доброта без усилий, без обрывов. Они уже оделись с мамой, и бабушка сыпанула ему в карман горошек, они уже шли по подмерзающим улицам, а Платоша все никак не мог понять, хорошо или плохо — доброта. Он знал, что ото всего на свете надо чего-то ждать, все на свете двигалось выворотными рывками, но он никак, грызя и грызя горошек, никак не мог понять, чего же ждать от доброты.

Платоша любил играть в гардеробе. Дверца платьевого шкафа так плотно входила, что воздух в шкафу сразу принимал квадратные формы. Платоша тихо, мечтательно сидел в темноте, глядя на вертикальную радужную щель, тонкую, как лезвие папиной бритвы. Здесь Платоше было спокойно, здесь жизнь становилась собой и не было надобности к ней приспособливаться. Здесь Платоша обретал равновесие, здесь он был как бы в комнате комнаты.

Сидя в шкафу, Платоша ощупывал тяжелый немецкий кинжал — вздутые ножны с гремучими петельками и налитой четырехгранный клинок с фигурной костяной ручкой. Кинжал сильно, холодно пах — отдельно пах клинок обманно-летучим кисловатым запахом. Платоша медленно опускал с клинка ножны, и ему казалось, что с каждым обнажением в ножнах скапливается кисловатый тяжелый запах — не то лимонный, не то уксусный. Касаясь клинка языком, Платоша внезапно с отворачиванием чувствовал вкус холодной, но свежей крови.

Особо пахла костяная ручка. Кость лежала удобными резными катышами. Рукоять была ускользяще гладкой и при этом сильно, липко пахла старым гребнем. Сочетание тяжелого целенаправленного клинка и лоснящейся, быстро накапливающей тепло рукоятки доводило Платошу до экстаза. Он дожидался минуты, когда мама выходила из комнаты, оттапливал дверцу шкафа и кидался на сеструху.

— Немецкая овчарка! — взвизгивал он, ликуя.

Олька шарахалась, бежала вокруг стола, он скачком, скользя на углах, гнал за нею, Ольга кричала, а Платоша не мог остановиться, ему хотелось

легкой, бескорыстной радости, и он ликовал, обнаруживая радость на самом кончике обнаженного клинка.

Платоша проснулся — мама загремела конфорками. Печка еще не грела, мама только-только принесла в тазу уголь, сбрызнула водой и совком забрасывала на пылающие дрова.

— Что ж ты спишь, солдат! — весело, звонко сказала она. — Сегодня День Красной Армии — вставай скорей!

Платоша не поверил. Он угрюмо оделся, вышел на морозную веранду, постоял над ведром.

— Завтрак скорей, пойдем на рынок. — Мама торопила, она была непривычно возбужденной.

— Не пойду, — сказал Платоша. Он не хотел завтракать — мама была обидно веселой, мама опережала его своим весельем и так, опереженно веселясь, как бы дразнила Платошу.

— А днем, — сказала мама, подмигивая, — ты с Олей пойдешь в кино! «Чапаев» идет — сила!

Платоша молча пил чай с холодным пирогом. В пироге была еще более холодная и жирная капуста. Платоша любил просыпаться, когда в доме никого не было. Тогда было свободно ему ходить по комнатам, свободно смотреть на свет окон. Тогда ему не приходилось буксовать душой, торопясь за непривычными, быстрыми и как бы отстраненными движениями родных. Он никогда не попадал в такт их речам и настроениям, опаздывал, срывался.

— А потом зайдете в магазин и купите маме подарок. Я тебе деньги дам — что ты купишь?

Мама, сощурившись, вглядывалась в лицо Платоши — глаза у мамы были темные и от прищура делались еще темнее, даже пропадали как бы, и тогда на Платошу смотрели морщинки — цепкие, строгие.

— Одеколон, — отбубнил Платоша.

На улице воздух был мягкий, но снег поскрипывал. Невидимое восходящее солнце пятнами яркого света проступало сквозь снег, над углами домов, вокруг деревьев плавали сверкающие линеечки. Редкие флаги склоняли неподвижные полотнища. Платоша высвободил руку из маминной ладони, приотстал, развязывая незаметно шнурок на ушах шапки. Когда влажный узел под подбородком распался, Платоше стало весело.

Дорога к рынку между одноэтажных домов была светлой, сани с толстыми деревянными полозьями рыжая светловолосая лошадь везла легко, налетом. На снегу клочья сена светились словно язычки древесного пламени. Запах навозных шаров заражал молочным, парным ароматом и снег, и воздух, и даже морозный скрип.

— Мяса купим, — говорила звонко мама, — пироги сделаем вот такие, у меня уже тесто подходит.

На маме был серый пуховый платок, черное пальто с маленьким, светлого каракуля воротником, бурки с калошами. Она торопилась и все подталкивала Платошу. У рыночных ворот стояли две попрошайки. Руки и лица их лоснились фиолетовым заморозком. Одна все время кланялась, как бы снимая со лба и натягивая на живот упругий, резиновый комель креста. Другая была неподвижна и резко, изтиха кликала: «Свято-ому герою Александру на помин золотой ангельской души-и!»

В рядах крытого рынка было многолюдно. Полутуши и туши висели на крюках, куски лежали горками на каменных прилавках. Дядька ножом-шильцем разрезал сало, подзывал:

— Подходи, казачка, смотри, какое розовое!

— Сколько?.. Целуйся со своим салом!

— Целовал бы, да жена не дает!

Платоша потянул маму от прилавка — дядька весело вонзил нож-шильце в сало, и нож вошел тихо, быстро, словно в воздух.

Под сводами крытого рынка было холодно — от света, рассеянно падающего сквозь бесконечно высокие оконца, от запаха и вида мяса, от

замызганных кровью мясников Платоше хотелось вырваться, но мама тянула его вдоль жирных пристывших рядов по хлюпающему полу, говорила, что можно купить и подошве, что для пирогов лучшие всего субпродукты. На торцовой стене Платоша увидел огромную красочную картину — веселая светлолицая тетечка кормила из лукошка больших и легких, как облака, кур. Платоша сразу полюбил эту тетю — у нее глаза были голубые, как небо над лугом, она улыбалась такими зубами, словно у нее во рту было свежее куриное яичко, да и щеки были розовыми и светились, и волосы под косыночкой у нее были похожи на волосы Лены.

Платоша понимал, что мама хочет пройти без очереди, он понимал это не по лицам очереди и даже не по тому, как мама сильно сжимала его ладонь, — Платоше было стыдно перед птичницей Леной. В лицо ему скалились свиньи головы; выбрав одну, Платоша все хотел понять, где же у свиньи лицо, — были глаза, были длинные белесые ресницы, был смысленный изгиб ото лба к носу, но как эта смысленность, как эта уклончивая пронизательность, сохранившаяся в глазах отрубленной головы, превращалась в звериное безумие и нечеловеческую смерть, Платоша почувствовать не умел.

Бескожая коровья голова нашла Платошу огромным напряженным глазом. Взгляд был такой упорный, ищущий, что Платоша сначала оглянулся, думая, что ищут не его. Голова лежала боком, и ей неудобно было смотреть, глаз выворачивался, белок от усилия стал красным. Платоша попытался стать так, чтобы голове было удобнее глядеть. Платоше было чего-то стыдно — того ли, что он повинуется мертвой голове, или того, что в глазах мертвой головы стояла внимательная мысль. Эта мысль насильно повернула тяжелое мертвое яблоко глаза, и Платоше казалось, что даже знает эту мысль, он услышал ее: «Вот меня отрубили, а я в с е вижу!» Этим «все» был сам Платоша, его смущение, его страх, его недоумение, все, все то, что — знал Платоша — было невидимым для глаза или что всегда можно было спрятать так, что никто не увидит и не узнает.

Платоша думал, что сеструха откажется, что она станет ныть и, может, заревет-заплачет: «Не пойду я с ним! Сама иди! Сама выродила — сама нянчись!» Если она так скажет, Платоша крикнет: «Никто меня не рожал!» Когда она так говорила — гнусава, капризно кривя губы, — он всегда пугался и поражался: почему она не боится произносить т а к и е слова? В эти минуты он, трусливый, смотрел на сеструху с большим уважением, чем на маму. Ольга вслух говорила о такой глубокой тайне, о которой Платоша и думать боялся, потому что, если он касался этой тайны даже только мыслью, тайна сразу выскакивала, как собака, и по запаху мысли, по ее намерению кидалась на Платошу... Это была хитрая тайна, ее нигде снаружи не было, ее нельзя было потрогать руками, или унюхать, или взять в рот, поддержать на языке. Эта тайна доступна была только слову и только мысли — так глубоко она сидела в Платоше. В детдоме он думал, что эту тайну можно заесть чем-нибудь, или заиграть в какой-нибудь игре, или обмануть ее, влюбившись в Баню Семеновну или в посудницу тетку Катю. Наконец, он думал, что эта тайна совсем уйдет или провалится куда-нибудь глубоко-глубоко, если он будет жить с мамой-папой. Ольга — злынь-сеструха, скользкая, как и ее коса, — выкрикивала эту тайну, капризно, вслух отказываясь от мамы, на свету оповещая, что мама р о д л а Платошу... Платоша с ужасом представлял, что сейчас, сию минуту в с е произойдет, потому что если ясно, что человека родила мать, то с ним в ту же минуту может произойти что угодно, что мать для того и р о ж а е т, чтобы навсегда избавиться от него. Тайну надо хранить, чтобы мама не знала, чтобы мама ничего не знала.

У кассы кинотеатра было тесно от пацанов. Ольга то и дело дергала Платошу то за воротник пальто, то за кашне. Он терпел, он все еще не верил, что они попадут в кино. Очередь была длинной, пацаны постарше лезли вперед, взрослые лениво смотрели на свалку. Ольга не отпустила Платошу: «Потеряешься — сам виноват!» Платоша не хотел потеряться, он во все глаза глядел и на свалку у кассы, и на глубокое полуovalное окошко, из

которого — из темноты, из неясных очертаний — выныривали свежие дразняще голубые лоскутки.

Платоша восхищался Олькой, какой она делалась красивой, отругиваясь, тесня нахалов, — лицо, щеки особенно, было розовым, глаза зеленели от ярости. Голос креп, звенел и походил на мальчишеский. И Платоша тоже бился, помогал. И так велики были и радость и любовь к сестре, что не верил Платоша, что они попадут в кино, — уже и билеты были в руках у Ольки, и в зал прошли сумеречный, с темно-синими стенами, с темным потолком, с грязным, заплеванным подсолнечной шелухой полом. Они сели на свои места — деревянные, скрипучие, с пронзительно визжащими откидными сиденьями. Ольга разрешила ему снять шапку, и Платоша потянул шнурок, дернул, затынул. Петля пропала в мокром узле. Он силялся развязать, боялся, что увидит сестра, глядел раздвояженным взглядом на плывущий светло-серый экран с овальными, черной полосой обведенными углами. Узел не поддавался, Платоша скинул шапку на затылок, но было неудобно, он завертел головой, и тут Ольга заметила. «Петька-дурак!» — сказала она, и злая обида поднялась в сердце Платоши, но лишь на мгновение, потому что в следующее мгновение Оля наклонилась и стала зубами развязывать узел. Шум зала придвинулся, стал застилать уши, свет, и без того мгlistый, обмяк, пожелтел, Платоша и дышал, и боялся вдыхать запах сестры — голова ее, волосы, щековавшие ему нос, губы пахли теплым запахом хлебной корочки. Когда ее влажные торопливые губы касались горла, Платоша сжимался весь от сильной неожиданной нежности. Боясь сделать что-нибудь не так, он дергал носом, загоняя потекишие в тепле сопли, слизывал их и опять втягивал. Нежность мягко, сильно давила на сердце, не находила выхода, и он вот-вот расплакался бы или выдернулся из сердитых рук Оли, но тут узел распался, ему стало легко дышать, жар мгновенно упал. Луч выщелкнулся из-за спины, мягко накатил на экран, нашел его черные закругленные углы, потанцевал, уместился, кинул несколько быстрых черных, светлых пятен — и фильм начался.

...Когда они вышли из кинозала, Платоше почудилось, что уже сумерки, что киношный луч высосал весь свет из неба, из снежных сугробов, и даже летящий пушисто-тяжелый снег был сероватым. Платошу потряхивало так — неумно, — словно вытряхивало или перетряхивало всего. Платоше думалось, что он должен помнить весь фильм, но он не мог ничего вспомнить. Он держался на одной точке жалости: мягкие пулевые фонтанчики над водой и узкий детский затылок Чапая.

В магазине у прилавка Платоша согрелся, успокоился. Он выбрал папе маленький флакон одеколона и ревниво следил, как сестра подает три рубля и получает сдачу. Платоша сунул пахнущий флакончик в карман и всю дорогу грел его рукой. Дома их встретила мама, она вся была обсыпана мукой, руки до локтей были в тесте.

— Ну, сила кино? — спросила радостно мама.

Платоша кивнул, он опять не мог вспомнить, что же он видел. Душа его, как приподнятый над темнотою луч, все искала опоры, не находила и срывалась. Оля, клоня голову набок, толкая языком щеку, писала папе открытку разноцветными карандашами.

Мама сказала Платоше:

— А ты нарисуй рядом красное знамя.

— Еще чего! — возмутилась сестра. — Не буду я открытку портить.

Платоша вспомнил нежность, которая родилась в нем к сестре, и эта острая нежность сейчас показалась ему тяжелой, непростительной обидой. Он ярко представил огромное красное знамя, которое нарисовал бы папе, и кинулся на сестру. Мама вдруг зашептала:

— Тихо, тихо...

Сквозь напряжение Платоша услышал топот ног на крыльце.

— Скорей спрячься, — зашептала мама. — Я скажу, что тебя нет, папа станет искать, найдет, а ты подаришь ему одеколон!

Платоша испугался и нырнул в шкаф. Поджав колени к подбородку, он сидел, нюхая запах одеколона — густой, как запах подмороженной капусты.

Папа топал на веранде, снимал сапоги, мама что-то ему весело говорила, он вошел в комнату — мягко, тяжело, играя половицами, — сказал:

— Ах, как пахнет пирогами!

Олька кинулась поздравлять его, он повторял: «Спасибо, доченька» — и спросил:

— А где же будущий солдат?

Платоша вдруг с удивлением понял, что его самого в комнате нет, что комната сейчас осталась без него, и по этой пустой комнате и по соседней мягко, неторопливо ходит папа, заглядывает под кровати и приговаривает: «И куда же он залез, а? Ну быть ему разведчиком!» Или: «Вот я его найду и на губу посажу — как же так, не встречает командира!» Папа в гимнастерке, кожаный ремень, просунутый под погон, охватывает большую грудь и, сцепившись медными кольцами с ремнем, крепко держит высокое папино туловище. Повизгивая от нетерпения и все нарастающего страха, Платоша слушал, как отец все ближе и ближе подходил к шкафу, но тут же удалялся и опять, опять подбирался. Платоше уже не было весело, животный — в груди, в животе — страх сковал его, он все объемнее и пронзительнее ощущал пустоту комнат, где его сейчас не было и где крадучись ходил огромный дядька («А вот мы его за ноги! Ну-ка приведите розыскную собаку!» — «Рррр, гав, гав!»). Платоша хотел крикнуть: «Я здесь!» — и высочиться, но дверь шкафа отточила и вместе со светом над Платошей наклонилась огромная голова с выпученными глазами, вздутыми губами и черно-кровавыми ушами. Пересиливая припадок, Платоша заплакал.

Сознание, что ты такое?

Человек есть средоточие природной памяти, чудовищная концентрация «звездного вещества». Нет здесь места сознанию.

Сознание такое, ты что? Не есть ли ты, в самом деле, блистательное ничто?

Ночью вспомнил Платоша фильм, вспомнил как бывшее с ним. Ударили барабаны, затрепали часто, частотой смягчая удары. Так трещит стиральная доска, когда мама скользит по ней куском мыла. Беляки гребенчатými рядами, гнуцимся на взгорках и впадинах, пошли в атаку. Платоша дергал Олю и спрашивал, что такое психическая, но треск нарастал, беляки-офицеры были так хорошо видны, они уронили ружья штыками вперед, они шли открыто под молчалим дулом Анкиного пулемета. Их смертельная незащищенность была наглой и неумолимой. Между залегшими красноармейцами и беляками была пустота, и Платоша не понимал, чем эта пустота наполнена: почему беляки идут открыто? их уже убивают, они идут, но молчит пулемет Анки... надо что-то делать! почему не хватает пуль? они идут, падают, но идут, их вот-вот станет ж а л к о!

А в это время в летучей конной части — споры, контрик (что он там кричал?): «Хватит! Навоевались! По домам!»

Там — психическая атака, здесь — нерешительность, серая масса спешенных конников, там — захлебнулся пулемет и медлит, мучительно страшно медлит Анка, а здесь — спор и крик одного, серого, обреченного: «Хватит! Навоевались!»

Платоша поджимал колени к животу. Сиденье под ним скрипело, опрокидывалось. Еще никогда и никто не пытал его так — жалостью. И по самому гребню терпения вдруг наскочил бешеный Чапай: «Что?! Бунтовать?!» (А беляки уже бегут, падают, но бегут, бегут, из окопов выскакивают красноармейцы, сведенные с ума той самой жалостью, которая трет и треплет Платошу.) Чапай вертится на юлящем коне перед молчащей, винящейся массой, и где-то в перемешавшихся рядах — одинокий, винтовочной линейкой щелкнувший выстрел. Чапай на пляшущем коне и круг, раздавшийся над мертвым. Сами — почти в упор, так надо. Ведь уже было, когда веселый Петька захватил на берегу здорового казачину с удочкой. Казачина поднимается, и Платоша весь от страха сначала свернулся, потому что знал же хитрость: медленно встать, тихо двинуться вперед и нырять в

ноги! — но казачина вдруг всем лицом, глазами, трясущимся ртом заплакал: «Брат... Митька... помирает...» Вот почему вертится на коне Чапай, и, таясь, почти в упор стрельнули паникера, и, не таясь, открытой цепью идут беляки, и, прыгая через спины окопов, убегают красноармейцы! Ненависть затачивается на жалости. Но нрав последней Платоша уже знал, крючась под одеялом, он хотел спать:

Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой...

И вспомнил Чапая, убегающего от волны им же поднятой захлестывающей жалости — бегущего с обрыва к реке, туда, куда обманчиво забегали отзывчивые фонтанчики пуль.

Платоше представлялось, что он высовывается в мир. Выйдет во двор — его увидит собака Найда, пойдет к нему, извиваясь спиной, и в ее усиленном заискивании Платоша узнавал себя. В каждый новый день он входил как в неизвестный и боялся, что его не узнают. Играют пацаны в стеночку — Платоша подходил к ним, вытягивая на ладошке монетки, чтобы они видели его заранее и не подумали, что он чужак. Ведь Платоше было уже что вспомнить, у него было прошлое, но всякий раз, подходя к человеку — к отцу ли, пацану ли, — он переставал чувствовать себя, выходило, что нет у него прошлого, и ему нечего вспомнить, и только вот в эту минуту его должны опознать и назвать.

В городе были казармы, и Платоша всякий раз выскакивал за ворота посмотреть на серую подвижную колоду солдат, Платоша вглядывался в скользящие лица, со странной настороженностью, смущаясь, ждал, что вот-вот одно из плывущих лиц повернется и узнает его.

Но с особым вниманием следил Платоша за отцом. Этому человеку, мильтону, почему-то принадлежало особое право узнавать Платошу каждый день. И поэтому Платоша панически боялся, когда отец приходил пьяный и не узнавал сына. Платоше чудилось, что еще мгновение — и он исчезнет от неузнанности.

...Платоша встал уже, осторожно потянул со спинки стула толстый пружинистый ремень. Но кобура оказалась тяжелой, и Платоша отошел. Надел форменную, блинчиком, фуражку, вышел на застекленную веранду. Здесь пахло шафраном. Яблоки из просевшего мешка раскатились по полу. Платоша подбирал желто-розовые крепкие шары, борясь с желанием надкусывать каждый. Ему хотелось скуснуть сам запах — так сильно ныло сердце.

Скандал был вчера. Отец хотел вышвырнуть мешок на улицу, ударил ногой, кричал на маму, чтоб не смела.

Мешок принес старик чечен. Он жил в соседнем дворе, у него всегда были гости, родня и знакомые с гор, они привозили на продажу яблоки. Старик ходил в кожаных, без каблучков сапогах, войлочной шляпе и гимнастерке, подпоясанной красивым наборным ремешком. В его дворе в помойной яме обнаружили труп новорожденного — синий, размером с кошку. Старика чечена долго таскали, били. Помог отец, старика выпустили, он вернулся и подарил мешок шафрана.

Мама стояла у дверей на лестнице, а старик внизу. Старик опустил мешок на землю и смотрел маме в лицо. Это был тот самый старик, который маленьким ножичком умел отрезать красивые яблочные дольки и когда-то угощал Платошу. Движимый смущением, Платоша сошел со ступенек и стал подле. Старик смотрел на маму и гладил Платошу по голове. И смущали Платошу и эта ласка, и то, что головою, исподволь, проверял Платоша старикову невиновность.

Платоша наблюдал, как отец пьет и сатанеет, вылавливая бандитов или гоняясь за душегубом Роликом. Ночами на стук посыльного отец отрывался от подушки, и Платоша, если просыпался, видел, что отец натягивает мундир не на свое большое тело, а прямо на разбухший, бесформенный сон. Глаза у отца были красные и слепые. Платоше не было страшно, ему

было жадно любопытно: как же ловят и х? Ведь пистолетов мало для этого. Не хватают же их, как кошка голубя. Нужны какие-то слова — точные, как стекла в окнах, как гвоздь в половице. Платоша не знал таких слов.

Никогда прежде — ни в детдоме, ни у рыжих теток, ни здесь, в семье, — не слышал он таких слов. И даже наоборот, знал он, что слова нужны совсем для другого. Слова были гибкой, мутной, тягучей пленкой, покрывавшей и людей и предметы. И даже еще более того, этой словесной пленкой можно было покрыть не только видимый мир, но, что самое главное, самое полезное, словесной пленкой можно было покрыть и то, что было невидимым, — смысл, суть. Детдомовская блатата имела при себе множество таких увертливых слов, хитрых выражений. Они нужны были, чтобы обманывать. Если Платоша подходил и просил: «Дай куснуть», — «А ху-ху не хо-хо?» — отвечал владелец печенья. Когда человеку жалко делиться, он просто не поделится, но это «ху-ху не хо-хо» произносилось для того, чтобы Платоша понял: он может сколько угодно глазеть заискивающими, жадными глазами на печенье, но печенья в руках у владельца нет. Платоша не должен его видеть, отвернись, падло, «а то по дзенкам дзызну». Каким-то таинственным образом смысл предмета перерабатывался словами так, что уничтожался сам предмет, или, вернее, оставалась оболочка предмета тем более яркая и глупая, чем удачнее и бессмысленнее были слова.

Так же было и в семье. Однажды Платоша попался. Папа поставил елку, мама разукрасила, развесила игрушки и даже конфеты. Это было с вечера, а утром Платоша подкрался и сорвал одну конфету, развернул — кусочек хлеба. Другую — кусочек хлеба. И только сеструхино хихиканье вывело Платошу из ошеломления.

Если мама говорила, что соседи подкопали сарай, если отец говорил, что бросит пить, — Платоша видел, как раздувается мутный пузырь слов влажных, как дождевые черви, извивающихся, покрывающих собой, своим извивно-кольчатым движением не только мир предметов, но даже свет этого мира.

И Платоша знал рецепт изготовления этой жуткой смеси слов и растворенного смысла. Как-то среди пацанов Платоша назубок зачитал этот рецепт: «Взять ложечку куриного помета, кусочек ишачиного говна, перемолоть, перетолочь, через три п.... проволоочь, е..... три раза об стеночку, снять пеночку...» Один из пацанов просил другого вернуть зажатые деньги, и Платоша обиженному ответил.

Платоше казалось, что все нутро у него перевито этой пленкой, что она мешает ему дышать. Платоше хотелось стать легким, как ярость. Однажды, измученный сестрой (делили картошку на сковородке), Платоша всадил ей вилку в лоб. И пока она кричала, неподвижно держась за черенок вилки, Платоша понял, что этой мерзкой пленкой перевито все, и душегуб Ролик тоже. И не только люди. Он видел, как мама чистила рыбу. Рыба была еще живая, билась в мятом алюминиевом тазу. Мама вынесла таз на каменные приступки, заточила о камень нож. У рыбы, с которой радужными каплями сбрызгивала чешуя, было такое лицо, словно она и не замечает ножа, бежущего по ее телу, как бегает бритва по щекам отца, нежа и кровеня кожу. Рыба вытянутыми губами все хватала воздух, глаза ее были пусты и глядели на свет не мигая. У рыбы было такое лицо, словно она ждала чего-то. Губы ее все перебирали воздух, хватали его глотками, ища какой-то свободной для вдоха пустоты. Но по тому, как топорчились жабры, Платоша понимал, что воздух обманывает рыбу. Мама взрезала живот, потянула пленчатые кровавые внутренности. Эти внутренности нужны были взволнованным курам, и куры тут же их склевали. И Платоша обрадовался, глядя, какой чистой и открытой стала рыба грудь и как рыба наконец длинно и свободно вздохнула.

«Вот для чего душегуб Ролик убивает людей», — подумал Платоша, но отцу не сказал.

У ворот пацаны играли в стеночку. Тот, что повзрослее, Найден-млад-

ший, пятаком и разъявленными большим и указательным ловко подбирал синтики и двадцатки.

Накопительная сила денег завораживала Платошу. Две, три копейки, десять, копейки он накрывал камешками под лестницей. Не столько прятал от мамы и сестры, сколько оттягивал праздник накопления. Это было особенное давление в сознании и чувствах. Наступал день, когда сила накопленных денег сливалась с вождением к предмету, Платоша откидывал камешки, подбирал потускневшие, позеленевшие кругляши. Это чувство мгновенно реализуемой собственности никак не было связано с усилиями родителей подняться над нуждой, оно было вывернуто в Платоше и тяготело ко всеобщим законам взрослого мира.

— Играем? — предложил Найден-младший.

Платоша вывернул карманы — пусто. Под взглядом Найдена он был по-свойски спокоен и на его «пойди возьми» ответил:

— Отец спит.

— Легавый спит, — перепел его Найден.

Пацаны рассмеялись.

Найден — блатарь, у него развитое периферическое зрение, и взгляд его бывает попеременно взглядом то кошки, то собаки, то голубя.

Найден все время тревожит пацанов, каждого по отдельности. Платоша всем своим нутром поддается на эту тревогу. Найден как бы перегибает человека, выискивая в нем уязвимые, болевые места. Надломленный пацан и есть победа блатаря. Найден бил ногами, и Платоша понимал его: так удаляя избиваемого, Найден бесконечно приближал к себе униженного, наслаждался беспомощностью.

Мама запрещала Платоше, брезгливо говорила: «С бандитом не водись». Платоша замыкался в себе, отвечал: «Не буду».

Дома Платоша уже определился, он знал, каким быть с мамой, каким с папой, каким с Олькой. Но Платоше надо было меняться, повторять чьи-то гримасы, подхватывать чьи-то выходки. Сам перевоплощаться Платоша не умел, ему нужен был сторонний сильный побудитель-соблазнитель. Он удивлялся, когда мама требовала от него послушания. Он искоса вглядывался в ее лицо, в темные глаза, глядящие на него каким-то широким, несосредоточенным взглядом, и догадывался, что она обманывает его. Но зачем? Ведь она сама вызывает дома одной, на улице другой, третьей в очереди за мукой. Меняется все время и Оля — приходит из своей бабской школы, передразнивает учительницу, подруг. А как меняется папа, снимая китель или когда напивается до безумия.

Платоше не надо было отгадывать Найден-младшего, он был понятен, как будто его повадки сидели в каждом суставе, в каждой мышце Платоши. Он был тем более понятен, что вокруг него всегда теснились пацаны. Они знали, что Найден-младший может в любой момент оставить их, и поэтому угождали, лебезили. Они и без Найдена играли, спорили, дрались, но стоило ему появиться, как вроде бы кто-то нажимал на кнопку черного выключателя — и выяснялось, что до этого момента они жили в темноте.

Найден-младший говорил мало, пацанва понимала его по гримасе, по дрожанию кадыка. Когда Найден гибким движением среднего пальца подзывал к себе, не подойти было невозможно.

Но для Платоши и двор и улица принадлежали Найдену-младшему до тех пор, пока однажды он не увидел, что Найден-младший весь в Найден-старшего. Платоша вошел с улицы в зеленые ворота двора и увидел, что мама несет ведро в помойную яму, а навстречу идет Найден-старший. Плавной походкой с каблучка на носок, в сапогах с короткой гармошкой, руки в карманах, пиджак внакид. Найден улыбнулся прозрачной розовой улыбкой доброго кота, что-то сказал маме. Он пошел мимо, прямо на Платошу, а мама, Платоша испуганно взгляделся, знакомо и понятно улыбнулась. Найден сказал что-то такое, что взбесило маму и отчего она потом кричала отцу, чтобы тот «посадил бандитское отродье». На что отец строго или чуть ли не безразлично сказал, что «улик нет». «Да ты трус, трус! — сказала мама. — Вся жизнь держись за мой подол». А Платоша уже знал, что и не

будет улик — такой он, этот Найден-старший, весь двор молчал, не влезал во вражду между хитрым блатарем и мильтоном.

Платоша выходил из дому и бродил у крыльца, дом казался ему чужим, а сам себе Платоша казался пробегающей собакой, которая чутко чувствует маслянистый запах, застрявший в деревянных порах веранды и в порах камней, запах сладкой заразы хитрого человеческого нутра.

Незаметно Платоша подходил к дому Найденов. Старший почти каждый день проводил на крыше. Позванивая черепицей, он взбирался к самой трубе, вынимал из-за пазухи рыжего голубя и швырял вверх. Голубь громко хлопал, зависал или ходил ленивыми кругами. Найден подбирал с крыши шест с тряпкою на конце, махал, разбалтывая синеву, подсвистывал. Голубь нехотя, рывками шел вверх и опять зависал. Над ним высоко-высоко не спадающими снежинками мерцала стайка голубей. Найден свистел длинно, нажимно. Свист был пронзительно силен, по лицу Найдена от подбородка до бритых висков напрягались желваки.

Платоше казалось, что он видит, как острие свиста накаливает рыжего голубя, и нехотень вдруг двумя-тремя нырками припадает к стае. Стая подпустила рыжего. Тот подходил то с одной стороны, то с другой и магнетически тянул за собой. Стая растяжно колебалась, подавалась, но вновь собиралась и захватывала рыжего.

Но удивительной повелевающей силой обладал свист Найдена-старшего, он достигал рыжего на такой провальной высоте, куда нельзя было бы докричаться, и голубь, Платоша видел это, не мог послушаться.

Забыв о ломоте в горле, Платоша глядел вверх и повторял про себя: «Он т а к о й, Найден-старший». И переводил взгляд на бритый, вздутый висок Найдена. А рыжий хлопотал, гнул к земле стаю, и голуби шли, шли за ним, точно повязанные невидимой нитью.

Найден воровал стаю, и Платоша глядел на это действие, завидуя и свисту, и тому уменью, с которым Найден воспитал рыжего, и той хищной ловкости, с которой Найден на виду у всего мира воровал голубиную стаю, не оставляя за собой ни перышка улики.

...Проездом был дедушка, мамин отчим. Дедушка привез гостинцы: сало и розовые пряники. Он был добр и терпелив, и доброта его была то ли глухой, то ли всепринимющей. Сначала Платоше было легко с дедушкой, а потом все труднее, Платоша внюхивался в седую бороду, пахнущую овчиной, наблюдал, как дедушка улыбается, как влажно темнеют рыжеватые волосы вокруг губ. Дедушка крестился перед едой, движения его руки были мягкими, мягкой была молитва — быстрая, неразборчивая. Мама же все хмурилась, раздражалась на него: то не поддержал ее в споре с отцом, то запах тяжелый, то улыбается, как «иудушка».

Дедушка уезжал через два дня. Платоша с мамой пошли провожать его на автостанцию. Поддерживая мешок большими ногами, дедушка ласково глядел на Платошу. Платоша измучился, он и хотел дедушкиной ласки и боялся ее. Непрерывная долгота, дление этого теплого душевного перелива были для Платоши непосильными, и ему казалось, что когда-то же наступит конец. Но конца все не было, дедушка был ровно ласков, и Платоша терялся, вертелся, не умея понять, чем же он продолжается в дедушке, если тот не устает одаривать его добротою.

Толпа в грязном сквере перед автовокзалом была густой, но от крика раздалась сразу. Двое били Найдена-старшего. Платоша узнал его по нежному кошачьему рту, по вздутым височным желвакам. Найден не выпустил из рук чемодана, отмахивался, губы взъехали над зубами, дедушка сказал: «Ай-ай-ай, где же милиция?» Мама сказала: «Так ему и надо, бандюге».

Найдена били уже ногами, он бросил чемодан. Платоша увидел, что в чемодане дырки, и понял — это для того, чтобы голуби не задохнулись. Чемодан тоже пинали ногами, и крышка открылась. Голуби кувыркались, подпрыгивали, но не взлетали, а разбрелись, воркуя, мурлыкая. Но вот раздался свист, Найден улыбнулся-ощерился и побежал в своих сапожках-гармошечках, в разорванном пиджаке. Ему свистели раз за разом, а дедушка уже спешил в автобус, проталкиваясь, нянча мешок. Платоша торопливо искал

его лицо в окне, он хотел увидеть дедушкину улыбку, хотя так и не узнал, для чего она. Мама была замкнутой, терпеливой. В сквере опять засвистали. Голуби, охлопывая холодный мокрый воздух, медленно, как бы подсыхая и легчая на лету, поднимались вверх.

Однажды утром Платоша увидел в окно такой густой туман, что деревья на другой стороне узкого тротуара, казалось, двигались и гнулись, как пластилиновые. Туман прижимался к стеклам, натекал на углы дождевой влагой.

Платоша перебежал к окнам холодной веранды. Во дворе он услышал голос мамы, она разговаривала с каким-то дядькой. Потом она вошла, сбросила калоши. Лицо у мамы было напряженное, влажное.

— Скорей, ой, скорей, — сказала она.

В комнате она потянулась к черной тарелке репродуктора. Музыка звучала тихо, словно ветер дребезжал ослабшей черной бумагой. Мама поставила на стол швейную машинку. Платоша знал уже, что это «зингер», машинку родители привезли из Германии. Мама достала из-под крышки сундука красную материю, развернула, глядя на свет. Это был флаг. Платоша спросил:

— А какой сегодня праздник?

Мама сказала:

— Сталин умер.

Платоша взялся за ручку машинки.

— Можно, я буду крутить?

— Пожди, подожди, — сказала мама раздраженно. Она раскинула флаг на столе и опять полезла в сундук, поворошила, вынула лохматый кусок черного материала. Прикинула по краю флага, отрезала. Она прикладывала черное на красное, но машинка не брала. Мама доставала из ложа челнока остроголовую шпульку, перематывала нитку. Машинка, тупо тыча в материю иглой, заикалась, спутывала тугим комком нитки. Мама нервничала, чертыхалась. Стал нервничать и Платоша, он почему-то сразу понял, что надо торопиться вывесить флаг над воротами. Вывесить первыми! Платошу заразил азарт. Он крутил по сигналу мамы ручку, рука уже болела, а машинка не брала. Мама рвала спутанные нитки зубами, лохматила черный материал, дёрывила полотно флага.

Наконец машинка пошла. Платоша, меняя руки, крутил, мама придерживала колесо. Все было теперь хорошо, плавно. Черный материал ровной ленточкой приклеивался к полотнищу. Теперь уже все, теперь уже они успели первыми, теперь Платоша похвастает перед Олькой: не она делала подарок Сталину, а он. И папа за это даст поиграть с пустой кобурой.

Платоша нес древко, мама тащила лестницу. За воротами было пусто, туман отошел от домов, улица просветлела, лишь в пустых кронах деревьев висела влага частыми каплями и по верхушкам цеплялся облачный пар.

Мама вставила древко в железную петлю, раскрутила полотнище. Платоша любовался, удивляясь, что во дворе пусто, что никто не вышел на праздник. Мама сошла с лестницы, откашлялась, сплюнула. Платоша помог утащить лестницу. И только когда они разделись и вошли в комнату, Платоша вдруг понял, как все время торопилась мама, как она не смотрела по сторонам ни во дворе, ни на улице и даже как-то странно вмяла, разгладила следы, оставленные в грязи ножками лестницы.

Пришла Ольга, и Платоша с завистью слушал ее рассказ о траурной линейке. Папы он не дождался, уснул.

На следующий день Платоша проснулся от кислого запаха. Из розового поддувала вытекал струями дым. Мама была в другой комнате, он слышал ее шепот. Платоша испуганно притих. В печке затрепало, дым пошел гуще. Платоша крикнул: «Мама, печка дымит!» Мама быстро вошла, дернула заслонку и так же быстро вышла на веранду. Платоша видел, как она, вглядываясь во что-то за окном, ходит по веранде. Платоша быстро оделся. Вошла мама, громко сказала: «Ах ты старая сука!» — и припала к стеклу, высматривая кого-то влево, вправо. Платоша забрался на подокон-

ник. Улица была пуста, но туман ушел. Только высоко в небе бродили, медленно клубились серыми тенями сплошные облака. Вбежала Оляка, закричала:

— Она по двору ходит! Молитвы шепчет!

Лицо у сеструхи было испуганное, вздернутое какое-то. Мама молчала.

— Ладаном кадит! — крикнула ей Оляка.

— Не ори, дура чертова. — Мама метнулась на веранду, потом на улицу.

Оляка, скидывая пальто и платок, шептала:

— Бабка Щерепа у нас под дверью кадила, потом под окнами, молитвы шептала, сейчас по двору бродит, грозит нам и проклинает!

— Зачем?

— Чтобы нас боженька наказал, — усмехнулась зло Оляка, — чтобы мы сгнули!

Что-то страшное подступило к окнам, к двери.

— Папа придет, он ее посадит! — шепотом сказал Платоша.

Но когда Оляка злым голосом мамы сказала: «Сумасшедшая богомолка!»

— Платоша понял: что-то — запахом дыма или запахом таинственного ладана — проникло к ним в дом, в комнаты, заразило свет.

Вернулась мама, твердя:

— Сволочь старая! Ладаном кадит?! Выселю паскуду!

Но лицо — Платоша видел, чуял вдруг истончившимся, ставшим точно одно огромное ухо нутром, — лицо было растерянным, даже беспомощным. Он уже знал маму уверенную в очередях, решительную на рынке, знал ее звонкий, неколеблющийся голос, знал ее крепкие руки, разминающие тесто, знал ее глаза подмигивающие, зовущие кушать и нахваливать, — но такой беспомощной, притиснутой к пустоте он ее не знал. Не вопросы мучили Платошу, а темнота, зараза таинственной силы мучила.

Они были виноваты. Платоша и раньше, по детдому, зная, что такое быть виноватым. Но он умел увиливать, хитрить, переложить вину. Его стыдят, а он не краснеет, он смотрит в глаза или откатывает глаза на сторону, он всегда мог изловчиться так, будто там, где он только что совершал нечто постыдное, его не было.

Грехи, которые возможны были наедине с самим собой, он совершал без зазрения совести. Он просто не знал, что бывают грехи перед самим собой. Проступок же, случившийся при свидетелях, на людях, переживал, стыд возникал в нем как агрессивная реакция: Платоша выкручивался, виноватил всех вокруг, перебарывая осуждение.

Граница, которую положила бабка Щерепа ладаном между их домом и двором, улицей, оказалась непереступаемой. Бабка ходила, согнув спину в тонком сером пальто, кадила угольками, шептала: «Изыди, сатана! Рога кровавы, глаза лукавы, семя змеиное, тьфу, тьфу, тьфу!» — и Платоша с внутренним холодным страхом понимал: ни его умения, ни его хитрости не хватало, чтобы выскочить за эту границу, а значит, вина их семьи неоспорима.

Папа пришел поздно, ввалился на веранду, упал. Мама дергала его, толкала в затылок, ругала: «Сволочь, пропойца, перед людьми позоришь!» Папа ворочался, гремел сапогами, пытаясь поймать каблук одного сапога носком другого, и все говорил: «Тихо, тихо». И это безумное повторение, и огромная спина, с которой мама сорвала китель, и голубые глаза, тупые, красные, словно заплаканные, — все стало бедой. Расплакалась жалко, по-детски мама, Оляка, стягивая с большой ноги отца сапог, канючила: «Ну папочка, ну перестань!» В комнате был густой полусумрак от желтого пламени керосиновой лампы. Скользящий угольный язычок вертелся над кромкой лампового стекла, схватывался тьмой. Папа протянул руку и положил ладонь на голову Платоши. Платоша отшатнулся — от отца пахло страшным запахом ладана, «святым духом», липким, нерассеиваемым, телесным запахом греха.

Кончаю цитировать. Я не строю обвинительную речь. Задача у меня иная. Я знаю вас, т. К-ов, вам хотелось бы иметь заповедник нравственной чистоты,

человеческое детство, где добро было бы добром, куда вы могли бы ходить отдыхать душой. Райский сад незамутненных чувств, чистый источник вдохновения. Чтобы, вспоминая детство, вы, как о. Флоренский, пили нектар откровения. Я представляю, как волнение холодит вашу безволосую, как у Адама, грудь... Не получится, т. К-ов! Разве помнит человек муки своей матери? Помнит ли ее крики, ее боль, помнит ли ту муку, которую испытывал сам, сдавленный костями и мышцами? Помнит ли, как сам орал, хватая еще не легкими, еще жабрами, мокрыми, теплыми, раздрающе сухой воздух? Нет, он помнит только свет. Но это вспышка взрыва. И всю свою жизнь человек будет улепетывать из эпицентра, настигаемый то видениями, то запахами, то головами. Человек есть протяженный во времени взрыв (какая уж тут гармония!), взрыв такой мощи, что ударную волну и разрушительную силу его способно погасить лишь небытие.

Коли подвернулось слово «чудовищный», не могу не процитировать. Мандельштам: наступил век воспоминания — век релятивизма с чудовищной способностью к перевоплощению.

Вы скажете, что над миром гуляет Метод, что по улицам разъезжает Схема, что юродивые говорят о провиденциальности. А для меня это обыкновенная жизнь. Вам не понять меня, вы воспитаны подобострастной литературой, напевавшей вам о сюжетах и гармонии. В жизни нет места сюжетам. К чему бы я ни прикасался, на что бы ни посмотрел, все превращается в «электронное облако». Оно не прах, не золото, не схоластическая игрушка. Оно есть «тонкая подстройка», положившая предел хваленому логосу.

Страх — самая ранняя и самая активная форма приспособления. Перво-страх перед незнанием мира (незнание — неточное слово. Сознание — как вотканная частица мира, и каждая нить сознания — оно само. Это страх исчезнуть в равновеликости). Этот страх противоположен страху перед познаваемым миром, перед конечностью существования.

Религия возникла на этом чудесном страхе, на онтологической непреднамеренности. Но заменила его рациональным страхом смерти: живую, мощную силу первостраха подвела под котлы ада.

Экстаз — выход к онтологическому страху детства. Детское самопугание — чистейшее чувствилище страха. Все религиозные выходы — выходы к освобождающей стихии детского самопугания, восторгу открытости.

Вдумайтесь, т. К-ов: из моего прошлого ни одно мгновение вас не заинтересовало. Вам не нужен мой опыт, значит, я мог бы и не рождаться. И это вы сказали мне (нет, не прямо, но намеками все!), у которого только одна жизнь и только одна голова. Вы доказали, что моя жизнь не нужна... Вас не ужасает род ваших занятий?

Кутят топили все — и консерваторы, и демократы, и правые, и левые. А я выплыл и прозрел. Почему же я обязан думать так, как вы? Потому что вы вкусили тонкую культуру? Потому что вы вовремя получили нужную литературу? Потому что вы получили наивысшее (московское!) образование? А вы знаете, что происходит с человеком, если «Дон Кихота» он прочел впервые в двадцать пять лет?..

Пусть я графоман и псих, но позвольте мне усомниться в этом хотя бы в те часы, пока я о с о з н а ю себя в ином качестве.

В одной из своих статей вы толковали, что такое «соль на топоре». Это не образ, т. К-ов, это образ действий, это значит, что топором завтра же воспользуются.

Я представляю столицу воронкой, закрученной вверх. Чтобы подхватило и завертело, надо войти в струю. Но ведь большая часть щепочек, мусора плывет по течению, минуя воронку. Вас там вертит, а мы тут медленно плывем мимо. Каково вам все это видеть? Вы нервничаете, вы упрекаете провинцию в животном существовании. Но то, что вам видится пространством, на самом деле время. Хроническая степь и перловая каша человеческого существования. У дорог вид временной и случайной связи. Чтобы из глубинки попасть в райцентр, из райцентра в область, надо потерять кусок жизни. Кто создавал эту связь? Кто мечтал дать выход, а завел в тупик? Люди живут гусеничным сцеплением с землей — ничьей землей.

Ничейные люди. Что держит их в станицах, во дворах? Чьим обманом они заворожены? Они обменивают детей на торопливую выдумку о городском счастье.

Они приняли жизнь как смерть. Но это не смирение перед судьбой, это смирение перед ритуалом.

Вот почему их нравственность чиста. Чиста гробовым безразличием.

На фундаментах, поросших травой, ушедших в землю, так и не дождавшись надстройки, выросло у нас не одно поколение.

Неделю назад на пустыре пацанва гоняла мяч, вытаптывала траву, дралась так на так, играла на деньги и на шелобаны. Сегодня пустырь отбит кольщиками, обозначен волосным шпагатом.

Первые ленивые лопаты только сбивают траву, рвут корни. Верхний слой пыльный, парни-землеройщики отплевываются и курят чаще, чем надо бы. У них сухие затылки и медленно ходят лопатки под выгоревшими майками.

Упорство, с которым сорняк впивается в землю, раздражает рабочих, им кажется, что чертополох соревнуется с силой их мышц и хваткой рук. «Ударь меня киркой, — говорил сорняк, — я и сопротивляться не буду. Срежь меня лопатой — я и не почувствую смерти. Так велика твоя сила надо мной, так несоразмерно велика, что меня снесет с земли, как сносит головку одуванчика твое дыхание». «Врешь, — хотел бы думать раздраженный рабочий, — одуванчик подготовил семена к порыву ветра, а ты мне только работы прибавляешь». «Не я тебе работы прибавляю, а трактор, который не пришел. Тебе за это денег набавят, но все равно сидит в тебе и саднит недоумение: для чего заменяли машину на твою лопату?»

Но вот уже чернеет прямоугольник будущего фундамента. Рабочие перебивают кольщики, перетягивают шпагат. В ход пошли ломы, земля вздрагивает под ногами, подземные камни в белых ссадинах выкатываются на свет божий, и под камнями колечками вьются розовые черви.

Ощущение смерти мимолетное, только на два-три вдоха, вместе с запахом подступившего сока земли.

Потом рабочий машет ломом уже азартно, один машет, другие курят, выжидая. Позвоночник рабочего гнется легко, мышцы на спине пластинами передвигаются вверх-вниз, рабочий машет, гукая так же, как гукает земля, отдаваясь лому. И мысли у рабочего исчезают, он только то и знает, что земля под ногами все влажнее и прохладнее и ногам все мягче — и мягкая прохлада подступает сначала только под щиколотки, а потом выше, до подколенок, и еще выше, сверх коленей. Потом другой рабочий выхватывает землю рукастой грабаркой, держа ее широко — одна ладонь у конца черенка, другая почти у насадки. Земля ленивой птицей срывается с лопаты, на мгновение зависает над краем котлована, словно ослепленная небом и пустырем, блеском белены, дикою паслена, зелеными лужами лопухов, и вдруг распускает свои мгновенно подсохшие на ветру и солнце земляные крылья и, неумело паря, рассыпаясь, легко падает на отвал.

Рабочий копает так, будто хочет ногами посадить себя в эту землю. Ноги через прорванные сандалеты чувствуют влагу, холодок, глину, мелкие камни и ищут опоры в темноте, в тишине, покое. «Э-эх, мать!» — говорит один рабочий, отправляя в полет очередную лопату земли. «Х-хе! — говорит насмешливо другой, плоским концом лома поддевая камень. — Ха!» — досказывает он свою тайную мысль, вгоняя лом в землю граненым концом.

Рабочий с грабаркой — худощавый, лет тридцати. Лицо маленькое, загорелое, глаза голубые, а под темно-коричневыми веками еще голубее. Он матерится как сплевывает. Теперь он упер черенок лопаты под мышку и закурил. Он не думает почти ни о чем, не представляет себя деревом, но чувство у него такое: пальцы свободны расти и ветвиться, и ногти готовы вцарапываться в землю, и щиколотки вот-вот пустят гибкие, крепкие побеги. Он знает про себя, что сейчас, в перекур, дышит душой, у него есть душа и только душа. Когда ему мутно, он теребит кожу на груди, под которой, как глаза под веками, ноет душа. Если он выпьет, то хорошо на душе, если гадко с похмелья, то гадко на душе. Он не знает своего тела без души, душа в каждом пальце, в

каждой ссадине на костяшках. У него язва, он не лечит ее, потому что лень, а лень идет от его души. В нем все одушевлено, он терзается только душою и даже всякое телесное отправление у него переплетено, перебито душою и отчасти растворено в душе.

Звать рабочего не то Коля, не то Саша. Фамилия Здыбайло или, может быть, Ершов. Подпись, которую он ставит в ведомости, еще не отработана, он всякий раз путает заглавную букву. Почерк корявый, но в конце подписи всегда ставит крючок. Почему крючок? Вот допишет и, прежде чем отложит ручку или карандаш, обязательно подцепит последнюю букву на крючок. Чернорабочий, грабарщик, давай-кидай, но крючок в подписи. Чтоб не спутали, но, главное, чтоб не подделали. Не всерьез думает, но в последний момент все же решает: у вас так, а у меня этак.

Брюки его затерханы на коленях и заду до серой желтизны. Жена ни за что не стирает, да он и не подумает носить их чистыми. «За коим чертом, если завтра в котлован?» — думает он, сидя с кружкой пива на кирпиче. Жить ему неизвестно сколько, он об этом не думает, душа мешает думать, душа все время играет, все время чего-то просит. Он любит убивать ее работой, бьет киркой, лопатой подбивает, давит, но знает, что она все равно очухается, очнется. А так — ничего.

Потом накатывается трактор с подвесным ковшом, размахнется, всадит ковш в угол котлована и вывернет полдня ручного мудоханья. Потом еще и еще, тыркаясь по участку, но рабочим это уже до лампочки, они уйдут, постукивая лопатами о ломы и кирки.

Удивительная черная яма замрет на пустыре, пугая сначала глубоким земляным дыханием, потом дыхание станет легче, суше, потом совсем остановится. Первый же шустрый чертополох заглянет в яму, покосится лиловой головкой и застынет, гордо и презрительно торча над самой кромкой, даже чуть наклонившись над ней.

Потом кладут фундамент. Не кирпичный, а каменный. И чудо совершается на глазах: бесформенные куски серого или голубого камня, выбитого взрывами в соседнем карьере, еще пахнущие едким дымом, дядечка-каменщик, почти мальчик ростом, укладывал в раствор так ровно, так точненько подгонял, что у наблюдающих пацанов захватывает дух. Им кажется, что как ни своевольна природа, каменная в своем характере, но вот попадает камень в руки дядечки в кепочке с пуговкой, белой от солнца и дождей, белой своей красивой ненужностью или, может быть, совсем наоборот — белой от частого употребления: кто же знает, может быть, эта пуговичка пристегивает кепочку, а с нею и голову, и загорелое лицо с голубыми глазами к самому воздуху, — вот каменщик повертит в руках два бесформенных камня, поглядит со всех сторон и, не напрягая фантазию, быстренько обнаружит в случайных обломках такие закраинки и выбоинки, что подкинь чуток раствора — и камешки прижмутся друг к другу, как родные братья.

Так и растет фундамент, так и обозначают каменщики кто дверь, кто окна, кто комнаты... Впрочем, чаще всего кладка не поднимается до окон. Так только наметят комнаты, коридоры — свернут работу, заберут мастерки, ведра, сетку, через которую просеивали песок, носилки-ванночку, в которой носили раствор, и исчезнут. Поначалу кажется — ненадолго, ну, кончился раствор, не подвезли камень или, гадают пацаны, навзрывали камней, какие верти не верти, а подогнать нет возможности. Думают пацаны, гадают, ходят вокруг кладки, вечерами сидят, или играют в жучка, или курят. Но пройдет неделя, потом две недели, и тот чертополох, который первым заглянул в котлован и которому один из каменщиков успел-таки отбить сизую головку гибким мастерком, — чертополох выправился, заматерел, обзавелся другой сиреневой головкой, мохнатой, колючей, и вот он уже приподнял свое сильное древесное тело, оперся когтистыми листьями о края кладки. Он как бы почувал, что исчез запах влажного раствора, что камни, подогнанные хитростью маленького каменщика, схвачены намертво, солнцем выцедило влагу, на боках кладки по стыкам обозначились мозаикой сплетенные линии. И только капли раствора, натеки раствора, как некое молочно-кисельное нутро, будут проступать из-под камней уже и не голубых и не белых — желтоватых, с коричне-

выми или даже черными потеками. Все остановится, установится, замрет, чертополох обопрется о камень и тоже закаменеет. Навсегда, потому что уже никогда не вернутся сюда каменщики.

А так как все это произойдет в конце лета, то у пустырного семейства сорняков еще будет время для быстрого и безнаказанного наступления.

Лопухи подбегут к низкой стеночке, но только почешут свои пупырчатые уши о камни, может быть, прислушиваясь к запредельной тишине недостроенного здания. Потом поднапрят жирная амброзия, а следом конопля. Податливые веревочно-крепкие их тела навалятся на камни, с дикой враждой стремясь сломить геометрию углов и линий, и надавят-таки и если не сломят, то замутят, прикроют, упрячут. И если дворовый кот, что перемахивал на пустырь через деревянный забор, раньше мог спокойно гулять прямо по кладке, наслаждаясь сухостью и солнечностью человеческого труда, то теперь он, серозеленый, в полоску, с поджатыми от брезгливости ушами, ходил по кладке, цепляя мохнатые кудри сорняков, отряхиваясь и шевеля усами, присыпанными жирной пылью конопля или дикого паслена. Умер фундамент, умер камень, вздумавший было мечтать о гармонии, возмнивший, что в мире все возможно, а значит, возможно единым выдохом взрыва вырваться из нутра карьера и перескочить на пустырь, где и залечь гармонической частью красивого и полезного целого. Дудки. Ушел фундамент под сорняк, потерял свою самостоятельность, замахрился. Кузнечики на нем почесывают трескучие брюшки, подговаривая самок к самозабвенной и погружающей мир в беспамятство любви.

Вот сюда и сбежал Платоша от примерки школьного шерстяного костюма. Костюм — точно хищное животное прыгнуло вдруг на него из темноты будущего, накрыло, дразня приманками — ремнем со сверкающей бляхой, фуражкой с холодным смоляным козырьком. — но прыгнуло, сцапало, и никогда раньше не знал Платоша такого душевного, безвыходного состояния, не знал, что есть будущее, что оно у него всегда было, как свобода жить в завтра, и вот это будущее у него отнято, превращено в нечто подавляющее.

Платоша прятался в душном, простеганном мошкаркой уголке, долизывая слезы. Над ним сквозь сыпучие султаны и сухие головки горбилось и скользило небо, уже подтекающее первыми капельками-пятнами подступающей осени. Ох и туго было Платошиной душе, где под вздохом, в животе, он минутами терял сознание. Ему мерещилось нечто некогда испытанное, но забытое и теперь подступившее, и как пятна синей осени просачиваются в сухом августовском небе, так и это телесное воспоминание просачивалось в голову и на лицо, и было Платоше хорошо и обморочно, и он сорвал ягодку дикого паслена и только прижал ее под языком, как вспомнил это телесное чувство — это было чувство впервые вздернутой крайней плоти над возбужденным основанием, вот что это было. До какого-то мгновения жил Платоша и был скрыт ото всех, был сам в себе, играл со всеми, подворовывал, но имел в себе тайну, а пришел пацан с лицом узким, покрытым белыми лишайными пятнами, и показал, как это делается, и Платоша потянул, сморщился, еще потянул, и то, что раньше напрягалось и опадало в слепоте, под тупыми пальцами Платоши вдруг садняще, резко отошло, обнажилось незрячей, но уже просящей света головкой...

И вот, прижимаясь сгорбленной спиной к углу умершей кладки, Платоша вспоминал это первое, невозвратимое чувство, вспоминал, минутами теряя сознание и не умея сознание это потерять, сознание липко хваталось за световые игры солнца, ластилось к листьям паслена, к влажным пятнышкам неба, к запахам и шелесту. Это было невозвратно, до слез обидно, но Платоша не знал, почему же это обидно. Что из того, что он распорол шитую природой плоть, задрал ее, обнажив мгновенно высохшую жадную мышцу? Что же такое произошло, от чего Платоша теряет сознание и не может проникнуть под него, чтобы вновь и вновь почувствовать себя тем — слепым, чистым, не таким, как все?

Для нас не слово было началом, т. К-ов. Началом был свет, солнце, наставниками нашими были деревья.

А лето было садом, потакающим нашим прихотям. Мы поднимались по склону лесистого холма и зная и не зная о предстоящем. Небо голубое, истонченно-светлое открывало одну голубинку за другой. И вот мы топтались уже на маленькой макушке холма, просторного с одной стороны и теневого, где стояли две старые сосны, — с другой. Одна из этих сосен ждала нас. Густая, с обломленной вершиной, она пошла вширь, плоской вершиной раскинулась над макушкой холма. По команде мы взбирались на сосну, распределяли места пилотов, штурмана, стрелков. Взлетали незаметно, возбужденно, но, поднявшись над холмом, вдруг видели и долинную степь, и белые, светло-желтые святающиеся стены домов, и, ниже, тонкие трубы завода, куски густого, как вылепленного, пара. Там, где были дома, было тихо и уютно, там игрушечно катились машины и медленными столбиками-спичечками шли люди, там и солнце было другое — неяркое, стесненное собственной мягкостью. Там было наше прошломинутное, каким оно и должно быть, когда оно отдаляется, словно сердцевинка молодого ореха: распавшаяся зеленая скорлупа, терпкий, предвещающий солнце, пятнающий сок, пугающе йодистый запах, отбитая твердая скорлупа — слепок памяти, и сама память — солнечно-сочная, молочная, с пенкой-пленкой сердцевинка.

То ли небо наклонялось над холмом, то ли сосна наклонно простиралась ввысь — мы замирали, прижавшись к стволу, к мягко-колючим веткам. Воздух уплотнялся, нас подхватывала накатанная, льдистая синева. Сосновое крыло, шелестя зелеными перышками, несло нас в мир, где свет и тени менялись, точно глубины — одно за другим, — и открывали неожиданные физические силы освещения. Солнце, мячиком следуя за гибким пространством, было всюду. Синева играла солнцем. Цель все время уходила от нас, и мы падали и падали в одну глубину, в другую. И холмы высветлялись, уменьшались, растягивались, сливаясь с густыми тенями негустого леса и полей. Свобода света, тени, дыхания, чуткого к шуму слуха, трепет и страх перед ускользящей целью и опять гнущееся, то выпуклое, то вогнутое, небо и почти растекшееся, переставшее быть, но не переставшее сиять солнце — все это длилось бесконечно и было почти бесконечностью. Хотелось кричать, но мы молчали, хотелось прыгнуть вниз, но мы поджимали ноги, крепче цеплялись в ветки. Пахло смолой, смола липла к рукам, на губах, на языке, в горле стоял горько-кислый вкус. Это был вкус и запах самой высокой точки полета. Мы настигали цель на самом пределе терпения. Мы поражали цель, мы поедали ее глазами, хватали зубами, мы уничтожали ее прямо в воздухе. И тогда наступала тишина, и сосна на бреющем полете возвращала нас назад. Солнце подтягивало разбредшиеся лучи, обозначая дорожку сквозь темнеющую синеву. Сосна приземлялась, янтарно-коричневым стволом входила в оранжевую точку среди бегущей под ветром травы. Онемевшие, мы прыгивали на землю — еще надмирные, еще не привыкшие ходить и смотреть. Смола на ладонях и коленках была следами перенесенной лихорадки. Вместе с дыханием из нас исходил величественный, многомерный, как страх, восторг.

Или старый дуб на срезе оврага — добродушно-раскидистый, расстворенный в метре от земли. Один ствол, дугой изгибаясь, выносил крону далеко от материнского тела, другой шел рядом, змеясь, потом отстранялся и, так же змеясь, горизонтально рос вдоль желто-голубого среза оврага. Третий ствол рос высоко вверх, поднимался на уровень кромки оврага, вдоль которой притерто шла тропа.

На дуб мы взбирались с вершины оврага. Надо было сделать два-три шага по протоптанному нами суку. Это были захватывающие шаги. Это были необходимые шаги мужания. Шаги риска — как входная плата в мир старого дуба.

Но прежде мы вооружались. Мы облюбовали куст бузины. Каждый выбирал себе стебель — по толщине, по древесной сухости — и вырезал заготовку длиной в две ладони. Заготовку чистили, пробивая тугую вату сердцевины проволокой. Свистя, скрипя, сердцевина выползала, обнажая сверкающее сквозное горло.

Шомпола вырезали из прутьев алычи. Кто посильнее, старался отнять матерую ветку, и так, чтобы сразу была и рукоятка и шомпол. Рукоятка либо рогатинкой, либо узелком, но чтобы удобно сидела в руке, крепко, слитно.

Шомпол очищали от кожуры, от узелков, терпеливо обтачивали кусочками бутылочного стекла. Тоненькие пружинки стружек искрились, разлетались от нашего дыхания. Шомпол делался сначала влажным, прямо, ровность его мы проверяли губами, языком, проводя от рукоятки, слизывая сладковатый едкий сок, загадочно не похожий на сок алычовых ягод. Набивали шомпола на твердых камнях. Не на кирпичах, а именно на камнях, на каменных ступенях. Набивали, старались не торопиться. Знали, что от тщательности набивки, от аккуратной разлохмаченности зависит сила оружия. Плюя на кончик шомпола, били и били, опять плевали или клали в рот и насасывали, опять языком, небом проверяя толщину набивки, ровность махров.

И вот уже кто-то первым вкладывал шомпол-поршень в пушку, проводил туда-сюда, густо плевал в трубку, опять проводил, уже зажимая пальцем выходное отверстие. Хороший шомпол-поршень упирался в спрессованный воздух, и торжествующий воин показывал нам, как нагнетенное дыхание медленно выдавливает поршень обратно.

Когда шли по склону оврага, солнце грело спины, затылки. О чем-то говорили, даже спорили, но так лишь, словно птицы, — подавали голоса, выкрикивали, держа друг друга в стайном напряжении.

На дуб можно было взобраться и по стволу, и такие иной раз находились — малые, слабые. Но мы шли вверх среди густой стелющейся травы и с кромки оврага над пяти-семиметровой высотой один за другим, точно птицы к гнезду, пробегали по проторенному суку.

Сначала мы опробовали пушки. Срывали зеленые сверкающие желуди, откусывали чашечки, зубами очищали зеленую, вяжущую корочку и забивали в пушку с двух сторон. Тут напряженно и завистливо каждый старался ахнуть погромче — кто с руки, кто ударяя ручкой поршня о ствол... Выстрел бил громким, с дымком, с сухими древесными брызгами. И сразу начиналась перестрелка. Заряды били чувствительно, жгуче, надо было прикрываться, уворачиваться. Входя в состязательный раж, кое-кто уже заряжал пушку нечищенными желудями, и не половинками, а целыми. Такой заряд бил мучительно, а стрелок вдруг превращался в агрессора, налетчика, норовя согнать всех с дерева.

Волна игры проходила, как долгий порыв ветра. Мы успокаивались, отплеывая слюну горькую, крупитчатую. Ветви дуба затихали, листья повисали нетревожно. И тогда небо милостиво приближалось к нам. Мы возвращались из очередного небытия, приступ еще бродил в наших мышцах, мы с трудом отделяли себя от веток, отличали ладони от листьев, от коры, губы, язык — от вкуса и запаха желудей. Мы не замечали неба, но оно было возле, оно стелилось вровень с оврагом, круто падало в желтый разрез; чисто и свободно показывая нам, как высоко мы сидим и как тонок — почти сухая веточка! — сук, по которому нам возвращаться на землю. Мы не замечали неба, но оно сверкало в листовых просветах, оно зеркально натекало на склоны, оно делало тонкими ветки дуба, трепетными, ненадежными. Кусочек земли — измельченные глубоким разъемом камни, — которую жадной корневой жменью удерживал дуб, уплывал из-под ствола.

Трезвея, мы поглядывали вниз. Выходило так, что, боль, которую мы наносили друг другу горячими пушками, нужна была нам для того, чтобы отвлечь друг друга от этого тяжелого, губительного страха высоты.

Притихшие, мы осторожно спускались по стволу.

Ни один наставник не изощрялся ради нас так, как делало это над нами небо. Оно не было ни счастьем, ни несчастьем. Оно было временем — длительным дыханием. Оно было, как бытие в забытии. Только зашнуровать тапочки и глянуть вверх — холм, как обвал неба; запах листвы и собственного тела. И еще ветер — чем быстрее по тропинке в гору, тем прохладнее и упруге. И горячая голова бездумна, и трепет ветра в волосах, в стриженном затылке. И торопишься полубегом через рытвины, вдоль овражного надреза, по сыпучим краинам, оскальзываясь, вверх; не задыхаясь, потому что дышит грудь, дышит лоб, лицо. Воздуху — вольного, опрокинутого над склонами, над головой, мерцающего, мерцающе-пылящего, — много воздуху... Но где же

небо? Куда оно девается, куда прячется и как далеко уходит — тает! Художники ходят следом, плутают, столбенеют в самонаваждении (о, свежи, о, густы краски! еще чище, еще чуть-чуть, вот оно, почти у щеки, почти у ресницы, как дыхание, снято с освеженных пастонозубов). Уходит небо. Не дается. Ибо нет, не цвет, не дыхание цвета, не свет камней у вершины пологого холма.

Сколько синевы у мадонны Литты. Но подле нее я понял, как ловко, как изощренно обманул да Винчи. Он охватил небо тяжеленными стенами, он дал закату два овальных окна, он дал горам играть, как детям, туманной синевой — играйте, вечные, дуновением облаков. Он отдал лицу мадонны такую нежность, что она истаивает вместе с оранжевым закатом. (Восходом, господи, восходом!) Он дал рукам мадонны сосущую тяжесть младенца. Чистейшее любопытство и здоровый голод соперничают на его черноглазом лице — он тает вместе с мадонной. Но ведь вокруг свет и небо, и горит, сыплется, повисает над всем полотном сияющий свет синевы — где же она? Она погасла в плаще, она еще теплится в красной тунике, дымится над расшнурованной грудью. Она густеет надо лбом, вспыхивает в волосах младенца. Она струится, тонким течением, течет по всему его телу — синева неба, легкий дымок младенческого дыхания. Но — где же она? А, вот же, она еще в том, как отстранился, любопытствуя, младенец, как он забыл и грудь, и мать, и голод. Он насытился, но продолжает сосать из жадности, но уже достаточно сыт, чтобы высвободить любопытство, чтобы в глазах вдруг проглянула мысль — голубые по черному яблоку глаза. Мысль такая страстная, охватная, как сам господь-свет, что забыта и мать, и весь мир забыт, и руки мадонны, и земной изгиб стены — все забыто и отстранено голубым любопытством сосунка. И еще один взгляд — и я вижу улыбку Литты, вижу, как тянется и длится ее улыбка, как тихо, пахуче дышит испаринка на лбу и в кудрях младенца.

Мы не культурно развивались, т. К-ов, мы обходились без метода, нами играло небо, мы дети природной стихии и человеческой — как природной. А вы дитя методологии. И в этом ваша беда — подлинная, человеческая беда. Но вам этого не понять. Вы знаете лишь торжество метода (= сознательное непонимание других миров), вы, как агрессор, вводите методологию всюду, где еще дышит живой материал, где есть еще благодатный беспорядок.

Я представляю вас младенцем на руках. Вы чем-то азартно отвлеклись, но соска не отпустила (ах, какие жадно-липкие, какие прикровенно-бесстыдные бывают у младенцев рты!), вы забыли и культуру, вскрывшую вас, и мироздание, и столько любопытства в ваших темных, трезвеющих испяна глазах! Все бы вам простил за это любопытство... если бы не ваше барское (= животное) пренебрежение той, которая лелеет и кормит. И если бы не ее всепрощение.

Я ищу пути к наслаждению, т. К-ов. Я хотел бы находить в себе нечто, не разрушаемое ни чувством смерти, ни комплексом неполноценности. Я ищу внутренне неразложимое чувство, а не символы, я ищу себя неотрицаемого, я хочу обнаружить в себе хотя бы две-три точки, не вовлеченные в звездный разбег... Помните ли вы, т. К-ов, что такое восхождение к смыслу? Почему каждое обнаружение, каждое открытие, каждая вспышка сопровождается вспышкой небытия? Как бы хитро, как бы самозабвенно ни восходил я к смыслу, это как снег в светлую, искристую от звезд ночь, падающий на обманчиво бесчувственные ветви; как ни легок, как космически ни холоден кристаллический пух (ну что, что способно ощутить эту снежинку, выкованную холодом вселенной?!), но все равно все же найдется в застывших ветвях самая тоненькая веточка — на отлете от ствола, до которой еще не дошла медленная кровь зимы, — и вздрогнет под мимолетной тяжестью совершенной крупницы. И следом — смерть, тень дерева на сыпучем пространстве снега, мягкое погружение в небытие как сдвиг сознания, уловившего вдруг в небесном струении снега упорное движение вверх, — смерть, брен, мимолетность как дыхание, как мысль и сама мысль, влажная медь в кармане и влага от попавшего в карман снежного дождя...

Теплый световой луч, разъятый вдоль, трубчат, как челоуеческий волос. Разъятый поперек — неповторим, как снежинка, и мертв.

Вы жили этим, т. К-ов? Вот э т и м , встающим сразу за изяществом, за крошкой отшлифованной грани?.. Боже мой, до сих пор не оставляет меня надежда, что только вы и поймете меня... своим развитым нюхом, искусственной в тонкостях мыслью! Но не отворачивайтесь, пресытившись, не уходите, ведь мы едины — вы цельность, я стихия, — слиты. Я хочу рассказать вам, насколько глубоко может быть извращен человек в своих богоданных чувствах... Это было на концерте Рихтера. Он аккомпанировал немцу и был великолепен со своими толстыми пальцами и нижним прикусом. За его левым плечом, почти за спиной, сидела девушка лет шестнадцати. Она следила за партитурой и должна была перебрасывать лист, но опаздывала и волновалась, захватывая, как Рихтер, воздух губами. Немец-певец был в темном, под горло свитере, в очках, с лицом не то пастора, не то офицера. Тонкогубый, но выразительный, выдающийся над подбородком рот. И вздыхал немец резко, как обжигался, но пел жестко, яснослово.

Пение ваяло лицо, голову Рихтера. Она становилась все неподвижнее, замирая рыбьим профилем, тяжелым, придонным существом с почти остановленным временем. И в то же медленное мгновение я видел, что Рихтер ищет дыхания, его грубые пальцы каменщика с хищным изяществом вдыхают и выдыхают, растягивают вдох, чуть-чуть задерживают выдох и стремительно отбегают за свежим глотком.

...Торопливый рывок руки пианиста к партитуре, шлепок листа, словно с гончарного круга подхватывал оползшую глину, — только это грубое рабочее движение возвращало вспять, к неподвижности, к ваиянию.

Я разглядел художника. Он сидел у эстрады и рисовал пианиста. Рисую, он тикал головой, корпусом, подчиняясь какому-то иному, не от музыки, ритму. Этим качанием он усмирал себя, крепил руку, карандаш, тренировал себя, накачивал мышцы той самой хищностью, которая исподволь владела пианистом, чтобы схватить его, напряженного, раз и навсегда.

И потом я уже видел и слышал зал и понимал, что передо мною овеществленный процесс моей собственной мысли — мысли ищущей и восходящей к наслаждению. Это было неумолимое движение, уже не помнящее, что впереди.

Под тикающее покачивание художника весь зал катился к смерти, к распаду. Зрачки девочки считывали ноты как собственную судьбу, узнавая и забывая... Меня колотил кашель, я отупел и выперся из зала.

‡ Знакома ли вам, т. К-ов, такая смерть, возникающая на всяком живейшем витке? Страх страха, как знание незнания. Надо ходить по этим тропам и знать, что спина не защищена, а душа по привычке жметя к позвоночнику. «И вдруг открылась музыка в засаде...» — не хищница, нет, нужна топология страха, чтобы испытывать гармонию как физическое насилие. «...лиясь для, мышц и бьющихся висков».

Мы жили не в городе, а в городке и понимали это. Радиус обозначался местной газетой или радио. Мы знали всех городских пьяниц и проституток, ударников и блатарей. У нас было четкое представление центра городка — пятачка — и городской окраины. Раздражающим придатком был пригородный поселок Хатунок, обслуживающий металлургический завод. На автобусе минут двадцать — двадцать пять под гору. Хатунок в нашем представлении был не только окраиной, это был д р у г о й мир, и когда ветер дул со стороны заводских труб, пороша сажой и мелкой металлической пылью наш городок, мы, внюхиваясь, замышляли поход на хатунских. В ветреные дни хозяйки городка старались не вывешивать белье.

Расположенный в некогда тихом месте среди холмов, полей, лесополос, городок оказался на пути индустриализации. Железная дорога отрезала городок от прошлого. Был горизонт округлым, чистым, обрамленным облаками, стал — спрямленный, мутный, пахнущий серой, шпальной пропиткой и полевой пылью.

От железнодорожного вокзала на Хатунок пустили трамвай. В помощь автобусу. Электричка подвозила и высыпала, автобус и трамвай загружались и доставляли.

...Электричка бежит меж полей, подтягивая людей из окрестных станций. Кто они: казаки? армяне? греки? хохлы? Семейные? Мужчины, женщины? Оторванные от дворов, колодезь, полей, базов, куреней рабочие руки-ноги, они скапливаются на платформах. Электричка, великий нивелировщик бытия, принимает их в себя — есть место, нет места, — отшелушивая времена года, а люди грызут семечки или раскидывают великий русский пасьянс — подкидного. Мужички и мужички, молодые, преклонные, сначала с шуточками, с матерком, но чем дальше, чем длительнее полумертвое просонье, тем тише и однообразнее. На очередных остановках впрыскивается очередная порция шуток, «здоров — здоров», но слаба жизнь и быстро омертвевает. Ближе к городу, к заводу они уже готовы — рабочий люд, чистая память каменных предков, функциональная масса. Нам казалось, что в металлической пыли, зависающей над заводом и рабочим поселком, содержится некая заразная информация, вдыхая которую работяги становились наркоманами труда. Легкий толчок — и они выстраивались вдоль общественно полезной, как железная пыльца вдоль силовой.

Наш городок ощущал эти толчки лишь косвенно, ему еще только предстояло заразиться этой надмирной пылью. А пока что городок держался в себе, и хозяйки, чутко прислушиваясь к поведению ветра, кидались срывать белье, пока заводская пыль не легла на белизну обывательской чистоплотности.

Вражда к пригородным, хатунским, передавалась из поколения в поколение. Мы принимали ее просто, как воздух, насыщенный сажей, как закат, который алел за клубами над Хатунком. Там были они, здесь мы, они были там, мы здесь, они были внизу, мы вверху.

Взрослые обихаживали городок как могли. Они строили или переоборудовали административные здания даже в ущерб бытовым удобствам, создавая или сохраняя себе рабочие места, должности, непыльную работенку.

Кто бы ни затевал скандала из-за неудобств жилья, все знали: на Хатунок он не пойдет. В ход шли ордена-медали, протезы, «жена героя», мать-одиночка, многодетная семья; как ни была глубока неблагоустроенность, мы-то понимали, что на Хатунке хуже.

В городе из года в год усиливалось некое центростремительное давление, и странно было нам, имея за городом поля и холмы, в то же время ощущать, как все меньше свободы, жизненного пространства остается в самом городе. Умами жителей все более завладевала мелкая, суетливая, злобная интрига. Постепенно она стала основным мотивом городского бытия. Мы уже не знали мира вне интриги. Нам в голову не могла прийти мысль, что интриги не должно быть. Отца обошли званием? Интрига! Соседка завезла хороший уголь? Интриганка! Вокруг нас царил бытовой авантюризм. Авантюризм были лозунги. Авантюрой была политика отцов города. Мы знали их, знали их подноготную, знали, с чьей помощью и на какой политической кампании они выдвинулись. Мы знали, кто, где и что ворует. Весь наш двор, как весь город, был повязан взаимным интересом интриги.

Мы читали и «Трех мушкетеров» и Джека Лондона, но нас захватывала не дружеская спайка, а интрига. В дружескую спайку мы не верили. Интрига, которая опутывала книжных героев снаружи, нами владела изначально, изнутри.

Мы с азартом по многу раз смотрели фильмы о разведчиках. Сцены в гестапо были самыми ценными. Нас остро волновал вопрос: что дает человеку силы выстоять под пытками? Преданность, вера, чистый идеал не работали. Нас интересовало одно: как истязуемый сумел обмануть боль? Только эта внутренняя интрига. Как он провел гестапо? Наконец кто-нибудь говорил: «Пойдем по мучаем».

По каким признакам мы выбирали жертву? Полнощекый, веснушчатый, с сине-зелеными глазами Зусик.

Мы хохотали, потому что перед нами корчился и кричал человек, и было все это кинематографично, убедительно. Зусик умел создать сочетание подлинной злобы и киномуки. Мы не щадили, ему было больно, очень больно, он плакал, но сквозь слезы и крик он пытался выказать стоическое презрение

к мучителям. Это было смешно. Мы, играя, причиняли Зусику боль, а он пытался обмануть эту боль, крича и ругая нас. Смешно было то, что он не понимал, что корчится он не от презрения к нам, а оттого, что мы исхитрились оставить его наедине с его болью.

Школа не захватывала нас. Ни один из наставников и не пытался обратить нас в свой предмет... Нет, были одиночки, но мы их быстро раскусывали. Так, был историк-старик, он как-то захватил наше внимание, он говорил приподнято, взволнованно, он шутил и, шутя, нас «катал», и мы вдруг стали понимать и его и даже саму историю — ветхую, давнюю, присыпанную песками забвения. Но через несколько уроков вдруг стало ясно, что старик говорит взволнованно по старой привычке, что шутки его известны всем и что он, обманывая нас добротой, оказывается, уже никого и не помнил.

Мы были стаей, а душа стаи исключает частный интерес.

Мы были телом, и тело напрягалось и звало к действию задолго до появления цели. Если на улицу выходил один, он ждал, томился. Двое — это еще не все, даже трое еще не были полновесной особью. Пятый, может быть, завершал накопление, доводил до ощущения единства. Единства во множестве. Единый запах, единое волнение чувств, смех, пробегаящий по лицам, шутки без слов и готовность положить душу — не меньше — на алтарь стаи.

Загадкой было то, как в стае возникает цель. Все же мы не были животными, нами владели человеческие эмоции, но как — как в нашем чувственном бульоне возникала целесообразность? Внутренние законы коллективизма? Внешний толчок?

При внешней грубости наших чувств и поступков состояния, нами испытываемые, были тончайшими, чувствительнейшими. Мы физически ощущали свет и боялись его, как будто он мог изнутри подпороть оболочку и ты вытек бы, растворился, развеялся брызгами. Так возникала в нас первокультура и с нею целесообразность. Так я и понимаю культуру: не как самоощущение, а как ощущение себя частью целого.

Подросток сделает все, чтобы не быть самим собой. Потому что он себе не принадлежит, он во власти идеи общности. Подросток претендует на понимание общечеловеческих ценностей. Подросток развивается от идеи всечеловечества, а не от обывательской точки касания. Если подросток совершает насилие, он совершает его сообща, и знайте: подросток-одиночка — это ненормальный.

Мир открыт стае, и только через нее подростку дано ощущать вкус и вектор общественного сознания. Ему нет дела до методологии. Подросток снимает ток общественного сознания прямо с небес.

Такое не вытравишь, не задавишь. Такое можно только извратить.

...Когда боярышник густеет, он делается похож на плоды крыжовника. Солнце на земле ярче от повального возгорания листвы. Клен, как спичка, делится ало-желтым пламенем, накаляются желто-зеленым круглые листья алычи, над рощей царит бенгальское напряжение. Тропинки сухие и напряженными жилками тянутся вокруг холма. Мы, точно дрожь по коже, спешим в светлой, сухой тени, мы идем, свистим и чувствуем себя эхом. Мы живем себе навстречу, как живет себе навстречу осень — поздним ярким светом, ветром, играющим вокруг нас.

Мы идем на окраину городка бить детдомовских. Сердце Платоши словно угол, в котором пыльно и душно томится воспоминание. Краем памяти он вспоминает большую комнату, ряды кроватей с прибитыми матрацами, вонючими одеялами. И запах — псячий, запах дыхания, запах-свет, который тяжело висит, лепясь, под потолком...

За что мы их бьем? За то, что они за забором, за то, что на лицах у них однообразное, как стена, заторможенное серое внимание. За то, что у них другой запах, за то, что окна их дома замазаны сиротской краской. За то, что они кинутые, а за нашими спинами лес, птицы, мы свистим, улюлюкаем, а за их спинами жалкое молчание. За то, что их собираются переселять в центр города.

Вела ли нас ненависть? Ни капли ненависти. Когда мы, притихнув, заглядывали в щели забора, мы видели голый двор, двухэтажное здание серо-красного кирпича и редких обитателей в серых пиджачках. Нас коробила наглость, с какой они питались тем же солнцем, что и мы. Один из них тащил через двор таз, полный печени. Шла девчонка с ведром. Наши девчонки не носили такие квадратные синие юбки и не ходили в таких рабочих ботинках.

Мы не своим желанием хотим известить их. Они живут так, как будто крадут лицами свет божий. Они ходят по двору ссутулясь. Мы засвистим, закричим — они остановятся и, словно зачерпнув лицом, глазами побольше света, прячутся.

Нам не жалко солнечного света, нам жалко их. Но как можно изменить судьбу обреченного? Обреченный вызывает непереносимое чувство жалости — и тем унижает нас.

А придет время, когда эта забитая, загнившая жалость, не нашедшая применения, обернется нравственной потребностью жалеть униженного, то есть унижать того, кого не жалко.

Кто указал бы нам выход из этого безумия? Где и как об этом написано? Мы не лицейские отроки. Мы дети нового социального строя, пришедшие и делать жизнь, и делать культуру, и поставлять законопослушников. Кто объяснил нам, как справляться со стихийной мощью коллективистских чувств? Стайная стихия швыряла нас в мир как всечеловеков, чувства, привязанности сжимались, делались животво-напряженными, болезненными. Кто учил нас сочетать обыкновенную жалость с общечеловеческой сущностью? А ведь только в таком сочетании оправдана жалость к убогому. Иначе — озлобление жалостью, разложение духа.

Мессии не было. Мы впадали в бытовое безумие. Это особый род здравомыслия на уровне рефлексов. Я не встретил ни одного взрослого, который выдержал бы экзамен социального отрочества... Куда бежал от родителей двенадцатилетний Христос? Он бежал туда, куда вел его инстинкт всечеловека, — в храм мудрости.

Мы дети иной культуры, ничто не ощущали мы индивидуально. Мы пугались или радовались, наслаждались или отвращались только через посредство другого, только вкупе, только в общине. Наклонности, развитые стаей, определяли судьбу индивида.

К двенадцати годам потребность духовного общения была такой сильной, что ничем не отличалась от телесно-чувственной жажды. А что предлагали нам наставники? Ложь в спортивно-танцевальном оформлении.

Инфантилизм нашего поколения есть всего лишь разложение не востребованного обществом нашего духовного богатства.

Мы сами искали пророков, сами создавали апостолов.

Взрослые не вступали с нами в духовную связь. А мы понуждали их к этому как умели.

Если взрослый обращал на нас внимание, мы были счастливы. В такие минуты слова взрослого входили в нас частью нашего тела, костью в грудную клетку, нервным центром в мозг.

В нашем дворе жила старуха Найдениха. Сыны — ни старший, ни младший — не появлялись. Была старуха горбатая, с клюкой, в темно-синем платке, с серо-желтым лицом. Выражение лица было нам непонятным — глаза ничем не отличались от губ или рта.

Многие умирали, а она нет. Два окна и дверь в одну сторону. Два полузанавешенных окна и двустворчатая узкая дверь. Без порожка. Найдениха выходила редко, медленно везя подошвы ног по земле. Когда ее долго не было, мы кидали камни — помельче в окна, покрупнее в дверь. Найдениха молчала, тогда мы пугались и били камнями сильнее. Она открывала серую изнутри дверь и показывала лицо с белыми нижними веками.

Что тянуло нас к ней? Она была бесполо безобразной — но разве в этом было дело? Среди нас был пацан с сиськами и толстыми, притертыми, как у девчонки, ляжками.

Когда она голосом, идущим словно из расщепленного ствола, кричала: «Я все матерям скажу, хулиганы!» — мы хототали. Нам удивительно было слы-

шать ее слова и одновременно страшно было. Она выползала из такой дыры мироздания, что слова в ее устах были смешны и никчемны. Поэтому не были мы хулиганами, но потому же не могло быть у нас матерей. Мы слвно обнаруживали себя перед внезапным разрезом земли — так вольно и внезапно выкликала слова старуха. Ее гнев освобождал нас от всех запретов и посясто-ронних связей: не было у нас ни матерей, ни отцов, ни совести. Мы были голосами, хохотом, камнями. Мы падали в глубочайший земной разрез как во сне, и захватывало дух от того, как слитно летели дряхлость и отрочество. И как бесконечное падение нас пронизывало беспамятство: доведенная дряхлостью, старуха не могла помнить, кто мы, и было это беспамятство таким заразительным, что и сами забывали, кто мы есть.

Мы старались, чтобы чувства не задерживались в нас. Потому что иметь в себе постоянное чувство значит быть уязвимым, значит выставлять свою некую особенность и платить за нее. Каждый создавал в себе беспредел — любого можно было унижать беспредельно, любой из нас готов был принять любую обиду и любое зло. Недобро и добро оставляли в нас один и тот же след — раздражение.

Человек не может быть непрерывно добрым. Доброта, наконец, бывает унизительной. И не менее часто унижающей. И невозможно без ущерба для человека стимулировать доброту, невозможно подвести под нее базу — ни коммунальную, ни национальную, ни христианскую. Все будет дикой ложью. И дикой будет доброта. От нее мы защищались стаей.

Удивляюсь солдатской самоуверенности наших преподавателей. Укажите мне тот раздел школьной программы, тот предмет, который шел бы только через ум. Все идущее через ум сопровождалось телесными переживаниями. А школьная методология рассчитана на умного ученика, то есть на ученика, у которого голова — копилка с прорезью для знаний.

Вот почему мы самозабвенно играли в такие игры, которые держали нас вместе. Мы не замечали, что игры носят уже не детский характер, мы окунались в них уже не душой, а головой. В играх старались погасить возгорающееся сознание, растущий мозг. Эта железа, вздутая человеческой эволюцией, требовала в свое распоряжение все тело, все движения. Игры делались все рискованней, и в каждом шаге, в каждой выходке мы чувствовали зоркое внимание молодой мысли. Раньше нам хватало браги азарта, теперь нам нужна была водка риска.

Люблю Христа, проповедующего с лодки. Народ на земле, на тверди, народ внимающий, настороженный притчами, вникающий в недомолвки, в намеки, изнывающий от сомнений и дряг, к слову тянущийся, к истине устремленный, к верному знаку: «Кто ты? Как жить?» Народ, иссеченный злобой и стяжанием, в счастье верующий, как во всевышнего. Пеленая ребенка, не смотрит ли мать на тело его, ища отметинки? Не загадывает ли на родимое пятнышко?

Круговерть житейская, диск страданий и унижений. Центростремительная сила убывающего счастья: я еще не такой, как э т о т. У этого дочь умирает, а с этим падая, а этого язва поразила... нет, нет, ну и что? а вот этот слепой! Слепой? Я прозрел, а вот вы, глину и кал жрущие, вы слепы, ибо глаза ваши ослепляют душу вашу. Не я последний из тварей сих, не я, а вы — с руками безрукие, с глазами безглазые. Вы уроды, а я первый среди достойных...

Восставший в лодке, привыкший чувствовать стопами, как душой, качание тверди, колеблющийся, уверенный, поманивший крохами надежды, что сказал о нем Лука? «Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах...» А он еще в лодку не входил, он только подбирал полы одежды своей, — о посланец царя небес, он же был малым среди возрастающих, играл и лепил птиц, и не птицы ли летели из-под рук его? и не поражал ли проклятием обидевших его? Кто вложил ему в голову мысль? кто обманул Словом? Он же знал, как мы живем, знал, что нет человека среди равных, который не верил бы в то, что есть тот, которому

х у ж е, как всегда есть человек, который х у ж е. По этому слову мы жили, это была наша вера. Да отомкни уши — услышишь, да поверни очи к нам — и увидишь.

Когда вышел на берег, и ученики услужливо подогнали лодку, и стал он подбирать края одежды, чтобы ступить на привычную твердь, что кричал одержимый? Так возверь и обернись, услышь его! «Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Божий Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня».

Ты рвал связи мирские, Христос, отрывал мужа от жены, сына от матери, прибирал к рукам свободных, а бесноватый знал и видел то, что не дано ни в благодсти, ни на кресте. Легион вошедших в него — вот что было дано ему. Ты изгнал бесов и вычистил дом его, и вернувшийся с легионом нашел этот дом чистым... А когда бесноватого крутили припадки, он очищался так, как не очиститься и по воскресении. Он рвал цепи, оберегаемый, и «был гоняем бесом в пустыне». Он счастлив был, он был титаном и богом, он бежал и обладал миром. И люди города оберегали его, он был одним из них и был низшим из них, глядя на него, и люди и пастухи знали, что бог добр и всемилоостив, один бесноватый спасает их всех, он а том ничтожества, он основа мироздания. «Умоляю Тебя, не мучь меня», — просил бесноватый, и ты со страстью революционера все же ударил в ядро его, расщепил душу его, «ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека; потому что он долгое время мучил его; так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне.

Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, потому что много бесов вошло в него.

И они просили Иисуса, чтоб не повелел им идти в бездну.

Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им».

Позволил им. Озарение или расчет? Впрочем, это одно и то же. Я вижу усмешку, которая проминает привычную складку вокруг твоих губ. Мы жили в своем городке и знали, что есть среди нас худший, и пока мы не докатились до его положения, мы были счастливы и завидовали тем, кто счастливее нас, мы питались надеждою и знали, что есть нечто слаще акрид и дикого меда. Нам было во что упереться духом, ибо был некто униженнее нас. А как же без опоры, Иисус? Как же без того, чтобы не иметь опоры, и что может быть прочнее чужого несчастья? Ты отнял опору, швырнул нашу надежду в бездну. А ведь последний из нас, ничтожнейший из нас просил: что тебе до меня, Иисус, сын бога всевышнего? умоляю, не мучь меня! И пастухи кинулись в город провозглашать... Ты вывел дом сей и пошел к берегу. Ты восстал в лодке и сказал нам: грех помышленный хуже греха содеянного, ибо ближнему твоему хуже, чем тебе.

В городке был только один роддом. Он стоял недалеко от железнодорожного вокзала, отгороженный от полотна рядом старых невысоких дубов.

Двухэтажное здание столетней давности, купеческого образца принимало наших мамочек, носительниц космического начала. Они прибывали самоходом, переваливаясь вслед за животом, с одутловатыми лицами, в пятнах пигмента, присыпанные пудрой, долго сидели в приемной, пока сестра удостоверяла их личности. Личности, собственно, уже не было, мыслями мамочки были в своем животе. Остекленевшие глаза, белеющие губы, дрожащие колени... Они раздевались в душевой, вытаскивали свои наскоро свернутые вещи, уже не до стыдливости. Они надевали свои домашние халатики, которые сразу обретали вид и запах больничных. Халатики не прикрывали животы, халатики, в которых они вертелись по дому, на кухне, в которых стирали или устало сбрасывали на спинку стула, когда ложились спать. Когда они зачинали нас, они не думали о халатиках.

Мы всегда могли удостовериться, что нас рождает вселенная. Мы забирались на дуб по толстому стволу и среди его широких, тяжелых листьев вели наблюдение. Окна родилки были прямо перед нами. Мертвецки орущие мамочки вздымались на двух столах, сами себя подпирющие, с малелькими

облитыми лицами. Распленный пах был похож на продавленный арбуз. Месиво раздувалось, текло. Баба орала так, что крик сливался с криком подшедшей электрички.

И в это мгновение месиво раздвигалось и сквозь него просовывалась головка младенца. Под ударами электрички трепетала земля, дрожал дуб, мы опали с дерева как с неба.

Иной раз мы спугивали с дерева прикурка Трахимуда. Мамочки его не любили, и когда мы начинали свистеть и кричать, они выглядывали в окна, в форточки, подстрекали нас: «Гоните его, мальчики! Повадился, извращенец!»

Трахимуд боялся нас, он удалялся от окон роддома скорым шагом, оглядываясь настороженно и обиженно. «Ай-ай-ай, как тебе не стыдно!» — кричали мы с удовольствием. Уйдя в безопасность, Трахимуд оборачивался и орал скабрезно: «На! — И проделывал виртуозные жесты, скалясь серо-коричневым лицом. — На, на!» Мы ржали, потому что Трахимуд жестами и позами повествовал нам — папанам и мамочкам, — как устроен мир и как прост закон этого мира. Закон Архимеда он трактовал так ловко и с такой показательной силой, что мы могли только молча смотреть или смеяться.

Сорочий грабитель, яйцед, он уходил в лесополосу за железную дорогу, он пил яйца, прокалывая скорлупку иголкой акации, кудесник рукоблудства, он искал канавку, воронку, он вставал на край и вжимался в себя так, будто тщился выпить, всосать весь небесный белок, — руки вздрагивали, темное лицо белело, он становился легким, птичьей побужкой он торопился по краю канавки, он почти летел, извращенец, все тончился, выстраивался на цыпочках, на цыпочках, поперхивался, словно в горло попадал тягучий заветный узелок яичного белка, орал хрипло и падал в канавку, катился, истязал себя, муча, хрипя, выстанывал так, словно семя шло горлом... А потом он приходил под окна роддома, Трахимуд, мудрец родовых схваток, приходил любоваться на точность выведенного им закона. «Ай-ай-ай!» — как мы ханжили, освистывая Трахимуда, как мы выбеливались перед мамочками, но эта лжеправедность была нам необходима, чтобы вынести тяжесть открывшегося знания. Густое половое любопытство перерастало в искреннее сочувствие, в соболезнование. Мы любили этих женщин, вползавших на столы опростаться, мы любили видеть их потом — истонченных кожей, бледных, красивых, бесстыдных уже по-матерински... Странно это было и волнующе. Мы уже были мужчинами, мы знали, для чего призвала нас вселенная, и внутри глубоким, стволовым мы осознавали, что пьянящее любопытство к женщине, к вздутому судорожному телу есть наша основа, а все остальное лишь мимолетная краска, лишь глоток сладкой слюны, краткий переход созревшего семени из океана на сушу.

Дубы держали листву до конца октября. Мы играли между штабелями шпал. Или прятались, разложив на железнодорожном полотне гвозди. Электричка проходила, мы бежали к рельсам, гвозди, плоские, сверкающие, плотно прилегли к стальной полосе и были еще теплыми. Нам было странно видеть, как уничтожался объем, а с ним и целесообразность, гвоздь как бы попадал в иную геометрию, сохранялись и шляпка и насечки под шляпкой, но подавались они иным, внеземным измерением, с иной точки зрения. Из этих расплюснутых гвоздей мы вытаскивали лезвия.

Трахимуд не появлялся. Кто-то сказал, что видел его в городе торгующим газетами. Это нас удивило. К вечеру мы все же забрались на дуб, и повыше, так как окна родилки до половины замазали белой краской. Солнце заходило за нашими спинами, оно лучами перебалтывало слоистый туман, лучи, оранжевые, красные, гаснущие-желтые, рикошета в листве, переламывались над белой краской окна и попадали в родилку. Мы глядели в черные глубокие квадраты, и что же мы видели, господа. Это была не роженица, над ее раскинутыми ногами стояла врачиха, и все было тихо. Руки врачихи двигались так, словно она стояла у плиты над кастрюлей... Стекла окон вспыхнули, заиграли алым зазеркальным пламенем. Мы спустились. Земля была привычна и здорова. Земля курилась осенними кострами. Листьяные дымы перебивали и запах роддома и запах шпал. Вселенная беспомощно и негасимо горела в листве дубов и кленов, горела сумеречным лампадным светом. Человек хитростью проник туда, к истскам жизни, проник именем любви и нежности. Это был маточный

гуманизм непорочного зачатия, по определенным дням бабы-женщины, бабы-мамочки, проститутки, лярвы, девчонки становились в очередь, кутаясь в домашние халатики. А к вечеру, к концу рабочего дня, санитарка Кузьминична брала резиновыми руками эмалированный таз, полный кровавых червячков, раздавленных личинок, потрошенных куколок, и вываливала в бочку с нечистотами.

За проститутками мы начинали следить в середине мая. Зелень уже покрывалась корочкой, поляны подсыхали, а деревья, купольно густые снизу, легкие, пропускали назревшие лучи солнца.

Самой ранней была Мандолина. У нее были черные, с зеленоватым отливом волосы. Она зачесывала их гладко за уши, и голова блестела, словно тело майского жука. Глаза были тоже черные, густые и казались раскосыми. Ее мужиками были торговцы фруктовых рядов на рынке, хачики, как она их называла. Мандолина садилась к ним в машину, и они катили за город, к лесу возле водоема или дальше, в лесополосу. Мандолина разжигала их в машине, там происходило что-то трудноразличимое, но вот машина, свистя тормозами, остановливалась посреди дороги, Мандолина вырывалась из кабины (одна туфля в руке), бежала по дороге, стуча каблуком, кричала: «Спасите! Помогите!» Хачики бросались следом, хватали ее, она отбивалась, выпадала из рук. Кричала, и голос срывался на детский крик: «Помогите!» Она бежала, но не в сторону города, а к лесу.

Сусанна-сучка, маленькая, худая, походила на серую веснушчатую заводную игрушку. Она подбирала командированных, и в ее б... не было ничего привлекательного для нас. Ее знали в заводской гостинице, знали в городской и когда терпели, когда гнали. Отдаваясь где-нибудь на лавочке в дальнем углу парка, она все же носила только узкие юбки. Это доставляло ей неудобства, но почему-то нравилось мужчинам. Расквитавшись, Сусанна оставалась сидеть на лавочке, но уже ближе к фонарю, и плакала, закидывая лицо к свету.

Мы любили Жаку-златовласку. В мае раньше всех начинала носить яркие широкие платья. Высокая, полногая, она так искусно шла по улице, что мы забывали свои игры, подталкивали друг друга, поощряя к восхищению. Прозрачные чулки на ее ногах блестели особенным рыбьим блеском, и сквозь этот блеск просвечивала свежая, клубничная кровь чистой кожи.

За Жакой стлался дымок дорожих духов. В игривом настроении она задирала нас: «Ну что, как женилки?» Мы хохотали насмешливо, начинали свистеть, она оборачивалась, грозила пальцем: «Меняйте руку, мальчишки!»

Промысел не истер ее женственности. Лет ей было, ну, чуть больше тридцати. Она была нежна лицом, руками, и нежно-белыми основаниями вспухали ее груди. И вся она была мерцающей, словно белая лесная сирень.

Жака была переборчива, капризна, сентиментальна. Порядочные бабы, наши мамы, ненавидели ее. Мужья, наши отцы, подвыпив, тянулись к Жаке, но получали крутой отказ. Отвергнутые шли к Сусанне-сучке или к Мандолине, и это-то больше всего возмущало наших мам. Они пытались выселить Жаку, но что-то у них не прошло. Мы были рады и после очередного скандала смотрели на нее восторженно. Она же, в ярчайшем платье, в прозрачно-светлых чулках, на каблуках, достраивавших стройные полные ноги, победно топала по улице, и мы в душе славили солнце, нам казалось, что это оно оберегает потаскуху. Жака умела ловить освещение благосклонного солнца, и даже заворачивая в тень, за угол дома, Жака продолжала светиться зеленоватым майским светом, и последней затухала ее рыжая, играющая локонами голова.

У Жаки был постоянный любовник — Витя Ермак. Он был студентом-заочником и слесарем-сантехником. Мы знали, что он любит Жаку. Знали также, что он слывет вольнодумцем, что он говорит и даже шутит. Напиваясь, Витя приходил к Жаке, и та (если была свободна) выставляла свою дочку-подростка. Дочку звали Машей, она не была похожа на мать. Маша была черненькой, и только фигурка отдаленно отвечивала престелами и соблазнами ее мамы.

Маша ничего нам не позволяла, а тому, кто провожал ее ночами к дому

бабки с дедом, она разрешала поцеловать себя в щеку. В том, что Маша ничего не позволяла, для нас ничего не было неожиданного, самой природой Маша была поставлена в тень своей мамы.

Но держалась она гордо, вела себя так, будто живет самостоятельной жизнью и ей самой дано право выбирать, кого любить или кому что позволять. Некоторые из нас не верили, подлаживались и терпели поражение. Но, честно признаться, шли на свидание не с охотой, а с каким-то тeneвым, мрачным любопытством: ну, мол, что в ней может быть такого, чего нет в Жаке? Нам было неприятно видеть ее гордость и строгость нравов. Хотелось сказать: «Ну чего ты ломаешься? Ты же знаешь, что делает Витя Ермак». И говорили Маше: «Ты сама в него влюблена!» Мы подталкивали ее к Вите Ермаку. Когда он приходил пьяный, мы ждали, выйдет или не выйдет Маша. И если она не выходила, подмигивали друг другу и уверяли друг друга: «Ну теперь он ее трахнет».

Но Маша выходила как ни в чем не бывало. А Витя оставался. Тот, чья очередь, шел провожать Машу, а остальные оставались во дворе, ждали, когда погаснет свет, а потом когда зажжется.

Удивляло нас то, что Витек не был похож на тех, кого любила Жака, не тот тип мужика. Он был смугл, сутулился, смотрел мрачновато какими-то светлыми глазами. Он был крепок в плечах и в ногах и при этом все писал ей письма. И не только письма. Он писал Жаке стихи. Машка переписывала их в свою тетрадку и читала нам. То, что она выдавала такую тайну, смущало нас: нам мерещилась месть дочери гуляющей мамке.

Иной раз возле Жакиных окон появлялась бабка, мать Жаки, и била палкой в двери, стучала кулаком в окна.

— Курва вонючая! — кричала бабка. — Перед людьми дочь позоришь!

Жаке было до лампочки, знали мы, а вот Машке за дело: не кичилась бы перед нами — и не перед кем было бы ее унижать.

Бабка, выполнив долг, уходила и долго не появлялась. Днями мы встречали Витьку у пивной. Если мы попадались ему на глаза, а мы попадались, — он смотрел на нас долгим невидящим взглядом.

Утром мы с наслаждением наблюдали, как Жака развешивает на майском солнце белье — нежное, разноцветное, как воздушные шары.

Наконец кто-нибудь приносил: «Жака повела!» Котло приходило в возбуждение. Не всем выпадало счастье идти. Маленьких, увальней, нетерпеливых отметали. Торопились, чтобы к месту попасть загодя, отдышаться, чтобы глаза привыкли.

Место ее мы знали. У подошвы лесистого холма. Весной здесь быстрее, чем в других местах, пробивались протески, они, словно отстоянная снежная вода, серебрились и трепетали на этой маленькой поляне среди низких густых кустов алычи. От больших бокастых камней, вылезших прямо из холма, на подянку падало светлое тепло, и даже в тени распутившейся алычи было не холодно. Над камнями, за их ослепительными спинами, хворостинками тянулась редкая в наших краях бузина. Бузина еще не зацвела, но уже выпрастывала жадные медно-томные зонтики. Мы знали, что на поляне еще растут фиалки — большие, раскормленные солнцем курильницы.

Мы забрались за камни и притихли. Мы слушали лес, как собственные сердца. Мы нервничали, запахи забивали нюх, и нам казалось, что от этого мы хуже слышим и хуже видим. Кто-то попытался залезть на дерево, мы стащили дурака, прижали к земле. От камней шел запах подсыхающего теста, мох, притершийся к камням, глухо, скупо источал железистый мускус. Над поляной, над камнями, над нашими головами шумела молодая, похожая друг на друга листва бузины, алычи, дальше — акаций. И к этой еще не заматеревшей листве поднималось голубое свечение лесной сирени и чудом задержавшихся пролесков. Небо над поляной голубое, при солнечных неравновесных лучах накапливало капля по капле белый, неснежный цвет для алычи, для вздувающихся венчиков бузины и даже для ее белой, скрипучей, творожной сердцевины.

И в этой тишине, которую мы сами напрягали, пели птицы, пели, как бы испуганно окунаясь в собственное родниковое пение. Даже сойка — кукольная,

заводная — смеялась, что ли, звонко крякала, как будто ударяла камешком о камешек. «Гоца, дай докурить», — тянул кто-то занудно, на него цыкнули. И вот среди птичьего россмеха послышался голос Жаки. Мы припали к камням, царапая щеки, дыхание стало мятущимся; словно листвяные тени под ветром. Мы боялись подглядывать и не могли не видеть. Они вышли на поляну, Жака шла босиком, мужик нес ее остроносые, на тонком каблучке туфли. О как мягко, как славно шагала Жака по светлой, съедающей следы траве. Она была без чулок, и свет неба, а в небе рассеянного солнца, свет загустел над поляной, как будто, войдя, Жака откинула еще одну невидимую шторку, и ее лицо, руки, лодыжки приняли и пустили вокруг себя золотистый накал. Садясь на траву, Жака раскинула светлый подол с коричневыми, розовыми, желтыми цветами, Жака расплескалась, облокотилась на руки, подняла голову, вытряхивая на спину из рыжеватых волос сверкающую паутину лесного солнца.

По розовому, налитому лицу мужика мы поняли, что они уже где-то выпили. Значит, этой сценки мы лишились, а как нам нравилось, как Жака целующими губами пьет прямо из горлышка, и на ее шее в детской белизне катается маленький кадык, тревожа тоненькие ниточки морщинок.

Мужик в светлой мягкой рубашке с подкатанными рукавами, темные брюки взъехали, обнажив клетчатые носки. Мужик припал к Жаке, норовил подломить ее руки, наконец он уронил Жаку, она смеялась, и по смеху мы знали, что ей всего лишь весело. А мужик стал торопиться, нам видно было, как он мят траву, как дважды, горячася, настигая игривую, верткую Жаку, садился на ее туфли.

Среди нас тоже нарастало нетерпение, мы толкались, силой выбивая удобные места. Сильный давил слабого, но слабый не уступал, огрызался. Мы шипели друг на друга, призывая к тишине.

Жака никогда не сдавалась быстро. Всякий раз она играла, как первый раз. Она так смеялась, так увораживалась, она так ахала и при этом сильно, ловко перехватывала руки мужика, что мы удивлялись, откуда столько силы и свободной игры берется у нее. По прошлым разам мы знали, мужики уставали, закуривали, тогда Жака терлась возле, пережидала, щекоча шею и щеки мужчины своими прозрачно-золотистыми распущенными локонами. Этот же попался крепкий. У него были сильные, быстрые руки, сам он был коренастый и легко вертел Жаку по траве. Платье не поспевало за ее ногами, и мужик ловил ноги, прижимал ее живот, и поцелуй его были такими отвесно-сильными, что Жака не могла отнять лица, оторвать губ. И вот мы услышали ее стон — не стон, короткий, почти детский обиженный плач. Жака заметалась головой, руками, словно ей приснился пугающий сон и она не знала, куда деть горячую голову, немеющие руки, она хватала траву горстями, ноги ее вдруг стали великолепно просторны, и в колени, в пах со всего разлета ударили небо и свет, и потом все разом утихло и полупропало — посреди горячей поляны, как на зеленом темном листе, замерла гигантская бабочка, брюшко ее, словно жадное горло, ходило волнами, потом замирало, и тогда медленно, словно смахивая накопившийся солнечный жар, взмахивали нежные матовые крылья.

Мы отползали от камней, мы осторожно обходили полянку, мы пробирались в ложбинку от весеннего ручья и дожидались здесь. Мужик уходил первым. Он шел наобум, закуривая, следом выбиралась сквозь кусты Жака. Она сама несла свои туфли, кричала: «Боря, или тебе наплевать?» «Я жду, жду», — отвечал мужик. Он смотрел прищурив глаза, высматривая тропинку. «Я сейчас», — негромко говорила Жака и приседала... Много лет спустя я увидел набросок Рембрандта «Присевшая женщина» — карандашный рисунок передавал только мгновенный покой и сквозь настороженность простое человеческое облегчение — так открыто было лицо женщины и так легко входил мир в это напряженное настороженностью лицо. И сама Жака, и цветы на ее подобранном платье стали весомыми, сквозь листву бежало и рассыпалось солнце, оно всегда находило Жаку и теперь нашло ее голову, лицо с ярким утомленным румянцем, с побелевшими, обмякшими губами, коленки ее охватывал сумрак, и только теперь мы понимали, сколько силы в Жаке, но силы необычной, силы, которая не ищет выхода, а жаждет быть обращенной на себя. Вот когда мы ощущали наконец облегчение и успокаивались.

Мы рождены обывательской средой, т. К-ов. Для обывателя события детства так же мифичны, как и события библейские. И в этом смысле у нас нет прошлого. Мне все одно, откуда брать духовную пищу: из римской истории, из откровений Кришны или из писем Аввакума. Моя монада сиюминутна и питается всем, что способно просочиться через прожорливую мембрану.

Игры на безвременье. Тем же темпорально-гончарным кругом захватывали мы людей. Мы вглядывались в них, как вглядывались в текучую тень солнечных часов. Лица наши подняты в слепом напряжении, рты приоткрыты, глаза хватают слова раньше, чем принимает ухо. Люди предстают частями таинственного механизма, кукольные фигурки, отполированные солнцем и вечностью. Появившись, они погружают нас в транс задумчивости, их появление подобно мгновенной остановке... Только что пробежал дождь, над улицами дрожит влажный солнечный отсвет. Мы поднимаемся к церковной площади, на камнях церкви гранеными плитами лежит солнце. Из-за угла с большим алюминиевым бидоном, в красной рубашке, подпоясанной веревкой, выходит огромный, смеющийся, сияющий белой щетиной головы дядька.

— Здравствуй, Брат Сердца! — кричим мы.

— Здравствуйте, мои хорошие! — громко отвечает дядька. Бывший полковник-танкист, ранение надломило череп слева над ухом, через глаз. Этот левый отсутствующий глаз смеется на солнце хитрее правого. — Как живете? Никого не обижают?

— Не-ет! — говорим мы.

— Ну вот и хорошо! Никого не обижайте! — восклицая, говорит Брат Сердца и смеется всем розовым лицом, надломленной крепкой головой, голубым безумным глазом. Он хитрый, Брат Сердца, он выманивает наше прожорливое любопытство:

— А почему не обижать?

— И-их! Нашел — молчи, потерял — молчи!

Слово накормит сытнее хлеба. Он собирал объедки по столовкам. Питался как птица божья, и его огромный рост и огромная физическая сила жили как бы иной, сторонней от голода и желудка жизнью, и сила и рост принадлежали сумасшедшей мудрости, которую он весело и бесшабашно разносил по улицам. Он волчком шел мимо нас, пугая наши сердца данной ему от природы кличкой. В красной рубахе, с надбитым черепом, он нес на себе иной мир, ни одно его движение не связывало его с привычным нам миром взрослых. «Нашел — молчи, потерял — молчи!» Вскрик красноперой птицы. Нашел — чужое, потерял — свое. Молчи. Нашел — много, потерял — еще больше. Молчи. Нашел — твое. Потерял — свое. Молчи. Он проходил мимо нас, от бидона несло прокисшим борщом, на лысом затылке блестело солнце, по красной спине расплывалось потное пятно. Мы кричали вслед:

— Нашел — молчи, потерял — молчи!

Он оборачивался и радостно-безнадежно отвечал:

— Правильно, Брат Сердца!

Я не держу вины на родителей, но мое сознание тянет туда, где темнее. Детский дом — мой эдем. В нем я прошел науку отречения от родства.

Отрекись, чтобы не обвинять. Отрекись, чтобы тебя не источила мелочная злоба. Отведи душу отречением, пусть каждый живет как жил, и ты жив будешь. Отречение сродни вере, если не одно и то же. Христос шел этой двойной дорогой, и в этом сила его проповеди. Отрекись, ибо тогда откроется подлинная вера. Не осуди, не возжелай, не убий — отречись. Брось свое прошлое, из которого тебе не выпутаться, и ты узришь путь. Христос, среди нас отец твой, и мать твоя, и сестры и братья твои. — Не Я за вами, а вы за Мною. Я есть просветленный ум, оторвавшийся от человеческой свары, от тесных уз родства.

С каким неистовым азартом кинулся Христос в мелочи быта, рвя нить за нитью, рвя и просветляясь. Не должно истории властвовать над человеком — человек не животное. Оторви людей от земли, толкни к берегу, пусть и д у т до водам.

Отречением завоевал Христос себе высшую свободу — толковать пророков. В руках его оказался тончайший инструментарий, с помощью которого он зажимал мельчайшие сосуды разрыва, и тогда каждый мог видеть в разрыве естественное тело бога.

Душа в страдательном залоге.
 Что неподсудно, то мертво.
 Тебя не мучает родство,
 Оставленное по дороге?

Т. К-ов, вы назвали мое поколение потерянным, никчемным, поколением пустоцветов. Я знаю почему: вам хочется, чтобы мы затерялись, чтобы история перешагнула через нас... Нет, мы особенное поколение. Мы рождены в межвременье, и нам наплевать, какое тысячелетие на дворе. Мы свободны, нас не сдерживают условности времени, мы будем превращать жизнь в миф, а миф в жизнь. Мы будем губить себя алкоголем и буддизмом, мы будем развлекаться лексическими играми или извлекать подсознательное. Но не это главное. Мы призваны в мир, чтобы разбить систему, выставить торговцев из храма, отнять у книжников право ссылаться и цитировать, мы пришли разболтать историю. Эй, ученички, посмотрите, сколько у нас рыбы и хлеба? А и х сколько — пять тысяч, шесть? Истинно говорю вам, еще и останется, так ведь, Брат Сердца?

— Ты говоришь.

Гоца был сыном нашей дворничихи. Ему было лет около четырнадцати. Игры его — сильные, резкие, рискованные — и пугали нас и завлекали. Но Гоца уже перерастал нас, не доигрывал, уходил. Вернее, убегал по своим внезапным делам, причем убегал, имея, как птица, какую-то одну мысль в голове, одно горячее и немедленное намерение. Такими были его голубые глаза с острыми слепыми зрачками, сияющие ошалелым светом. Таким было его лицо — круглое и вкруговую веснушчатое. Такой была фигура — невысокая, с сильными плечами, локтями и коленями. Гоца не был драчлив, но попадаться к нему в короткие руки никак не хотелось. Он не мучил, но подмучивал, весело заглядывая в глаза. Но это-то вкупе с незлобивыми ухватками нам было более всего неприятно, хотелось, кривясь от боли, крикнуть ему: «Гоца, ну зачем тебе это?»

Гоца не понял бы. Он уверен был, что так играют. И при этом играл он как бы походя и всякую игру он, играючи же, подводил к чему-нибудь опасному или предосудительному. Он был неугомный, он все время торопился, и с ним опасно было связываться. Но когда он подходил к тебе, клал руку на руль твоего велосипеда, у тебя внутри все обрывалось. Гоца смотрел налетающими голубыми глазами и, не теряя гордости, говорил: «Дай покататься». Я не знал ни одного пацана, который устоял бы. Гоца садился и пропадал на весь день.

Не скажу, что Гоца ничего не боялся. Он боялся, но всякий раз как бы дразнил страх. Делая что-нибудь дерзкое, он оглядывался птичьим вертким взглядом по сторонам. Совершив, срывался и убегал — небольшого роста, стремительный, мускульно-плотный.

В нем не было наглости, он был какой-то легковесный хулиган. Не припомню, чтобы его кто-нибудь побил. Гоца играл и хулиганил словно сам с собою. Мы воспринимали Гоцу, как воспринимали бы в зоопарке молодого орла, умеющего, не теряя гордой хищной осанки, быстро и далеко отстреливать экскременты.

Сестра Гоцы была на него похожа и фигурой и веснушчатым лицом, глаза же были темными, и выражение их, как у младшей, было задиристо-пугливым. Гоца бежал из дому, сеструха Сашка не бежала, она помогала матери, в гололед раным-рано посыпала песком дорожки во дворе и по улице. Делала она это быстро, так же быстро, но кое-как делала уроки. Училась Сашка во вторую смену, а до школы успевала обежать ближайшие магазины, где что дают. Она же занимала очередь, и если давали муку или выкинули конскую долбасу, Сашка прибегала домой, звала мать, а если подворачивался Гоца,

тащили его. Гоца-уворачивался от очередей даже яростнее, чем от занятий. Стоять в очередях для нас было проклятием, Гоца же приходил в неистовство. Сашка хватала авоськи, мешки и убегала, тетя Дуся уламывала Гоцу.

— Сволочь! — кричала она ему, когда он успевал запереться в доме. — Открой дверь, дармоед, очередь пройдет!

— В гробу я видел твою муку! — отзывался Гоца.

— А что жрать будешь?

— Найду что!

— Опять воровать пойдешь?! — Тетя Дуся оборачивалась ко двору, к соседям, к нам. — Вот же вырос на мою шею мешок говна!

Бывало, что Гоца запирает мать, а сам стоял, прислонившись к двери, плевался.

— Эй, кто там есть? — просила тетя Дуся. — Откройте, ради Христа! Отнимите у него ключ!

Опять прибегала Сашка.

— Ой, мамочка, там уже совсем близко!

— По сколько дают?

— По два килограмма на душу.

— Что ж ты, дура набитая, очередь кинула?! Бежи и стой!

Или вдруг начинала плакать из-за двери:

— Доченька, что же он делает, твой брат? Да выпусти ж ты меня, черт с ним, пусть сидит голодом.

...В карьере стоял старый вагон бытовки. На стекле окна отражался закат. Карьер источал запахи подпаленных камней. Воздух над нами был перемешан фиолетовым светом. Окно все накалялось, и тихая тень медленно закатывалась в чашу карьера. Птицы были далеко, отпугнутые взрывами и воем машин. Каждый наш шаг был звонок, мы старались не шуметь. Гоца вертел головой, на побледневшем лице веснушки проступили спичечными головками. Гоца поднял обломок камня, подкинул на ладони. «Гоца, не надо...» Но птицы пели так далеко, была такая тишина, как будто шумы в карьере были придавлены выбитыми камнями, и запах шел густой, запах остывшего пала. Гоца в два прыжка вбил обломок в зеркальный костер окна.

Пламя погасло. Черная дыра выплеснула сумерки. Мы увидели, что небо уже низко, вывороченные камни, как бы не обретшие новой весомой уместности, все глубже уходили в тень. И были мы — мы увидели себя — тоже как будто выбитые взрывом, в нас все время смещался центр тяжести, и нас сносило в сторону...

В окне появилась голова, потом отворилась дверь бытовки и выскочили две собаки.

Опять Гоца бежал первым, или его вела непонятная, недосыгаемая для нас сила, он бежал круглыми шагами, петлял по камням, то прыгал вниз, то карабкался по щелбню. Собаки лаяли то попеременно, то в лад и наступали. Наконец мы вбежали в рощу, и ровная дорога, казалось, даст нам силы, но силы враз стали ослабевать, и собаки — я оглядывался — по-звериному избочась, заходили ножницами. И вот кто-то уже не выдержал, закричал: «Это не я!» — кто-то вильнул с дороги. Но угроза шла не от собак, а от пропавшего сторожа, и он появился, но не оттуда, откуда мы его ожидали, и, отрезая нас от Гоцы, рванулся за ним.

Сначала мы вроде бы не знали, куда бежим, но потом выяснилось, что все знаем, гурьбой свернули в овраг и, кто плача, кто еле дыша, бежали по глухому дну. Собаки отделились, и лай их затих. Но это нас не успокоило. Мы стояли в овраге, глядя на мерцающий свет почему-то посветлевшего неба. Через несколько минут в овраг сорвался Гоца.

Кохан обладал иной силой. Он уже отошел от нас по возрасту и по какой-то внутренней возмужалости. Он был худ, смугл, высок. Глядя на него, мы вдруг сообразили, что человек одеваться может модно, не только будучи взрослым. Не верилось, что он — в девятом классе, что какой-нибудь год назад он принадлежал кодлу и мало чем отличался в нем.

Нас вообще смущало движение возрастов. Гоца только лишь отделялся,

но еще был связан с нами. Он медленно приобретал черты лица и черты повадок, которые через полгода, может быть, сделают его тем, кого мы уже считали взрослым. Но мы также чувствовали — по играм, в которые входил Гоца, по тому, как он в них входил и как выходил, — что он никогда не станет совсем чужим. Он останется частью кодла; человека отличает не возраст, не время его отделяет от его детства, не изменение лица, цвета кожи, фигуры. Нет, мы видели с завистью или с ужасом, как то самое нутро, которое нас еще давило и разметывало, как это самое нутро вдруг обрело формы тела, укладывалось в глаза, входило в повадки, словно хорошо выученный мотив. Вначале точность его воспроизведения радует, но потом-то...

Кохан выпал из кодла. Даже в школе, среди одноклассников, он выделялся определенной сдержанностью, верховым, над головами, взглядом. Преподаватели его любили. Мы, перемещиваясь в коdle, все время на что-то равнялись, кого-то мерили своей подвижной мерой, кого-то примеривали на себя. Кохан же был для нас загадкой, мы не могли понять, на кого равняется он. В кого его выглаженный костюм, начищенные туфли, прямая, несуетливая походка? В кого он, если ни с кем, если сам по себе? И выходило: ни в кого. Возле него было два-три дружка, они подстраивались под него, но он не властвовал. Он мог быть и без них. Говорили, что он уже встречается с чухивами, но мы еще не видели его с ними.

Кохан был комсомольцем, и мне всегда представлялось, что он выступает на собраниях. Я ходил в кандидатах и однажды присутствовал на школьном комсомольском собрании. Я ждал, что вот сейчас в этой тягомотине, глухом безумии, в словоговорении образуется огромная светлая дыра, в нее войдет Кохан, скажет несколько веских, ровных слов — и душа перестанет мучиться, задыхаться от собственной невостремленной энергии. Но Кохан молчал, посмеивался. и взгляд его, и выражение лица — от смуглого ровного лба до гладкого, чуть посиненного темным пухом подбородка, — и вся посадка, такие ровные, неколебимые, невпечатлительные, были самодостаточны. Кохан привлекал, как привлекало бы зеркало, в котором, как ни заглядывай, тебя нет.

Мне нравилось, как он выходит из класса или из школы. Самый момент его появления в дверях, некое возникновение, и воспринималось как сигнал — к чему? что требовал он от нас своим как бы в зеркале о т р а ж е н и е м?

Но кумиром Кохан не был. Даже если бы захотел, у него это не вышло бы. Он создавал себя сам — так мы видели, наблюдая, — и, создавая, уходил в себя. Наши душевные движения были таковы, что мы и готовы были бы поддержать его, поставить кумиром, но этих же движений нам хватало ненамного. Кохан выскальзывал — поле было магнетическим, но полюс Кохана был однозарядным.

Я уже говорил, что мы стали прислушиваться к словам, мы были вечно голодны, и природа города, бедная, субпродуктовая, не удовлетворяла этого голода.

В нас развивался дух, он требовал тончайшей пищи — слова, смысла, цели. В нас разворачивался всечеловек, требующий высоких ценностей. Но и слово, и смысл, и цель, либо подаваемые порознь, в искаженной форме (школа, школа была этими абсурдными фабриками, поставляющими мировому духу полуфабрикаты), либо с заниженным содержанием культуры, извращали дух, огрубляли его, притискивали к материальной оболочке нашего роевого нутра, подменяли дух материальным мешком, духовным желудком.

Кохан, видимо, природой был создан быть формой, в которой мы жаждали угадывать и смысл и слово, и ждали, что вспыхнет над ним свет указующего цель луча. Кохан либо не понимал этого, либо, чувствуя, потому и держался так самоотрешенно, словно все время придерживая, прижимая в себе рвущийся из его внутренней природы луч, как зажимает луч фонарика крадущийся в чужом доме вор.

...Однажды в школьном буфете я услышал, как Кохан сказал своему приятелю: «Идешь к женщине — возьми плеть». Я передал чувакам эту мысль, они были так же поражены. Произошло как бы чудо: Кохан с к а з а л. Наше сознание формировалось формулировками. «Татаро-монгольское иго» ничем не отличалось от «суммы квадратов катетов», а формулировка «коровое вос-

кресенье» безболезненно сосуществовала с формулировкой «ча и ща пишется с буквой а». Формулировки шариками накатывались в наше подшипниковое сознание, и вот в накатанную бороздку влетел шарик Кохановой формулировки. Как шарик он ничем не отличался от других («идешь к женщине — возьми плеть» — «нынешнее поколение будет жить при коммунизме»), однако теперь нам был и з в е с т е н изготовитель, мы ж д а л и его голоса, и он заговорил. Шарик в кругу других оказался живым, он пустил корешки.

Помню, что несколько дней мы смотрели на наших девчонок, чувих, верховым взглядом Кохана. Раньше мы воспринимали их как нечто иное — и так же стихийно пренебрегали ими. Теперь же в нашем пренебрежении появилась мысль, девчонки стали чуждо-иными, а красота обижала недоступностью. Красоты не хватало на всех нас, как не хватало ее на всех девчонок. Красота, которой мы не могли не восхищаться, становилась формулировкой и рождала ненависть к себе.

Это был б ы т, нечто, вакуум, пронцаемый для одних мыслей и бесконечно питательный для других. А кодро наше распалось. Вылетающим частицам нужны были мишени, нужно было уже не просто передавать энергию, а передавать целесообразно — специально, как говорили мы.

Вы что-нибудь слышали об энергии распада, т. К-ов?

А солнечный свет? Каждое наше движение — и телесное и духовное — сопровождает солнечный свет, он наш самый великий наставник, он высвечивает смысл. И свет смещается, разбегается вместе с нашей вселенной.

...Новый год в школе начинался 29—30-го. Нас, кодро, тянуло поглядеть, как празднуют старшеклассники. Думалось, что у них веселее. Мы в сумерках околачивались возле школы — нас не пускали даже в вестибюль. Наружные двери открывали, когда парни выскакивали покурить. Тогда мы подходили к ним, слушали их веселые перепалки, просили сигарету.

Кохан тоже выходил курить. В свете, падавшем из вестибюля на улицу, черные волосы Кохана казались плотной черной шапочкой, из-под заточенных стрелок брюк высверкивали легкие туфли на тонкой подошве. Кохан приподнимал воротник пиджака и ежился. Ветра почти не было, было медленное движение мороза. Свет яркой луны то наливал озарением землю, здание, деревья, даже тени, густея, светились, то, подпертый облаком, взлетал высоко под звездное небо, и внизу, на земле, сразу становилось непроглядно.

Мы были больны ожиданием. Ведь для чего-то же праздновали Новый год? Мы смотрели в небо, вглядывались в зодиакальный хаос, но там не было з н а к а. Мир был мягок и менялся то наплывами лунного света, то накатами безмерных теней. Все это было лишь предрасположением, но где же был сам праздник? Где был знак или смысл этого ожидания? Кохан, казалось нам, ничего не ждал, он докуривал сигарету, и изогнись вертикаль школьного угла или обрети тени вес над сугробами — ничто не изменило бы самого Кохана, его внутренней — от носков сверкающих туфель до ладно зачесанной макушки — точной меры. Ах, тонко-тонко стояла вертикаль угла, и легкость теней, бегущих под лунными лучами, была ощутима, ее можно было сравнить с легкостью снежинок над пластами сугробов. Из освещенного вестибюля выходила чувиска — девчонка-девушка, возлюбленная, как мы думали по-киношному, — на ней было легкое темное платье, и шаг ее в этом платье был телесно дан, и руки, оголенные по локоть, и лицо, и волосы, стесненные локонами, и даже темные тени глаз и рта удивительной податливой отточенностью к этому миру, ожиданию, предназначенности. И она шла прямо вдоль падающего луча света, а Кохан широким жестким шагом шел навстречу. И мы, мальчики с сердцем, пробитым зернами зеркальных осколков, мы, готовые влюбиться в снежную королеву, мы, изнывающие от желания быть зацелованными до смерти, видели, как сходятся эти двое — она податливой ладностью вплывала в размеренную, отточенную, завершенную суть Кохана, они целовались, будто шли шаг в шаг, так сходятся стрелки часов, и минутная замирает над часовой то ли в неуверенности, то ли от наслаждения. И наступала пауза, и с какой бы неумолимостью потом ни двигалась минутная, мы-то знали, что в этом месте, над паузой, она всегда запаздывает.

О том, что выбили окно, мы узнали не первыми. Выглянул дежурный, крикнул:

— Агас, физрук идет!

— Что? Что такое? — загоношили мы и ворвались в школу.

Физрук спускался со второго этажа, у него было серое вглядывающееся лицо. Мы первыми закричали: «Хатунок! Хатунок!» Мы были металлическими пружинами на кафельном полу вестибюля. Тут же скапливались парни-старшеклассники. Мы враждовали с Хатунком, вражда передавалась от старших младшим и была вирусом сильным, и был вирус целенаправленным. Мы били хатуновских на холмах, они мстили нам, городским, в лесополосе, мы вылавливали их в городе, у кинотеатра или танцплощадки. Как ни верчу память, не могу вспомнить, чтобы я невзлюбил кого-то отдельно. Личной вражды не было, не было и личной привязанности. Мы утверждали некий правопорядок, рожденный неравенством поселковых перед городскими, и потому наша ярость и вражда обретали полицейский характер.

Мы гомонили в вестибюле уже довольно густым раствором. Уже появились заводилы, уже выделились силачи-лидеры, но мы все еще не решались. Не во что было упереться. Кто-то говорил, что Хатунок мстит за прошлый год, когда городские переломали скамьи в их Доме культуры. Кто-то напоминал о нашей чувишке, которую закадрил хатунский. Но все это было лишь холостым искрением. Пустота же напрягалась под давящим императивом. Как если бы ожил двигатель внутреннего сгорания, задвигался, нажал бы на пустоту поршнями, прошла бы пустота искра. Двигатель жил бы своей заданной целесообразностью, требовал бы движения, движения! И в этой строгой целенаправленности легко ли распознать безумие?

Я не преувеличиваю ни на миллиметр. Кто научил нас видеть человека только в зеркале целесообразности? Каждый сосуд, каждая кость, каждая мышца — д л я ч е г о - т о, каждое движение во имя чего-то, нефть душевных накоплений фракционированна и перекачивается в большую химию общественной пользы.

Иисус, ты не мог не быть. Любой из нас мог и не быть. Ты пришел из б ы т и я, каждый из нас пришел из н е б ы т и я. Ты пришел для всех, каждый из нас пришел «специально». Ты свободен от людей, каждый из нас прикован цепью целесообразности.

Ветряк для ветра или ветер для ветряка? ракета для топлива или топливо для ракеты? человек для человечества или человечество для человека? — я ведь ничего другого и не знаю, Иисус. Не я задавал альтернативу. Ты попытался научить нас делать выбор, да? А человек исхитрился и встал н а д выбором, овладел им, сделал его природным горючим; человек научился соединять добро и зло, извлекать энергию из этого ядерного синтеза... Ты представляешь, какое надо было выстроить ч и с т и л и щ е? Зато мы теперь новое поколение. На днях по телеку давали интервью наши умные, интеллигентные физики. Они говорили возмущенно о нашей государственной системе, о ее инертности, тупости, о неверии в возможности ядерной физики. Говорили о том, в каких трудных условиях зарождалась наша отечественная ядерная физика, и только благодаря Хиросиме и Нагасаки физики получили сносные условия для работы.

Бог отделял свет от тьмы. Сатана отделял тьму от света. Пришел человек, помучился и сделал вывод: из этой борьбы можно извлечь *E*-энергию, умножив массу богосатаны на квадрат абсолютной идеи.

...Мы насыщали вестибюль суетой и выкриками. Чувишки, увитые фольгой, осыпанные блестками, бледные или раскрасневшиеся, — кто уговаривал не связываться, кто подзадоривал, кто-то выскакивал за дверь и возвращался. Физрук призывал успокоиться, но мы кричали: «Они сами! Какое право! Это наша территория!» Возникал общественный организм, безразличный к тому, из каких частей он составлен, а потому безразличный к цели, ради которой возник. Каждый вносил в этот организм все, чем был наделен и насыщен в данную критическую минуту. От внутренней пустоты кружилась голова, но при этом я чувствовал себя распахнутым перед лицом общей цели, и все, что я испытывал, энергично вовлекалось в эту цель. Паутина лунного сияния в углу

высокого окна, стук каблучков о кафель пола, демонстративно распахнутые пальто и пиджаки, напряженное и сердитое лицо физрука, желание подчиниться, равное желанию быть первым и подчинять.

И вот над толкотней мы увидели Кохана, его ни к чему не причастный, над головами взгляд, спокойное, замкнутое лицо, пиджак на одной пуговице, руки в карманах брюк. Он вошел в вестибюль, свет ламп лоснился на его голове, угасая в зачесанных волнистых волосах. Лишь несколько мгновений оглядывал он толкотню, приподняв черные брови для полноты зрения, а потом повернул лицо в сторону выхода.

Мы вырвались на улицу, разделились, обтекая здание школы справа и слева. Дальше был высокий штакетник забора, отделяющего школьный сад. И там, в саду, среди заснеженных теней мы даже не увидели — учуяли наших врагов. Они были более густым накоплением черноты, а потом рудался свист, глубоко в саду затрещали сучья. Мы ринулись на забор, опрокинули его, стали выламывать штакетник. Луна была в спину, и зрение мое было таким же ярким, широким, но не проникающим. Справа я видел Кохана, он торопливо отдергивал штакетину, прижимая забор сверкающими туфлями.

А потом наступила минута, когда мы забыли свои имена, мы ринулись гнать тени врагов. Кохан двинулся в сад: Это была минута, когда осознаешь, что надо бить, и это — последняя мысль. Потом охватывает страх, освобождающий от сознания боли, риска, жалости, страх, освобождающий вообще ото всех чувственных привязанностей, опустошающий тебя настолько и так резко, что пустота эта — как полная внутренняя свобода и требует немедленного действия.

— Остановитесь! Что вы делаете? — Перед нами, раскинув руки, встал физрук.

Мы опять забазарили, отстаивая свою правоту.

Когда двое бьют одного, они правы — вот что было для нас аксиомой. Но, повторяю, это право не было приматом сильного над слабым. Это было абсолютно понятное нами право большинства. Право сильного выясняется в равной борьбе. Право большинства предполагает правоту до и вне всяких выяснений. Задача же состоит в том, чтобы исхитриться быть в большинстве — любой ценой, любыми средствами.

Если наши родители стоят в очереди (за картошкой, мясом или яйцами), они не выявляют права большинства. В очереди — мы знаем — этот императив не работает, в очереди стоят те, кому чего-то недостает, чтобы войти в правовое большинство. Большинство же являются те, кому нет надобности стоять в очереди.

Ни в одном городском магазине не было таких костюмов, какой носил Кохан, — темно-серый, в тонкую черную полосочку; когда ветер отбрасывал полы расстегнутого пиджака, в лунном свете посверкивала виньетка иностранной фирмы. И мы превращались в очередь, самой жизнью поставленную у прилавка несуществующего магазина.

Хатунок не имел тех городских удобств и достоинств, каковые принадлежали нам от рождения или по праву прописки. Хатунок был очередью, стоящей за городскими благами, и потому он был вне большинства. И поэтому мы были Хатунок с сознанием полного права, с яростной утверждающей правотой.

Мы жили на одном дыхании с нашими родителями, глядя, с каким упорным проворством, с какой изворотливостью стараются они выскочить из резервации очереди — обмануть, украсть, заручиться знакомством, должностью, взяткой, лишь бы войти в правовое большинство, почувствовать себя человеком.

Физрук остановил нас. Раскинув крестом руки, физрук упрашивал. Мы не знали его таким, он всегда был уверен, на уроках его мы были задействованы и знали начало и конец этого действия. Здесь же, в саду, у проломленного забора, он был непривычный — он стоял уверенно, но говорил так, будто сам не знал, что из этого выйдет. А мы, пребывая на границе двух состояний, тоже не могли определить — были ли мы в состоянии безумия и теперь возвращались к разуму или мы испытали глубочайшее откровение, а теперь входили в привычное безумие?

Странная луна была в ту ночь, небо кружилось линзой, в саду тени деревьев, тени штакетника, тень здания школы двигались, то расплывалась и сливалась с ночью, то выделяясь яркой четкой чернотой. И тогда казалось, что на землю, на снежное ее полотно вселенная наводит резкость, и опять мы выпадали из привычного, не умея понять — наводит ли вселенная четкими тенями свои отражения на земле или она ищет фокус для привычных земных предметов? Чем четче, ослепительнее был фокус луны, тем зримее и объемнее были тени.

Вы, т. К-ов, идете от идеалов, я от рефлексов. Вам дарована ч а с т н а я жизнь, вы знаете, что такое духовная работа, что такое огранка идеи. Я — колба со смесью химических реактивов, я не знаю себя интимным, я знаю только внешний мир, во мне нет тайны. Я не умею уходить в себя, я могу только прятаться. Я вчитываюсь в ваши рецензии и не могу понять: почему вам нравится тыкать меня в мое собственное невежество? Отчего вы, интеллигент, защищаете свою территорию с тем правовым высокомерием, с каким мы защищали свою от Хатунка?

Я помню, с каким раздражением вы сказали: «Идеи, которые я отстаивал всю жизнь, теперь у всех на устах».

Отстаивали чистоту, но пришел Хатунок и замусолил.

Мы били Хатунок, потому что чистая идея ничем не отличается от чистого рефлекса. И идея и рефлекс в своих высших формах тождественны. Разница в том, что идея развивается внутренней работой индивидуального духа, а рефлекс раскрывается только в массе. Однако они так похожи и так легко спутать среду их зарождения и обитания.

Мы доигрывали последние игры. Это происходило либо летом, томительно, либо осенью, в конце сентября. Осенью мы были возбуждены. Еще нет дождей, сумерки затяжные, трава пахнет от самого основания стеблей. Пахнет и сама земля, напитываемая опавшими плодами, забродившими яблоками, грушами, сливами, алычой. Хмельная, мягкая, слабеюще-теплая земля.

Игры стали прерывисты. Мы не знали, какими себя ощущать, мы выпадали из игр, словно созревшие плоды из уюта своих деревьев. Мы соперничали между собой, чуждались младших и раздраженно тянулись к старшим... Сколько ж мне было — тринадцать, четырнадцать? Ловлю себя на том, что не хочу уточнять. Хочу, чтобы прошлое было расплывчатым, чтобы в этом прошлом я не проступал, а растворялся. Привычка ума? Благоприобретенная трусость?

Однако подстерегающие нас ощущения мужания, половой ранимости возвращали нас в наши игры. В играх можно было снять остроту этих ощущений, ритуалом смягчить пиратское любопытство.

Майру привезли родители из Прибалтики и оставили у бабушки. Она жила в нашем дворе и принимала наши игры. Вне игры я боялся на нее смотреть. Как боялся я глядеть в лицо умершего, так боялся я смотреть в ее зеленые нерусские глаза. Но самое страшное было то, что я не мог убежать. Боялся повернуться спиной и не мог выдерживать ее взгляд. Иной раз напряжение так нарастало, что я отпрядывал от нее с тем же чувством, с каким отпрядываешь от двери, за которой угадываешь покойника, — так пугался я, когда она выходила из дверей своей квартиры изнеженная собственным взглядом, с волосами, сверкающими, словно кукурузные рыльца. Страшно было оттого, что она знакома, что она в одном дворе со мной. Солнечный свет, словно пена над корытом, принимает ее ноги до колен. Я слабел от пустоты — почему мы с ней в одной жизни? в одной школе? И откуда же это чувство, что я знал ее уже? И вопреки этому чувству — каждодневная внезапность ее появления. Она внезапна, как дождь или снег, но я — древнее, и дождь и снег я знал раньше. Однако всякий раз они возникают на мгновение раньше меня. И потому не я внезапен — они внезапны.

Не я люблю, а я влюблен.

Всякий раз, как Майра подходит, молнией взрезается стекло. И тогда все переворачивалось — я понимал, чувствовал, что не мог знать ее раньше. Она была не приложима ни к моему уму, ни к моей памяти.

— Платон, покатай меня?

Нерусский двойной акцент превращал ее просьбу и в вопрос и в разрешение. Я заново узнавал свое имя. Слово пробегало ее гортанью, и вдруг имя возникло так правильно, так уместно. Я удивлялся доверчивости, с какой она садилась на велосипедную раму. Но удивление мое было нежным, как если бы я удивлялся доверчивости ее тела к белому, в розовых цветочках платью.

Майра-садилась на раму, и велосипед предательски тяжелеет. И странно, в этом утяжелении я упрекал себя и пугливо разгонял велосипед, стараясь не дышать, чувствуя, как подол платья с бегущими цветами бьется о мои колени беспмятной частичкой ее тела.

Я пускал велосипед кленовой аллеей, стараясь избегать взгорков, и потому мы катили все время куда-нибудь вниз.

— Ты крути, а я буду руль держать! — смеялась она.

Мы боролись за руль, я чувствовал силу ее рук, от светлых волос, от горячей головы шел запах терновых ягод. Я сжимал локтями ее руки, бока — велосипед, легкая, летел под уклон, — я кричал ей:

— Сейчас врежемся!

Она упиралась в руль, спина ее прижималась к моей груди, голос ее дрожал в позвонках — смехом вверх или грудным, ахающим вниз, — и я принимал его всей грудью. Она вертела головой, мешала смотреть, я не останавливал велосипед, он падал под уклон, я пугливо щекотал ее щеку и вдруг по-звериному, охватным чутьем ощущал, как из каждой поры ее сверкающего тела игольчатым бисером выбивала легчайшая влага.

Боясь вглядываться в нее, я не мог понять, за что я ее люблю. Если можно соткать человека только из голоса, цвета и движения — прозрачное напряжение ручья на извороте, — я упивался только этим. Но я ревновал ее смертельно — такой летучий, легкоформный образ-облик не мог принадлежать мне безраздельно, он легчайшим дымом вился меж других — это ли не мука? И я приходил в глубочайшее замешательство: я вспоминал ее телесную тяжесть, обременявшую велосипед, и свою трусливую поспешность, с которой я разгонял этот велосипед, освобождая себя от чувства этой тяжести. Чего же мне больше всего хотелось — ощущать ее телесную тяжесть, то есть ощущать ее безраздельно своей, или же видеть только ее вытканый облик, дышать им, умирая от муки ревности?

Я заползал по колючему стволу алычи и переживал ее неверность. Небо ждало, и как только подо мной обнаруживалась пустота, небо натекало на меня густо, словно речная вода. И точно птички крылья, лиственный ветерок принимал мои взъерошенные волосы.

Оставалась еще одна игра, которую я любил как отдохновение, как языческую пляску.

Взрослеющие, мы играли в нее долгими сумерками. Поперек пустынной улицы. Девчонки, взявшись за руки, по одну сторону, мы — по другую. Общее наше пацанье тело, связанное руками, напрягалось и волновалось поперек улицы. Мы жадно ждали, искоса глядя на ласточек, мимолетно слушая, как носят они табунком, пронзительно звеня медленными в лете колокольцами.

— Чью душу желаете? — перекивая ласточек, кричали девчонки.

— Танькину! — кричали мы, прихватывая покрепче ладони друг друга. — Жанкину! Майрину!

— Майрину! — повторял я, готовясь грудью, сердцем принять ее на себя, не пустить, объять, захватить, ибо чью же душу и желать мне как не ее, ибо чья же душа бродит без призора в этих светлых сумерках, когда моя сквозная грудная клетка пуста и сердце со смещенным центром тяжести готово перевернуться....

День для начала октября был душный. Ветер с полей нагнал облака. Тяжелые, со свинчатками облака сверкали закраинами, шли, как бы гоня под собою ветер, сминая высокие, легкие на прогиб тополя. Но ветер притих. Было душно, тесно в городе. Мы томились во дворе, переговаривались. Вышли девчонки.

Ласточки гоняли себя на измор. Пошучивая, мы выстроились — переростки — поперек дороги.

— Чью душу желаете? — закричали мы.

Девчонки совещались, ветер гнал по улице желтые лепестки опадающей акации. Мы замерли, мы ждали, казалось, ударь ветер в спину посильнее — и мы полетим.

— Юркину! Вовкину!

«Мою, мою душу желайте! — Я глядел в лицо Майры, ее руки были заняты, и платье вилось над коленками, жило своей жизнью, вслед за ветром липуче охватывая ее фигуру. — Позовите мою душу!» — подгонял, заклинал я. Я не знал, не мог знать, не мог вникнуть, чего мне желать: разорвать ли руки, держащие ее в цепи, или отдать себя ее рукам. Если выкликнут...

За нашими спинами, звеня, пластая асфальт, побежали танки.

Мы расцепили руки. Еще утром в школе узнали мы, что на металлургическом рабочем базарят. И мы не удивились юркому пришествию танков. Девчонки кричали: «Дураки, не ходите туда!» Мы только мгновение колебались — куда, в сторону центральной площади или на дорогу из города?

Дорога была пустынной, даже оголенной. Как бы подготовленной принять идущую от Хатунка плотную кричащую массу. Люди миновали мост через железную дорогу и двигались на подъем к городу. Масса людей шла по правой стороне дороги, по тротуару, а с левой, тесня идущих и как бы линейно размечая их, двигались милицейские и армейские машины. В милицейских видны были овчарки.

Когда толпа совсем придвинулась, я удивился тому, что никто не кричит, а шум над толпой все равно стоит неутомонный, говорливый. Среди взрослых были и пацаны, и нам было оскорбительно видеть их в этой толпе, в этой по видимости молчаливой, тяжелой колонне, которая не только гарантировала им безопасность — определяла им победное место в этом шествии.

Изредка из хвоста в голову колонны прокатывалась волна, то ускоряя движение, то замедляя.

— Освободите проезжую часть! — орал милицейский мегафон, и машины начинали отутюживать рабочих к обочине.

Проезжали рейсовые автобусы, гаишник отмахивал им палкой, подгонял. Мы держались поодаль, мне не было страшно, но сердце у меня билось так, как будто мне надо было на что-то решиться.

От Хатунка до города пехом минут сорок, но толпа не утомилась. Шли споро, посмеивались между собой. Вид у каждого был заговорщицкий — и я завидовал этой их общности и раздражался на то, что был вне ее. Слух был, рабочие пошкублись из-за дохлых пирожков. Директор сказал: «Не сдохнете». Ему набили морду, устроили забастовку, а потом двинули в город.

— Освободите проезжую часть!

Люди нехотя подчинялись крикам мегафона, но строптиво сопротивлялись нажимающим машинам. Уже видно было, что между толпой и милицией установилось отчужденное соперничество. Уж очень большой была толпа, чтобы милиция и солдаты чувствовали себя вправе пресечь ее движение. Толпа же шла накатом, а каждый по отдельности — торопливым шагом, и получалось, что все они идут туда, где их ждут. И потому они поглядывали поверх голов милиции и солдат, нервничали из-за задержек.

Впервые я видел перед собой хатунских в таком количестве. Среди них были и женщины, и даже пожилые. Пацанва помельче бегала между машин, дразнила милицию. Наши ровесники не обращали на нас внимания, их лица были одеты, как в маски, озабоченностью, которую они усиленно копировали со старших. Помню, и этому завидовал остро: Хатунок может позволить себе такое, а я и любить не могу так, как хочу!

На подходе к городу дорогу перегородили милицейские машины. Толпа сразу стала накапливаться, расползаться по обеим сторонам, народ набивался между машинами. Мы отступили на кольцо, разводящее трассу и въезд в город. Каждую минуту мы ждали, что милиция наконец примется за бунтовщиков. И поэтому мы отступали, чтобы не смешиваться с Хатунком на случай заварухи.

— Граждане, не делайте пробку! — гремело через усилитель. — Разойдитесь! Не вынуждайте работников милиции применять меры!

- Освободите дорогу! — крикнули из толпы. — Мы идем к первому!
- Долой жандармов!
- Тихо, не гоноши.
- Граждане, освободите трассу!

В толпе накапливался шелестящий, мускульный, слепой дух. Мы возбужденно осуждали Хатунок, нам казалось, они насмежаются. Вон их сколько, больше, чем на демонстрации. И они без флагов, без транспарантов, в спецовках, в синих, черных халатах. Они не расходятся, не слушают милицию, они не боятся ее. И как нарочно, все натекали, натекали, крутыми воронками закручиваясь вокруг пробки, и двигались с тупой, тягучей, текущей вверх по склону неумолимостью.

Солнце как выпало из туч — открылось жарким, сплящим диском. Подходили городские. Становились поодаль.

- Счас собак натравят.
- Нет, пожарных вызвали. Они им устроят холодный душ.

Мы прислушивались, посмеивались.

— Столько лет жили спокойно — и вот вам!

— Форменное безобразие! Чего их уговаривать?

— А что, они по уму делают! Живем, как на «Потемкине», гнилье пита-

емся!

— Но не так же — толпой на улицу.

— При-струня-ат.

Над толпой подняли мужика, он крикнул визгливо:

— Идем в горком!

Хатунок засвистал. Мы стали их пересвистывать. Толпа наперла на машины, перемешала милиционеров, крайние отбежали. Усилитель захлебнулся, перекрытый криками. Толпа пошла, пошла, посыпалась на городскую улицу. Я свистел, закашлялся, слюна текла так, словно отравился зеленью. Хатунок ни на что не обращал внимания; ему не были нужны ни советы, ни указания. Головная толпа свалила с автострады, проталкиваясь в улицу Ленина. Милиция и солдаты, отодвинутые напором, снова пристраивались обочь. Толпа, теснясь между домов, попыталась проникнуть на соседние улицы, но возвращалась на главную. В переулках, перегораживая, стояли где танки, где армейские грузовики.

Из дворов вывалили горожане, кто терся у стены, кто уходил с толпой. Мы зорко следили за этим, но напряжение в улице так нарастало, что мы потеряли в себе первичное неприятие. Милиция медлила, солдаты были в отдалении, а толпа притихла, подобралась, держалась в параллель с прижавшими ее машинами. И горожане в первую минуту встречали их, как похоронную процессию: «Что такое? Кого?» — «Запрудили — не перейдешь». — «Говорят, грабят. На складах все — и мясо и колбасы копченые — теперь по карточкам будет». — «Директора убили». — «Не убили — покалечили». — «Сумасшедшие! Не свое, так чужое!»

Хатунок шел по нашей улице — это было странное чувство и беспомощности и гордости. То ли мы их пропускали, то ли они вели себя так, будто им ничего не надо от наших улиц, а только бы дойти до горкома. И впечатление как от похоронного шествия делило горожан на тех, кто присоединялся, и на тех, кто отстранялся. Но и это деление ничего не решало. Пока толпа была за городом, мы могли позволить себе быть ее врагами, стоять в отдалении, ждать милицейских мер. Но толпа вошла в город; своим движением захватила улицу, и даже в том, что ее шествие было похоже на траурное, даже в этом, а может быть, именно в этом, возникала и властвовала некая силой массы захваченная правота. Ведь похоронная процессия сама по себе несет изначальную, внесудную правоту, а похоронность этой процессии проявлялась для нас в ее целеустремленной бессмысленности. Не хватало только покойника. Но ведь и похоронный ритуал отдает предпочтение не покойнику, он абсурдно посвящен живым. И тогда все это чудородное шествие преобразалось в некое движение к еще никогда не веданной нами свободе: это как свобода быть сторонним похоронам, свобода улыбнуться и даже рассмеяться над гробом. Это была свобода высвобождения, она заражала и нас.

На выходе к площади — пятачку — улица стала тесна, здесь скапливались и пахло разгоряченным потом, дыханием. Пройти было невозможно. Толпа напружинивалась, отшатывалась: «Что, что там? Сказал? Вышел?» — и пробивалась на пятачок.

Мы нырнули в подворотню. В глубине у стены жался хатунский. Увидав, попятился, потом кинулся мимо. Гоца подставил колено, долбанул, тот согнулся, подхватывая мотню. Мы били привычно: один по шее, другой поджопник, третий в морду, — но впервые мы били не из чувства правой мести, мы били за то, что он посмел увильнуть от высокого действия высвобождения, которое нес Хатунок.

— Ах сучата! Трое на одного?!

В подворотне оказался дядька. Мы знали проход, пробежали двор, на зады, по крышам сараев, через пустырь, в проулок между церковью и забором рынка. Проскочили мимо танка. Здесь было тихо, люди шли как ни в чем не бывало. Мы хотели подойти к танку, но нас отогнал мужик в шлеме. Возле чужого палисада мы покурили бычков. В соседнем дворе тетка задвигала ставни. Соседка ей говорила:

— Стекла в магазинах побили, ворвались в сберкассу. «Давай, кричат, деньги, а то раскокошим!»

— Покричат — разойдутся, апосля, можа, муки выкинут.

На этой улице была тишина и казалась тишиной нарочитой, но была-то настоящей, ни к чему не обязывающей. Подбежала собака, стала поодаль. Третий из нас, Андрюха, поднял камень. Собака все поняла, она отшатнулась, взвизгнула, побежала, поджимая зад.

— Идита отсюда! — крикнула женщина из-за забора.

— Бандиты с Хатунка! — крикнула другая. — Чем собака вам помешала?

Андрюха откинул камень. Мы пошли по улице. Сухой ветер гнал пыль и мусор. Это была собачья улица, улица упреждающего обмана. Мы были в нерешительности, там, на главной улице, побитый хатунский мог уже собрать своих, а если всех разогнали, то они могли в любой момент хлынуть сюда и изувечить нас походя. Андрюха не выдержал и отвалил. Он сказал, что ему надо к отцу. Я посмотрел ему вслед и подумал, что он светловолосый, а потому струсил первым.

— Если будут грабить банк, деньги ветром разнесет, — сказал Гоца. Он был старше меня, и я понял, что остался один с тем страхом, который утнал Андрюху.

Из переулка в переулок со стрижиным писком пробежала малышня. Я поотстал, и Гоца не стал меня ждать, он только раз обернулся круглым вешнущатым лицом, глянул мимолетно, нехотя поторопил и свернул за угол.

Я шел осторожно, с трудом дыша этим разреженным, словно зараженным воздухом. Я шел домой и намеренно удлинял путь, петлял. Я понял, что переживаю. Переживаю, когда же все это кончится, когда милиция и солдаты подпрут Хатунок и выдавят из города. Мне нужна была привычная жизнь, ведь именно в привычной жизни я любил и мог любить Майру. А Хатунок принес такое мироощущение, что во мне ни одно чувство не дотягивало до него. В прежнем мире не было равных моему чувству любви, возле Хатунка я оказался недорослем. И мне хотелось презирать его, и, чтобы утвердиться в этом презрении, я кинулся пустынными проулками на площадь.

То, что происходило перед моими глазами, было настолько необычным, настолько покрывало необычностью все прежде мною испытанное, что, казалось, я стал просто двумерцем, способным только видеть. Но в то же время моя собственная память, глядя на привычную площадь, на здание горкома, на здание банка справа поодаль, на крытый рынок слева и за ним купола собора, — память подпирала меня подробностями, связанными с этой площадью, с демонстрациями, с музыкой духовых оркестров, с запахом конфет, вкусом газировки, охающим треском шаров. Нас долго выдерживали в рядах медленно идущей колонны; пять шагов — и стали, пять шагов — и стали. Потом под удары барабанов и пение духовых нас выравнивали, сосредоточивали у площади и пускали. Мы глядели на трибуны горкома, марши-

ровали, тянулись за пятками впереди идущих, кричали «ура» на неразборчивый призыв и сразу на выходе — враспынную.

Теперь же толпа клубилась на всем пространстве, на месте не стояла, то впрессовывалась, то отшатывалась, рассыпалась краями. Орали милицейские усилители, на ступеньках горкома стоял плотный ряд автоматчиков.

На деревьях в сквере — пацанва. Лотки с мороженым, газводой закрыты, овощной ларек распахнут, помидоры, кабачки рассыпаны, подавлены. На ящиках мужики. Продутовый магазин закрыт изнутри, в окнах — продавщицы.

Толпа все время в движении, кто-то протискивается в середину, кто-то выбивается обратно. Здесь, на краях, даже весело, парни подталкивают друг друга, напирают. И надо решаться: либо со всеми вместе, тесно, либо отходи подальше, иначе отдавят ноги или свалят. Я решаюсь и впихаюсь вслед за парнем в сетчатой тенниске. Он, поднимая лицо, как при встречной волне, замечает меня краем глаза, кричит: «Смотри, голову отдавят!» Он пробивает дорогу локтями, я тороплюсь, душно и сперто так, будто весь свежий воздух по низам съеден.

Над толпой поднимаются руки с плакатиками. Замечаю, что бумага из наших «канцтоваров» — одна сторона серая, другая голубая. На голубой: «Долой паразитов!» Милицейская шеренга взрезывает толпу, делит наискось, переламывается, часть пробивается к плакатику, хватая парня за руки, мнут, обрывают плакат. Толпа теснит, мешает, давит. На лавочку возле сквера вспрыгивает молодой мужик в коричневой спецовке, кричит милиционерам:

— Ребята, скидавай форму! Становись с нами!

Хохот. Молодого мужика сердито сталкивает пожилой в синей рубашке. Он встает на лавочку, пытается подняться на спинку, срывается, кричит:

— Дармоеды! На наших налогах рожи разъели!

Три милиционера опрокидывают его на себя, волокут, заламывая руки. Со стороны рынка и собора подошли автобусы, там толпятся милиционеры и военные, бухают и хрипят овчарки. К этим автобусам волокут арестованных.

Мне странно: на арестованных толпа не обращает внимания. Как только кого-нибудь хватают и волокут, на них вроде бы даже не смотрят. Только не уступают дорогу, толпятся, смеются. Но всякий раз, как над головами появляется плакатик, возникает стремительное движение в его сторону, толпа тянется прочесть: «Долой паспортный режим!» — услышать, поддержать выкрикивающих: «Заводы рабочим, землю крестьянам!» Но голоса заглушает рев усилителя. Милиция идет враспынную сквозь толпу, кричит в лица, в уши: «Освободите проезжую часть! Не загораживайте пешеходные переходы!» Из усилителя: «Разойдитесь! Освободите проезжую часть!» И опять и опять одно и то же.

Я пробиваюсь к деревьям сквера. Низкая, до колена оградка смята. Пожилая женщина с бледным загорелым лицом тянет в гущу двоих детей. Мужчина, вывернувшийся оттуда, говорит возмущенно: «Куда детей, ненормальная!» Женщина подхватывает меньшего на руки, гневно отвечает: «Не ваше дело! Пусть всё видят, пусть всё знают!»

Из соседнего дома над сквером в раскрытое окно второго этажа песня: «Али-баба, смотри, какая женщина...» В других окнах жильцы, они что-то кричат и показывают руками.

На тополях и акациях вижу наших среди чужих. Гоца свистит коронным свистом — колечко пальцев на язык. С крыш снимаются голуби, за ними с дальних деревьев вороны. В мгновенной тишине — карканье, загроможденный стук крыльев. Люди смотрят вверх, смеются.

Милиция в очередной раз перерезает шеренгой толпу. Под фуражками красные лица, мелочные, злой напор. Толпа подступает к подъезду горкома. Автоматчики шевелятся. Опять плакатик: «Казюк, выходи!» Громкий смех, выкрики: «Не выйдет! Давно сбежал!»

Парня в светлой клетчатой рубашке несколько рабочих взяли на плечи, он тянет, тянет руки вверх, на плакате буквы вверх ногами. Милицию оттесняют, она кулаками вбивается в толпу. Я успеваю по стволу акации взобраться чуть повыше. Милиция рвет плакатик, но парень поднимает его, уворачивается. Плакат в лохмотьях, мильтоны яреют, бьют коленями и кулаками тех, кто держит парня.

Парня достают, срывают вместе с плакатом, тянут, но за другую руку его держат двое, тут же пожилая женщина в розовом цветастом платье, она размахивает белой сумочкой, бьет мильтонов по лицам. Мильтоны на мгновение отступают, придерживая фуражки, но тут же хватают парня. Женщина кричит: «Не трогайте его, фашисты проклятые!» Парня расхерили, милиционеры в одну, рабочие в другую. Толпа сначала скапливалась вокруг них, мешала мильтонам, теперь редеет. Парня тянут к автобусу. Он оглядывается веселым безудачным лицом: то на рабочих, то на мильтонов, он улыбается, смеется голубыми слезливыми глазами. Рабочие отпускают его руку. Мильтоны быстро перекидывают его к автобусу, пинками подсаживают на ступеньки. Он юркает и тут же, отодвинув окно, высовывается по пояс. Он орет, стуча кулаками в железный бок автобуса: «Свободу! Свободу!» Народ подхватывает быстро и раздельно: «Сво-бо-ду! Сво-бо-ду!» Автобус трогается, парень вскидывает руки, упирается. Мильтон со спины просовывает ладони ему в пах, парень орет так, что вороны опять кидаются с деревьев.

Место, где только что воевали за парня, пусто несколько мгновений. Здесь стоит пожилая, вертит в руках вельветовый коричневый башмак, потом кладет на асфальт. Ей смешно и неудобно. Толпа отшатывается, женщина с трудом удерживается на ногах.

По скверу ходит высоченный полный мильтон, плачущим голосом увещевает: «Товарищи, милые, что же вы делаете? Я прошу вас, разойдитеесь, не нарывайтесь. Я прошу вас, поймите! Ведь это опасно». Он прижимает руку к груди, козырек фуражки высоко поднят надо лбом, ему жарко, он один.

Звенит разбитое стекло. В горкоме осыпается окно.

Возле автоматчиков, ступенькой выше, появляется майор. Он поднимает руку. Садит глоточно: «Граждане, предупреждаю! Не вынуждайте на крайние меры!» Толпа базарит, особенно сильно кричат женщины. Я еле держусь на стволе, уцепиться не за что, но внизу некуда спрыгнуть, сквер утыкан обрезанными трубами, здесь были беседка и детская карусель. Да к тому же начинается давка.

Над толпой опять кого-то подняли на плечах. Он кричит:

— Не поддавайтесь на провокацию!

— Ааа! — отвечает толпа.

— Спокойствие!

— Ааа!

— Товарищи, у милиции свои обязанности, и она должна их выполнять!

— Ааа!

— Я предлагаю организованно перейти на другое место!

Милиционеры, подхватив друг друга под локти, распирают толпу надвое.

— Давай сюда, дурак! — кричит мне сверху Гоца.

Вижу его быстрое птичье лицо. Он шарит рукой в ширинке брюк. Я боюсь, что он налетит мне на голову. Я знаю его шуточки под шумок.

Но прыгать некуда. Прямо подо мной переговариваются двое, один с хозяйственной сумкой. Они говорят тихо и, пожав быстро руки, расходятся. С хозяйственной сумкой — маленький, с приметной яркой рыжей головой. Когда над толпой полетели редкие листочки листовок, рыжий, я видел, кинулся первым, похватал почти все.

— Удрал, удра-а-ал секретарь!

— Танки! Сейчас танки придут!

Майор с крыльца:

— Предупреждаю — разойдитеесь!

Мне на голову сыплется шелуха, пацан надо мной меняет ветку.

Хрястко, большими кусками отваливаются стекла в окне горкома.

Майор из конца в конец ряда автоматчиков машет сорванной с головы фуражкой, кричит. Автоматчики наклоняются. Я вижу, как напирающую на крыльцо толпу сдерживают передние, взявшись в цепь. Но их разрывает, раздергивает милиция.

Возле сквера малец в соломенной фуражечке кричит: «Бабуля! Абаля! Апапа!» Орет так, что звенит в ушах. Сквозь визг — эхом, словно сыпанул град, трескотня. Небо ясное, облака лишь кучевыми краями далеко за горо-

дом. Пацан быстро спустился с дерева; смотрит на меня ненавидяще, бьет ногами по плечам, по голове. Я упираюсь, держусь из последних сил. Опять сыпкое эхо, шальной, в голос крик толпы. Пацан вдруг отпадает от ствола, царапает пяткой по моему лицу и спиной хрюпает о землю. Я прыгаю следом, во мне такое бешенство, что мне вдруг жалко не то его, не то себя. Пацан лежит на спине, опираясь на локти, скривился, выпучил глаза. Мне мешают Гоца, он сваливается по стволу, смеется: «Стреляют!» И я слышу опять градовой треск, падают срезанные ветки.

— Детей! Детей! — то ли из окон, то ли из толпы.

Окна в домах уже пусты. Народ рассыпается с площади как тает, милиция мешает, ее расшматовывают, она бежит следом. Меня охватывает странное, лихорадочное воровское веселье. Пацан лежит на спине, футболка взъехала, из-под ребра снизу шишкой выпятился живот. Пацан напоролся на штырь. На его сером лице живы еще только пятна бледности. «Давай», — говорит Гоца. Мы хватаем пацана, Гоца под мышки, я за ноги. Пацан вдруг орет, вопит на нас. Мы отпускаем его и, боясь, что заподозрят нас, улепетьваем.

Взять ложечку куриного помета...

Вы, т. К-ов, один в сотне лиц. И вы будете охранять меня от меня самого. Такова роль вашей культуры. Ей нужны резервации. Вы еще до этого не почувствовали, вы еще сознаете себя бойцом на культурном фронте, стражем чистоты... но уже видно, видно по вашему лицу (всегда люблюсь вами, когда вы на телеэкране), что вами уже овладели обстоятельства. Когда вы говорите — нет, не обо мне лично, а о таких, как я, — вы улыбаетесь, словно говорите о детях. О детях, не сознающих, что они творят. Вы прозреваете будущее, вы говорите о нем так, будто только что прибыли оттуда. О, как я вас понимаю в этом стремлении не пускать, держать нас в отдалении, показывать на нас пальцем, объяснять нашу некультурную природу, качать задумчиво головой, размышляя, как бы поточнее нас классифицировать. Понимаю вашу научную озабоченность и боязнь ошибиться. Вам бы хотелось сохранить нас от самих себя. Мы такой странный выверт в нарушенной экологии, мы покушаемся на собственную природу с той же глупой агрессивностью, с какой иные уничтожают природу других. И я сам понимаю: на что бы я ни устремил свой взгляд, все становится мертвым, «черным квадратом». Я боюсь вспоминать свое прошлое, потому что взгляд в него есть уничтожение прошлого, высасывание мертвого из мертвого. Я не могу передать словом ни одного мгновения ж и з н и.

Философы шутят: бытие — это то, чего не было, не будет, но что всегда есть. Но есть ли это «есть»? Наше мышление больно финализмом, катастрофизмом. Мы ведь в самом деле з н а е м, что уничтожить мир нам по силам. Это знание — структурой в мозгу, рисунком нервных связей. Мы живем от будущего, то есть от того, чего н е т, живем от н е б ы т и я. Вот почему мы деградируем: чем ни заполняй небытие, оно не изменит своего качества. Вот почему наше настоящее — это релятивизм, мы все время б а л а н с и р у е м.

Вы охраняете будущее? Кто же из нас горгона?

А вы ели мясо черномысой курицы? Знаете, чем привлекателен конец света? Не небытие даже, не мрак смерти, не чернота очищенной от жизни вселенной, а — конец с в е т а? Вот тут он есть, а здесь его уже нет. Трепет исчезновения. Ведь ничего другого человечество не знало, так почему же оно должно отказать себе в удовольствии испытать это в последний раз? И не я вывожу к этому, вы, т. К-ов, со своим экологическим гуманизмом выводите человечество на эту финишную прямую. Вы внушаете мысль: надо жить разумно и мирно, и н а ч е — планетарная катастрофа. Неужели вы думаете, что, пугая смертью, можно возродить любовь к жизни? Или жизнь, возведенная в идеал, способна образумить людей?.. В основу жизни — отвращение к жизни... Сатана был гуманнее вас, он возбуждал в человеке живое начало.

Не идеалы надо беречь, а инстинкты.

Человек пришел трепетный, напряженный. Он принял в себя идею конца света, он живет ею изо дня в день. Он привык. Щелчок выключателя — света

нет. Пробило проводку, полетели пробки. Гаснет свет в городе. Словно вселенная сморгнула со своего века золотистую каплю. Ощущение быстрого легкого падения в невесомости. Ясное охватывающее ощущение всего тела — снаружи и изнутри. Раздражение светом. Раздражение концом света. Раздражение общечеловеческой идеей.

Я еще принимаю, что шелест идет от листьев, что ветер от холмов, принимаю, потому что своим телом, местоположением этого тела я здесь, в этом месте. Но вот воздух, свет, земля — это уже категории, идеи. Пусть это идеи Антихриста, идеи из небытия, но они есть. Свет — идея, земля — идея и воздух — тоже идея. И не как результат экспериментальной мысли, а как результат практической деятельности; натурального абстрагирования.

Материя, овладевшая массами, становится идеей.

Идея, подогретая в ускорителе общественного сознания, поражает каждого.

Когда гаснет свет.

Когда перебои с водой.

Когда отменяют электричку.

Когда вводят комендантский час.

Мы выходили на улицу, как на первый снег. По сухому асфальту проходили к центральной. Между прохожими, издали, проглядывали патрули. Город казался обновленным. Так выглядит обновленным зеркальное отражение — тоже, но чуть светлее. Патрули поддерживали не порядок, а вот это чувство необычности, обновленности, наоборотности. Каждый из нас видел что-то свое, и выходило, что мы видели разное. Гоца говорил, что грабили центральную сберкассу. И мы шли в центр, к окнам сберкассы. Окна были целы, двери на месте. Но мы шли по-над кустами в надежде разыскать остатки развешенных денег.

Кочеток, один из нас, мой одноклассник, вертлявый бегун на короткие дистанции, рассказывал, что видел, как прыгал со второго этажа секретарь горкома Казюк. И мы шли на пяточок. Здесь уже не было беспорядка. Лотки и магазины торговали, как всегда. Мы издали обходили горком. Окна были застеклены. В сквере тоже не было никаких следов. Но я помнил спорый треск автоматов и секущий бег в листьях. Мы уже знали, что пацаненка из нашей школы, пятиклассника, запретили хоронить принародно. И толстяк Бодя, удрученный, блестя потным, подвернутым вверх подбородком, рассказывал, что родители и сами старались, привезли гроб с ночи, рано утром увезли. Так же хоронили и других подстреленных.

И большеглазый, нежногубый Зусик сказал, что видел Микояна. Тот не побоялся говорить с народом, вышел прямо к толпе. Мы признавали его смелость. Что стоило ткнуть его ножом в суюлоке? Мы понимали высокую политику, но выборочно относились к партийному синклиту. Хрущ летел — и мы свистели вслед. С полуспортивным интересом мы следили за сменой портретов, понимая, что политика, как и торговля, делается на черном рынке, на толчке. Микоян прилетал покупать нас, и мы были горды такой высокой ценой. И уж коли нас купили, мы старались пригасить последствия бунта, осуждали городских, присоединившихся к Хатунку. Надо было свести на нет пришествие подгородных жлобов, растащить событие по мелочам, презрять в небылицу, разрушить память очевидцев, и собственную в том числе. А мы уже знали, что, если ядром события было убийство, люди предпочитают, чтобы о нем говорили неправду.

Это знали не только мы. Школа поглотила событие. Преподаватели только усилили опрос; мы не поддавались, испытывая некую гордость: вот мы — живая память события; и ее пытаются забросать вопросами, засыпать домашним заданием, принудить к отупению. Мы сопротивлялись — как в игре, понятной и нам и преподавателям. Это был азартный, допустим, баскетбол с переменным успехом, но всякий бросок по кольцу был обеспечен попаданием — забвением.

Заводил, бунтовщиков-закоперщиков, выдергивали без шума, они исчезали, потом исчезали их семьи. Суды проходили по другим городам и были закрытыми. Мы шпятились по улицам и смотрели друг на друга так, будто знали

в лицо каждого исчезнувшего. Мы подозревали каждого прохожего. Мы теперь знали, что милиция может быть другой, слаженной, безжалостной, а молодые парни-солдаты владеют автоматом и стреляют по приказу без заминки.

И еще одно открытие заставило нас повзрослеть. Оказалось, что ни общий язык, ни места общего пользования не объединяют людей: И не объединяют. Они, эти формы коллективности — род, племя, дружба, нация, язык, государство, что еще? — содержат в себе некую человеческую сущность, абсолютно равнодушную к формам. Энергия ли это человеческого естества, безразлично оживляющая любую форму коллективности? Или это сама идея человеческой общности, обнаруживающая себя в равнодушии?

У меня билось сердце, когда я видел толпу Хатунка. Я волновался, словно все происходит со мной. Да ведь со мной-то и происходило. Я пожирал толпу глазами, я стремился войти в нее, хоть и чувствовал отвращение. Но странное, еще более сильное чувство — не чувство, состояние овладевало мной. Я видел людей, одни шутили, другие переговаривались, третьи кричали и матерились. Все это были отдельные лица, они смешивались, но несли — каждое — свое выражение. Это было странно. Ведь идут они к одной цели, их объединило нечто, противопоставившее их милиции, войскам, партийным боссам, власти. Почему они все разные, т. К-ов? Они старались идти в ногу, они брались за руки, они скандировали, но все это было разрознено лицами, поведением, настроением. Потом наступил момент — это когда они подошли к пятачку и стали скапливаться, — и я понял, что вся эта людская разность, так многолико проступившая (а я помню, помню, что это было именно ярко, именно многолико, но лицо, каждое в отдельности, бросается в глаза, портретно трепещет!), что все это многообразие есть шелуха, все стало осыпаться возле пятачка — и смех, и крики, и жесты. И я потерял страх, т. К-ов.

Когда, обжевав площадь, я вернулся к толпе, я уже был совсем другим существом. Я сидел на дереве, держался изо всех сил, но мне не было не только не страшно, мне было н и к а к. Нет, т. К-ов, не потому что я внутри мертвый, не талантливый, бездарный. Не поэтому. Пусть вы правы и я не умею писать, но чувствовать себя я умею, разбираться в оттенках ощущений — тоже. На дереве я уже был вневещественным существом, я был младенцем и поэтому все видел ярко, бесстрастно, и события предо мной были освещены как бы двойным светом. Зеркальность событий объяснялась свежестью детского зрения. И по мере того как накапливалась, теснилась толпа, люди все больше превращались в детей, как и я. Это было общее состояние. Не в шаловливых, безотчетных сорванцов, а в тех, которые только что стали на ножки, глаза их бесчувственно всевидящи, улыбка чиста до безумия, жесты и движения таковы, будто не существует пространственной удаленности и не сознается граница света и тени, и в этой безграничности все предметы рядом и перелиты друг в друга настолько, что если ребенок, тянясь к игрушке, хватает походя край тесемки, то он как бы берет в руки и саму игрушку. Под всеми накапливаемыми временем эмоциями, прочными чувствами, дремлет (дремлет ли?) подлинная сущность человека — внутри человек н и к а к о й. Шелуха человековидности осыпалась тогда на пятачке, обнажилась нейтральная, то есть подлинная человеческая сущность, которая обладает космической энергией, глубинной космической мощью, универсальностью, делающей младенца богом. Толпа — и люди, и мильтоны, и автоматчики — была гениальна. Свет и тени перемешались, дома, небо, люди, деревья, вороны перемешались. Поднялась нейтральная человеческая, первозданная нейтральная мощь, детское любопытство света к тени, электрона к протону. Она привела в движение бесконечное число случайностей (а никаких закономерностей она не знает!), она же нажимала на гашетки, она срезала ветки, листья, убивала пацанов. А разве не этой энергией движимы революции? И разве не этой энергией питается религия?

И разве не эта энергия спасает вас, т. К-ов, от мук совести, когда вы при помощи данных вам средств культуры отстреливаете графоманов?

Человек — ничто, и в этом его роевое начало. Но вам не по вкусу эта банальная истина.

Блаженны дети...

Родителям я почти ничего не рассказывал, но кое-какие полувыведанные сценки я описывал, и даже взхлеб. Они слушали. За борщом или за компотом. О выстрелах я ничего не говорил. Они между собой спорили, сколько убили. Мне почему-то нравилось изображать полужнание, непонимание, а я никак не хотел вступать в спор, брать чью-либо сторону. Отец осуждал, о. Микояне говорил с уважением; он уверен был, что во всем нужен порядок, и я уже знал, что он понимает под порядком. Совсем не нечто внешнее, колоннообразное, идущее шаг в шаг и безропотно подчиняющееся государственной воле. Глядя помутневшими голубыми глазами -- как бы с ослабшим зрением не то от сигаретного дыма, не то от задумчивости -- в окно или вбок, он имел в виду умение обходить правило, закон, обманывать, но так, чтобы этот обман не наносил вреда закону, правилу. До семи ли раз? До семидесяти семи, не в разгах суть. Обманывай, но не перерождайся, ибо переродка отец видел сразу. Все обманывают, как все пьют, но не все спиваются, такому же испытанию подвергается каждый обманщик, вор, у него меняется физиология, — вот что имел в виду отец. Не в законе дело, не в укуснительном его исполнении. Человек должен быть с о з н а т е л ь н ы м, человек должен следить за собой и знать меру. «Кого не надо — не убьют», — говорил отец, слепо глядя на меня.

Человеческие лица воспринимал я как затертую шкалу умысла: каждый что-то преступал, что-то нарушал, в чем-то обманывал, что-то выгадывал. Внутренний мир человеку дан, чтобы скрывать умысел, прятать расчет. В этой мысли укрепляли меня отцовы большая голова и большие плечи. Внутренний мир начинался сразу за глазами, подходил к самой слуховой перепонке. Произнесенное человеком слово тревожило одновременно и внутренний мир и мир внешний, но смысл тревоги в том и другом был разный. То есть человека можно заставить видеть, слышать, но его невозможно заставить понимать, что я уразумел, глядя на отца и вспоминая крики на пяточке. И это знал отец, и мне казалось, что это знание сидит у него в затылке, в спине, в локтях. Вот почему д о с т а т ь внутренний мир было невозможно — это как разрезать границу света и тени: всякое движение света вызывает равнозначное движение тени. И вот почему люди на пяточке были не людьми, а некими воздушными оболочками. Это я знал, это знали и пацаны: когда человек вдруг заговорит нутром, он перестает быть привычным человеком, он даже перестает быть человеком. Вот почему всегда находится такой закон, который приказывает стрелять. Мы понимали: не высовывайся, нутро не имеет формы и не знает законов, и как только оно обнаруживает себя, его надо снова загонять в привычную форму — дать в морду, заломить руки, а распоясавшимся всадить пулю. Мертвый человек — это нутро, лишенное умысла.

Мать не соглашалась с отцом, потому что в магазины завезли жратву. Она бегала из магазина в магазин, выстаивала очереди за мясом, маслом, мукой. Всякая ходка доставляла ей праздничную радость. Она раскладывала на столе огромные куски мяса, шевелила, выщупывала. «Ах, мяско! Ах, объеденье!» Она запеленывала куски в марлю, промоченную уксусом, и прятала в подвал. Иной раз и я стоял в очереди и видел, как поменялось и ослабло напряжение, очереди стали короче, и эта разрядка — я видел по лицам, слышал по разговорам, по тому задору, с которым общалась в очереди мать, — связана была с теми, кого убили, и с теми, кого сейчас вылавливали и сажали. Их души не отягощали очереди еще и потому, что хатунским заткнули глотку, набили магазины. Их не видно было в городе, сизо-голубая дымка лежала пределом их существования.

Отец возвращался с дежурства в подпитии, расслаблялся, на сухощавом лице под толстыми морщинами поблескивала улыбка. Похож ли был этот блеск на блеск сбитых тополиных листьев, или улыбка сама походила на улыбку мужика, тащившего подстреленную женщину, — я вспоминал площадь и спорый, как ситец' на разрыв, пролет пуль в листе.

С отцом приходил его старый друг, майор милиции. Мать из свежего теста быстро готовила большие пельмени, резала помидоры, огурцы, лук, заливала подсолнечным. Уже хмельные, отец с майором выпивали из новой бутылки. После двух полустаканов они еще гоняли мух над салатом. Потом уплывали в

разговор, мать суетилась, но уже медленнее, и ее темно-карие глаза светились оживленно и настроенно.

— Не-ет, Иван, — говорил налитым голосом майор, — их — как собак нерезаных. Тюрем не хватает. Хули там Микоян... Хули там Микоян.

— Хуля там Микоян, — одобрял отец.

Он смеялся. Смеялась мать. Я тоже встречал: «Еще чуть-чуть — и танки жажнули бы!» «Да стреляли же, — сказала мама. — Я слышала — окна задрожали!» «Холостыми пугали». — «А стекла побили? Как во время бомбежки, я думала, война». — «Ну, накормил, накормил их Никита!» — «Ха-ха, лысая башка, дай кусочек пирожка!» — «Пирожки с говенным ливером».

Мне весело среди хмельных и пьяных. Весело по-взрослому. Я лопочу вместе с ними скользким языком и я — хватает играть в детство, — я все понимаю. Все уже знаю, а что не доходит до сознания сейчас, дойдет потом, всплывет трупом утопленное в памяти: демонстрации с плакатами, с портретами Хруща и следом — как перелив, как ведро, перетекшее вслед за водой, — озверевшие обыватели. Закрытые суды и приговоры, машина беспамятства и подсознательная память (вот что такое подсознательное: двадцать, тридцать лет спустя никто не скажет, что видел сам, никто даже очевидца не назовет, но останется неистребимое н у р о, неистребимое, потому что ему не надо внешних атрибутов памяти, чем меньше этих атрибутов, тем легче нутру и быть, и жить, и сохраниться) — нутро все вынесет в своем темном пространстве, спрятавшись за тончайшей и непробиваемой пленкой полуяви, выплеснет внезапно на очередном витке человеческого самоповторения... Я смеялся вместе со всеми и в тот день впервые уловил в своей груди странный нервный кашель — не то от смеха, не то от нутряной сухости. Как будто я только что выучился смеяться или, наоборот, как будто смех во мне отсыхал. Рассмеюсь и тут же: кхе-кхе взадых. Мама стучала мне по спине, думая, что я поперхнулся, стучал и папин майор тяжелой, зверской ладонью.

Ребенок смеется открыто, потому что память обнаруживает полное свое соответствие жизни, смеется от удовольствия, что она совпадает с мгновением, смеется от своей способности вдруг обнаружить себя в мимолетности — ни одно мгновение не протекает мимо памяти.

Я же теперь смеялся, чтобы не помнить, чтобы подавить память. Так смеются запрещенной шутке, так смехом подавляют приступ веселости — хихи-хи, кхе-кхе. Я думал, что: ушел от детдома, но детдом возвращался... Почему не пишут, не говорят о том, что человек живет самоповторением? Почему, т. К-ов, вы не кричите о том, что человек должен быть осторожен в выборе своей жизни, — потому что жизнь уходит в память, а память не отпускает! Память ждет своего часа, память вернет свое обязательно! Куда бы ты ни убежал, а твоя перепончатая и спиральная суть обязательно достигнет тебя, и ты по второму кругу пойдешь, как по кругу ада. Да, это круги ада — но ад утраивает тебе твою память. Почему вы молчите? Ведь человек же не выбирает свою жизнь, ведь его толкают в нее, его принуждают! Кто же знал, что детдом — фантастическая вычурность, замкнутое пространство, огороженное безумие — выйдет на каком-то витке в жизнь, станет опять диктовать свои законы? Почему я должен опять зажиматься, хихикать, прятать свое лицо, протаскивать свою речь сквозь жернова безразличия? Я — я — в и н о в а т в своем прошлом? Я — я — выбирал, что посеять в памяти?

Вернулась из колхоза сестра, и я испытывал особенное удовольствие оттого, что ничего ей не рассказывал. Она чистила пятики, палила спичкой волосы на ногах, она делала вид, что ей все равно. Я досаждал Ольге, ее нежелание расспрашивать меня злило, я изображал Гусака, ее хахаля, танцевал перед нею «лук, чеснок, горчица, перец» или бил ее. Бил за то, что она как бы говорила мне, что я не имею права быть свидетелем того, что видел, а если видел (во что она никогда не поверит!), то не имею права помнить. Запах паленых волос завлакивал мне сознание, пьянил и разжигал ярость.

Или Гоца пугал треском посылочного ящика и вбегал во двор: «Стреляют!»

Или свежий асфальт на пяточке. Катки подминали уже третий слой, медленно двигались тяжелые валы по асфальтовой горячей мякоти, вдавливая,

казалось, и маслянистый дым, и дым по привычке тянуться вверх тянулся, придавленный, изуродованный, ископченный, тянулся, но густел, густел от давления, от накатанной тяжести и медленно укладывался под стальные валы — так уходила под асфальт, под многослойный асфальтовый пирог пролитая на пяточке кровь.

И я вспомнил, как натекала лужа из оборванного шланга, подававшего воду в ларек газводы. Тетка-продавщица накинула замок и убежала, халат ее висел на стуле, цепью прикованном к дереву. Потом на этом стуле сидел дядька и курил, а всякий, кто пробегал, хватал шланг и пил либо ополаскивал лицо. Дядьку несколько раз обливали, он ругался, пытался отключить воду.

На другой день продавщица из этого шланга сбивала кровавые натеки, зажимала конец, усиливала струю и гнала жижу под решетку стока.

Кровь — захватывает ум, сердце, навязывает себя, ничто с ней не сравнится, плотский трепет, сальное довольство. Предел обывательской фантазии, сущность его нутра. Человек, которому пустили кровь, лишается некой сугубо человеческой девственности и делается предметом счтен.

Были те, что самодельными плакатами бились в центре, на них и солнце — свет его непостоянный в катящихся облаках кружил над площадью, — и солнце падало на них больше и ярче. И были те, что стояли по окраинам, не смешивались, и не только потому, что отстранялись или держали дистанцию. Их вид, их лица или руки в карманах ли, за спиной или с сумкой-авоськой были такими, что сразу видно было — они не с теми. И таких не трогала ни милиция, ни солдаты, обходили, пропускали сквозь гребешки строя.

Я все помнил сейчас, как тогда все понимал. Шкурой понимал, нюхом осязал шумный воздух, понимал, что меня тоже не тронут. В центре масса перемешивалась все время, плакаты то поднимались, то опадали, вертелись портреты на больших лопатах, и я видел, как рвали цветной портрет Хруща, — так все гуще и гуще взмешивалась масса в центре, а на края она откатывалась густой, малоподвижной и здесь, на тротуарах у стен домов и магазинов, в сквере, совсем затвердевала — на лицах, на глазах, на морщинах каменела определенным выражением, насмешливо-презрительным, настороженно-высокомерным. Правда, и в этой застывшей окраине находились те, что выкрикивали поддержку, но в мессиво не лезли, и в лицах их было то же окраинное выражение: мол, мы-то лучше знаем. Вот, это было главной границей между беснующимися и тихими: тихие выглядели умнее и смотрели умнее. Я это сразу почувствовал, я сам был умным, глядя на тех, что, как дети, выкрикивали в центре пяточка, размахивали транспарантами, а потом бежали, воя, свистя, или затихали, ловя руками асфальт, кровеняя, несуразно волоча тело. Что бы они ни выкрикивали, все было как-то однобоко, тупо, не нужно здесь, под небом, в винтовом свете солнца (или солнца не было? не могу вспомнить точно: небо было, искристое от зноя, но были ли облака, или тени металась по площади, и мне чудилось, что они падают на стены домов, ложатся даже вдаль, даже в небо уходят мятущиеся, словно отпадающие тени потных, ярящихся в страхе людей?).

Надо быть идиотом, чтобы выходить на площадь и просить мяса. Что может быть глупее? Рожа красная, потная, глаза мутные, рот безгубый: «Мяса! Мяса!» А рядом другой: «Долой партию! Долой паразитов!» — и рожу корчит такую же. Анахай, стильный чувак, врубил битлов, маг гавкал из чердачного окна, перекрывая милицейские громкоговорители.

Тогда, я точно помню, мне было стыдно за бунтующих. И за это я презирал их — за то, что они вызывают во мне стыд. Почему я стыжусь? — возмущался я, но это был именно стыд, мне было невыносимо видеть эти кривлянья, крики, ругань рядом с танками, автоматчиками, прочесывающим гребнем милицейских шеренг, рядом с умной, отстраненной окраиной площади. Стыдно было, потому что я хорошо отличал передоветы в затерханные спецовки гебистов, они шныряли в толпе, теснили ее к ступеням горкома, они кричали вместе со всеми, но рожи у них были знакомые, понятные, мы сами бываем такими, когда подстрекаем.

Почему я не умею наблюдать за этим со стороны? — мучило меня. И я презирал толпу, а те, что были избиваемы, что харкали кровью, вызывали отвращение.

И вот несколько дней спустя я опять испытывал тот же самый стыд — но уже стыд памяти. Тот же стыд, но все перевернулось. И не оттого, что я видел, как из подвала, куда мы тайно и с таким чувством, словно подкармливаем подбитую собаку, таскали еду, вытащили Степана, водителя поливалки, подстреленного в ногу. Мы-то знали, что он ни в чем не замешан, но мы знали, что забирают всех, кого пометила пуля. Степан пропал навсегда. Степан Колодязный, он катал нас на своей поливалке, он проезжал по улице медленно, чтобы мы насладились холодным веером речной воды.

Это был стыд не за себя и не за тех, что кричали и требовали, это был стыд оттого, что выкрики уходили в небо, в свет, вот именно, это был стыд перед солнечным светом, которому Хатунок обнажил свое нутро. В этом стыде я не мог отделить себя от Хатунка, стыд смывал с меня высокомерие.

Память, память всему виной! Она не вместилище, она существо живое и самостоятельное, она деятельное сатанинское существо, она обладает бесконечным терпением, потому что деятельная сторона времени в ее власти. Она способна так смешивать чувства, что их невозможно разять. Память — предательница, память — дьявол, память — сердобольница. Я впервые понял тогда, что память мне не принадлежит, память выворачивает человека вовне, растворяет его в других, и понял еще, что стыд, которым завладела память, отныне не может быть персональным чувством. Я не могу устыжаться или устыжаться. В стыд погружаются сообща и выбираются только сообща.

Это было неприятное открытие. Я боролся с этим чувством. Оно мне не было нужно. Оно не возвышало меня, а унижало. Я хотел быть правым, как танк перед толпой. Я не хотел выпускать свое право презирать Хатунок. Вы, т. К-ов, не можете не понять меня. Я ведь знаю, как вы смотрите на меня. Все, что я ни скажу, вам известно, так ведь? Вы все в жизни знаете, все постигли, и мои «умствования» вам скучны. Ваш взгляд похож на взгляд моего отца — с тем же прицельным выковыриванием. Он был мастаком определять нутряной порок человека, потерявшего меру.

Я циник. Кто не испытал этого, тому не понять. Я циник по природе. Я и желал бы иметь хотя бы позу добродетельного человека — не могу. Двигатель мой на ином топливе.

Когда я слышу от наших почвенников, деревенщиков, от прочих духовников народной кручины, что народ крепок роём, общиной, меня смех разбивает. Или они не знают, что это такое, или они циники большие, сознательные.

Подросток понимает, поэтому он эгоист, иных средств справиться с агрессивной коммунальностью у него нет. Но те-то, вкушившие роевой государственности, они-то чего хотят? Над падалью тянет вдохнуть поглубже?

Подросток пробует жизнь, проверяет жизнь солнечным лучом. Пошлость смещается в солнечном освещении. Он это очень хорошо видит. Вот откуда цинизм. Можно обмануть словом и делом, можно прошлое завалить трупами и залить суриком крови, но всегда под рукой юстировочный волосок — прищур глаз, взгляни против солнца, ощути зрачком давление бегущей от волоска тени.

...Колхозную ярмарку раскидывали на двух подгородных холмах. На одном сколачивали «красную горку» — помост — и поднимали шесты с флагами союзных республик. Разноцветные полотнища хлестко лепил и вытягивал ветер, истонченные, они казались кусками выбеленного до синевы неба. Музыка билась в колоколах усилителей. Мне хотелось пробежать ярмарку насквозь одним махом, потому что чудилось: проскочи я ее навывлет — увижу нечто чудесное. И я бегал, шнырял, увертывался от лошадей, верблюдов, обегал лотки, палатки, горы дынь и арбузов, проскакивал под кукурузными арками и всякий раз выбегал на край холма, по которому пластилиновой тянучкой текла трава и накатывалась песчаная дорога с налипшими на нее людьми и возами. Я стоял разочарованный, оглядывался и через несколько

мгновений вспоминал, что есть же еще небо — среди воздушных шаров, флагов, транспарантов и портретов тонкими ленточками белых туч провисало небо, — и понимал, что все еще впереди и что небо только-только наполнится воздухом.

От изобилия, запахов шашлычного дыма и дынь мне казалось, что я плохо вижу, и я опять бежал, как бы ища потерянный фокус, и особенную радость доставляли быстрые встречи с одноклассником Федькой по фамилии Ярмаркин. Встречая его, я трезвел и одновременно очищался душой для новой радости — гудящая, шелестящая ярмарка обещала мне новые впечатления в лице своего удвоенного существования. У Федьки было белесое строгое лицо, он был подвижнее и крепче меня, он был сильнее меня, хотя мы в этом отношении осторожно относились друг к другу. Вот на этом и стояло наше приятельство. «Самолеты будут летать, фигуры заделывать», — говорил Федька Ярмаркин. Я смотрел в еще не раздутое небо и думал, что самолеты появятся не раньше, чем купол и бока неба выгнутся до полного объема. Мы разбегались.

На круглой деревянной площадке, под красным лозунгом «СССР — оплот мира» пел и плясал ансамбль народного творчества. С одной стороны на площадку глядел веселый светлоголовый Хрущ, с другой стороны в косыночке с челочкой белозубо смеялась королева полей — огромный початок кукурузы: «С королевою полей стали жить мы веселей!» И вообще все светилось белыми кругами, овалами, трепетало символической дрожью — и СССР, и лицо Хруща, и королева полей, и полукруг казачков-танцоров в черкесках, и сама певица, полногрудая краснолицая женщина в кокошнике, с длинным платком в руке, эта женщина пела так громко и просторно, и голос ее был не грудной, а надсадно горловой, крепкий, бичующий воздух и совсем не походил на ее полное красивое лицо и медленные взмахи платка. Голос тревожил меня, минуя душу, голос тревожил живот, каким-то странным потрясением добирался до молочных ядрышек в паху, и мне чудилось, что и крики коней, и визгливая икота ишаков — все возбуждено пением этой тетки. Я безумно любил ее, мне хотелось, чтобы она обняла меня и чтобы я припал к ее губам, красным, как петушок на палочке. Мне хотелось плакать от счастья, от желания, которое взросло меня, и мне было непонятно жить, я готов был убежать навсегда и от мамы и от отца, но я бежал сквозь ярмарку и тут же, боясь пропустить хоть одно движение красивой сладостной певицы, возвращался. Мне хотелось газводы, я завидовал Федьке Ярмаркину, который уже пил воду, стоя возле дымящегося льда, а мне было не до него, не до воды. Красивая желанная певица хлестала зычным голосом голубой простор над холмом, бычки в загонке волновались, остро выпяченные холки же были тверды и неподвижны. Голос певицы-заманщицы, отработав высоту, опускался и растекался навозно пахнущим потом и на мне и на бычках. «И-и-их!» — опускала голос на землю прелестница, бычки взревывали, теснились к загородке, и какой-нибудь не выдерживал, вдруг выпуливал из-под живота сиреневый, остро сверкающий кол и наваливался на собрата.

Я буду любить певицу еще несколько дней, но мне уже не до нее. Хмельной от пива отец купил мне кулек полосатых подушечек, и я бегу, метляю в жарких рядах, ищу Федьку Ярмаркина, чтобы показать ему, что радости прибавляется.

В ишашлычных рядах, среди пивных бочек прохладнее и душевнее. Бочки облиты пеной, сверкающие никелем краны выбрызгивали струю, — так сильно и нетерпеливо мочились кони, взбивая у своих ног хмельную высокую пену.

Здесь же шатался, не находя себе места, дядька с маленькой, как тубетейка, гармошкой. Я стал ходить за ним с той же неприкаянностью в разволнованной душе. Куда идет? где остановился? с кем заговорил? что сказал? — я прислушивался, вглядывался. Он был в серых холщовых брюках, в клеенчатых сандалетах, светло-серая рубашка моталась навывпуск, из коротких рукавов торчали локтистые смуглые руки. Дядьке было тесно, зудно, газетная треуголка сидела набок, одна небритая щека была рыжая, другая седая. Играя на гармошке, дядька наклонял ее так, чтобы не видно было, что он вытворяет пальцами. Тетка-продавщица была раздраженной, и я обиделся на нее за дядьку. Мы пошли дальше. В дядькином одеянии, и в его чистом голосе, и в

звоне его крохотной гармоникой был иной простор — простор простодыры, и я все не мог понять: как же так может быть, что у человека в кармане нет ни одной копейки? Я знал, что сейчас в других рядах моя мама ходит задорно-сердитая, выторговывая вишню, абрикосы, дыню. И торговля эта составляет основу того движения, которое так тесно совершается на праздничных холмах. Из ближайших станиц — голых, пустых, бедных — навезли по крохам богатство, и оно вдруг стало средоточием мира, той горловинкой, через которую надувался купол неба. Мама зорко, цепко следит, чтобы отец не отлучился и не пустил деньги на ветер. А тут бродит дядька с гармонийкой, и карманы его пусты, как пуст ветер в рукавах его рубашки, как пуст и сух он сам, — я чувствую его нутряную пустоту по высокому голосу, которым он вызванивает частушки, по той улыбке, полуулыбке: мол, дадите хлебнуть — хорошо, не дадите — перетерплю, — которая налипает и съезжает с его цветных щек. Я впервые в жизни вижу такого пустого нутром человека. Все, чего он хочет, на лице, в голосе, в пальцах, и только смущенно наклоненная гармонийка выказывает смущение дядьки, а тайно бегающие по клавишкам пальцы выдают жадное желание выпить.

И леса у нас лесясты,
И болота тописты...

И мужички, сидевшие кружком на траве, дают ему четверть кружки. От бочки к бочке дядька все-таки замочил нутро. И пятки стали вялыми и локти не такими бойкими. Ему все труднее было расстегивать пуговички гармоникой и выпускать из ее маленькой души взъерошенную мелодию. Мельком я увидел отца, он ускользнул от мамы, он торопился, шелковая голубая рубашка надувалась на спине, выгибалась из-под пуговиц. Потом мы встретились с Федькой Ярмаркиным, но ни он не задержался, ни я его не остановил. Потом я глянул в небо — самолетов не было. Дядька стоял, прислонившись к столбу, на самой вершине которого, у заточенного топором конца, из колокола-репродуктора била по ярмарке духовая музыка. Столб каким-то образом возвышался над ярмаркой, гармонист прижимал свою гуттаперчевую коробочку, обводил взглядом сладостные горы арбузов и дынь, мятущиеся шары и флаги, медленно прочитывал плакат с крючкастыми белыми буквами, вглядывался в беззвучный хор самодеятельности, перед которым так же беззвучно выплясывали казачки. Глаза у дядьки слезились, я знал эти слезы, так плакал отец от пьяности и какого-то внутреннего бессилия. Разноцветные щеки были подтянуты, подсосаны, дядька чесал живот гармошкой, слезы не вытирал. Дядька залыбился и, мозоля прохожим, запел под игольчатый писк гармоникой:

У моей милоцьки
На две половиноцьки,
Две перегородоцьки,
Эсэсэр в середоцьке!

Линия разрыва между безмерно вздуваемым небом и внезапно разлившейся в сумерках землей — на всю жизнь в памяти и праздником и недоверием.

Циник — это человек, составленный из неразрешимых противоречий. Гниющий человек. Я гниющий человек. Я не могу себя познать, потому что мой цинизм обернут и против меня.

Уж лучше сойти с ума, чем испытывать медленное угасание интереса к жизни. Я раздет до физиологии, во мне нет драмы. Культура необходима мне как средство выживания.

Вам хотелось бы, чтобы история перешагнула через меня и мне подобных. Увы вам. Мы не поколение, мы из потока пошлости. Миллионы и миллионы загнанных и убитых — это наши предтечи. Страшны не лагеря и репрессии — страшна пошлость, которую рождает рабская смерть. И мы родились. Через нас не перешагнуть.

Нас никто ничему не учил, и при этом нам была предоставлена возмож-

ность получать образование. Нас не учили, нас наставляли. И потому жизнь перед нами была как бы под увеличительным стеклом извращений. Открыто над этим не смеялись. Формализм был нашей картиной мира, общечеловеческой идеей. Сознание было формализованным, нейронные связи были нервами проформы. И нужны неимоверные усилия, нужна сатанинская изворотливость, чтобы прорвать эту сеть, надо быть науком, чтобы не запутаться в собственной паутине. Для жизнедеятельности нам необходимо самоотравление.

Представляю препарированную лягушку под напряжением. Воля, повелевающая жизненным импульсом, вне лягушки. Как просто. Но сколько понадобилось базаровского усердия! Мы — препарированные, формализованные существа. «Все мое — не мое, все твое — не твое». Только человеческая эволюция могла создать такой тип организма — нервной системой наружу.

Ни смерть, ни посмертное подчинение внешней воле — ничто не заменит лягушке ее родовой сущности, и жила она ради того, чтобы через тысячи себе подобных осуществить свою собственную тысячелетнюю судьбу.

Человек — выворотень, человек — животное, способное творить свою историю. Для этого надо опыт тысячелетий заменить движением масс. Простое перемещение по лику земли заменяет людям историческое развитие. Чем большие массы перемещаются, тем дальше люди от своей подлинной истории.

Собрать вместе как можно больше людей — в пустыне, среди сопок, за проолокой, в городах, в метрополитене, — как можно больше и все время поддерживать это «водохранилище» на определенном уровне, а соответственно на определенном уровне и давление — одним этим инженерным усилием создается новый человек с историческим сознанием, с сознанием, вывернутым наизнанку, иллюзорным сознанием исторических совершенств.

Идиотизм исторической миссии.

Я всегда, при любых обстоятельствах чувствую в себе другого человека. И когда я смеюсь или злюсь, я тревожу в себе второго, другого, исторического. Вернуть этого второго обратно в небытие невозможно. Ни я, ни он обратной силы не имеем. Сумеречное сознание исторической правоты.

Это не двойник, не alter ego. Неотступное самовыслеживание? Онтологический мандраж.

Полное ощущение, что тебя сносит давлением солнечного света. И оттого сухость в носоглотке, что между душой и телом вьется солнечная пыльца. И в кружении этой пыльцы, торопясь дыханием за бегущим лучом, понимаешь, что в любой миг ты станешь другим.

Если пропустить Розанова через НКВД, получим Ивана Денисовича.

Чью душу желаете?

Людей нет, есть межличностные отношения, нет Петра и нет Павла, но в человеке Петре светится человек Иван. Светом, вневременным светом означен человек. Вам, т. К-ов, не уйти от этих выворотней. Вы сами составлены из кусочков нашей плоти и нашего духа. Мы не рождаемся, мы накачиваемся, не природа следит за поведением наших тел. Тела-то и нет, есть его составные части, каждую из которых накачали, как ногу лягушки накачивают электрическим током.

Я хотел бы испытывать комплексы неполноценности, психические срывы, но вывернутой душе не дано быть неполноценной, и не способна к срывам нервная система, вывернутая наружу.

Цинизм — это мое физическое состояние. Возвышенное — я унижаю без смущения. Меня не волнует смерть миллионов, однако потрясает смерть Ивана Ильича.

История, очищенная от миллионов, — зеркало, в котором я могу узнавать только себя. Я рожден быть исторической личностью и общение нахожу лишь в бронзовых рамках вечного искусства. Вот и выходит, т. К-ов, что культура, которую вы от меня защищаете, есть всего лишь средство существования моей циничной натуры.

В памяти моей три образа отца.

Офицер, только что вярнувшийся из Германии. Он забирал меня у теток. Четыре звездочки на погонах и пахнущие свежей кожей ремни. Он был для

меня полуреальным, и когда на остановках он выходил из вагона, я прислонялся к кителю и незаметно лизал сверкающую пуговицу. Шершавая звездочка с серпиком и молоточком до сих пор отпечатана на языке.

Отец никогда не мирил нас с Олькой. Он уходил курить. Мирила мама. Это была ее материнская служба. Я принимал, что она моя мать. Я это понял, глядя на нее снизу вверх; понял и то, что она мать Ольке. И это было несовместимо и странно: как может быть, чтобы одна и та же женщина была матерью двух детей? Отец, я понимал, он был ничей и принадлежал всем понемногу. Я ничего не ожидал от отца, он не участвовал в мелочах жизни. Мать распоряжалась делением и примирением, возможно, это и есть материнская любовь. Равновесие разделением — мерзкая и неблагодарная роль. Она делила блага, и всегда выходило, что в той части мира, куда направлена ее забота, жизнь лучше, и я завидовал. Но потом разглядел, что Ольга испытывает то же, и кривлялся, изображая, что часть пирога, доставшаяся мне, слаще ее куска. Уравновесить нас было невозможно.

Иной раз отец бил мать. Бить ее было непросто — мать была крепкая и бесстрашная. Отец бил ее с потерями для себя. Ольга пряталась в другую комнату, я орал: «Мамочка! Мамочка!» Но кричать хотелось: «Папа, не надо!» Кулаками и матом добиваются лишь невозможного — и я ждал смерти (так и представлялось: сейчас он, вскрикивая, сатанея, проломит мамину грудь — и невозможное предстанет черной дырой). Какой же смысл требовать возможного на пределе человеческой жизни? И тогда, в полубреду, я видел, что это не отец — это форма, сапоги с каблучным грохотом, португеза со скрипом и звяком, китель нараспашку — беспомощно и дико катается по полу в злобных объятиях мамы.

Я не чувствовал плоти отца. Даже когда он приходил пьян и от него воняло перегаром. Он уходил из дома, из семьи, как я сам уходил в зеркало, — без остатка, в полном соответствии с бесовскими законами отражения; дух-отец, дух-сын.

Отца вынули из петли. Он повесился в своем кабинете, но кто-то подоспел. Я несколько раз пробовал, просовывал голову в ременную петлю, сдавливал и догадался, что только так, через петлю, мог отец выйти из офицерской формы и вернуться домой. У него отобрали пистолет, а позже разжаловали.

Отец сидел на кухне в белой нательной рубашке, из распавшегося ворота тянулась шея и мутно лоснилась грудь. Мать толкала перед ним тарелку, порывалась пальцами в глаза.

— Не можешь пить — пей говенную жижицу!

Это был уже другой, второй отец. Оказалось, что под погонами у него покатые плечи, а под ремнями португеза большая сутулая спина.

Во мне рождается жалость, но я мучаюсь от непонимания, кого мне так безысходно жаль — отца-офицера или отца-удавленника? И куда делся офицер, вынутый из петли с лицом, мокрым от слез и слюны?

В немногих бумагах, оставшихся от отца, есть листочек, на котором буквами полуплакатными-полупрописными он вывел: ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ. Удивляюсь подвижности и безаварийности этого состава. Отец спиной чувствовал железные сцепы предыдущих вагонов и так же железно следовал в своем.

Когда был трезв, он говорил: «Органы», при этом лицо было серьезным, он оттопыривал нижнюю губу, над ресницами выстраивался игольчатый свет. Он укладывал ногу на ногу, он ничего более не говорил, но я вздрагивал долгой дрожью, потому что у этого слова-демона, запретного для меня, как тайная и ночная жизнь отца-матери, было еще одно значение-символ, такое же ночное и пугающее, когда пьяный отец, расхлестывая толстый пояс с кителя, угрожающе орал: «Е... сила!»

Это было слово-жизнь, слово-действие, слово-храм.

Оно шло обок с холодным сочетанием «партбилет-на-стол».

На одной из развилок отца вышибло, и железный состав ушел без него. И на этом новом витке, еще не думая лезть в петлю, он, как выбитый «орган», вдруг влюбился. Влюбился в паспортистку горотдела милиции. У самого двое — дочь и сын, — крепкая, домовитая жена. Но я его понимаю, у меня так же.

Как только что-то навязчиво мне угрожает, я, вместо того чтобы подобраться и отражать; я, как птица, вдруг начинаю чистить перья и обнаруживаю себя влюбленным. Упрямо, с задыханием, с биением сердца и болью в животе.

Белокурая, резко красивая, с забегающим темным глазом паспортистка и офицер, свежий, за плечами которого еще слышен перестук уходящего состава МГБ.

Так хотелось отцу все представлять себе, и он от невозможности вернуть прошлое запил. Во хмелю ему чудилось, что жизнь обломлена по чьей-то злой воле, он со слезами оглядывался на себя и выводил, что виновата жизнь — жена, семья. Он любил и дочь и сына, но тяжесть была сильнее. Ему хотелось, чтобы все было «как у людей». И жена помогала, кроила и перекраивала зарплату, но достатка не прибавлялось. Он тянулся за теми, у кого звездочек больше, и казалось: еще один-два шага — и благо внесут в дом, как новый шкаф. Но к тридцати семи словно полосу провели над головой. За что? Что делал он не по приказу? Выселял немцев с Поволжья? Но был приказ. И был ведь десант, заброшенный фрицами. Не было? Это были переодетые русские? Но ведь поддались же на провокацию, вышли с хлебом-солью. Но что раньше — приказ или провокация? Отец раздражался, такое разделение а к ц и было противоестественным. Они вывозили немцев разом, грузили в скотные вагоны. Да, было холодно, и он побежал, раздобыл где-то буржуйку в один вагон, где были знакомые. Для кого? Не помнишь? Но ведь это же волжане, как и ты, отец! Были же там ребята, с которыми ты дружил, нет?

Ах ты господи Иисусе! И я сам понимал бессмысленность вопросов, понимал, что за своею свершенностью вопросы не имеют л и ч н о г о ответа. С личности, «отдельной» личности (изобретение «органов») ответственность была снята. Ответственности просто не было. Но ведь буржуйку притащил, ведь понимал, что своих на смерть отправляет. Что за дьявольщина! Совесть успокаивал? Или мучила жестокая нелепость происходящего?

— Ганс Конурат был знаменитый машинист. У него у первого «овечка» с турбиной ходила, — вспоминает отец. — И Гофмана помню, был председателем Президиума Верховного Совета Республики немцев Поволжья...

И произнеся эту административную формулу, вдруг опять раздражался на то, что они поддались провокации (даже если и допустить, что это была всего лишь провокация).

Я задаю вопросы, наблюдая за ним с отстраненным интересом: можно ли с э т и м жить? Тогда я еще не знал, что обнаружу в будущем, через несколько лет. Но мне хватало и этого: можно с этим жить или нет? И если можно, значит, это совсем не то, что мне представляется?

Террор не всеяден. Ему тоже нужен психологический комфорт. Он ведь тоже замешан на человеческом материале и подчиняется его законам. Но каковы эти законы? Они просты, мне кажется. «Отдельная личность» внизу, среди массы, как в воде, и сухим тут из нее не выйдешь. Пока личность внизу, она не чувствует своей утолщенности в общечеловеческом, а повернутая против массы — теряет разум. Человечество любить невозможно, равно как и ненавидеть. И та и другая идея сводит с ума. И вот ты перед массой как явление природы: в тебе ничего человеческого, как в массе ничего индивидуального... Разве не ясна задача: не допустить сосредоточения больших масс людей в руках немногих? Задача простая, но невыполнимая.

Я слежу за отцом, за его раздраженно лоснящимся лицом, заглядываю в косящие, с голубой начинкой глаза. Он готов защищать свое безумие и тем, что среди немцев «могли быть предатели», и тем, что удружил буржуйку.

Когда хоронишь в мороз, невольно тянешься укрыть покойника потеплее. Паспортистка вела себя независимо. Но я ей сочувствовал. Может быть, потому, что не мог сочувствовать маме. Сочувствовать — жалеть, а я боялся жалеть ее. Мама скандалила, отец напивался. Были драки. «Куда девал деньги?» — «Заплатил партвзносы». — «... твою партию!» — «Не тронь партию!» Странно вела себя сестра, она была на стороне отца. Она что-то натворила в школе, чтобы отвлечь внимание матери.

Я приходил к зданию милиции. Сложенное из темного, всегда влажного камня, оно выступало углом из ряда тополей. Не могу вспомнить точно, была

ли поздняя весна или ранняя осень, а уточнять бесполезно: родители вычеркнули из памяти, сестра же помнила только, как мстила маме, и месть почему-то осталась неудовлетворенной.

Тополя были густыми, здание влажным, камень здания лежал не продольно, а вертикально, и трехэтажное здание казалось выше и уже.

Я кидал дома свой истрепанный портфель с тетрадками, залитыми грязным почерком, ручку с надломленным пером «звездочка». Я уходил на пустырь за милицию, курил с другом Жоркой пилики. Жорка знал, кого я жду. Он тоже был влюблен в паспортистку. Но Жорка и выручал меня. Я любил ее глазами и страстью отца, я с предгрозовой темнотой в глазах слежу, как она выходит из высокой тяжелой двери, как она идет в тонком, едва не прозрачном платье, я чувствовал вкус выкуренного бычка — жжение, которое натекает и на рты. Я люблю ее шею светлую, высокую, на этой шее узелком завязаны язычки солнечного света. И когда она боком проходит мимо, сквозь густые сиреневые кусты заголяюще единой линией проступают скользкие мышцы ноги, в талии над ягодицей, к плечам и подбородку.

Жорка чмокает, подсасывает: «Я бы ее...» И я вспоминаю об отце. Это сложное чувство ревности к отцу, к Жорке, к себе самому.

Он выходит из двери милиции, и козырек фуражки приспущен — пьян. Голубые глаза мутные и настальные, он скрипит сапогами, а наклоняясь ко мне, скрипит португеей: «Гуляешь, сынок?» Он протягивает мелочь. Я принимаю плату с благодарностью, мне горько. Я немного провожаю отца, ступая ровень с прямоносими сапогами. Он идет, отхлестывая шаги.

Он был на взводе, он жестко дышал и отталкивал меня этим дыханием. Он мог ударить, мог озвереть и схватиться за кобуру. Мне же хотелось увести его куда-нибудь, сунуть его в такое место, где бы он отмяк. Я мучаюсь, чтобы не сказать ему, что мама пишет письмо в о р г а н ы, но любовь моя (его) к паспортистке так велика, что я не решаюсь. Напряжение, страх и любовь телесная и духовная, какая-то паническая любовь к паспортистке, и даже не моя, а принятая для отвлечения, для того, чтобы часть снять с отца или совсем принять на себя эту любовь, от которой в доме нет жизни, а мгновениями и в самом деле моя любовь к светлой, обнаженной в ходьбе и говорливой выразительности тела молодой женщины — все это закручивает меня так, что немеют губы. Я кладу мелочь в рот и отрываюсь от отца. Я ухожу, обсасывая монеты, звякая ими о зубы. Желание видеть и обладать паспортисткой так велико, что я оглядываюсь вокруг себя, с испугом понимая, что болен. Отца уже не видно. Я срываюсь и бегу, сандалеты мешают, одна улетает вперед, я насаживаю ее с разбега, но глаза уже туманят слезы, солнце саднит. Если завернуть за угол — там будочка газоды, но я влезаю в дыру забора и бегу за кустами сирени, подскакиваю, из последних сил прячусь от света, от просветов и в глухом углу, обросшем зеленой наледью мха, с трудом сдерживаю плач.

В тот день, когда отец повесился, мама сильно побила Ольку. Сестра отказалась есть курицу. Ее тошнило от куриной кожи. Мать схватила ее за волосы и тыкала лицом в тарелку, гнула так, что Олька еле уворачивалась.

— Жри, жри, — придушенно приговаривала мать. — Подолом трясти любишь, а курицу не любишь? Жри, кобыла ногайская!

«Ногайская кобыла» редела в голос, это подзадорило, распалило мать, она схватила половник и ударила, ручка свернулась. Я жрал куриную ногу, дразня, растягивал, прихватив оскаленными зубами толстую пористую кожу. Потом ломал ногу в суставе, сустав был крепкий, верткий, нога никак не переламывалась. Я хватал голень зубами, тянул, жилы заползали между зубов, давили в десны. Я не успел выдернуть жилу — отца приволокли пьяного вдрободан. Он был так пьян, что казался легким. Двое уронили его на кровать, мама вывернула лицо набок, чтобы не задохнулся, кожа лица съехала, глаза были закрыты тонкой кожей век. Он почти не дышал. Днем еще, запершись в кабинете, выдвинул стол на середину, накинул ремень на рожок под плафоном и сунулся в петлю. Друзья говорили, что успели взломать дверь, недруги — что оборвался вместе с плафоном. К сорока годам отец утихомирился.

Но куда делся тот отец-офицер, которого вынули из петли с лицом, мокрым от слез и слюны? Или он похоронен в другом? Недопрожитая жизнь,

не осуществившаяся мечта — где он бродит, отец-дух, покинувший оболочку, оторванный от мундира?

Ранними утрами, глядя в окно или идя по серым тротуарам, я вижу дымку — это дымка призраков. Это мы, недопрожившие свои жизни, переломленные, раскрошенные, в себе захороненные, это мы, вздутые внутренним светом духа святого, мы движемся по кромке зари, испытывая мимодетно все то, чем пожаловал нас в сию минуту прихотливый ветер. И в дымке призраков — призрак моего отца.

Эти недопрожитые жизни не умирают, плоть умрет, отец-плоть, оторванный стручок с высохшими семенам-ядрышками, с окостеневшими створками, распадется во прахе, но недопрожитая судьба будет терзать меня ночами, давить ночами, кричать в предсмерках города, звать под небо. Недопрожитые жизни не умирают, они живут вечно — призраки родства, недолюди, светящиеся тени угнетенного духа, они не умирают, они проникают живых, они поселяются в бодрствующих душах, в памяти, они поражают лимфу, они поляризуют клетки, они пристраиваются к глазам — узники-деспоты, они мешают думать, они отклоняют мысль от прямоты и логики, они убивают «я», они кормятся его распадом — призраки, они зывают к моей совести, не имея на нее никаких прав, они зывают к моему разуму, но что их безумию в моем нестойком уме? Ни злости во мне, ни отчаянья. Лишь подкожный зуд, толкающий, как ребенка, к мести. Кому? Зачем? Я чувствую, как толстеют, матеряют корни, пущенные мне под кожу. Они разорвут меня — я знаю, как разрывают асфальт запредельные корни. Зачем? С какой целью? Не знаю. Не я хоронил призраков, но мстить они призывают живых.

Особенно трудно стало жить. Отец ходил в синем холщовом пиджаке и синих холщовых брюках. А мама старалась странным образом скрыть от соседей — дворовых, как она презрительно говорила, — случившееся. Но скрыть было невозможно, и вот этот мамин ритуал, эти злобные магические действия перелились на нас, в семью, это от нас требовалось быть такими же, какими были мы при отце-офицере. Мы должны были молчать, скрывать причину увольнения. Когда отец возвращался с работы, мать задергивала занавески, и отец покорно соглашался. Я видел седину, простегавшую волосы, видел беловатую порошу вечерней щетинки, и мне казалось, что отец устает и покоряется намеренно, и еще мне казалось, что в этой намеренности заключена хитрость — отец подстерегает меня ли, Ольку ли или маму. Но для чего подстерегает?

— Сволочь, пьяница, ты мне жизнь загубил! Стыдно по двору пройти.

Отец сидел за обеденным столом, отворачивал лицо или ухмылялся. Мама наплевскивала в тарелку борща (и мне хотелось просить, чтобы она не делала так, чтобы она не унижала его!) и зорко следила за тем, как он ест, и если не дай бог что-нибудь откинёт ложкой, вытянет на край тарелки серый стебелек капусты, пощады нет, не будет.

Однажды я увидел отца внезапно. Он шел по улице, пригнув голову, неподвижно неся плечи. Я спрятался за дерево и подглядел лицо: оно было схвачено морщинами, оно было устало-смуглым, лицо древесного гриба. Сколько ему лет — сорок, пятьдесят? Он еще не был стариком, но лицо, по которому отстраненно проходил солнечный свет, испугало меня. Я не мог жалеть отца, не могла быть жалость такой глубокой и острой — ведь это же отец. Никто из знакомых мне пацанов не жалел родителей. Но жалость длилась, а я думал, что она не может быть долгой: за что? Что совершил он тяжкого, чтобы сын так остро, с холодом в ладонях, вдруг пожалел его? Все, что я испытывал, было из арсенала сильной любви, но душа аж выламывалась из груди от невозможности вместить жалость. Ведь не убил же он, ничего страшного не совершил, он добрый, я-то знаю, он отец и бывает весел, он выпивает, но — за что же? Я уворачивался от солнечного света и краем глаза видел сутулую походку, смуглый затылок, серые волосы, обвисшие из-под фуражки... Иисус, неужели, когда тебя распинали, Мария смотрела на тебя с такой же жалостью? Неужели ты искал в людях такой судорожной жалости? Так не жалекот — так осуждают.

А через несколько недель я увидел мать. Она только что уложила пьяного отца и шла через двор в магазин. Она глядела в землю строгим лицом и хотела

казаться независимой от соседей, от двора. Но я увидел светлое лицо блондинки, темные волосы, прибранные под косынку, я увидел брови блондинки, и лоб, и обрякшие морщины на лбу. Только это — морщины над бровями, угнутое лицо и слабость недужную в этом гордом светлом лице. Я сидел на куче свежего песка, песок подсох лишь только самым верхним слоем, но удар жалости пришелся мне в самое лицо. Я рванулся с кучи, покатился, пороша глаза песком. Почему-почему-почему? Что совершила она? Для чего эти окна, люди, двери, глаза, мысли тайные — для чего? В чем она виновата? Ты жаждал быть открывателем душ, Христос, ты наказывал за помысел. Так вот же тебе — все открыто, все наизнанку, все вовне: что скажешь ты? Мало? Что люди подумают?! — не о такой ли совести ты мечтаешь? Так вот они — мы, мы все христиане в этом дворе, мы не выпускаем друг друга из поля зрения, из поля помыслов.

Кто воспитал меня сознанием наружу? Кто сделал мою совесть общественным достоянием? У всякой твари спрятано, а у меня поверх кожи, уколоть может всякий христианин моего двора.

Вот почему мы дети расчета. Когда ты появляешься на свет после десятого — двенадцатого аборта, ничем иным быть не можешь. Мать произвела меня не в муках рождения, а в муках расчета. Поэтому она не любит вспоминать о дне моего появления. Поэтому я чувствую себя дитем непорочного зачатия. Я свободен, потому что не знаю, были ли желанна или случайно избежал скребка. Я цифра в числовом ряду и абсолютно свободен.

Для вас, т. К-ов, здесь нет загадки. Поэтому вы любите давать интервью по телевизору. Это прямая проповедь, не так ли? Вы истовый, и даже серый свет экрана не гасит огонь ваших глаз. Я поедал вас глазами — своими глазами, пустыми, жадными. Странное, скажу вам, сочетание: ваши глаза с лица Аввакума и лысая обнаженность детского черепа. Вы клеймили Сталина. Вы рассказывали мне, когда это происходило и почему это случилось. Почему старший лейтенант МГБ был переведен в милицию. Вы нашли причины, не так ли? Да ведь мы их знаем наперед, причины те! Мы сейчас (раньше, раньше!) знаем, как спускались разверстки по статьям УК и как мой отец заставлял эти статьи работать. Но мне-то, мне это ничего не объясняет. Детство не пользуется вашими понятиями, т. К-ов. В моей памяти нет объяснений. Там только «факт бытия», странная частица, фундаментальная, космическая, она со своими законами, со своим характером. Подле нее ничего, что важно для вас, т. К-ов, никаких этических изысков, никаких исторических закономерностей, никакой культуры. Ничто вселенной — только это, перед ней, только в этом она живет, и только в пределах вселенной разворачивается ее внутренняя жизнь... О, как вы клеймили, т. К-ов, жук микрофончика вздрагивал на вашей груди. Я чувствовал — уж я-то знаю вас, — как в страстном нетерпении пальцы на ногах поджимаются, как под жарким потным черепом холодно и убежденно резвится ваша мысль.

Вот так быстро и изощренно деградирует культура. Да вы и сами мгновениями вдруг очухивались, хмурились, слушая пустой колокольный звон своего черепа. И в эти мгновения вы были простым смертным и вам хотелось обыкновенного горячего чувства, чтобы от коленок до паха прохватило сильным цезарийским желанием. И как не хотеть, если напротив вас сидела девочка с ногами-стрелами.

Увы, не дано вам быть автором нового евангелия.

Вы поносили Сталина. А представьте, что он хотел умереть так, как ему представлялось и желалось, то есть безбоязненно. Вы ведь боитесь смерти, т. К-ов, и поэтому живете так страстно, так предельно взведены, так насильничае над слушателями: «Последний шанс! Если не воспользуемся — катастрофа!» — и т. д. Вам хочется лететь, мелькать на высоте, быть над миром в забвении идеи. Кто пьет, кто колется, а кто утверждает идею.

Каждый умирает как умеет. Вот почему вам хочется так разъять душу, чтобы она в последнем порыве охватила собою весь мир, вселенную и в этом охвате как бы невзначай охватила бы и саму смерть.

Чем же отличаетесь вы от отца народов? Вы спускаете культуру с

ЧЬЮ ДУШУ ЖЕЛАЕТЕ?

московских холмов. Ведь вы генератор веры; уж потому только, что вещаете из Москвы. А вся остальная окраина хотя бы раз в году приходит в культурно-продовольственную мекку и вкушает. Уж по одному только этому факту вы и ваши друзья (а пуще того ваши враги!) есть средоточие народных дум и помыслов.

А мысль, что окраина покупает столицу, вам, разумеется, в голову не приходит. А придет — вы ее задавите. Обидно. Чувствуете, во что превращается ваша культура? Да вы и не радеете за нее! Вы такой же циник, как и я. Просто в человеке от природы заложена такая гигантская потребность творчества, что он готов осуществлять ее даже на пользу фашизму.

Не я — вы изощряли человеческую мысль на извлечении души из всего сущего. Из камня извлекали? Из воды выдавливали? Из воздуха? Из огня, наконец? Каждый — а нас миллионы — шел своей тропой старателя, отмывая на бараньей шкуре свою долю общественной души.

Вы приучили людей относиться к душе ближнего как к своей собственной — как к предмету извлечения. О, господи, все мы родом из села Степанчиково! Жалкие вьюнки, изощренные приспособленцы, ищущие простого человеческого покоя и возможности достойно умереть.

Странно, все очень странно в этом лучшем из миров. Если без рациональных натяжек, во мне ничего святого. Границей моего «я» лежат только пол и смерть. Ничего сверх, и странен мне Кант, что с удивлением обнаруживал звезды над головой и моральный закон в душе. Я даже думаю, что это кокетство. Манерность. Она же подвигла Ницше крушить и переоценивать. И Ницше кокетничал. Уж если я уверен (по природе, от рождения), что мысль есть рефлекс, что мысль лежит на ложе мозга, что нет ничего идеального, что не стало бы материальным, то как не признать и простой истины, что не надо и даже более чем не надо — н а д о сделать, чтобы и не было никакой прямой чувственно-сверхчувственной связи поколений, надо умертвить часть человечества, выкорчевать миллионы, вырвать одно, два, три поколения, избить историю так, чтобы у нее была однообразно-выпуклая физиономия, отекающая и величественная, чтобы она не могла говорить, — вот тогда-то наступит эра Мысли, эпоха интеллектуальной (идейной, т. К-ов!) преемственности.

Мне отвратительно то, что я хочу познать.

Я не принимаю краску, положенную кистью. Но я принимаю краску, идущую горлом.

Я не понимаю человека, убивающего из ненависти. Но я понимаю человека, убивающего по расчету.

Я не понимаю смерть, которая усыпляет разум. Но я понимаю смерть, которая делает разум бессонным.

Я не могу сказать: вот отец. «Историческая личность». Деревья моего детства ближе, родственнее. Я дитя мира, вот почему я такой пришибленный. Я рожден с государственной политикой в рефлексах: дитя двойственной природы, двух кликух-смертей.

Я хочу хотя бы побеседовать с отцом. Но вы, т. К-ов, своей ревнивой нравственностью отнимаете его у меня. Вы оставили мне только одного собеседника — Сталина.

Его я понимаю. Он хотел равенства всех перед всеми. Новоявленный Моисей: вот выведу народы в п у с т ы н ю — обретут они равенство, ибо что может быть величавее и естественнее всеобщего равенства?

Нет другого закона для человечества, так ведь, Сосо? Нет другого закона, который был бы именно законом (как закон падающей струи или закон Ома) и лежал бы в основании человеческих отношений, — только равенство. Так заповедано, и только такой человек равен пустыне.

Вот я вас, думал ты, Моисей-Сосо, выведу в пустыню, и обретете вы свое лицо пред господом своим, и взойдет в вас вера великая, и будете вы равны между собой, и будете вы счастливы одним единеньем — а куда вы денетесь? Если уж обнаружен закон и закон этот материален, попробуй выйти из-под него живьем!

Внутренним двигателем равенства является, сказал Сосо, накопленная веками рабства тайна — тотальное, естественноисторическое неравенство. А

что такое интеллигент? Я говорю: жалкие рабы условностей, дети рабов, призванные облагородить яростную силу неравенства. Я сыт по горло (хорошее русское выражение) их болтовней. Эта страсть все обозначить словом! Подлецы, изуверы, умственные бандиты, — ведь есть же в душе человеческой такие движения, которые словом назвать — святотатство! Все обозначить, все наречь, все определить... Я не оратор: вот что я хочу сказать. Я не оратор: вот что я заявил им, чтобы они почувствовали смертный грех. Я не оратор. Орел не умеет говорить, но все слышат его клеток.

Человечество придет к братству через пустыню и голод, говорил Сосо. А слово? Слово нужно для спасения души. Вот что я понял раньше и х и пошел дальше и х. Ведь не ради интеллигентской дотошности проповедовал Иисус Христос. Не ради удовольствия кинуть в массы лозунг, выхватывающий суть душевного настроения.

Глупости. Мерзкие глупости.

Слово необходимо, чтобы спасти душу от посягательства, увести душу из-под власти мерзавцев. Вот почему Иисус говорил притчами и вот почему любил он, как в грузинском застолье, повторять: имеющий уши да услышит. Книжники, подлецы, интеллигенты, фарисеи подступали к нему: что сказал ты своей притчей? И слышали в ответ: имеющий уши да услышит.

Злодей тот, кто с дьявольской изворотливостью проникал в душевный покой человека, разрушал его воинственными лозунгами.

«Идея, овладевшая массами...» — о, дьявольская хитрость! Чтобы идея овладела массами, надо вынуть ее из самого нутра, назвать словом, умертвить в лозунге... Не я начал эту русскую историю, но мне предназначено было ее завершить, говорил Сосо.

Обмякший, обезумевший Ильич стал болтать о том, что всякому плоду свое время. Меня трясло, когда я слышал эти речи — жалкие речи жалких рабов.

За что Христос уничтожил смокву? За то, что на ней не оказалось плодов.

Я первый из всех марксистов-естественников понял основной закон человеческого развития: равенство. Перед равенством нет преград, равенство не знает условностей.

Для того и дано нам прошлое, чтобы мы душою понимали, что такое равенство. Мы должны действовать с силою, равной времени: в той мере, в какой время приводит к равенству прошлое, мы должны привести к равенству настоящее.

Если бы не подлость лозунгов, не обман платформ, мне бы не пришлось отдавать на откуп миллионы жизней. Но не я накачивал народ верой в лозунги, не я создавал культ болтунов. Мне пришлось уничтожить два поколения тех, кто не мог жить, не веря красной баям.

Я не загребал власть, как думал Ленин. Я понимал силу кабинетной кельи: человек говорит одно, а делает другое. Только ложь спасает веру от разложения. Этой диалектики не понял Старик. А народ меня понял, народ знал, что я говорю одно — делаю другое. Народ знал, что слово есть первая защита от насилия. Народ усмехался вместе со мной. И в этой народной усмешке заключалась подлинная вера в меня.

Из-под ног надо было выбить землю, ударить так, чтобы народ устоять не мог, чтобы места себе не находил. Вот тогда-то народ пошел, полетел под уклон, под правый — хрясь, под левый — хрясь. Вот тогда-то он и запросил пустыни и равенства. И тогда я обернулся к этим мудакам и спросил их: «Сколько у нас рыб в корзине?..»

Мертвые не умирают, Сосо. Они тянут за собой, Сосо. Можно захоронить тысячи, можно положить миллионы. Ты играл со смертью, Сосо. Ты видел птицу на ветке? Прежде чем взлететь, она падает.

Они возвращаются, Сосо. Это страшное воскресение. Вскрыты запасы внезапности — это свойство смерти. Ты думал: загоню их в землю, останутся лишь новое поколение полуангелов, и тогда в яслях засияет непорочно зачатое дитя. Ты отправлял их в могилу, а они уходили «до востребования». И теперь они выходят, потому что колокол звонит по каждому. И нас, живых, хватит ли на каждого мертвого? Они выходят, и каждый с венцом над головой. Вот что

ЧЬЮ ДУШУ ЖЕЛАЕТЕ?

случилось, Сосо. Ты душил живых, Сосо, мы задыхаемся от мертвых. Ты этого хотел? Ну-ка, где твоя т р о й к а, генсек? Запрягай тройку, Сосо, чудотройку! Ибо не в наших силах судить их, не дано нам — они живее нас, они правее нас. Они пришли судить нас. За что? Ты этого хотел, Сосо? Ты хотел, чтобы мы тридцать лет спустя ахнули и покалялись? Ты этого хотел! Невинно убиенных кто осудит? Кто осудит прошлое, из которого идут и идут одни только святые?

Я понимаю. Ты убивал их во имя живых. На своем языке (а чем он хуже языка Пушкина или Моцарта?) ты хотел объяснить. Посмотрите, говорил ты, для вас, оставшихся в живых, все равно, кто хороший, кто плохой. Вот что главное, сокровенное. Тридцать лет спустя вы, дети непорочного зачатия, покаетесь, и вам будет равно, как святым, наплевать, кто и кого убивал. Такова сила смерти. Время мне понадобилось, чтобы уравнять мертвых, смерть мне понадобилась, чтобы уравнять живых.

И когда мир снова расколется на богатых и бедных, ангелы стервятниками упадут на свои жертвы, тогда народ опять вспомнит о справедливости, народ станет требовать равенства...

Что такое смерть, Сосо? Верни смерть. Сына Человеческого узрим, где смерть, Сосо? Царство божие в нас, и мы вечные в нем. Верни смерть, Сосо. Ты убивал, как убивал мой отец, — в затылок.

На горной тропе, Сосо. Как сто лет назад, как двести лет назад. Отец переправлял группу чеченов. И в конвое чечены. Ты знаешь, что такое горы, Сосо. И ты знаешь, для чего переселяли народы. Птицы пели на корнях, вздыбленных из-под земли. От кустов терновника на камни тянулась сухая седая паутина. Тропа узкая, чечены терлись об охрану. Отец боялся дышать, грудь сдавило от страха. Он все норовил взойти на взгорочек, на холмик, на склон, чтобы видеть затылки чеченов и пилотки конвоя. Русский донес, что они сговариваются. Лицо у отца было сальным от пота. Он курил, заглушая жажду. Прикуривая, он поднимал козырек фуражки. У мутного горизонта млечно белели горы. Скалы нависали над головой, воздух был неподвижный, снежно-оцепенелый, душный. Отец выворачивал глаза вдоль бредущей колонны. Он проклинал начальство и боялся расстегнуть кобуру. Как собака, он чуял запахи листьев, влажных корней, но не мог отступить, отвернуться по нужде. Подзывая толмача-чечена, смотрел ему в рот, в глаза, в зрачки. Солдат — хурды-бурды, алала — переводил, чего просят арестованные.

Кожа лица покрылась колючей сыпью, словно трехдневная щетина, а вышли утром. Гонялись за двумя — собрали двести с лишним. С калмыками было проще: подогнали «студебекеры», погрузили — и на станцию. Чечня озверела. Своих карала беспощадно. Прибежал из совхоза парень: «Шамса и Саша Асланбековы!»

Начальник милиции Ракицкий писал роман («рôман», говорили друг другу и подмигивали) — «Тьма во мгле». О борьбе с преступным миром. Ракицкий поднял всю милицию, посадил на две полторки. Паспортистка закрыла свою каморку, сунулась к отцу в кабину. Побоялась оставаться. Деваха лет двадцати трех. Так всю дорогу и терласьazole: «Иван Семенович, мне с вами так не страшно».

Машины добрались до совхоза через два часа с лишним. Бандиты — отец и сын — уже ушли. Рабочие рассказали: бандиты загнали всех под этот вот длинный шалаш, Шамса сел с ружьем на выходе, а сын Саша встал у заднего торца. Прикатил на «козлике» секретарь райкома — чечен. Шамса сказал: «Мы тебя давно ждем». Они сели в машину и приказали шоферу, русскому, везти.

Я слышу голос отца, Сосо. Он сказал паспортистке, чтобы осталась в совхозе. Она с плачем отказалась. Ракицкий двинул машины по следу Асланбековых.

Я слышу дыхание отца, Сосо. В кабине тесно, он убирает колено всякий раз, как водитель переключает скорость. Он забыл, что рядом баба, только клоняся под потолком, он видит в косом свете пыльных лучей золотистые волосы на ее ногах.

В село приехали, когда Асланбековы уже ушли. Ракицкий стал искать

родственников. Полсела родных, сродственников, нашел старика, согласился проводить, куда ушли. Сели, паспортистку отец пустил ближе к водителю. Ехали вдоль русла пересохшей реки. Белые валуны, белые-белые, как кремни, и вокруг густая — нога пружинит — трава. На этой стороне гор деревья высоченные, голенастые и цветы желтые, голубые, катывами вокруг камней. Часа два петляли. Ракицкий остановил машины. Стал допрашивать старика, кто-то из солдат-чеченов сказал, что старик увел в другую сторону. Ракицкий — огромный, лысый, с плечами, выгнутыми дугой, — взбесился, заорал, хлеща старика фуражкой:

— Сука, б... бандитская, как собаку! Под колеса его!

Полуторка разогналась, и двое солдат, раскачав, швырнули старика под колеса.

К вечеру обнаружили «козлик». В буковой роще возле обломанного ствола стояла машина, водитель был убит в кабине, секретаря подвесили за яйца, он уже посинел и вытек.

Асланбековых попытались взять в сторожке, но в ночной неразберихе они ушли. Ракицкий набрал заложников. И вот отец трясся на жарком склоне, смотрел в затылки арестованным, пытался пересчитывать. Конвой наполовину чеченский. Отец остановил колонну на повороте, где пространство открытое, скалы подальше, приказал сесть не сходя. Сам взобрался на склон, чистый, травяной, встал подле кустов орешника. Нервы не выдержали. Подозвал разговорчивого конвоира-чечена, через толмача задал вопрос. Тот ответил:

— Пить хотят.

Глаза у чечена были голубые, это обозлило отца, он сказал:

— Скажи им, пусть терпят.

Чечен козырнул и сделал шаг вниз, тогда отец выстрелил.

Отец приказал не разговаривать с арестованными. За полдень он расстрелял еще двоих — из колонны.

Отец убивал так, как будто дробил затылки бессмертным. Твои горийские плакательницы развлекают мух, Сосо. Когда я буду хоронить своего отца, я вспомню, что он у меня был. Он убивал бессмертных. Бессмертных убивают в затылок — ты знал это, Сосо? Верни смерть, что это такое? Я прозевал отца. Боюсь упустить маму. Я боюсь услышать в умирающем теле стук падающих камней.

Ты был великий специалист, Сосо. Ты приклонял внимательное ухо к человеческому позвоночнику, как настройщик приклоняет ухо к грифу. Так приклонял ухо мой отец, играя на бутылках.

— Дили-бом, дили-бом, — пел отец, — загорелся кошkin дом! Кошка выскочила, глаза вы-тращила!

Ты слушал свое бессмертие, Сосо, оно звучало в позвонках. Бессмертными не рождаются, бессмертными становятся. Чтобы стать самому бессмертным, Сосо, ты воспитал государство бессмертных.

Так закладывались основы моей культуры.

От еды до еды, ритм глотательного рефлекса.

Гляжу на старую фотографию. Лицо матери — девочки лет одиннадцати. Интеллигентное, как у всех детей. Почти исчезла голодная одутловатость. Белая рубашечка, белые носочки: Широкий мальчишеский лоб. По пионерской моде подстриженные волосы, чубом забрана набор челка. Изящное лицо, но — глаза. Глаза ее и глаза стоящей с ней рядом матери. Лицо мышечного, ото лба до ключиц, напряжения. И глаза — когтистые и в те же время безумные, как голая стель. Глаза не опамятававшегося сознания, глаза жевательного позыва. Ни кровинки мягкости, ни дольки слабины. Широкие светлые лбы, по-волчьи нависшие над первобытными глазами.

Эти глаза даны были мне природой, чтобы я выслеживал своего отца.

Уже газетчиком я столкнулся с бывшим шахтером, пенсионером. Инвалид, астматик, он жил активной, мстительной жизнью. Он писал, он осточертел районному начальству. Он писал обо всем: о том, что нет лампочки, а поперек тротуара глубокая траншея, что вода в колонке крайне нерегулярна, а

между тем квартплата постоянная, он писал, что работники крайкома выстроили себе прекрасный дом с вместительными комнатами и милиционером в подъезде, а городская библиотека в таком состоянии, что в подвал не войти, и что он сам видел, как крысы в этом подвале загрызли собаку. Он писал через головы, но письма возвращались либо в приемную райсовета, либо в редакцию:

Я приехал к нему в его частный дом недалеко от железной дороги. Старик был грузный, тяжелый в спине, в заду, дышал, как пробитая автокамера. Пальцев на левой руке не хватало — только мизинец и безымянный, — и на безымянном стыл золотой перстень с печаткой. И показывать он привык левой, он говорил и показывал через забор, протягивал усеченную руку, и странным был этот жест — тяжелая, оплывшая рука вдруг делалась легкой, недостающие пальцы были как бы прозрачными и плавали в сумраке под абрикосом. Бог с ним, со стариком. Пусть его опишет кто-нибудь другой. Но он мне рассказал в свистящем раздражении, что видел во время войны, как вот на этом участке железной дороги был остановлен состав с телячьими вагонами, состав охраняли энкавэдисты. Сколько вагонов? Пятнадцать? Двадцать? Состав. Он в этом доме живет с детства, привык к таким составам, но этот стоял долго, а война уже шла, и вот он увидел, как забегали энкавэдэшники, распахнули лавку керосинщика, вон там стояла — легкий прозрачный жест вдоль улицы, — поволокли бочку вдоль вагонов, поливали ведром. Подожгли и отошли вон к той лесополосе, а кто к домам через пути. У них были пулеметы и автоматы, и когда недогоревшие зэки выпрыгивали, они их резали... Обрюзгая, сизая физиономия под тенью сетчатой шляпы горела слезливым (старческим, что ли) восторгом.

— Да кто был же? — У меня вспотела спина. Был жаркий, стервозный июль. Выбрал же время для визита! — И кто был?

— А? Кто был? А я знал одних-то, они при тюряге работали, офицеры (ахфицеры). Одного я уже и потом видел, в начальниках.

— Я говорю, кого сожгли?

Я смотрел в его лицо, как смотрят в лысину, и чувствовал вдруг, что и у него, как у меня, взъезжились седые волосы. Мурашки побежали по голове. Я уже чувствовал, понимал глубже, страшнее, и он имел какую-то свою тайну, недоступную сознанию мысль.

— О, да много их было. И бабы, и женщины, и детей видел со стариками. Всякие были, сбор богородицы.

«Ну к чему он все это вспомнил? Какое отношение имеет это к его злызам? Чему, чему он восторженно внимает в себе?»

— Наши торопились, чтобы немцам не досталось.

Из старика просто выпевалось воспоминание. Он не был многословным, редкие слова были густо вмешаны в свистящее, вырывающееся дыхание. Я не сразу заметил, что его потряхивает. От потел, из-под плетеной шляпы капал жирный пот. Он, оказывается, хотел говорить много, он-то, с глазами сизыми, в углах набитыми угольной пылью, он хотел говорить и говорить. А я-то думал, он вот-вот замолчит, после каждого слова — пауза. Точка? Опять говорит. Не воевал, работал на шахте, «давал стране угля». На губах сизые родинки. Но вот видел же, запомнил на всю жизнь — и смеется, смеется сквозь газовую одышку, склеры же дрожат, как от рыдания, — запомнил и нес в душе как вчерашнее, волнение еще не улеглось, еще сознание не справляется с увиденным, никак не вгонит в рамки. Хихикает через край:

— Сильное завпечатление.

И смотрит на меня озорными сизыми глазами — и вот что меня, потного, раздраженного, насторожило: вглядывается в меня, высматривает, поджидает или прикидывает, осторожничают, хочет знать, какую оценку дать «завпечатлению», и чтобы во мне, газетчике, не ошибиться.

— Ну, кого смогли, похоронили. По-христиански, все же по-божески чтоб.

Ах ты правдолюбец долбаный! Канаву, видите ли, полгода не забросают, женщина ногу сломала — об этом писать можно, за эту правду бороться надо, а вот рассказать о заживо сожженных — это как? Для этого надо в глаза заглянуть, разрешение получить: правда ли это или неправда?

Он оттопырил безымянный, провернул перстень. Я чувял запах его пота — он был кислее запаха абрикосовых листьев. Почему, почему он мне рассказал? Я вглядывался в его лицо с подкожными сизыми дыбками. Не всем же он рассказывал, нет, эти одинокие инвалиды, они осторожнее кого-либо. А что терять, что терять? О, значит, все же эта паршивая, загаженная, искровленная жизнь ценнее всего на свете! Вот такая, как есть, в этом заплесневелом дворе, в хибаре с осевшими стенами, жизнь, господи, всего ценнее эта, очищенная уже от всего — очищенная именно кровью, голодом, унижениями, всеми этими кислотами человеческого бытия, — космическая жизнь. Она ценнее всего, дороже всего.

— Старушки еще живы, — сказал старик, в паузах тяжело клекоча сквозь глаза, плача. — Старушки-подружки.

Я привязался к нему. Так, наверное, Эйнштейн привязался к планете, давшей подтверждение его теории. Это было мое «красное смещение». Я еще не верил, искал факты, пытался уточнить (человеческую память!). Отец, его отдел проезжали по этой ветке, они направлялись в Западную Украину, но не доехали, так? Их остановили — где? Да здесь же. Было? Или не было? Я спрашивал отца: когда? Он называл год и месяц, но — примерно. Не мог вспомнить точно. Я настаивал, как умеет настаивать злоба. Но он искренне не мог вспомнить. Но здесь, здесь же стояли, недалеко от этой лесополосы. Стояли, потому что немцы уже опередили вас. И вот среди вас, энкавэдэшников, обнаружили случаи б р о ж е н и я. Драпаем, дескать, от Гитлера под такую мать. Но паникера тут же выявили. Молодого бойца. А потом еще двоих? Но за что, за что? «А как же, он агитировал, а те поддерживали». Кто стукнул? И стучать, наверное, не надо — пораженческие речи слышны были здесь издалека. Даже если только шепнул, оправляясь. Расстреляли.

Он хорошо помнил этот случай, рассказывал, как шел вдоль вагонов и сквозь просветы сцеплений видел, как взяли бойца. Взяли и вели. Какое время года? Месяц? Отец отводил глаза, прикидывал: «Жарко было. Помню, воду искал». Их не применили в Западной Украине, там свои управились. Застряли здесь — когда? Я нашел двух старушек, но они — странности памяти, — но и они, кремешки, путали даже время года. То ли весна — листьев не было? То ли осень — листьев уже не было? То ли бесснежная, ветровая зима с затишьями, похожими на оттепель. Я злился на эту запльвущую память, ведь не один человек погиб, не обыденным образом — от своих же, изуверски. Но потом стал испытывать давящее унижение: во имя чье расследую? Соединить два оголенных конца? Восстановлю или закорочу? Уловки памяти понятны: свершилось, и ладно. Не нужны памяти точные даты, память не хочет сходить с ума... К тому же, как сказал шахтер-астматик, светясь глазами, нутром смеясь: состав горел так жарко, что выгорели все приметы.

Я не желаю оправдываться. «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье».

Говорить правду всю, до конца. Для чего? Чтобы не быть смешным?

Помните, т. К-ов, что говорит ваш мессия: «Это очень издали шло, пожалуй, от Лермонтова. От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гаже жандармской. Нет, еще глубже. Сами того не зная, мы откупались медяками и гривнами от разменных прадедовских золотых, от того времени, когда нравственность еще не считалась относительной и добро и зло различались просто сердцем».

Ваш папа устоял, т. К-ов? Не вербовали? Или в нем «что-то сопротивлялось»? Свежие кальсоны после бани — основа дедовской нравственности. Нет, «нет, еще глубже» — это же р е ф л е к с. До сознания, до понимания: а как же те, что ш л и, сексотили, или хуже того, то есть — безрефлексные? Да? Но если в них не было ядрышка добра, того самого «прадедовского золотого», то какой смысл говорить о Добре? Одни не могли согрешить — было чем откупиться, — а другие?

Нет, т. К-ов, не могу сказать: половине народа отрезали доступ к истории. Но а если только одному? Мне одному, потому что мои, мои родители были произведены на свет без рефлекса добра, без «прадедовского золотого». Ведь это было бы в ы х о д о м и для меня и для вас, т. К-ов! Я один ненавижу

своих родителей, я один несу всю ответственность... Но нет, вы ни за что не согласитесь иметь одного. Вам нужна другая половина народа -- иначе какой же смысл стоять за Добро?

Нет, не выход это для нас с тобой, отец. Слабости простить, питье как не простить. Но как простить страх? Чего ты испугался?

«Страх — самая активная форма приспособления».

Ладанку, ладанку бы тебе на грудь: «Съмите с меня нужду, верните мою судьбу, а кто мою судьбу отымает — накажи того, господи». И так до трех раз, отец.

Тебя о т к р ы л и, Иисус, как естественный закон. Люди открыли, как они открывали силу пущенного камня, падающей воды, взятого крылом ветра. Это случилось неизбежно, как неизбежно «сотворение» мира: пусть попробует твой О т е ц отказаться от з а м ы с л а! А уж коли закон открыт, кто же — а ты первый! — не применит его?

Даже самый добрый закон, закон Добра, как только поставим на его пути водяные колеса, ветряки, печи, превращается в закон подавления.

В природе амнистии не бывает.

Человек — животное нравственное, и в этом его сатанинская сила. Он все оборачивает в нравственный фантик, иначе он просто не видит ни предметов, ни явлений. Нравственность — это свет человеческой природы, а свет абсолютен.

И э т о человек раньше применил, чем понял.

Вы помните Христа? Да, Иисуса? Да напрягите же память! Гефсиманский сад, склон, звездная тяга через все небо, соловьиный посвист иволги. И там, чуть выше, метрах в ста — ста пятидесяти, недалеко Иисус. Тоска жуткая, сна ни в глазу, горло пересохло, а вы ниже по склону, за камнями и все ниже, а потом уже в пропасть, в теплую воду сна...

А теперь я скажу не затирайте поколение. Оно было. Поколение поднятых на уровень м и р а. Ибо нет на земле человека, который не держал бы в сердцевине грудной клетки всей картины мира. И создавался человек этот веками — человек-предрассудок, человек-раб, и дано было ему восстать, дано было охватить вселенную мира, ступить и идти, видеть и знать, что на сотни и сотни километров поверх великого малого идет и дышит Единство.

Отца выпишут из больницы за безнадежностью. Машины не дадут. Бешеный, я буду метаться по улице, униженно просить водителей, но к онкокорпусу никто не подъедет. Наконец я уговорю старика на инвалидном «Запорожце», а когда вбегу в коридор, увижу, как мать тянет отца на себе. Ноги у него уже будут парализованы. Ни носилок, ни помощи. Мы стащим его по лестнице — терпеливого, приговаривающего свое «ничего, ничего!». Потом потащим через двор. Небо будет таким низким, покатым, что тяжелые черные облака, как подорванные, будут катиться вниз -- над головами, над деревьями, -- и будет ли это ранняя весна или осень, только облака в безветрии, только распластанное солнце и старая слива с гнутыми-перегнутыми ветвями. И я увижу натеки смолки, и синеватые, похожие на плоды, листья, и опять облака, господи, и скрежет отцовых ног по гравию, и лицо мамы: безвольное, упрямое, с красными, неслезными глазами. «Ничего, ничего», слива, смоква, свет солнца в янтарных каплях, я испытываю сильнейшее, все и вся наперед прощающее раскаяние под катящимися облаками, под рукой отца, цепкой, горячей, вежливой, возле его лица, шепота, дурно пахнувшего гбрячего дыхания. Ничего, ничего...

Лежа обездвиженно на резиновом круге, он дышал верхом, иносказательно. Его лицо было темной печаткой — в извивах морщин проступил жесткий узор клейма. На руки, тяжело ищущие жеста, давило торможение.

Перед ним не то окулярами, не то делящейся амемой висела карта мира. Он уходил в нее голубым зарничным взором. Очнувшись, рассказывал:

— Духовых инструментов у нас не было. Тогда хоронили под струнный оркестр. Директора фэзэу. Я уже играл на мандолине...

Пока он говорил, мама обкладывала его тело свежими капустными листьями.

Я представлял летний полуденный свет, шум листьев, камыша. И тихое движение людей на взгорке кладбища. Посверкивали лопаты. И словно от реки ветер — пространный, охватным отзвуком, эхом струнный звон оркестра: мандолины, гитары, балалайки, охмуренные светом, шелестом, тягучим профилем траурного марша.

— Вы жертвою пали, — шепотом пытается спеть отец.

Почему, почему мне восстанавливать его, как затертую временем фреску?

Я отворачиваюсь и смотрю на карту мира, на два мировых ока, в которых, как в глазах отца, трепещут красные прожилки.

Куда же рвался ты, фабзаяц? От тяжести тисков? От железной крупы? От заготовки, которую ты впервые в жизни превратил в гаечный ключ? На ощупь чем отличается напильник от струны? В подушечках пальцев та же тревога.

Так в тебя входила т в о я культура. Не от слова — от движения, ощущения, от податливости металла, от формы, которую ты отгадывал в нем. Двустый ключ вызвал в душе — помнишь ли? — торжественное, напористое ликование. Ключ девять на двенадцать — как фотография, и плотный захват гайки, еще удерживающий тяжелое колесо поворотной судьбы.

— А скрипки в оркестре были?

Отец морщится от боли. Пальцы теребят капустные листья. Листья, только что зеленые, хрустящие, сочные, жухнут на горячей коже, как от зноя.

Наша память — фреска на беспамятстве, она живет только как сожаление о себе самой.

Ах, картошка — объеденье,
Пионерский идеал.
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал...

Я бы поместил под предметное стекло глаза матери и глаза отца. Две капельки голубого, две капельки карего, лучистые амебы. Я увидел бы, как пульсируют ядрышки-зрачки, как заглатывают они тончайшие образы мира; с какой нежностью соседствуют радужки в чистой радуге солнечного света...

Я опять видел вас по телевизору, т. К-ов. Молодой человек спросил: есть ли сегодня такие слова, понятия, которые вели бы к взаимопониманию. «Нет», — ответили вы. «А как находить общий язык?» «А вот так, — сказали вы, — общаясь и глядя друг другу в глаза». Так посмотрите же мне в глаза, т. К-ов!.. Чью душу желаете?

Любила всю жизнь. И теперь мне наградой,
Что будешь навеки со мной.

Летели, летели печальные годы:
Жила лишь тобою, не лгу.
За окнами полночь. Застыла природа.
Сочельник. Равнины в снегу.

1987.

Фрейд

Меня накрыл вчера за книжкой Фрейда
Разъевшийся на догмах цитатолог.
Он кулаком по книжице хватил
И закричал, что я такая ж мразь,
Как этот мерзкий зарубежный жид.
От счастья я задохся, что меня
Поставили в одну шеренгу с Фрейдом
И вместе расстреляли с ним свинцом
Заученных тяжелых злых цитат.
Хеопс. Хефрен. Исакий. Тадж-Махал.
Китайская стена и Парфенон.
Строитель Вавилона. Петр и Эйфель.
Лессепс. Буонаротти. Леонардо.
Все демиурги, зодчие, творцы,
Чья воля воздвигала города,
Плотины, домны, Цвингер, Лувр, Уффици,
Вы все лишь порожденья этой власти —
Неугасимого в вас вечного огня.
Спазм музыки, падучая стихов —
Все от нее, от этой горней силы,
Все от либидо лишь, гонящей по орбитам
Миры, туманности, меня, когда гляжу
На свой рабочий стол, на чертежи столиц,
На ляжки женщин, книгу Бытия.
Австрийский жид. Он знает каждый миг
Мой, твой, его, микроба и планет,
Расстрелянных с ним у стены времен.

1977.

* *
* *

Гроза над Доном. Божья сила
Огнем все небо затопила.
И Бог опять перед тобой.

Куда бежать от Провиденья,
От молний, мглы и озаренья,
От Парки, Парки роковой?!

1987.

Могилы пророчицы

Двадцать столетий она
Пролежала в сарматской могиле.
Перстни Востока, запястья, —
Раздетая вмиг красота.

Всех нас костями ослепляла
Пророчица Истра, сивилла,
Сверстница Августа, Флакка,
«Метаморфоз» и Христа.

1982.

ЗАВОДЬ

*

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ

* *

*

На берегу речушки Истмы
Жил мельник — статен и увечен.
Он высекал линей, как искры,
В кремнистых заводах обречья.

Старуха мельника глухая
Лечебной тешилась травой
И мир — от поля до сарая —
Чуть вечер, мерила клюкою.

И лишь в одно из воскресений,
Мне вспоминается, в июле,
Они встречались там, где тени
В могильных гнездах прикорнули.

В тот день, назначенный и строгий,
Теням, почившим во мраке,

Дарованы во славу Бога
Свобода, зелье и злаки.

Когда, свершив поминовенье,
Взгрустнули мельник и старуха —
Взошли изменчивые тени,
Сошлись и обняли друг друга.

Они едва коснулись хлеба,
Скупое зелье пригубили
И по тропиночке вдоль склепа
К запруде мельничной поплыли.

И в этот миг лесные птицы
В слепых ветвях не трепыхались,
Не смели травы поклониться
И рыбы в ил не зарывались.

* *

*

Когда рассыпаются звезды
На миллиарды частиц,
Тогда луговые версты
Смирненно ложатся ниц.

Это зовется росой
И в утреннем синем дымке
Серебряной полосой
Покачивается на сквозняке.

Но вот, как ловцы жемчужин
С коралловых островов,
Выходят косцы из хижин,
Глотая остатки снов.

Их мышцы еще не чугуны,
А мысли в далекой стране,
Где радужные лагуны
С жемчужницами на дне.

Качаясь, косцы ныряют,
И в терпком гуле травы
Блещутся и мелькают
Над лугом их головы.

Забыты и южное солнце,
И птичий над молотом крик.
Лишь месяц блестит на донце
Озера, как плавник.

ФЕДОР СУХОВ

* *

*

Не удержать его, не придержать —
Конь мой к крутому несется обрыву.
Лунная полночь, ее благодать
Влажно ложится на конскую гриву.

Утяжеляет одежду мою,
Тяжкой стала льняная рубаха...
«Остановись!» — умоляю-молю
И замираю от липкого страха.

Не убавляет летящую прыть,
 Конь мой не слышит истошного крика,
 Все продолжает копытами бить,
 Скачет по полю гривастое лихо.

Поле польнью усохшей горчит,
 Липнет к губам моим горечь польни.
 И не луна — окровавленный щит
 Клонит себя к заливной луговине.

Чуется зябкая выбрезжь зари,
 Рдеет, развесясь, рябина, калина,
 Приподнимаясь, туманит залив,
 Береговой увлажняет суглинок.

«Остановись!» — умоляя, кричу.
 Не умолить моего иноходца,
 Скачет к забытому мною крыльцу,
 К тайне забытого мною колодца.

А у колодца-то льется вода,
 А у крыльца-то дымится крапива.
 А там, где тоскует моя лебеда,
 Я поднимаюсь над кручей обрыва.

Я устрашенные шурю глаза,
 Вижу упавшую на воду зорю —
 Раннее утро, его бирюза
 Светится тихо пролитой слезою.

ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО

* *
 *

В леса повадились туманы,
 и, тая в розовой пыли,
 снега покинули поляны
 и ближе к елям поползли.

За теплой пазухой пригорка
 среди рыхлеющего льда,
 как начесоченная корка,
 лоснится черная гряда.

Но осторожничают звери,
 и знают почки на ветле,
 что смута бродит в атмосфере
 и нет порядка на земле.

Что там, где ранние капли
 клевали лужицы воды,
 еще прокатятся метели
 и выжгут первые цветы.

Ну что ж, на то не наша воля.
 И коли с ней не совладать —
 дровишек загодя наколем
 и станем вьюги коротать,

хотя тревожно, неустанно
 душа зовет в опасный путь —
 за край окрестного тумана,
 в чужое время заглянуть.

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

*

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Хроника девяти месяцев

VII

Печь затопили первыми Новожиловы, за ними Ключишины. Задымила вскоре и вся Шибаниха. Труба бывшего поповского дома, где жили теперь братья Сопроновы, тоже кужлявилась. Игнаха первый раз ночевал на новом месте. Пробудился он в пустой кровати, жены рядом не было. В качалке кричал ребенок. «Не дал, пашенок, поспать! — с улыбкой подумал Сопронов. — Как назло, всю ночь и горланит».

Лежа на широкой поповской кровати, Сопронов нащупал под подушкой согревшийся за ночь наган. Каждый раз по утрам, нащупывая эту штуковину, ощущал Сопронов ее верную тяжесть. Он молодел в эту минуту, твердел зубами и наливался решимостью. Вспоминал, как после вручения партбилета Яков Наумович вызвал к себе и... совсем неожиданно послал в милицию. Там Сопронову велели писать расписку в получении оружия.

Ребенок орал в поповской деревянной кроватке. Ножки кроватки вделаны в закругленные поперечины, чтобы можно было качать. «Ишь ведь чего придумали, — хмыкнул Сопронов. — Крашенная...»

Печь дымида, голова с похмелья и недосыпу болела. (Зоя вчера ночью выставила бутылку.) Сопронов отбросил атласное стеганое поповское одеяло. Ноги в давно не свежих кальсонах перекинул на край кровати. Поспешно натянул галифе, сунул наган в карман пиджака, висевшего на вешалке, и босиком подошел к деревянной кроватке-качалке. Качнул. Ребенок завопил еще громче. Трещала топящаяся печь, младенец кричал. Селька спал или притворялся, что спит, в прихожей, куда перетащили бывшую кровать Марьи Александровны. Вчера Селька до первых петухов просидел в гуме, караулил дорогу в Залесную. Никого не видел. «Где женка? — разозлился Сопронов. — Затопила и сама убежала...» На самом деле злился Игнатий Павлович не на жену Зою, а на брата, который не вставал. Зоя работала на молочном пункте, затопила и, может, убежала туда, а этот чего дрыхнет?

Сопронов сильно качнул кроватку, и ребенок затих. Глазенки блеснули. Роговушка валялась сбоку, одеяльце сбилось. Что-то похожее на жалостливую нежность шевельнулось в душе Игнахи и тотчас исчезло, потому что ребенок вновь заорал. Сопронов начал совать в рот младенцу холодную раскисшую коровью титьку, натянутую на бараний рожок, куда наливалось коровье же молоко. Но молока в рожке не было, и ребенок выплевывал титьку. Сопронов терял терпение. В прихожей встал Селька, оделся и босиком сходил в нужник.

— Сильверст! Качни парня, я хоть пока умоюсь, — позвал брата Сопронов.

— Сами родили, сами и качайте, я не обязан, — явственно буркнул Селька.

Сопронов скырнул зубом, но промолчал. Селька полез на печь за валенками. Ему надо было идти в старый дом, топить печь и чем-то кормить отца. Еще на нем была изба-читальня, вернее, красный угол в лошкаревском доме,

там тоже надо топить, а дров не было. Все это Сопронов знал и потому промолчал, но раздражение против брата имело еще одну причину. Уж больно быстро газета со статьей Сталина выскользнула вчера из Селькиных рук. Не надо было отдавать почту этому дураку. Ведь как наказывал: никому не давать. Мало ли что пишут в Москве! Да и Яков Наумович велел держаться прежнего курса.

Велел-то он велел, а сам был да нет. Уехал в район того же часу, а тут делай что знаешь...

Почему это на них, на местных коммунистов, кивает товарищ Сталин? Разве не от него с Кагановичем шли директивы и указания? Статьями-то сверху проще отделяваться. А тут по низам все расползлось в разные стороны. Шей да пори, не будет пустой поры. В Ольховице за какие-то полчаса скотину колхозную развели по домам, того скорее растащили сено и упряжь. Все поголовно, кроме Митьки Усова и Гривенника, подали заявления на выход. Даже член партии объездчик Веричев написал заявление, правда потом, после разговора, порвал на глазах. От Гривенника с Усовым да от наставницы Дугиной много ли пользы? Тут, в Шибанихе, колхоз развален до основания, в Залесной та же история. Кто бросил камень в окошко Куземкина? Найдем кто! Не отвертятся...

Так думал Сопронов, пока не пришла жена. Она утомонила ребенка, поставила разогретые перед огнем вчерашние щи:

— Ешь, Игнаша, да хлеба нарежь! А ты, Селиверст, куда? Похлебай, потом и беги! Сейчас Таня кривая придет. На ночь-то не остается, а днем, сказала, будет ходить.

Обжигались, хлебали вчерашние щи, потом Зоя принесла ладку с жареной на бараньем сале картошкой. Ребенок орал.

— Может, девчонку какую подрядить? — заметил Сопронов. — Эта Таня больно говорить любит. Мблится того больше.

— Да я уж думала... Вон Жук ходит по миру, с ним двое... Одна-то ростом порядошная.

Сопронов не дослушал. Положил ложку, встал и глянул на Сельку:

— Ключ у тебя? Иди затопи! Да не у отца сперва, а у Лошкарева!

Не глядя на жену, Сопронов зажег фонарь. Семья живет в новом доме, а он не видел этого дома со дня раскулачивания.

Дом в Поповке был не один, а два, с просвирниным даже три. Поповны Вознесенские жили в двухэтажном, в нижних комнатах. (В одноэтажном доме размещалась когда-то приходская школа, в боковушке до самого ареста обитал отец Николай со своей попадьей.)

Сопронов обошел обширную пустую повесть сестер Вознесенских, где не имелось ни соломы, ни сена. Хлевы внизу пустовали, поповны еще до раскулачивания продали корову. «Успели, спровадили...» — подумал председатель и открыл двери в омшаник. Шесть домиков с ульями стояли на подставках. Сопронов по очереди подставлял ухо к каждому домику. Глухой, еле различимый шум внутри каждого улья был похожим на шум закипающего самовара. Сопронов поднялся наверх, толкнул в двери главного сенника. Три сундука были не заперты. Сопронов откидывал крышки одну за другой. Холсты, платы, полотенца... Одежда почти вся деревенская, только одна модная душегрез — городская. Он осветил фонарем над большой четырехугольной корзиной, плетеной из дранок. Книги!

Сопронов вывернул фонарный фитиль, чтобы прочесть названия. «Вологодские епархиальные ведомости», «Троицкие листки»... Он читал и откидывал, читал и откидывал. Религиозная дрянь... Днем надо открыть на повети большие ворота, вилами выкидать на улицу, отвезти на дровнях в поле и сжечь...

Сопронов не успел открыть вторую кладовку, внизу послышался голос Куземкина. С кем он там разговаривает? Вроде бы со старухой Таней. Раздражение нарастало вместе с рассветом. Отчего оно нарастало? Сопронов вышел на крыльцо. У ворот топтался Куземкин. Стоит ли приглашать его в дом? Старуха поздоровалась и тоже остановилась.

— Ну? Чего встала? — спросил Игнаха.

— Я, батюшко, водиться с робеночком.

— Ну так и иди.

Сопронов отвернулся к Мите Куземкину и поздоровался с ним за руку:

— Пошли сразу в читальню!

Митя в недоумении крикнул:

— Пошли. Я что... Каково ночевалось-то?

Холостяк Митя, конечно же, намекал на ночь, проведенную Сопроновым с женой в поповской кровати. Сопронов сдержался. Отмолчался.

Деревня сегодня безлюдна, спокойна. Дымились последние запоздалые печи. Небо начинало светлеть, вставала розовая заря. Словно и не было вчерашней суматохи. Сопронов на ходу резко спросил:

— Где корова?

— Какая корова? — Митя сначала как бы не понял...

— Твоя!

— Дома... — признался Митя. — Забыл сказать, вчера-то...

— Девичья у тебя стала память, Куземкин. А лошадь?

— Лошади, Павлович, у меня не было.

Труба над лошкаревскою крышей дымила в синее шибановское небо. В избе-читальне опять было дымно, но не от печи, а от трубокоров. Миша Лыткин и Кеша Фотиев сидели на корточках у печи и палили махорку. Селька топил печку точеными балясинами, выломанными из перил лошкаревской лестницы. Сопронов за руку поздоровался с Кешей и с Мишей Лыткиным. Сел за стол, на котором лежал вчерашний дресвяный камень.

— Так...

Все стихли. Игнаха обвел активистов почти добродушным взглядом.

— Так... Где десятской?

— Дак тут вроде, прибежала уж... Тонька-то пигалица, — осторожно сказал Миша Лыткин, и снова стало тихо. Только трещали и плавилась в печке крашенные точеные балясины.

— Ну вот что! — сказал Игнаха. — Ты, Миша, беги за десятским... И ты, Сильверст, иди по своим делам! Скажи женке, чтобы к вечеру баню... А ты, Асикрет Ливодорович, пока останься.

Когда Лыткин и Селька исчезли, Сопронов поглядел на Кешу:

— Какова жизнь, Асикрет Ливодорович?

— Да ведь что, Игнатей да Павлович, — поежился Кеша. — Жизнь она все такая, все вверх головой.

— Не напостыла тебе твоя изба? Ежели не напостыла, дак и живи.

— Да ведь я што, я бы, конечно дело, пожил бы и в опушоном доме. Да вишь, средств-то нет, ежли купить.

Сопронов отодвинул на столе камень и подвинул чернильницу:

— Вот! Пиши заявленьё. Дадим тебе в счет колхозной ссуды дом Евграфа Миронова!

Кеша не поверил своим ушам:

— Евграфов?

— Евграфов.

Кеша опять как-то остолебенел. Но постепенно стал оживать, задвигался на скамье, начал глядеть то на Сопронова, то на Куземкина.

— Пиши, пиши! — поддержал Куземкин. — Вот тебе чистая грамота.

— Дак это... А самово-то ево куды?

— Ево в твою. Ежели не отправим ище дальше, — сказал Сопронов.

— Да я вишь, это... Грамота-то моя не больно. Ежели бы кто написал, а я расписаться-то дюж.

— Ну, с тебя пол-литра, — сказал Митя. — Я тебе напишу заявленьё...

Митя взял клоч бумаги и сел за стол. Сопронов разглядывал камень:

— Дресва... Из банной шайки. Вот только из чьей шайки? Как думаешь, Асикрет Ливодорович?

Ошеломленный Кеша не сразу и понял, о чем его спрашивают.

— Шаек-то, Игнатей, оно много... В каждой бане есть. Шаецкы-ти.

Думаю, надо робетешек спросить, дело такое. Игрище было у Самоварихи... Жучково семейство ночует там жо...

Кеша не договорил, заскрипела лестница. Дверь открылась, запыхавшаяся Тоня поздоровалась и остановилась у порога. Куземкин откинулся от стола:

— Ты вот чево скажи, Антонида! Десятские нонче кто?

— Мы. — Тоня перевела дух.

— А кто это у вас ночевал-то? Не выселенцы?

Тоня молчала. «Откуда узнали? Да ведь узнать не диво, деревня большая», — подумала девка. Сопронов кивком приказал Куземкину продолжать писать и сам обернулся к Тоньке:

— Беги и скажи им, чтобы шли суда! После этого сбегашь за Иваном Нечаевым.

Тоня, не говоря ни слова, повернулась — и в коридор. На улице она и впрямь побежала. «Угледел кто-то. Либо Евстафей сказал...» На бегу — какие же мысли, какие думы? Только и вертелось одно в голове: дома ли братья с невесткой? Собирались ехать за сеном. Дровней у двора нету, видать, уехали. Маменька баню налаживает, сегодня суббота. Тоня не вбежала, а влетела в избу... Господи, что это? Посередине избы лохань с теплой водой, все три украинки босиком. Подолы подоткнуты. Ноги голые выше колен, ладно, что мужиков нету. У одной в руке тряпка затирает пол, у второй голик. Третья в ведре щелок разводит. Ой, девушки, матушки! Тоня к той, что постарше, ко Груне:

— Кидайте всё! Вас ведь зовут!

— Куды зовут? — Все трое стали белее известки.

— Уходите! Идите потихоньку деревней-то, у гумна дорога направо в Залесную! Десятского по деревням больше не спрашивайте. В Залесной спросите баушку Миролию. В других домах ночевать тоже пускают...

Тоня из избы вон, да только вспомнила, какая обутка у той, что постарше, у Груни. Вернулась Тонька-пигалица, быстро слезала на полати, подала старые подшитые валенки:

— На-ко вот! На воду-то не ступай...

— Ой, милая! Да что ты... — Выселенка заплакала, обняла и сует Тоне какую-то денежку.

Тоня отскочила, замахала руками:

— Обувай, обувай с Богом. Да скорее. Как бы сюды не пришли...

Сама во двери и за Иваном Нечаевым. Может, забудут про выселенок-то? Нечаев придет в читальню, пойдет у них разговор. Той минутой и успеют девки уйти. А куда бедным идти? Везде свой митьки с игнашками...

И Тоня бежит к Нечаевым еще провожее. Если б она знала, сколько раз до вечера придется ей сновать вдоль по деревне, может, не стала бы торопиться...

В читальне стало теплее. Не столько от лошкаревских балясин, сколько от мартовского первого солнца, бьющего в окно. Сопронов листал бумаги. Кеша Фотиев давно убежал. Готовится к переселению в Евграфов дом. Обиженный Лыткин сидит за печкой, не разговаривает. Куземкин то и дело глядит в окно. Нечаев не шел. Тонька сказала, что у Нечаевых пекли картофельные рогульки и что Нечаев прийти сразу не посулился. Тогда послали за счетоводом Володей Зыриным, потом за Акиндином Судейкиным, потом за Жучком. Но никто не шел на вызов Сопронова! Тонька бегала по деревне зря. Далеко ли ушли выселенки? Каждый раз, вставая перед начальниками, Тоня чуяла, как обмирало сердце: вот сейчас возьмут и спросят, где выселенки. Но видно, и правда подзабыли, раз не спрашивают...

Оставшись вдвоем с Куземкиным, Игнаха вдруг сильно ударил камнем по столу. Камень рассыпался.

— Нечаев подкулачник еще с прошлого года! Помнишь, катались на масленце? Про мезонин частушку спел.

— Здря, Игнатей Павлович, — возразил Куземкин и сгреб со стола дресву.

— Нечаев записался чуть ли не первой. Какой он подкулачник? Сопронов с презрением поглядел на собеседника. Ничего-то не понимает! Особо в классовой линии...

— Ну а Новожиловы? Тоже, по-твоему, сознательный элемент?

— Ежели так, дак вся Шибаниха в подкулачниках, — сказал Митя и поджал губы.

— Вся и есть, — произнес Игнаха. — Ты вот и сам... Корову свел. Читал статью?

— Читать не читал, а разговоры слышал.

— Вот-вот! Разговоры! А ты знаешь, какие про тебя идут разговоры?

Куземкин насторожился:

— Я не красная девка, пусть треплются.

— Ты расписку уполномоченному давал на деньги?

— Давал!

— Где оне, эти двести рублей?

Митя Куземкин покраснел как вареный рак. Он не знал, что ответить на этот вопрос председателя сельсовета. А новый вопрос как тут и был:

— Миша Лыткин колокол спихивал? Так! Спихивал. А ты ему копейки не заплатил!

Куземкин наконец приобрел дар словесной речи:

— Спихивал, да не одного не спихнул! А я вон до крови изодрал коленки и локти.

Миша Лыткин выскочил из-за печки:

— У миня, Павлович, и на коленках дирки, и на заднице дирки. Пилу балкой зажало...

Сопронов успокоил Мишу:

— Ладно, мы потом разберемся, кто больше штанов изодрал.

— Нет, не потом, а давай сейчас! — не уступал Куземкин. — Каменьё летит не в Мишкины окна, а в мои! И росписку тоже не Лыткин Меерсону давал. Ты с Яковой-то Наумовичем заодно, это я знаю. А знаешь, что и на тебя акт составлен?

— Какой еще на меня акт составлен? — белея глазами, обозлился Игнаха, но тотчас пересилил себя, замолк. В дверях показался счетовод Зырин, он же приказчик шибановской потребиловки.

Сопронов не подал ему руки, с ходу пошел в наступление:

— Товарищ Зырин, ты на какой основе корову из колхоза увел?

Зырин не испугался:

— Первым делом не на основе, а на веревке. На основе-то вон бабы холсты ткут. Вторым делом не я и увел...

— А кто?

— Матка.

— Ну а колхозные документы где, тоже у матки? — спросил Сопронов, и Зырин заметно смутился. Поскреб в затылке и крикнул. Вспомнил Миклуленка и его поговорку:

— Та-скачь, доку́менты, Игнатей Павлович, не у матки. У Жучка доку́менты. Куземкин вон знает где. Да много ли доку́ментов-то?

— Вас с Куземкиным Жучок из конторы выгонил, скоро из Шибанихи вышибет. Так вот, чтобы такого дела не вышло, гони корову обратно.

— А ежели не сгоню?

— Пиши заявленьё о выходе!

Зырин словно только того и ждал. Вскочил со скамьи, попросил бумаги, но лестница опять закрипела. В читальне появилась Людка Нечаева. Она тоже держала в руках бумагу:

— Игнатей Павлович, меня брат Ваня к тебе послал! С заявленьём!

— А почему сам не идет? — взбеленился Сопронов.

Она положила бумагу на стол и тотчас выскочила в коридор.

След в след за Людкой Нечаевой пришла старая Новожилиха, подала бумагу прямо в руки Сопронова. После Новожилихи прибежала девчонка, посланная Савватеем Климовым, потом еще какой-то мальчик, и повалил дальше народ гужом. Придут, положат бумагу на стол и, ничего не говоря, обратно. Заявления, написанные на разных бумажках, копились, как блины у хорошей большухи, кто-то принес даже дощечку с каракулями...

Сопронов сидел в углу, на скамье, мрачный и молчаливый. Что творилось

у него внутри? Никто этого не знал. Одни глаза его то белели, то снова темнели. Все остальное замерло без движения. Молчал и Куземкин, притворился, что тщательно разбирает, что написано на дощечке. Зырин поглядел на одного, потом на другого и усмехнулся:

— Может, за гармоньей сходить? Больно невесело, как при покойнике...

Игнаха не отозвался. Митя глянул в окно:

— Вон Судейкин идет! Этот нас и без гармоньи развеселит!

Сопронов опять промолчал.

Зашел Киндя, долго разглядывал всех троих.

— Честной компании! — громко произнес он. — Ничего не вижу, кто сидит, кто лежит.

И вправду, после ярости мартовского солнышка, играющего в белых шибановских снегах, глаза Судейкина едва различили фигуры начальства.

— А это вот ты тоже не видишь? — Сопронов встал и пальцем показал на банный дресвяный камень. — Ежели не видишь, дак пощупай! Говорят, из твоей бани.

— Кто говорит? — подпрыгнул Киндя.

— Люди говорят, — поддержал Куземкин Сопронова, но Зырину подмигнул.

— Говорят, што кур доят! — обозлился Судейкин. — А оне вон в колхозе-то и яйца класть разучились!

Судейкин повертел камень в руках и положил обратно:

— Ты, Игнатей, на том свите будешь грызти эту дресву! Помяни мое слово; будешь! За то, што возводишь напраслину...

— Я, Акиндин Ливодорович, на том свите согласен на все! — весело сказал Сопронов. — А вот ты чево будешь на здешнем грызть? Суши сухари, оне все ж таки лучше дресвы...

— За што?

— За шти! — опять подсобил Митя Сопронову. — Кто вчерась на игрище выплясывал?

— Добро поёшь, да где сядешь! — добавил Игнаха и положил камень в ящик стола.

Судейкин с открытым ртом глядел на Сопронова. Вошел Селька с целой охапкой балясин, бросил у печки. Судейкин сказал:

— Ну, ежели советская власть печи топит крашеными дровами, ей износу не будет.

— Учти, Акиндин Ливодорович, запишем и эту фразу!

Игнатий Сопронов первый вышел на солнечную шибановскую улицу.

— К Жучку, Игнатей Павлович? — забегая вровень, уже на снегу спросил Митя Куземкин.

— К Жучку пускай Зырин идет! А мы к Мироновым Подсобим переселиться товарищу Фотиеву. Ну а ты што? — Сопронов остановился у крыльца при виде бегущей Тоньки-пигалицы. — Где выселенцы? Почему не явились?

— Ой, и не знаю я... — растерялась Тоня. — Вроде сюда пошли, а где — не знаю...

— По какой дороге пошли? — вскипел Сопронов и приказал Куземкину: — Запряги лошадь! Догнать!

От Евграфова дома донеслось приглушенное вытье, это в голос ревела беременная Палашка.

VIII

Попритих Киндя Судейкин! Задумался. Стряхнул задумчивость и увидел, что остался в лошкарёвской хоромине вдвоем с Селькой, который пришел дотопливать печь. Где он, Володя-то Зырин, приказчик и счетовод? Ушел как налим. По пятам за Игнахой и Митькой. Эти два шпарят к светлому будущему. А что он-то, Киндя, сидит тут, будто мучным мешком стукнутый? А то, что ему, Кинде, велено сушить сухари:

Повезли на Соловки,
Море засинелось.

Холостому-молодому
Ехать не хотелось...

«Ох, кабы холостому-то быть! Я бы товды хоть на Соловки, хоть на Мурман. Полдела бы! Кабы не семеро-то по лавкам, — думал Судейкин. — Поехал бы куда глаза глядят, не пикнул бы. Везите, мать вашу так-растак!»

Селька шуровал кочергой в лошкаревской печке. Прилаживался skutать, закрыть выюшки и задвинуть заслонку.

— Селька, — прервал Киндя собственную задумчивость. — А ты у отца-то как топишь? Через день или через два?

— Твое-то какое ср... дело! — огрызнулся Сопронов-младший.

— Топи, батюшко, раз в ницилю. Дровам економия. И воздух легче, — кротко посоветовал Киндя и вышел в сени.

На улице его опять ослепил нестерпимый мартовский свет. И сразу забылись угрозы Игнахи Сопронова. Ярое солнце растапливало снег, не скиданный с лошкаревской крыши. С застреха падала крученая серебряная струя. Пригоршню обжигающе холодной воды ветер плеснул за шиворот, вернул Кинде прежнюю бодрость.

— Запрягай, Судейкин, поехали по сено, пока дорога не пала! — кричал из своего проулка Нечаев. — А то уж и сундуки вон из снега вытаивают.

— Какие такие сундуки? — спросил Киндя.

— Да вон сундук у гумна вытаял. И хозяина нет.

Красный сундук, вывезенный Нечаевым от своего гумна и поставленный на дорогу, был закрыт на висячий замок. Бабы толпились около:

— Дак чей экой баской?

— Вроде бы я у Новожиловых видывала.

Подошла и сама Новожилиха, поглядела:

— Нет, девушки, это не наш сундук. Наш-то с розводьями.

— Дак ваш-то где, баушка? — спросил Киндя. — Не вытаял?

Старуха спохватилась и замолчала.

— Вон Селька Сопронов придет — сразу установит!

— А в Залесной-то, говорят, машина швейная вытаяла.

— Дак куды ее нонче? В сельсовет?

— В ковхоз!

Толпа девок и баб вместе с подводами и разномастную ребятней росла около красного сундука. Другая толпа, поменьше, скопилась у мироновского колодца. Ребятишки перебежали то туда, то сюда. В хоромах Евграфа Мирнова только что скрылось начальство вместе с Кешей Фотиевым.

— Господи, до чего дожили! — всплеснула руками Таисья Ключина. — Сундуки посередь улицы.

— Чево про сундуки говорить? Живых людей из домов выганивают.

— Михайло, а ты-то чево ворон ловишь? Чем ты хуже Кеши-то?

— Он ишшо хоромы не приглядел.

Миша Лыткин смущенно перетапывался на снегу:

— Мне што, я што, я пожалуйста.

— Чево пожалуйста?

— Дадут и ему другую хоромину.

— У ево с Игнахой да с Митькой лен не делен.

— Да лен-то у Игнахиной Зойки не трепан, делить-то нечево. Другой год. Измять измяла, а отрепать недосуг. Набито втугую.

— Где?

— Да в предбаннике!

— А ежели искра залетит?

— Товды вся баня под небо. А что Зойке искра? Она вон и головешки с огнем выкидывает. Около бани от головешек черно. Носопырь ёённые головешки собирает да топит.

— Горечими?

— Чево?

— Да головешки-ти собираёт.

Люди не приняли шутку Судейкина. Не тот был момент для Киндиных пригоножек! К тому же на виду оказалась Хареза — женка Кеши Фотиева. В одной руке она несла сосновое помело, в другой корзину с двумя курицами и петухом, завязанную холщовой тряпкой. Петуху в корзине было наверно тесно, и голова его торчала на воздухе. Краснела петушинная борода и краснел гребень — куда денешься от весны?

Люди затихли и дали Харезе дорогу. Никто не сказал ни слова. Озираясь, торопливо проскочила баба в мионовские ворота. Следом за матерью показался Венко — Кешин старший, он волок по земле два ухвата и нес плоский германский котелок со складной ручкой. И этого пропустили, ничего не сказав! Люди молчали. Завздыхали, заговорили и зашептались все сразу только после того, когда из Евграфовых ворот за-под руки вывели плачущую растрепанную Марью — жену Евграфа Анфимовича и Палашкину мать. Увидев толпу, Марья взвыла. Игнаха и Митька свели ее с крыльца, оставили на снегу, а сами снова ушли в дом. Марья не успела упасть, кто-то подхватил ее, увел в ближнюю избу: к Самоварихе. Через минуту Шибаниха огласилась еще одним ревом: Палашку Мионову, тоже под руки, вывели из дому.

— Ну вот, Палагия, и на тибя нонь худая надия! — сказал про себя Судейкин. Отплевываясь на обе стороны, ушел Киндя домой.

Была суббота.

Вера услышала дальний рев, когда ходила вниз к реке, чтобы снести в баню лучину и ополоснуть банные шайки. Надо было и воды наносить, пока не затоплена каменка. Только взяла водонос, только подошла к проруби — из деревьев вместе с весенним ветром долетели причитальные крики. Вера Ивановна скорее сердцем, чем по голосу, почувствовала, что рев этот Палашкин. Вера водонос в сторону и ринулась вверх. У самой брюхо горой, а все бросила и г... Бежала...

В Самоварихиной избе набралось много народу. Охажущую Марью затащили на печь, внизу, на лавке, старухи и бабы приводили в чувство Палашку. Кто прикладывал к голове мокрое полотенце, кто натирал косицы. От Зыриных принесли скляночку с нашатырным спиртом. Палашка очнулась. Тонька пигалица с помощью Самоварихи подвела ее к рукомойнику, умыла лицо и обтерла чистым рукотерником.

— Вот и ладно, вот и добро, — приговаривала Тоня. — Вишь, как ладно-то?

Но при виде только что прибежавшей Веры Палашка снова взревела, пала на лавку. Вера начала обнимать подружку и тоже заголосила. Палашку уложили на примостье, где спали Жучковы бабы: Агнейка и Луковка, которые ночевали не дома. Велика изба у Самоварихи, хоть раскулачивай...

Марья затихла на печи, люди начали расходиться. Но когда Палашка и Вера остались вдвоем, обе опять заплакали. Самовариха начала их утешать, заругалась:

— Матушки, это што вы делаёте-то! Разве дело эк-то ревить? Ясные дни, ведь вам обеим родить. Вот-вот придет времё раздваиваться. Ведь каково вашим деткам-то там, ежели вы эк убиваетесь? Одумайтесь!

Но не было у них никакого желанья одумываться и затихнуть! Они сидели на примостье в обнимку и плакали... Тогда Самовариха сильно, но как бы шуткой, хлестнула их полотенцем по спинам. Палашка взяла себя в руки и сквозь затухающие слезные вздрагивания выговорила:

— П-п-поеду тятю искать.

— И добро! И ладно! — нарочно согласилась Самовариха, как соглашались с плачущими детьми. Вера плотней обняла Палашку.

Роговскую баню топил в эту субботу дедко Никита.

Павлу пришлось идти в баню одному, без жены. Сходила Аксинья — теща — за дочерью к Самоварихе, но вернулась одна. Вера Ивановна оказалась нужнее в избе Самоварихи, чем у себя дома. Придет ночевать, может, вместе с Палашкой и с Марьей-божаткой. У Самоварихи и так ступить некуда. Но ведь и брат Олешка тут, как дальше-то жить? И там, в Ольховице, родная мать ночует в чужих людях, как нищая бродит по деревням...

Дедко сходил на сарай, снял с вешалов и подал Павлу ладный зеленый веник:

— На-ко, вот! Так духом и кормит. Иди в первый жар.

И сел качать зыбку. Павел горел от стыда за свою вчерашнюю пьянку. Дедко почувал это и усмехнулся:

— Не было молодца побороть винця! Иди в баню-то. Олексий да Сергей пойдут со мной. Да не береги доброё-то, жару и бабам хватит.

У Павла отлегло от сердца. Аксинья подала нательную смену. Свежие, хорошо прокатанные хлопчатые портки и рубаха, да березовый веник, да брусок мыла и... чего не хватает? Зажгли фонарь. Под горой в предбаннике, когда раздел и повесил на деревянный гвоздь шубу, понял вновь, что чего-то недостает, все что-то не то. Но что не то? Родня простила ему вчерашнюю пьянку. Баня протоплена на ять. Даже стены потрескивают от жару. Воздух вольный, с легкой горчинкой, но никакого угару.

Когда сунулся в настоящий жар, уселся на верхнем полке, только тогда и дошло: не хватает Веры Ивановны! Не та без нее баня, и вода не та, и щелок не тот...

Фонарь полыхнул от жары и погас, когда Павел деревянным ковшом плеснул на камни. Но большую роговскую баню с высоты второго полка Павел и в темноте видел всю и насквозь. Знал каждый сучок, каждую щелку. На двух лавочках стоят восемь шаек с горячей, нагретой камнями водой. Девятая шайка со щелоком. Там, ближе к дверце, поставлен ушат с холодной.

Павел слез вниз, макнул веник в шайку — и снова наверх. Мокрым веником коснулся каменки. Каменка зашумела. Камни, будто бы чем-то недовольные, пошипели и стихли. В жаре, в тишине, в темноте отогрелась и пробудилась душа. Ступня беспалая и та перестала ныть. Все тело чесалось. Сколько же дней не был он в бане?

Ах, любил Павел ходить в баню, любил еще в Ольховице, когда жил у отца с матерью. В любую погоду — в жаркий сенокос и морозной зимой, слякотной осенью и в предвесеннюю холодрыгу — ничего не было надежней и лучше бани. Тут, среди прокопченных до последней своей черноты бревенчатых стен, у горячих камней, на желтовато-белом нижнем и на румяно-коричневом верхнем полке, каждый раз успокаиваешься и приходишь в себя. Едва разувешься в холодном предбаннике да скинешь одежду, едва проскочишь внутрь, как охватит тебя ласковая сухая жара. И вздрогнешь, и пробежит по спине легкий озноб, и начнет выходить из тебя вместе с потом вся недельная усталость, и выскочит вся простуда либо хворь, коли завелась невзначай... Березовый ошпаренный веник довершит благородное дело: забываются все обиды, на сердце легко, и рождаются в голове нежданные добротные мысли. Причистишься на всю неделю. Хоть не ходи и к попу на исповедь: все люди опять желанны. И сам себя ничем не казнишь. А как хорош короткий отдых в предбаннике перед тем как уйти домой, к родным, к горячему самовару, в преддверии воскресного дня!

Так и шла опять мужицкая трудовая неделя. У каждого дня был когда-то свой цвет и свое имя. От поста до поста, от праздника к празднику...

И казалось, что так будет всегда, но вот все сразу переменялось...

Павел слез вниз, нашел спички и зажег воняющий керосином фонарь. Еще раз плеснул на камни из деревянного ковшика. Долбленный березовый кап, искусно обделанный дедком Никитой, вызвал странный, совсем неожиданный позыв: вот таким бы стукнуть по Игнашину лбу, как старики стучают за столом непослушливых ребятишек. Снова вспомнилось все, что случилось.

Вяло и нехотя Павел похвостался веником. Сидел на верхнем полке, задумался. Как жить?

Скрипнула дверинка. В предбаннике, в темноте, Вера сняла платок и шубу (остальное надо снимать в самой бане). Фонарь полыхнул и чуть вновь не погас, когда она хлопнула внутренней дверцей.

— Ой, что творится, что творится!

Она раздевалась при желтом фонарном свете. Павел смотрел на нее с тоской и любовью. Вот обнажились плечи жены и высвободились большие, уже набухшие груди. Обширный белый живот заслонил окно, на котором

стоял фонарь. Вот Вера вынула из коковы железные шпильки, и густые ее волосы упали на плечи — упали широко и темно.

— Поди-ко уж и жару-то нет.

Она взяла ковш и хотела зачерпнуть щелоку, чтобы мыть голову, но Павел спустился вниз и отнял у нее ковш:

— Ванюшку-то чего мы дома оставили? Вымыли бы.

— Мамка сходит выпарит, — отозвалась Вера, подставляя голову.

Павел полил разведенным не очень горячим щелоком. Он боялся спрашивать про тетку и двоюродную Палашку. Вера чуяла это сердцем и ничего не рассказывала. Мылись какое-то время молча, молча осторожно он тер ей плечи и спину распаренным веником. Тоска и нежность то и дело вскипали у него в горле.

— Ты бы, Паша, не расстраивал сам-то себя... — Она, конечно, знала о нем все. — Пусть уж будет что будет. Может, Господь не оставит...

Голос ее слегка дрогнул. И чтобы не заплакать, не разрыдаться, она плеснула себе в лицо из шайки с холодной речной водой.

— Так и сидеть? — вскинулся Павел. — Ждать, когда тебя совсем упекут?

Она как бы не услышала и взяла фонарь.

— Ну-ко, покажи ногу-то... Давай развяжем! Вишь как присохло, надо отпаривать.

Она заранее припасла чистую перевязку. Ногу с полчаса отпаривали в шайке с теплой водой. Вера начала осторожно отслаивать размокшую, пропитанную сукровицей холщовую ленту из залесенской скатерти. Павел вспомнил брата Василия. Вера всегда думала о том же, что и он, когда была рядом:

— Чего-то от Василья нету письма.

— От Василья-то ладно. А вот где...

Павел не договорил про Ивана Никитича и Данила Степановича. Послышался голос. Оба с женой замерли и насторожились. Поблазнило, что ли? Нет, не могло почудиться сразу двоим. Кто-то и впрямь кричал. Вот! Опять крик...

Павел голым выскочил в предбанник, открыл наружную дверцу. Его осветило желтым, то замирающим, то опять нарастающим светом пожара. Горело совсем рядом. Он вскочил обратно. Чтобы не напугать Веру, нарочно неторопливо натянул чистые портки и рубаху.

— Вроде Носопырева баня горит... Ты тут, это... Не торопись. Никуда не бегай...

Крик повторился. Павел быстро, на босу ногу обулся, накинуд поперх белья полушубок и выбежал. Темноту раздвигало красновато-желтыми сполохами. Ни одного человека вокруг! Только пламя как бы красным полотнищем хлопало на ночном мартовском ветру.

Крик послышался совсем явственный, совсем близкий. Павел, хромая, бегом бросился на этот крик. Горела не носопыревская баня, а сопроновская. Срубленные посомом передняя и задние стены еще стояли в целости, а крыша почти сгорела. Плавилась золотом, догорали обнаженные решетины и курицы. Огонь подбирался к боковым стенам, уже горели череповые бревна.

— Караул! — снова раздался крик из крохотного волокового окошка.

Стеклышко было выбито изнутри. Чья-то рука, высунутая оттуда, судорожно шарила по наружному краю окна. Предбанник был весь в огне. Горел нетрепанный лен Зойки Сопроновой. Сверху из деревни никто не бежал на помощь, один Носопырь с большим батоном в руках бестолково топтался около. Вот-вот должна была вспыхнуть и баня Носопыря, ветер, однако ж, дул на реку, искры и пламя вскидывались в иную сторону. Что делать? Почему человек не выскакивал из горящей бани? Думать некогда было, Павел снял полушубок, закутал им голову и сунулся в огненный предбанник. Чурка толщиною с оглоблю подпирала банную дверцу... Павел узнал это на ощупь. Дернул, но чурка не поддавалась, и дышать стало совсем нечем. Задыхаясь и кашляя, он выскочил на свежую ветреную струю.

— Караул! — снова закричало окошко.

Павел с головой закутался в полушубок, набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул в огонь. Долго дергал он за чурку, наконец отбросил ее и успел еще открыть банную дверцу. Игнаха Сопронов прямо через спасителя кувыр-

ком вылетел на снег, на свежий воздух. Павел упал в огонь. Теряя сознание, он успел выкатиться наружу. Полушубок горел, шерсть трещала, портки прогорели во многих местах. Павел погасил снегом тлеющие места и обернулся к Сопронову. Тот был тоже в одном белье. Качаясь, встали они оба на снег друг перед другом. При свете горящей сопроновской бани на кого они были похожи сейчас? Павлу на секунду стало смешно.

— Кто-то тебя подпер, — простодушно заговорил он. — Нынче что святки, что масленица. А от чего загорелось-то?

— От тебя загорелось! — твердо сказал Игнаха. Белые сопроновские глаза блеснули в ответе пламени.

— Чево?

— Ты, говорю, и подпер и поджег!

От обиды и гнева у Павла потемнело в глазах. Кулаки сжались. Он взял Сопронова за ворот хорошей, уже и не из холста, а из полотна сшитой Игнахиной рубахи. Скрипнул зубами и сильно оттолкнул прочь. Игнатий Сопронов упал, вскочил, начал искать вокруг, шарить по снегу. Искал, видимо, кол либо камень, но ничего не мог нашарить, и, пока Павел ждал, чтобы Игнаха что-то нашарил, гнев и страшное желание ударить начали исчезать. А то, что они оба оказались в одних портках, а Сопронов еще и босой, совсем утихомирило Павла:

— Дурак! Ну ты и дурак...

С горы, от деревни, бежал народ с баграми. Остатки горящей бани с веселыми криками по бревнышку раскатали мужики и ребята. Но где же сам спасенный Сопронов? Игнахи не было. Затирая ожоги, Павел вместе с Верой заскочил было к Носопырю, потом потащился обратно к своей бане. Хорошо, что вода еще оставалась и можно было смыть копоть и грязь. Вере пришлось идти в гору одной, чтобы послать Сережку с новым бельем.

От сопроновской бани остались одни головешки, но люди не расходились.

— Ты чево, Олексий, стоишь? — весело кричал Носопырю Володя Зырин. — Ставь бутылку, дак мы счас и твою раскатаем!

— Да вить у ево не горит, что тебя водяной! — возразила чья-то бабенка.

— Ну и что, что не горит! Нам, татарам, одна х...

— Вот, братчики, нонче Зойке и лен не надо трепать, — заметил Савватей Климов. — Милое дело.

— А от чего загорелось-то?

— Кто ево знает.

— Загорелось-то ладно, это бывает, — сказал в задумчивости Акиндин Судейкин. — А вот кто дверинку-то в бане подпер? Ведь испекли бы Игнаху-то, кабы не Пашка.

— А здря и вытаскивал... — сказал кто-то в куче и тут же заглох, словно бы поперхнулся, потому что Митя Куземкин ходил с карандашом и фанеркой в руках. Председатель записывал на фанерке фамилии свидетелей.

— У тя, Митрей, нонче вся деревня сгорит и не пикнет, — сказал Судейкин.

— Это почему? — послышался из темноты голос Куземкина.

— А потому! Ну кто на пожар прибежит, ежели тебя переписывают? Сам-то ты рассуди.

— Прибегут, коли припекет! — не согласился Куземкин.

Народ по одному поднимался на гору, пропадал в темноте. Была теплая мартовская ночь. Перед дождем, что ли? Ветер так и налетал в ночи то слева, то справа, словно толкался. Ветер стойкий был, свежий. Он разносил по округе немирный запах пожара, пробовал раздувать огонь в потушенных, закиданных снегом, все еще потрескивающих головнях. Вот, опять разгорелось! Золото вновь проступило сквозь парящую черноту. Киндя поскреб в затылке, подумал: «Эк его, какой авошной. Огонь-то... Неохота никак умирать, того и гляди вспыхнет».

Судейкин закидал горящее место снегом и двинулся прочь, подальше от сгоревшей сопроновской бани. Сколько раз сегодня то одно, то другое событие вышибало Киндю из избы да на улицу? Такие долгие выпали эти сутки. Иной год покажется короче этих последних суток...

Он поднимался в гору к деревне и скреб в затылке.

Нет, Судейкин не зря скреб в затылке. Ничего не делал Судейкин зря, особенно в последнее время. А раньше как? Было всего: и зря и не зря. «Нынче-то и не разберешь, чево здря, а чево не здря, — размышлял Киндя. — Все перепуталось...»

Так думал Судейкин, возвращаясь домой с пожара. «А чего здря сделал? — опять спрашивал он сам себя и отвечал мысленно: — Граммофон домой здря волочил! Ишь обзарился. Нонче любой в глаза и скажет: Судейкин не лучше Сопронова либо того же Кеши. Еще чего здря? Печать Микуленкову осенесь нашел в соломе. Нашел и отдал. Это не здря. Это ладно. А что тетрадку всю упечатали — тоже, пожалуй, ладно. Пригодится. Недавно upholstery из снега выволок, нонче копыта корове обрубил да еще ухват насадил. Зайца поповнам изловил. Матерущего, не хуже барана...» Так за что же совесть грызет?

Пришлось Кинде самому себе признаться: за дело она грызет! Великий пост — не святки. А он, Судейкин Акиндин, ходил сегодня по воду, ходил в темноте. Не зря женка ругала: не принес воды засветло, пришлось идти на реку в темную пору. А в темную пору за водой ходят одни дураки. Киндя шел с полными ведрами, оступился с тропки и провалился одной ногой в глубокий снег. Ведро пролил. Тут вот и дернул его черт остановиться у сопроновской бани. Внутри брякал Игнаха ковшиком. Зоя, наверное, уже вымылась и ушла.

Киндя Судейкин знал, что в районе нету своей тюрьмы. Народ до суда салят в поселковую баню, после суда отправляют в Вологду. Вот и пришла ему в голову мысль подержать Сопронова под арестом... Приглядел какую-то чурку, тихонько зашел в предбанник и так же тихо припер дверинку. Один конец в дверинку, другой в порог предбанника. Сиди, Сопронов, покада Селька мыться не явится! Киндя вернулся к проруби и набрал воды. Поднялся в гору. Дома он поставил ведро с водой на кадушку и сел на лавку. Вывернул в лампе фитиль, чтобы в избе стало светлее. Валенки снял, которые промочил у реки. Девчонки пекли лук у топящейся маленькой печки. Он съел сладкую луковку. Очистил стол, уселся под лампу. Взял с полавошника газету, которую выпросил у Нечаева, и начал читать сталинскую статью. Газета еле во ставу стояла — обошла за день всю деревню. Одни лепетки. Когда Судейкин дочитал до середины, на деревне вдруг ударили в било. Пожар! И горела баня внизу, да не чья-нибудь, а сопроновская. У Судейкина обмерло сердце... Хорошо, что Пашка Рогов подвернулся да откинул чурку. Игнаха выскочил в одних портках.

А вот отчего она загорелась? Говорят, что лен зашаялся да и вспыхнул. С предбанника началось. Значит, не зря зашаялось. Зойка Сопронова лен вовремя не истрепала, а Носопырь боится угару. Всю жизнь выкидывает горячие головешки. Долго ли подправить ногой, пнуть головешку с огнем к Игнахиной бане? Вот, видать, и подправили! Один воротца подпер, не знал, что головешку подкинут. Другой головешку подкинул, не знал, что воротца подперты. Так и случился грех. Игнаха-то хоть и пес, да ведь живой человек! Испекли бы его, как эту луковицу, кабы не изладился Пашка Рогов... А может, и знал кто-нибудь, может, увидел, что баня подперта? Увидел и подкинул в предбанник горячую головню... «Кто бы мог? Наверно, Жучок, больше некому... А не грех ли тебе про Брускова нехорошее думать, ежели у самого рыло в пуху?»

IX

Так и маялся в думах Киндя Судейкин, маялся всю неделю, до Благовещенья. Собрался уж было всем рассказать, как ходил за водой да и «заточил Игнаху в еванной собственной бане». Хорошо, что не успел рассказать! Дело о шибановской контрреволюции пошло вглубь. Допихнули до самой Вологды. Из района приехал доскональный следователь. Двое суток он мурыжил допросами ольховских жителей, на третьи начал вызывать в Ольховицу шибановских. Подошла очередь и Акиндину Судейкину встать пред его светлые очи... Вздумалось Кинде запрячь Ундера и прокатиться. Может, в последний

раз! Возок оказался без оглобли... Долго в колхоз корячились, но до чего же разбежались проворно! После такого дела не сразу и в колею войдешь. То одного нет, то другого. Вот и у возка кто-то оглоблю вывернул. «Шут с ней, с оглоблей, поеду на дровнях»,— подумал Киндя. Долго по всему дому искал седелку, в спешке сунул ее неизвестно куда. Нашел, а она без чересседельника. Чересседельник пришлось делать веревочный. Супонь из хомута тоже кто-то выдернул! Где супонь новую взять? Судейкин опять начал ходить по дому. Нашел старую, ссохшуюся супонь. Наконец обротал Ундера и вывел на снег.

Мерин всхрапнул и поднял голову. Заржал Ундер, как бывало на масле. По всему его обширному, но сонному телу вдруг прошла какая-то быстрая судорога, будто поток, устремился по всем жилам прежний ундеровский огонь. На мощное ржание мерина отозвалась климовская кобыла. Ундер остановился, наострил уши.

— Иди, иди, килун! — проворчал Судейкин. — Ишь чего вспомнил.

Было чего вспомнить и Ундеру, и самому Кинде, когда выехали из деревни в поле. Судейкин развел вожжины. Мерин пошел размашистой рысью. Старые дровни кидало из стороны в сторону. На завороте у гумен Судейкин чуть-чуть не вылетел в снег.

— Эх, куды куски, куды милостынки! — крикнул Киндя и надбавил еще, пуская Ундера вскачь. Мощный круп бывшего жеребца заметно удлинился, от ушей до хвоста пошли плавные волнообразные движения. Ничего этого совсем не видел бесшабашный ездук. Киндя видел и чувствовал лишь сам себя, причем видел со стороны, а не изнутри. Ин пусть поглядят на Судейкина! Может, в остатний раз. Посторонись, встречный и поперечный, скачи с дороги в снег! Нет, был Ундер еще изряден и кое на что гож, не гляди что пустая мотня...

На волоку смотреть на Судейкина было некому, кроме двух ворон. Он перевел мерина на спокойную рысь, а тот, без разрешения хозяина, нахально перешел на обычный шаг. Тоскливая скука тотчас завладела Судейкиным. Раскочегаривать Ундера второй раз не хотелось. Киндя затянул длинную:

Далеко в стране иркутской,
Между двух огромных скал,
Обнесён большим забором
Александровский централ.

Но и голос у Судейкина был нынче силпый, как у обмороженного петуха. До середины в песне еле Киндя добрался и заглох. Чего надо от него районному следователю? А то же, что и всем начальникам: чтобы он, Киндя, пел не то, что придет в голову, а то, что велят, чтобы дрожал коленками да чтобы поддакивал через каждое слово, как у попа на исповеди. «А вот шиш вам всем!» — вслух произнес Киндя и дернул левой вожжиной, поскольку по дороге шел какой-то мужичок с корзиной. Со спины Киндя не сразу узнал Жучка.

— Тп-рры!

Ундер послушно остановился.

— Северьян Кузьмич, здорово живешь! Садись, подвезу.

Жучок не откликнулся.

Ундер стоял и прядал ушами, а Жучок даже не оглянулся. Топал и топал своими валенками в галошах. «Вишь, калоши надел. Новые калоши-то. Митька с Игнахой не успели отнять. Наверно, спрятаны были»,— подумал Киндя и тронул вожжину. Опять поравнялся с Жучком:

— Ты, Кузьмич, далеко ли правишься? — Киндя во второй раз остановил мерина. — Садись, а то мозоли набьешь.

Но Жучок опять не остановился.

Ошарашенный Киндя долго не пускал мерина, думал, что делать. Его заело. Решил загадать: ежели Жучок и вправду рехнулся, так с третьего разу должен остановиться. Ежели притворился, то не сядет и с третьего разу.

Пока Судейкин так думал, Жучок ушел вперед саженой на двадцать. Киндя в третий раз догонил его и остановился.

— Сивирька, это ты или Гурия залесенской? Чего-то не разберу, весной у меня куричья слепота. У Гури корзина вроде твоей.

Упоминание о залесенском дурачке, видимо, прошибло Жучка. Не глядя на Киндю, он сел сзади на дровни. Киндя пустил мерина и подумал: «Авось он меня не тюкнет сзади-то. Ежели тюкнет, так он и вправду от горя тронулся». Прикрытая дерюжкой корзина торчала на левой Жучковой руке. Киндя обернулся назад:

— Северьян Кузьмич, у тя чево в корзине-то, не угольё? Ежели угольё, дак Гаврилова кузница на замке. И сам Гаврило в тюрьме,— сказал Киндя, помолчал и добавил: — И тюрьма на замке.

Жучок на этих словах ерзнул сзади, перекинул корзину на другую руку. Заговорил наконец своим слабым сиротским голосом:

— Канфет! Говорят, чаю в сельсовет привезли, китайсково. А пить не с чем. Дак я им канфет несу.

— Ну-ну, хорошее дело! — Судейкин вступил в игру. Он откинул дерюжку, поглядел. — Добры канфеты-ти.

В корзине действительно были угли! Нет, не верил Киндя Жучку, не верил, что Жучок тронулся в самом деле. Не верил, а все же сомнения были. А вдруг и взаправду сошел с ума? Ведь в Кувшинове справки зря не выписывают. Вдруг справка-то у его не поддельная и нонче Северьян Брусков, Жучок по прозвищу, невменяем посередь всех людей? Что ни делает, все ему с рук сойдет... Уж не он ли и подпалил Игнашкину баню?

Такая мысль пришла в Киндину голову не в третий ли раз... Судейкин затих и молчал до первой ольховской пустоши.

— Кузьмич, а Кузьмич, а у тебя и бумажка есть? Меня вот по бумажке вызвали в Ольховицу, чай-то пить. Дак ты покажи, может, у меня тоже такая, может, вместях и попьем чаю-то?

Жучок долго возился с карманами и достал повестку. Киндя даже не стал и читать, бумажка была точь-в-точь такая же, как у него. Та же стояла красная закорючина вместо подписи.

— Эта, эта,— сказал Киндя.— Дёржися?

Он развел вожжины, но мерин опять не послушался. «Устал,— подумал Судейкин.— Либо устарел. Вот так и мы с Жучком совсем стали хитрые».

Жучок молчал, а хозяин подводы сердился. Сперва на Ундера, потом и на Жучка начал сердиться, и вдруг словно бес подтолкнул Киндю Судейкина:

— А што это у тебя, Северьян Кузьмич, канфеты-ти больно мелкие, мог бы и покрупней прихватить! Вон у Игнашкиной бани такие лежат канфетины. Да и Носопырь накидал порядошно. У этого с огнем летят, самые баские...

Жучок ничего не сказал.

— Я вот пораз иду, гляжу, головешка летит. В снегу зашипела.

Жучок опять ничего, и тут Киндя забыл всякую осторожность, понес напрямую:

— Тибя Игнаха по миру пустил? Пустил! Он ишшо половину Шибанихи по миру пустит! А ты канфеты ему носишь. Нет, я бы ему такую канфету подал, чтобы у ево глаз вывернуло.

Жучок шевельнул лопатками. Киндя почувал это спиной, через шубную толщу. Но ничего опять не сказал Жучок, и Киндю Судейкина заело еще больше:

— Я ведь ево, заразу, чуркой товды припер!

Жучок напрягся. Через две шубы, свою и Жучкову, Киндя почувал, как напрягся Жучок. И уже не смог Судейкин остановить сам себя, начал рассказывать все как было.

— Ходил я, братец ты мой, по воду! Чую, Игнаха в бане кряхтит, веником хвощется. Я его чуркой и припер. Думаю, ты людей в холодной дёржишь по двое суток, а в теплой-то полдела сидеть. Да ведь и недолго! Зойка хватитя тебя, дурака, прибежит да и выпустит...

Молчал Жучок! Молчал, но слушал. Это Киндя Судейкин очень хорошо чувствовал, что Жучок слушает.

— Я Игнаху в бане припер! А ты, Северьян Кузьмич, видно, не знал про то, что Игнаха-то в бане приперт! Ты и подкинул канфетину-то... У тебя головешка была с огнем, а у Зойки в предбаннике лен навалён.

Жучок замер; напряглась, остамела у Жучка вся спина. Это Киндя почувал

опять через обе шубы — сквозь свою и чужую. Судейкин разозлился, остановил Ундера у ольховского отвода:

— Слезай! Тут близко...

Жучок с дровней не слез. Киндя увидел, что он недоволен, и подумал: «Никакой он не тронутый. И голова у хитруна варит лучше, чем в Москве у Калинина».

— Вот мы с тобой еле-еле ево не сожгли! Игнаху-то! — еще раз попробовал подступиться Киндя. — А он вон на Пашку Рогова думает...

Жучок отводил взгляд в сторону, перебирал угли в корзине. Руки без рукавиц, как у арапа. Киндя, держа вожжи, прыгнул с дровней и пошел на Жучку наступом:

— Ежели мы с тобой Игнаху чуть не сожгли, а Пашку возьмут за гребень?.. Нам с тобой товды как жить да быть? А, Северьян да Кузьмич? Лучше уж заодно будем, давай уговариваться! Пока в деревню-то не заехали...

Но молчал Жучок! Молчал, с дровней не слезал и только моргал да отводил глаза и потом вдруг тихо сказал:

— Поезжай, Акиндин, к моему-то зетю.

— Это кто у тебя зеть, а, Северьян?

— Гривенник, — по-сиротски ответил Жучок.

— Это давно ли он тебе зеть?

— А на масленой! Я ему свою женку отдал. Он мне ишшо канфет посулил.

«Нет, видно, и правда сошел с ума!» — в ужасе подумал Киндя Судейкин, шмякнулся на воз и ударил по лошади концами вожжей. У сельсовета он остановил мерина:

— Этот дом-от у зетя?

— Этот! — по-сиротски ответил Жучок.

— Ну, коли у тибя тут зеть, дак и дуй к ему! Да канфеты-ти не забудь...

И Судейкин жестоко, не по-людски выругался. Обозвал Жучка Жучком и в отчаянии, пока привязывал мерина, клял сам себя: «Дурак! Простофиля! Ишь! Ну што вот нонче будет с тобой, с дураком? Отправят на Соловки, как пить дать отправят, не дадут пикнуть. А, будь что будет! Ежели Жучок расскажет, что я баню припер, значит, не тронутый он! А ежели не расскажет, то получается... То же и получится, что в своем уме. Или как?» Киндя запутался с этим Жучком. Будь что будет.

У исполкомовской коновязи стоял запряженный в санки роговский Карько. Жучка с «канфетами» уже не было. Киндя с дрогнувшим сердцем ступил на высокое крыльцо бывшей земской управы.

От Скачкова на сажень пахло ремнями, одеколоном и городским табаком. Одеколоном и папиросным дымом пахло во всей бывшей канцелярии маслоартели. Сидел здесь когда-то бухгалтер Шустов, нынче сидит следователь. Усы у Скачкова под Ворошилова, торчат, как болотные кочки, хотя и ровно подстрижены. Свежий порез на виске заклеен бумажкой. «Выбрит, чик-брик, — подумал Павел. — А я вот не успел и побриться, птицей летел по евонной повестке. У кого он ночует? Наверно, у объездчика Веричева...»

Следователь сидел за двухтумбовым еще земским столом, нога в хромовом сапоге притопывала после каждой фразы, словно бы припечатывала:

— Ты, гражданин Рогов, меня не учи. Я вашим братом давно ученый. Значит, так. Ты идешь в баню один. Видел тебя кто-нибудь в тот момент?

— Вся семья видела.

— Не в счет. В каком часу?

— Не помню в каком. Вечером.

— Значит, не помнишь. Зато другие кое-что помнят...

Скачков переложил копірку под новый чистый тетрадный лист.

— Записываю: никто не видел, как в баню пошел. Один.

— Да ты што, товарищ Скачков? Неужто всурьез? — вскочил Павел с некрашеной сосновой скамьи. — Неужто я мог подпалить чужую баню? Да ишшо с живым человеком?

— Мог! — убежденно сказал следователь и даже как-то преобразился. — Не только мог, а и должен был подпалить, по всему твоему классовому нутру обязан был подпалить! И не усмехайся, гражданин Рогов, не усмехайся! Как бы не пришлось плакать в скором времени... Итак, ты идешь в свою баню... Ночь, и никого нет.

— Иду...

— В другой бане человек в голом виде, а у тебя в кармане... Ты куришь?

— Товарищ Скачков, поимей совесть! — не выдержал Павел и замотал головой, как с похмелья.

— Во-первых, я тебе не товарищ, во-вторых, совесть моя тут ни при чем. Были у тебя спички в кармане?

— Были. Фонарь погаснет... как без огня? Только...

— Записываю: спички в кармане были.

— Так чево дальше-то? — горько усмехнулся Павел Рогов и начал глядеть на Скачкова. — Лучше меня знаешь, куда я ступил, что подумал...

— А дальше, гражданин Рогов, вот ты что сделал! Дальше ты подошел к чужой бане, спичку чиркнул да и кинул ее в лен...

Павел невесело хмыкнул и перебил:

— А сам преспокойно пошел в свою. Разболокся да и начал хвостаться венником. Так, што ли?

— Именно так, гражданин Рогов!

— А пошто бы я стал Сопронова поджигать, ежели я его сам и из огня вытащил? — с горьким смехом закричал Павел и вскочил. И распрямился. — Ведь я сам чуть не сгорел, вон и волосья опалены! А? Пошто бы мне в огонь-то кидаться да дверинку ему открывать, ежели я лен подпалил? Пошто бы мне все это, товарищ Скачков?

— А чтобы попугать! Проучить его, чтобы знал, что с вашим братом шутки худые.

Лицо Павла Рогова побелело. Он сжал кулаки, зажмурился. Стоял в темноте, и радужные круги поплыли перед глазами, голова пошла ходуном. Следователь двоился в глазах, когда Павел разомкнул веки.

— Подпишись вот тут, — издевательски спокойно произнес Скачков.

— Нет, подписывать я не стану.

— Ничего, подпишешь в другом месте.

— Где это, товарищ Скачков?

— Я вынужден тебя задержать! Поедешь со мной в район...

Скрип дверей и стон коридорных половиц прервали слова следователя, дверь отворилась. Голова Кинди Судейкина показалась в притворе.

— Разрешите, пожалуйста? — Киндя переступил порожек. — Я, значит, по этой повестке...

— Закрой двери с той стороны! — грозно воскликнул Скачков. — Вызовут, когда придет время.

— Да кто вызовет? — не уступил Киндя. — Сижу второй час. Мерин сено сождрал, надо бы домой ехать. Я, товарищ Скачков, по банному делу вот чево тебе доложу: сам видел, как ребяшня горечими головнями кидалась...

— Чья ребяшня?

— Да шибановская. У нас этой вольницы много. Носопырь головешку с огнем на снег выкинул, чтобы жар-то она не вытянула. А тут робетёшки... они увидели головешки...

Судейкин сам не заметил, как начал говорить в рифму.

— Выйди из помещенья! — приказал Скачков Павлу Рогову. — Вызовем, когда потребуется. А ты садись ближе! Как фамиль?

Судейкин сел на скамью, как раз на то место, что было нагрето Павлом.

Скрипела чердачная исполкомовская лестница, ведущая наверх, в мезонин, куда заходил какой-то народ, скрипели перила и двери, стонали под ногами коридорные половицы. Все скрипело, вплоть до следовательских револьверных ремней. Или это зубы скрипели? Обида и гнев подступили к самому горлу, душили. И застилала глаза слезная пелена... Когда Павел

вышел от следователя, хотелось ему подняться вверх, распахнуть сопроновскую комнату и плюнуть Игнахе в глаза либо взять за шиворот и ткнуть носом в какое-нибудь поганое место. Но уж больно противно скрипело, еще противней пахло в коридоре мышами и нужником.

Павел вышел на волю. Кругом плавился и проникал в каждый закоулок яростный солнечный свет. Воробьиная стая с веселым чириканьем приплясывала у коновязи. У стены на припеке уже вытаивала дерница, весна начиналась взаправдашняя. В исполкоме и около, как и всегда, мельтешил всякий народ. Ни с кем не здороваясь, чтобы никто не увидел его слез, его беспомощного положения, Павел Рогов сбежал с крыльца. «Судейкин... Севодни вовремя Киндя выручил. А завтра кто выручит?» — думал Павел, отвязывая коня.

Впервые в жизни не радовало ярое апрельское солнце. И родная деревня Ольховица впервые в жизни показалась чужой, какой-то ненастоящей. Родную мать впервые в жизни не хочется видеть... Виделись утром, перед тем как идти к следователю. Одни слезы да причитанья. На что было глядеть? Ночует то в бане, то в доме соседа Славущка, который считался какой-то дальней родней. Живет кое-как. Лепешки напечены из гороховой желтой муки. Скачкова бы покормить теми гороховиками! Самовар в зеленых потеках... Заплакала, увидев сына. Павел наспех прочитал ей письмо от Васьки, сказал про Олешку и, чтобы не травить душу, выбежал из Славущкова подворья. Об отце даже и не заговаривали. В чужом доме много не наговоришь... От Гаврила Насонова, говорят, приходило письмо, надо бы забежать к Насоновым, узнать, куда отправлен и не видал ли отца Данила Семеновича. За что старикам дали по два года тюрьмы? Кабы знать за что, было бы не обидно. Отняли все: и дома, и тулупы... Топоры и стамески, ложки и поварешки. То одного раскудачат, то другого. После статьи Сталина колхоз разбежался, только неймется Игнахе Спронову. Ни жить, ни бытия, надо со света сжить! И сживет ведь... Вон и дядя Евграф отправлен неизвестно куда. Дом с гумном и амбаром взяли в неделимый колхозный фонд. Палашка — двоюродная — с брюхом, иди куда хочешь. Обе с божаткой ночуют у Самоварихи.

В таких невеселых думах Павел проехал волок. Медленно отходило сердце, но стоило вспомнить допрос, бешенство вновь охватывало, снова вставал в глотке горький свинцовый ком. Не жаль себя. Но что ждет от горя иссохшую матку, как жить малолетку Олешке? А Вера Ивановна... Лучше бы совсем про нее не думать, да беретит день и ночь, не дает дышать эта дума. И белый свет от той думы сразу чернеет... А как бы в глаза тестю глядеть, Ивану Никитичу, если бы дома был? Ведь это он, Павел, втянул его в строительство мельницы. Божат Евграф раскулачен. Поповны в город уедут, Жучок рехнулся, а дальше кого кулачить? Павел Рогов на очереди! Дело ясней ясного. И спрятаться некуда, и некому слова сказать... Господи, подсоби! Что делать и как жить?

Карько сам, без подхлеста бежит домой. В поле Павел натянул вожжи, приструнил мерина и прыгнул с возка. Не хотелось показываться дома в таком растерянном и растрепанном образе. К мельнице... Валенки быстро промокли на дорожных лужах. Не забежать ли в гумно, не сделать ли свежие соломенные стельки? Воротца с юга открыты, слышны ребячьи возгласы. Вроде брат Олешка с Серегой. Что они там делают? Так и есть, в бабки играют. Дождались весны. Пришли из школы, сумки с книжками долой, сами на гумно бить козонки...

Павел вспомнил про свое совсем недавнее детство. Давно ли сам вот так же с первым весенним солнышком бегал на гумно играть в козонки? На чистой гуменной долони ставили в ряд крашенные и некрашенные, мелкие и большие. Закидывали битку. Кто дальше забросит, тот первым и бьет. Играли испокон веку...

Чтобы не мешать ребятам, он тихо отошел от гумна. Мельница тяжело и утробно бухала шестью своими пестами. Он слышал эти глухие удары через ноги, через холодную, еще снежную землю. Они были тем отчетливей, эти удары, чем ближе подходишь, тем явственней. Ветер дул южный, теплый, крылья шли как бы нехотя. Песты бухали один за другим. Кому дедко толчет овес? Год назад на масляной полволости сидело без овсяных блинов. Рендовая простаивала уже и тогда, а теперь и вода давным-давно спущена. Мельник

Жильцов арестован и осужден, говорят, за несдачу налога и гарница. Мужики с трех волостей возят молоть в Шибаниху. Живут неделями, когда худо дует. Ветрянка! Сравнишь ли ее с водяной жильцовской?

Павел боялся вспоминать про тот камень, привезенный издалека, лежавший под снегом на речном берегу. Из-за него чуть совсем не замерз, охромел, остался без пальца. Да зато жернов — жернов воистину... Что будет?

А будет дальше вот что: Игнаха Сопронов истолчет во прах! Измелет и выбросит на произвол судьбы. За что дана ему такая подлая власть?

Павел сам не заметил, как оставил Карька и очутился вверху, около ступ.

Сел на амбарном пороге, взглянул на Шибаниху с мельничной высоты.

Надо было что-то делать, делать срочно и споро. Он чувствовал это, как зверь чувствует затаившегося охотника. А что делать? Бежать надо... Куда? Везде нынче свои игнахи. «А может, и не везде», — подсказывал чей-то голос. Вспомнились слова Степана Ивановича Лузина. Не зря ли отказался, когда Лузин предлагал остаться десятником в лесопункте? Может, и зря...

Сидел Павел на приступке, в мельничном шуме и скрипе, замороженный мерными чередующимися ударами, шорохом бесконечного кругового движения. Стучали лопатки, подымавшие один за другим шесть мощных пестов, скрипели махи. Только не постукивали цевки черемуховой шестерни. Дедко давно собирался ковать жернова, со вчерашнего дня отключил главный постав.

Павел Рогов думал, как быть...

Неясная, неопределенная дума точила душу, но какая-то странная решимость, подобно дальнему ветру, уже нарождалась и крепла. Он не знал еще, что он сделает, но он знал, что нынче же обязательно сделает что-то...

Шум и шорох, скрип и стук заморозили и убаюкали Павла. Вот так же в детстве его завораживала сказка либо длинная песня бабушки, так же незаметно слетал на детскую душу золотой и сладостный сон. Он забылся, но в том забытьи зрела и крепла его мужская решимость. И в том же забытьи и в мельничном шуме, в том полусне послышался ненужный, такой лишний человеческий голос:

— Эй!

Павел вскочил на ноги и выглянул из мельничного амбара. Кричали с другой стороны. Он спустился по первой лесенке на круговой настил. Внизу стояла чья-то подвода.

— Здорово, Данилович! — прояснился голос ольховского Усова. — А я уж думаю — никово нету, поеду, думаю, к дому...

Павел опустил еще по одной лесенке, уже на землю, поздоровался с приезжим. Усов рассказывал:

— Я, понимаешь ли, хотел увидеть тебя в Ольховице-то! Знаю, что тебя вызвали. Думаю, договорюсь насчет молотья, да оба и уедем. Гляжу, а ты уж и усвистал.

— Усвистишь от вас... — усмехнулся Павел, но Усов на подковырку не обратил внимания.

— Да как смелёшь? Последнюю квашню баба вчера испекла, муки нету. Смели, пожалуста, Павло Данилович!

— Смелю, ежели ветру намолишь...

— Садись на мешки, покурим.

Павел сел на воз к Митьке Усову.

— У тебя, Димитрей, колхоз... как назван?

— Разбежались, Данилович. Все! Остались только мы с Гривенником. Одно названье... У вас в Шибанихе вроде тоже. Скотину-то по домам развели?

— Развели. А ты как? Ведь ты вроде бы коммунист.

— А что коммунист? — разозлился Усов и выматерился. — Коммунистам без муки тож не прожить, Павло Данилович...

У Павла Рогова все кипело внутри:

— Шустовские-то лари разве пустые были? А? У Гаврила Насонова тоже порядочно было намолото!

Не утерпел Павел Рогов, попрекнул Усова Гаврилом, а Данилом — отцом — попрекнул, да в том не видел большой разницы.

Усов стремительно заплел цигарку.

— Я тебе, Данилович, вот што на это скажу. Против ветра ссеть не кажнй осмелится. Против ветра встёт вон одна твоя мельница! С Игнахой я тягаться не дюж.

— Почему?

— А потому што больно много у ево верхних заступников! И в райёне, и в Вологде! А особо много в первопрестольной Москве. Вот так, Данилович! И пускай моя баба мелет на ручных жерновах!

Усов схватился за вожжи.

— Да ты погоди, погоди! — засмеялся Павел и отнял вожжи. — Не петушишь, смелет тебе дедко Никита. Как надо, так и смелет.

Усов не мог успокоиться, опять начал закуривать.

— Мельница-то, Димитрей, мелет добро, — продолжал Павел. — Боюсь только, что и шею мне перемелет.

— Ты, Данилович, вот што... — Митька оглянулся во все стороны, нет ли кого вокруг. — Ты послушай нонче меня. Уезжай, парень! Уезжай поваровой куды глаза глядят... Я насчет тебя разговор слышал. Говорят про тебя, что ты и ногу... это... нарощно, чтобы в армию не ходить.

— Чево? — У Павла потемнело в глазах. — Ногу? Нарощно?

— Это, Данилович, полбеда, беда другая похлеще. Гарницу на тебя, знаешь сам, Сопронов начислил семьдесят пять пудов! Знает ведь, что не выплатить, ну и... Бумага на тебя отправлена в райён. Судить будут. Так што послушай меня, уезжай поскорей куды-нито, времё твое дорого.

Павел спрыгнул с груженных дровней Усова. Хромая, начал метаться, ходить около. Прислонился головой к витому косослойному столбу-подпоре. Отшатнулся. Не глядя на Усова, глухо сказал:

— Спасибо... Разгружай! Таскай к вороту... Пойду... — Он захромал, по пьяному зашагал к своей упряжке. Оглянулся: — Дедко придет... Тебе смелет. Остальным пусть мелет Игнаха Сопронов!

Когда подвода с Павлом Роговым скрылась сперва за гумном, потом за амбарами, мельница пошла почему-то тише. Или ветер стихал? Все медленнее проходили широкие махи, осеняя собой груженные дровни и самого Усова. Помольщик видел, что крылья вот-вот остановятся. Митьке Усову показалось, что как только они остановятся, так что-то и случится нездешнее. Может, и сердце вместе с ними остановится? Либо вся земля перестанет вертеться. А может, она, земля-то, и не вертится вовсе, поди проверь, ежели кто чего скажет...

Х

Куда уехал Александр Леонтьевич Шустов, бывший бухгалтер Ольховской маслоартели? Куда в ту ночь ступала его лошадь, волоча полные розвальни ребятишек и стариков, по-цыгански укрытых шубами и одеялами? Никто не знал. Это в ту ночь, упреждая Архангельск, помимо крайкома посланная в Вологду орггруппа ЦК дала указание на немедленное раскулачивание. Шустов задолго до этого чувствовал приближение грозы. Вологодский губком давным-давно был разгромлен. Еще третьего февраля в газете «Правда» появилась статья под названием «Разоблачить оппортунистов». В этой статье Москва объявила Вологду рассадником правой опасности. Шустов не сомневался, что его заберут, но когда заберут — не знал. А в тот вечер по тревожному стону телефонного провода или по какому-то тайному сердечному знаку Александр Леонтьевич вдруг озарился, почувствовал близость беды, раскусил зловещую тишину той решающей ночи. Да, он был просто убежден, что пришла как раз та самая ночь!

И враз принял решение. Короткий разговор с женой и отцом, решительное, резкое спокойствие, твердый голос. И вот уже мерин запряжен в розвальни. Быстро одели пятерых ребятишек. Пересчитывал Александр Леонтьевич всех уже на возу. Дедко Осий долго не мог ничего понять. Так, наверное, ничего и не понял старик, может, подумал, что поехали на Кумзерскую ярмарку. За одну ночь разрушилась многовековая судьба...

Все оставил, все бросил Александр Леонтьевич Шустов: обширный дом, гумно и амбар, скотину, лари с мукой, обувь, холсты, одежду, посуду и утварь. Взял одно живое свое богатство — деток с женой да отца с дедком Осием. Слезы родных то и дело останавливали короткими окликами. А как сам не заплакал? Неясно... Стиснув зубы шел он в ту пору за возом, шел в тихой снежной ночи. Куда? Надолго ли?

За какую вожжину дергать у следующей развилки? Вначале правил Шустов наудалую, лишь бы куда-нибудь, лишь бы подальше от дома... Правда, чуть ли не в каждой деревне жила родня, двоюродные, троюродные братья и сестры. Немного в сторону от большака живут и родные братаны. Три младших брата и три (тоже младших) сестры. Приворачивай в любом месте. Но во всех домах по два самовара... Никогда, от веку, не сидела шустовская порода сложа руки! Рубили хоромы, пахали, жгли подсеки, косили сено, ловили рыбу и зверя, ткали и пряли, ездили под извоз. И роднились больше с такими же трудолюбивыми семьями. Поэтому знал Александр Леонтьевич, что не надо никуда приворачивать — над каждым домом давно висела черная туча.

Он проехал несколько волоков, передумал про всю свою жизнь, прошел по ней взад и вперед. Но ведь не поедешь же без ночлега! Надо и лошадь кормить, и обогреть ребятишек, и стариков чаем отпаивать. Он выбрал в ту ночь мужа троюродной сестры в маленькой лесной деревеньке. Он оставил там дедка Осия, с тем чтобы переправили старика в другое место, к другому дедкову сыну и брату отца Леонтия Осиевича. Самого Леонтия Осиевича Шустов оставил в другой деревне у двоюродных братьев. Там заодно навестил Александр Леонтьевич и родную мать, которая ушла погостить да и нянчила внуков с самого Ильина дня. Увидев сивую бороду Леонтия Осиевича, она ничуть вроде бы не обрадовалась:

— Чево, опять сватать приехав? Поезжай, поезжай в другую деревню.

— Бери, тятя, развод! — поддержал Шустов материнскую шутку, но Леонтию Осиевичу было не до шуток. Он заплакал, когда прощались...

Так, рассовав стариков по разным местам, Александр Леонтьевич с женой и пятью детьми выехал на Сухую курью. До Северной железной дороги осталось пятнадцать верст...

Знал ли Александр Леонтьевич Шустов, что всюду, от Вологды до Архангельска, вдоль всей Северной железной дороги уже витала детская и стариковская смерть? Людей выгружали в снега и селили прямо в лесные болота. Вагоны спешно гнали обратно, за новым грузом. Степные пахари торопливо учились владеть топорами. Только что срубленные елки вершинами прислонялись друг к другу. Те шалаши покрывались еловой хвоей, стелилась хвоя на снег и зажигались костры. Мужчин под конвоем партиями гнали дальше в леса, а в тех шалашах... Женщины одного за другим хоронили стариков и непорочных младенцев. Женский крик, так похожий ночами на волчий вой, слышался сперва в зимних лесных болотах, на разъездах и близ полустанков, но вскоре завьли, запричитали по-северному и местные жительницы. Южные, краткие в своем отчаянии слезные клики были иными, не похожими на рассудительные вологодские причитания. Только иногда, когда страх и отчаяние захлестывали женское сердце, вологодский вой становился точь-в-точь таким же, как мелитопольский или ростовский...

После долгой дороги по лесу Шустов решил в Сухой курье обогреть ребятишек и напоить лошадь. Но в избе негде было ступить, не то чтобы посидеть и погреться. Звучала украинская речь. Три красноармейца с винтовками глядели на Шустова как на врага, колодчик на водопое был занесен снегом. Шустов разгрел снег, напоил коня и уже в потемках направился дальше. Куда? Кто ждал его с кучей детей, без денег и хлеба? Никто не ждал...

Александр Леонтьевич знал, что никто не ждет, и все же ехал куда-то. После Сухой курьи картина для него стала совершенно ясна. Выхода не было... И все же он ехал куда-то. На восьмой версте решили как-нибудь переночевать и утром двинуться в сторону железной дороги. Была затаенная дума найти шибановского Орлова. Ходил слух, что Орлов работал на одном из разъездов. Может, примет временно или подсобит устроиться? Хоть обходчиком, хоть пильщиком дров...

В бараке на восьмой версте усташенские ребята сдвинули на нарах соломенные тюфяки, освободили место для шустовского семейства. Утром, когда поили коней, Шустова неожиданно окликнул Степан Иванович Лузин. Узнав про бедственное состояние шустовского семейства, он предложил задержаться, привел Шустова в натопленную конторку. Начальник лесопункта не хотел слушать подробностей шустовской пережившей жизни. Он с ходу предложил угол в бараке:

— Александр Леонтьевич, у меня нет десятника. Оставайся! Когда срубим новый ларек, дадим тебе старое помещенье.

— Я, Степан Иванович, вышел из партии... — произнес Шустов. — Считаю своим долгом сказать...

Лузин поморщился:

— Александр Леонтьевич! Ты мне об этом не говорил, а я от тебя ничего не слышал!

— Нет, Степан Иванович! Ты пусть и не слышал, спасибо. Да Ерохин-то с Меерсоном отнюдь не глухие.

— Волков бояться — в лес не ходить! — возразил энергично Лузин. — А лес, Александр Леонтьевич, советской власти, сам видишь, нужен как воздух.

— А скажи мне, Степан Иванович, почему крестьянство-то мы зорим? — тихо спросил Шустов. — Своих же кормильцев рубим под корень... А самое главное, нет числа таким дровосекам, и всё они копятса, всё копятса...

Молчал начальник лесопункта Степан Лузин. Прищурил глаза, глядел в одну точку и слушал Шустова.

— Был, значит, у крестьянства царь Николай Второй, и была у него единая власть. Где единая власть, там и порядок. Нынче власть сразу у многих, у всяких и разных. И всяк свои мысли кладет во главу угла, кому что придет в голову. Не стало у нас в России порядка...

— Не крепка, значит, наша власть, Александр Леонтьевич? — засмеялся Лузин.

— Не то чтобы не крепка, а рассыпчата! От огня и воды камень трескает, одна дресва остается. Потому я и вышел из партии. Прошли вы огня и воды, вот перед медными трубами вам не выстоять... Мало кто удержался в рамках перед медными трубами.

— А царь? — Лузинские глаза смеялись.

— Царю, Степан Иванович, медные трубы были положены по штату! Для одного народ ничего не жалел, готов был на любую музыку... Мужик потому за царя и держался.

Лузин посерьезнел и возразил:

— Ну, положим, Гаврило с Данилом не больно-то и держались. Наоборот!

— А ныне оба на Соловках либо в Печоре локти грызут.

Но Лузину было не до политических споров. Вологда требовала от него лес, десятник был нужен, и он повторил предложение:

— Принимай, Александр Леонтьевич, должность! Остальное и прочее я беру на себя.

В горле у Шустова застрял горячий комок. Не зная, чем выразить облегчающую благодарность, он покашлял тогда, приготовился сказать Лузину что-то хоршее, но в контору зашли двое высланных украинцев.

Считая дело окончательно решенным, начальник подал Шустову бланки учетных документов:

— Принимай, Александр Леонтьевич, покамест по кубатуре, в сортимен-тах разберемся позднее.

Кладовщик в тот же день выдал Шустову под расписку стальное клеймо на березовой ручке и складной, в медной оправе аршин. Надо было срочно клеймить торцы дерев, обмеривать и сортировать свежую древесину, вывезенную усташенскими мужиками.

Ночевали в ту ночь вместе со всеми, но жилье выделили тоже вскоре и почти по-царски: Лузин приказал отгородить в бараке угол в одно окно. Половину места занимали широкие нары, на коих цыганским способом сложили подушки и одеяла. Вторую половину занимал стол, тесанный топором,

да такая ж скамья. Еще оставалось место под умывальник, и шевельнуться, повернуться, ничего не задев, было совсем невозможно.

Александр Леонтьевич был рад и такому жилью. Со всем старанием старорежимного подрядчика он приступил к новой работе. И та дорожная ночь была давно позади... Шла последняя, страстная неделя поста, когда на восьмой версте объявился шибановский Павел Рогов. Мужик стоял перед Шустовым с просительным видом, с топором за поясным ремнем, с котомкой на широких плечах.

Шустов не скрыл собственной радости:

— Ты, Павел Данилович, с подводою или так?

— Один.

— Значит, без лошади. Бери моего коня и дровни! Подсанки тоже подыщем. Надолго ли, если не трудно ответить?

— Трудно, Александр Леонтьевич! — признался Павел. — Трудно ответить... Хотел навсего... Пойду на любую делянку... Не дают дома-то жить!

Десятник, подобно начальнику лесопункта, не стал вникать в подробности, а взял да и показал новичку место в бараке.

Павел не разучился валить и возить лес... Но когда начала таять ледневка, Шустов неожиданно переменял собственное решение, послал его в пилоставку, чтобы тесать топорщица, насаживать топоры и точить поперечные пилы для украинских лесорубов. Павел вначале заерепенился, считая все это стариковской работой. Вмешался сам начальник, убедил, что дело это сейчас важнее всего.

— Платить будем на совесть, как рубщику! — закрепил Шустов весь разговор. — Да и спать тут будет тебе спокойнее.

Пилоставка была срублена в охряпку, на скорую руку. (Рубили сначала баню, но понадобилась пилоставка.) Печка сложена по-культурному, даже с плитой, но двери открывались прямо на улицу, в сторону болотного леса.

Павел тесал топорщица с утра до вечера, часами шаркал напильником. На ночь он запирался на крюк и спал прямо на голом топчане. Питался кое-чем из ларька. Хлеб и табак привозили для лесорубов на лошади с железнодорожного разъезда, еще торговали треской. Иногда приходил почевать Апалоньч, рассказывал новости. Тоска подступала к Павлову сердцу. Дошел слух, что Сопронов через милицию ищет его, что в Шибанихе сломалась дедкова мельница. Не мельница маяла, маяла неизвестность. Как-то там Вера Ивановна, когда будет родить? Мать жива ли?

Каждое утро начиналось с прихода украинских выселенцев. Они разбирали пилы, иные просили насадить топор на новое топорщице. Павел не успевал как следует наточить пилу, сделать по-доброму топорщице.

— Тебе, Данилович, все одно на всех не уснуть, — поучал Апалоньч, сидя на чурбане и растапливая печку. — Ты возьми да одного науци топоры-ти насаживать! Вон хоть бы Малодуба Григорья. Парень проворной, сам научится и других выучит. Вишь, легок на помине...

Дверь хлопнула. Павел поднял голову. Рыжие усы Грицька весело шевельнулись:

— Здравеньки булы!

В серых глазах парня чуялась застойная хохляцкая грусть. Давняя тоска стояла в глазах, но все равно они улыбочиво шурились. На голове у Грицька топорищил какой-то вязаный шерстяной колпак, на плечах — латаный во многих местах ватный пиджак. Штаны на коленях тоже были закропаны, но дыры имелись и на заплатах. Особенный страх вызывала у Павла обутка Грицька, напоминавшая шоптаники, то есть тряпичные лапти, в каких бродят многие нищие. Грицько сильно напоминал в этой обуви шибановского Носопыря.

— Чего на ноги дивишься? — улыбнулся Грицько. — Коли моим щиблетам задришь, то я готовий поменятися... А ти, диду, пиди тим часом за мени на делянку. За це видам тобі всю премію...

— Много ли вы с Антоном кубатуры-то нагнали? — спросил Апалоньч.

— Многа! Багацько... А було б ще бильше, як би до Ярохина не тягали.

— К Ерохину? — притворно удивился Апалоныч. — А чево ему от вас?

— Як чога? Вин тут замість попа, вимятае сповидь, инколи де-кого причащае.

Грицько поднес кулак к своему носу, показывая, как причащает Ерохин.

...Сегодня Грицько отказался учиться насаживать топор по-вологодски.

Он попросил у Павла бритву и помазок, чтобы сбрить бороду:

— Витру не буде, ходимо до шинкарок.

Апалоныч сварил чугунок картошки, достал из мешка хлеба:

— Садитесь-ко вот лучше.

— Цибуля? Та вона ж ныне милиша за будь-яку дивчину... Давай швидше, поки нема брата Антона, той приїде, все умне... А ось вин тут як тут. Все чуе, як кит з вусами.

Павел успел уже полюбить этих веселых братьев. Они захаживали в пилоставку и по вечерам, после делянки. Пили настоящий, выданный Лузиным чай, слушали Апалоныча, который изредка исчезал куда-то и приносил свежие новости.

Антон Малодуб, старший брат Грицька, был сегодня совсем хмурый, на братнины шутки не обращал внимания. Апалоныч начал спорить с Грицьком: как это так, «як кит з усами». Кит, мол, плавает в окіяне-море, кит — рыба, какие же у рыбы усы?

— Не мае риба вусив, — согласился Грицько, очищая картофелину. — Зате в кита е и в мене е, тому що я не одружений. А в брата Антона вуса були, та жинка Параске все висмикала. А помиг жинке мий племянник, ось и немає в Антона вусив.

Апалоныч так и не разобрал, отчего это кот по-украински кит. Павел взглянул на Антона с тревогой. Что-то кольнуло его изнутри. Пока братья брили друг друга роговской бритвой, он вспомнил зимнюю лесную дорогу и ту встречу с женщиной, которая стремилась в Сухую курью.

— А как племяша-то у тебя звать? — как бы невзначай спросил Павел у Грицька.

— Та я вже пидзабув, а ось брат не забув. У нього и питайте.

— Федько, — тихо произнес Антон. Глаза у него зажглись и блеснули.

Федько! Все сходится... Женщина назвалась Парасковьей, когда Павел оставлял ее ночевать у старухи. Это она и шла тогда, она искала мужа и брата. Она несла как живую свою мертвую ношу! Где она ныне и жива ли сама? И что делать? Рассказывать ли Антону про ту жуткую встречу?

Павел свырнул пилынок в сторону, бросил на пол пилу. Пила жалобно звывла и зазвенела. Апалоныч недоуменно поглядел на Павла Рогова. Антон и Грицько приняли выходку пилостава на свой счет. Антон взял пилу, оба брата молча вышли из пилоставки. Павел очухался, выскочил следом:

— Да нет, вы што? Идите обратно!.. Я... так, сам на себя... Чуєте? Остынет картошка-то...

Братья остановились, переглянулись.

— Обиделись, что ли? — в упор спросил Павел.

— Та ни... Йти треба, Даниловичу, — заговорили они оба сразу. — Ярохин того гляди из гнезда вылетит.

— Хотел я сказать вам кое о чем...

— Мабуть до иньшого разу.

Они ушли, а Павел стоял у порога и терзался в раздумьях. Может, лучше не говорить? Может, знают? Нет, ничего не знают. Надо сказать...

Но они уходили от него, не оглядываясь. Морозный светлый ледок хрустел под их страшными чоботами. Вчерашние лужи и ручейки уже струились под этим хрупким прозрачным ночным ледком.

Дрожь прошлась от ключиц и до поясницы. Нет, не от холода вздрогнул Павел Рогов! Вздрогнул от непереносимо явственного виденья: лесною дорожкой шла, нет, не украинка-выселенка, шла его жена Вера Ивановна. Он помогал головой, как пьяный.

Снег таял взаправду. Заметно удлиннились светлые предпасхальные дни. Усташенские лесорубы и возчики разъезжались по деревням, там их гнали

обратно. Для нерадивых учреждено рогожное знамя. Павел знал, что Лузин получил указ: кидать снег лопатами с бровок на те места, где вытаивала земля.

Возить по этому снегу, только возить! Выполнять план!

Апалоньч сочинил даже частушку: «Не нагоним нападным, так нагоним накидным». Что правда, то правда, нападного снегу ждать было уже нечего. Дело быстрехонько шло к весне, к половодью и севу.

Утро сияло. Глубокое, бирюзово-синее небо разверзлось над Павлом. Из леса, с востока и севера, долетало тетеревиное бульканье. Сердце чуть успокоилось при этих знакомых, почти родимых звуках новой весны. Токуют тетерева на полянах, горят полевые снега. Природа живет как и раньше, ничего не меняя.

От морозного воздуха, от переключки полевикув вернулся в тесную подслеповатую пилоставку.

— Чего, Паша, ушли? — спросил Апалоньч.

— Ушли!

И Павел начал точить напильником очередную пилу. Он рассказал старику про лесную зимнюю встречу:

— Тут все, Апалонович, сходится! И сынок Федько, безгрешная душа, и женкино имя...

— Ёствою корень! — Апалоньч заохал после такого рассказа. — Она! Парасковья, ихняя баба. Много разов называл Гришка-то! Садись, самовар вскипел...

Апалоньч называл самоваром чугунок, в котором варили картошку и кипятили воду на чай.

XI

Светлее и дольше становились предвесенние дни. Иногда закатное солнышко напрямик упиралось в небольшое окно пилоставки. Оно светило тогда вроде бы снизу. словно невидимая солнечная ладонь припечатывала на сосновой стене избушки квадратный розовый пласт, золотились, как слезы, капли сосновой смолы, и дерево излучало янтарный внутренний свет. Тем чернее приходила лесная беспросветная ночь. Одиночество давило на Павла безжалостно и настойчиво. Особенно тосковал он в тишине по ночам. Впервые узнал, что такое бессонница, хорошо еще, что иногда приходил ночевать Апалоньч.

Правда, старик очень уж сильно храпит. «Ты, Данилович, толочи меня в бок, чтобы я потише храпел, — наказывает старик с вечера. — Ты не ленись меня останавливать». Надо ли толочить в бок Апалоньча? Тоска, а может, и сама боль в ступне заслоняются по ночам этим неутомимым разливистым храпом. Оба спали одетыми на топчане. Ни у того, ни у другого не было ни подушки, ни одеяла. С вечера в пилоставке жарко. К утру, когда подкрадется сон, избушка выстывала насквозь. И Павел всю ночь крутился на топчане. В такие часы подстерегла однажды покаянная мысль: «С какой стати уехал от жены и от дома? Оставил сына, а может, и двух... Родную мать и малолетнего брата бросил в чужих людях». Что-то он сделал не так, что-то вышло неладно. А как ладно?

Павел опять проворачивал в памяти несчастный тот день с утра и до ночи.

После разговора с Дмитрием Усовым он распряг мерина. В отчаянии хотел было залететь в лавку Володи Зырина, да что-то остановило. Может, вспомнил, как маялся от стыда после нечаевской пьянки. Вышла статья Сталина... А что толку? Игнаха все равно доконает. Уехать, устроиться в лесопункт... Обжиться, потом увезти семейство. Собрал в кулак всю пачинскую натуру, ступил в дом. Вера Ивановна трясла в сених детское одеяло. «Приехал? — спросила с надеждой. — Иди, кряду будем обедать». В избе в красном углу стучало ткацкое бердо. Скрипели подножки. Аксинья каждую свободную упряжку ткала, Сережка с Алешкой по очереди крутили скально, также по очереди качали они зыбку. «Белый ты весь, — сказала теща. — Не угорел?» «Угорел, — соврал Павел. — В Ольховице у Славушка». Она слазала на полати, разрезала ему свежую луковицу: «На-ко вот, нюхай!» Резкий луковый дух и в самом деле привел тогда в чувство. Аксинья накинула скатерть. Вера пошла звать обедать дедушку, а тот ушел принимать усовское зерно. Тревожно

поглядывала на мужа Вера Ивановна. «Да угорел он!» — успокаивала ее Акси-нья, только ведь жена всегда видела больше матери. Пришел от мельницы дедко, тоже перемену почуял, одни ребята ничего не чувствовали, хлебали постную губницу, толкали друг друга локтями. «Ну, так чево в Ольховице-то? — Аксинья выставила противень с холодным гороховым киселем. — Матку-то видел?» «Видел... — глухо ответил Павел. — Сидели у Славушка». Никто в семье, кроме Ивана Никитича, не любил гороховый кисель с льяным маслом. Вспомнили об этом, наверное, все шестеро, вспомнили и затихли. «Пора ска-зать», — подумалось тогда Павлу, и он взял за руку Веру Ивановну. Сердце забилось... Он рассказал про допрос, но не все рассказал, утаил от родных то, что Скачков едва его не арестовал. Утаил и разговор с Митькой Усовым, зато набрался смелости, выдохнул: «Ехать надо! Пеките-ко подорожники!» Он так явственно помнит ту злую минуту. За большим роговским столом стихло. Ребенок в зыбке проснулся, встал на карачки, весело поглядел на семейство. Павел обвел всех несветлым своим взглядом, на ходу начал придумывать: «Деньги нужны, налог заплатить...» Он видел, что Вера так и замерла вся, так и пошла зачем-то к шкафу. «Не бойся! — Он выбрался из-за стола, настиг и обнял ее за плечи. — За море не убегу...» — «Куда сrediлся-то?» — «На восьмую версту. Дорога зимняя падает... Володя Зырин обещал подвезти до Ольховицы! От Ольховицы в Сухую курью ездока много. Кто-нибудь подвезет. А то и пешком...» Горло его сдавилось, он не мог больше говорить. Вера заплакала. Аксинья молчала, готовая тоже к слезам, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы дедко не одобрил решение Павла: «Поезжай, Пашка, поезжай, пока до вешного! — Старик повысил голос: — А будем ли и вешное-то ноне пахать? Пусть! Оксютка, иди за мукой, твори подорожники. И ты, Верка, не реви здря».

Вздыхал дедко Никита, охал, кряхтел и кашлял. Ему надо было идти молоть Митьке Усову. Павел слышит его голос, видит сивую бороду, и василь-ковый свет светит ему из глаз старика: «Поезжай, поезжай, Пашка, пока до вешного. К весне-то авось образумится который-нибудь: либо Сталин, либо Игнаха...» Жена всю ночь плакала на плече. Утром, едва испеклись подорож-ники, едва попили чаю, скорей котомку на плечи! Долгие проводы — лишние слезы... Еще с вечера Павел видел, что река обозначилась под горой. У же стояли на дорогах изрядные лужи. Пришлось ехать в шапке, но в сапогах. Глядела ли Вера вослед ему? Он ступал за подводой, старался не оглянуться назад. Скорее бы волок... В лесу зыринская кобыла вдруг обернулась назад. Она оскалила на Павла большие желтые зубы. Ее круглый кровавый глаз наливался голубизной, вырастал, словно радужный шар... Высокие черные ели стояли в снегу, до узкой тропы сжимая лесную дорогу, а впереди, перед возом, стояла женщина с ношей. Лошадь вот-вот ударит ее запрягом. Но ведь это она, Вера Ивановна, стоит со своей ношей на лесной снежной тропе! Господи, надо бы дернуть за вожжи. Надо остановить проклятую лошадь, а рука Павла двигается так медленно, что ничего не успеть, и вот сейчас Веру, жену его, изо всей силы ударит запрягом...

Павел Рогов пробудился на топчане в холодном поту. В окне брезжило, синело утро, Апалонича рядом не было. Сердце билось после страшного сна.

Павел откинул крюк, сходил за угол, вернулся в пилоставку и затопил плиту. «Какая же это жизнь? Умываться снегом, в чугушке чай кипятить...» Так думал Павел Рогов, стараясь поскорее забыть кошмарный ночной сон. Оскаленная лошадиная морда еще долго явственно стояла в глазах.

Треска с полусасохшей хлебной горбушкой, кружка кипятка, три попере-чные пилы, которые надо точить...

Он выточил их за час-полтора, но никто почему-то не шел за ними. Павел выглянул наружу: солнце сегодня поднималось совсем весеннее. И что-то копи-лось в душе... Жаль, нет старика. Сходить поискать его в бараках? Может, голодный. Никто теперь не слушает его говорю по вечерам. Выселенцам не до него, а усташата на Пасху разъехались по домам. «Тоже вот, — думал Павел про Апалонича, — ходит туда-сюда, то домой в деревню, то на станцию. Кормится прибавтками. А сам-то ты? Тоже вроде бы зимогор. Нет, надо уехать. Не горячись, думай... Домой? Нельзя домой. Там Игнаха Сопронов с

наганом, милиция. Загребут в первый же день. Так ведь и тут загребут! Вон Ерохин уже вызывал в кабинет. Доберутся не сегодня, так завтра. Уезжать надо. Шустов советует: «Просись в Красную Армию. Два года прослужишь добром, время минует». Возьмут ли без пальца-то? Антон Малодуб ничего не знает про жену и про сына... И кто это целое утро бродит за воротом?» Нашупал, прижал пальцем...

Крупная, с прозеленью вошь поставила на раздумьях Павла последнюю точку. Он бросил ее в огонь, схватился за шапку, быстро накинул полушубок, вышел на волю. Куда? Он решительно ступил в сторону шустовского жилья.

Барак пуст. Лишь двое больших, с порубленными ногами выселенцев молча шуруют в печи. Павел открыл двери в шустовскую комнатушку, встал около умывальника. На него с интересом глядело с полдюжины ребячьих глазенок. Взрослых нет. Павел спросил, где у них тятя и мама. В ответ самый младший заревел почему-то что было мочи. Его дружно и быстро успокоили старшие.

Ребятня только что пускала мыльные пузыри. Нарочно для этого на топчане, вверх шерстью, был разостлан целый тулуп, штук пять радужных пузырей еще светилось на овечьей шерсти. Они долго не лопались на овечьей шерсти, Павел не забыл детских забав.

— А ну давай, дуй еще! — сказал он и подумал: «Откуда у них солома взялась?»

В два фарфоровых блюдца с мыльной водой начали тыкаться соломинки. На расщепленных концах соломинок рождались и росли радужные красивые пузыри. Росли и слетали, парили над своими хозяевами, иные вытягивались от слишком сильного дутья и лопались, к обиде нетерпеливого надувальщика. Большие, иногда с детскую голову, они срывались с концов соломинок и плыли по комнате. Ребятишки дули на них снизу. Иной пузырь подымался вверх к почернелому потолку. На круглых золотисто-радужных боках в крошечном перевернутом виде отражались все эти белоголовые восторженные шустовские наследники. Павел и сам позабыл про свой возраст. Хотел уже попросить у которого-либо из ребят соломинку и выдуть свой добротный пузырь, но в дверях появился Шустов. Павел покраснел, словно его застали за недостойным занятием:

— Вот зашел... Думал, хозяин дома. Александр Леонтьевич... Я, значит, это... Уезжать лажу.

— Вот тебе раз! Куда?

— Не могу я тут больше...

Шустов сел на край топчана, вздохнул:

— Гляди сам, Павел Данилович!.. Вольному воля. Но думаю, что делаешь ты это напрасно. Гляди сам... Да.

Павел разволновался и заговорил не то, что хотел сказать:

— Сейчас слышу, за воротом кто-то ходит. Хватил, гляжу, вошь! Как дробина... Да чтобы я... У нас сроду этого не было!

— Ну, одна — это еще полбеды, — невесело засмеялся Шустов. — Вот когда поползут рассыпным строем, тогда хуже ничего нет. Я в гражданскую помню...

Шустов не стал вспоминать, махнул рукой. Павел попросил принять инструмент. Шустов еще раз пробовал уговаривать, но Павел стоял на своем:

— Нет, не могу, Леонтьевич. У нас вшей сроду не было... Отпусти. Уйду счас, сразу...

— Ну, коли так, держать не буду! Куда ж ты теперь? — Шустов достал из бумажника тридцатку. — Вот, возьми красненькую и напиши расписку. Думаю, у тебя заработано больше, я распишусь за тебя в ведомости. Сколько останется, перешлю. Но куда?

— Поеду пока в район. Ежели не возьмут в Красную Армию, попрошу справку. Завербуюсь плотничать. Подальше куда, может, в Онегу.

Павел присел к столу и под диктовку начал писать расписку:

«Взято у десятичника А. Л. Шустова тридцать рублей в счет зарплат. Деньги получены сполна. К сему Пачин».

— Рогов нынче, — смутился Павел, не осмеливаясь уйти.

...Александр Леонтьевич всерьез был расстроен решением Павла. Не станет в лесопункте еще одного надежного человека. На кого положиться? Бывший бухгалтер Ольховской маслоартели бегал целыми днями по делянкам, ездил в Вологду за новыми лучковыми пилами, хлопотал о печных выюшках, успевая клеймить баланы. На ходу осваивал Шустов и украинскую мову. Сверху требовали одно: лес, лес и лес! Уполномоченные сновали по всем направлениям. Той же порой по всем дорогам ехали первые перебежчики. Местные лесорубы и возчики бревен бросали делянки. Телеграммы из Архангельска одна за другой летели в Устюг и Вологду, Москва требовала от Севрская усилить приток валютных рублей и ликвидировать кулака.

Но в этом настойчивом двойном требовании Центр почему-то не замечал жестокого противоречия: одно исключало другое...

Усташенские ребята работали сперва лучше всех, а нынче все укатили домой. Украинские выселенцы были почти разуты-раздеты. У них не было даже рукавиц. Неумело насаженные топоры слетали с березовых топорич. Они не знали, с какой стороны рубить, чтобы дерево падало куда надо. Мог ли выполнить норму вчерашний степной хлебороб, никогда не ступавший по поясу в таежный снег?

Рогов чувствовал вину и неловкость, но стоял на своем...

— Что ж... — Шустов задумался. Его правая рука гладила по очереди головы ребятишек. — Что ж... Поезжай, коли с вербовщиком будешь в ладах. Только послушайся моего совета, найди слой в районе! Напиши заявление предрику. Объясни ему свое социальное положение... Скажи, что брат в Красной Армии, что наемного труда не было... К военкому сходи. Военкома я знаю, скажи, что от Шустова...

Ребятишки притихли. Они внимательно и серьезно слушали разговор взрослых. Шустову показалось, что Рогов заколебался.

— Не раздумывай?

Павел глядел в землю, держался за скобу. Не хотелось ему обижать Шустова! Не хотелось и рассказывать про вчерашний день, когда Ерохин вызвал его в лузинскую конторку и долго, один на один, выпрашивал про всю ольховскую и шибановскую родню. Чего было надо Ерохину? Ясно стало только под конец долгой беседы, когда Ерохин заговорил о «классово чуждом элементе в условиях лесопункта». Он потребовал слушать, что говорят в пилоставке украинские выселенцы... Слушать и сообщать ему, то есть Ерохину. Павел сказал, что не знает украинской речи... Тогда Ерохин встал, подошел вплотную, взял в кулак край роговского полушубка, притянул к себе и произнес: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Иди, гражданин Рогов, и крепко подумай!»

Причащает и исповедует... Эти слова Григория Малодуба вертелись на языке. Хотелось рассказать Шустову обо всем, но Павел удержался, не стал говорить. «Советует Александр Леонтьевич сходить к предрику. Найдешь ли и в районе защиту и правду? Нет, надо скорее уехать... Куда? В Шибанихе Игнака жизни не даст, на чужой стороне вши заедят. Вот в красноармейцы бы на год-полтора! Отслужить бы действительную, а той бы порой и ветер утих... Вон Васька-братан, служит матросом, учат на почетного командира».

Думал Павел и о том, как перевез бы Веру Ивановну сюда в барак...

Сроду во всей деревне ни в одном даже самом бедном семействе не бывало одежных вшей. Только иногда оставались после ночлежников-нищих, но тогда весь дом мыли и перетряхивали, всю одежду, одеяла и наволочки прокаливали в банной жаре. Бывали, правда, головные, мелкие, так этих вычесывали гребнем. Бабы при любой свободной упряжке устраивались где посветлее искать в голове. Каждую субботу баня со щелоком... А тут одежная вошь! С прозеленью, такие и бывают тифозные.

— Нет, Александр Леонтьевич, не приживусь я тут! Не привыкнуть мне потому што...

Павел решил наконец рассказать Шустову о требовании Ерохина, но тут заскрипела рассохшаяся, сколоченная из сырья барачная дверь. Вошел, вернее, влез в комнату начальник Лузин, в пальто с бобриковым воротником, в пыжиковой ненецкой шапке. Уши у шапки — до пояса. Помятые брюки, запявленные

ные в грязные бурки, тоже были не очень чисты. «Не лучше, чем у меня», — подумал Павел и хотел уйти, но Шустов движением руки остановил и обернулся к начальнику:

— Степан Иванович, присесть у меня негде. Извините.

— Я на один момент, Александр Леонтьевич. — Лузин с обоими поздоровался об ручку, оглядел снова притихших ребятишек. Павел опять взялся было за скобу, но Шустов снова остановил:

— Вот, Степан Иванович, был у нас один пилостав и тот вздумал уехать.

— Куда? Почему?

— Такой дородной мужчина, а испугался малого насекомого! — засмеялся Шустов. — Впрочем, спросите у него сами...

Лузин сделался хмурым:

— Баню, товарищ Рогов, к осени сделаем, даю слово. Работай! Семью со временем перевез бы. Или недоволен жалованьем? Тоже в наших руках! Так что давай меняй решение, Павел Данилович! Лесное дело нынче у государства на первом счету. Подумай!

Павел стоял как школьник.

— Крепко подумай, Павел Данилович! — повторил начальник. В го́лосе Лузина звенела хоть и еле заметно, но приказная струна, да и слова были такие же, как у Ерохина. Павел упрямо тряхнул головой:

— Не привык я, Степан Иванович, в лесу жить! Ежели не возьмут в Красную Армию, завербуюсь в Онегу. Лихом не поминайте...

Павел Рогов за руку попрощался с начальством. Двери заскрипели, захлопулись, места сразу стало намного побольше.

Шустов сел на край топчана и Лузину предложил:

— Садитесь, Степан Иванович, насекомых у нас пока нет.

— Троицкий говаривал когда-то о политической вшивости, — Лузин пробовал пошутить. — А чем обернулась на восьмой версте ерохинская дезинфекция? Знаешь сам, Александр Леонтьевич. План не выполнен не только по вывозке, но и по рубке...

— Да, товарищу Ерохину в активности не откажешь, — задумчиво согласился Шустов. — Газетку со статьей товарища Сталина порвал на глазах усташенских возчиков! Прошу покорно, Степан Иванович, извинить. Угостить мне тебя нечем. Самовар ставить тоже покамест некуда.

— Все будет, Александр Леонтьевич! Как говорится, дайте только срок, будет вам и белочка, будет и свисток.

Начальник пощекотал среднего шустовского наследника, пощекотал второго. Но даже ребятишкам была заметна его напускная веселость.

— Тут у меня, Александр Леонтьевич, цидуля насчет вас. — Лузин перешел почему-то на «вы». — Пришла по почте.

— Сопронов, поди-ка? — спросил Шустов.

— Нет, берите выше. Скачковым подписана.

Шустов переменялся в лице.

Лузин пожалел, что сказал, хотел перевести разговор вновь на шуточный тон: «Бумаг, Александр Леонтьевич, на наш век будет достаточно, фабрика Печаткина трудится без остановок. Не обращай внимания», да не таков был человек Шустов, чтобы не понимать, что стоит за такими бумагами!

— Разыскивают кулака и правого оппортуниста? Не так ли, Степан Иванович?

— Так, — Лузину ничего не оставалось делать, как согласиться. — Но вы не беспокойтесь. Я эту бумагу не читал, ты про нее не слышал... Говорю определенно. Ерохин, по всей вероятности, не знает о ней.

— Если Ерохин не знает, то это и есть политическая вшивость... — произнес Шустов. — Придется, Степан Иванович, и мне... покидать вас...

— Александр Леонтьевич, да вы что? Я ручаюсь за вас своей головой. Я сейчас же напишу в район.

Они не заметили, как теперь уже оба перешли на «вы».

— Нет, нет, Степан Иванович. — Шустов решительно встал. — Я вас подводить отнюдь не желаю и уеду немедленно! Мишка, ну-ка, братец, обувай сапоги! Беги за мамкой, она в третьем бараке пол моет...

Напрасно Лузин убеждал Шустова в том, что поставит Скачкова на место и что все со временем утрясет. Шустов не верил, не мог верить этим словам! Мысленно он уже прикидывал, где лежит упряжь...

Мишка долго искал под топчаном свои сапожонки. Ему то и дело попадались чужие: то маленькие, то большие. Наконец он обулся в какие попало и убежал за матерью.

Пять пар детских пронзительных глаз с недетской тревогой следили за каждым движением взрослых.

Павел тем временем сдал инструмент кладовщику, без сожаления окинул взглядом еще теплую пилоставку и... покинул восьмую версту.

Он шел с котомкой в сторону железной дороги, к разъезду, куда мужики возили клейменные Шустовым хлысты. Чтобы выехать местным поездом в районный поселок, надо было за два часа пройти восемь верст.

Он шел по лежневке почти оголенной. Снегу на ней не было, лед во многих местах растаял. Еще ползли по лежневке редкие подводы с хлыстами. Лошади останавливались, когда полозья съезжали с ледяных мест на вытягивающую землю. Тащить груженные дровни с подсанками по голой земле не под силу было самым здоровым коням. Возчики ругались почему зря. Усташенский парень, которого догнал Павел Рогов, остановил подводу. Попросил закурить и сел на большое толстое дерево, которое вез к разъезду.

— Не куришь? — удивился он. Павел сел с ним рядом на бревно. Парень вдруг обругал матом своего же мерина: — Стой, задрыга такая, бл... долгоногая!

— Ты за што лошадь-то так честишь? — удивился Павел.

— А ни за што! Не твое дело...

Парень прыгнул с бревна на землю и вдруг начал развязывать узел веревки:

— Эй, пособи скатить!

Павел был слегка ошарашен. Не задумываясь помог парню скатить бревно с колодок дровней и подсанок. Сам возчик тоже не долго думал. Развернул подводу, закинул подсанки, сел на дровни и гикнул коню. Через минуту оба пропали за лесным поворотом. Толстое долгое ровное бревно осталось лежать на дороге... Павел Рогов заспешил. Он шел дальше и дальше, словно бы от места своего преступления. Чем дальше уходил он от большого, брошенного на дороге хлыста, тем больше что-то щемило в груди. Дерево, брошенное на дороге, словно не отпускало его от себя, взывало к его чести и совести...

А он шел от него дальше и дальше.

Не доходя до разъезда примерно с версту, он увидел новые чудеса. «Цыганы, что ли? — мелькнуло в уме. — Нет, не цыганы. И на украинцев не похоже, разговаривают по-русски...»

В болотном снегу, перемешанном со мхом и болотной черной землей, среди свежих пней и еловой щепы разместился какой-то табор. Табор не табор, но что-то похожее на него. Или военный лагерь? Дым от костров стелился по лесу. Бабьи крики и детский плач становились слышнее: нет, не похоже было на военный бивак!

Еще издали Павел увидел непонятные шалаши: ряды елок, едва освобожденных от сучьев, были поставлены шатром, вершина к вершине. Промежутки и щели между деревьями были затыканы и покрыты хвоей. На пнях и подкладках торчали узлы и даже разноцветные сумки. Люди бродили меж кочек и пней по выступившей весенней воде, кричали что-то, но всего слышнее были женские причитания и детский плач. Павел Рогов подошел ближе. Высокий белый старик долбил лопатой промерзшую землю между березой и небольшою осинкой. Павел поздоровался с ним. Старик оперся на черень лопаты, ответил коротким кивком. Отдышался и вновь начал долбить.

— Ты чего тут ищешь, а, дедушко? — стараясь быть пободрей, спросил Павел. — Колодчик, что ли? А ну-к дай мне...

— Не ищю, а ховаю, — сипло ответил старик и подал лопату.

Павел Рогов несколькими ударами пробил несильную болотную мерзлоту, обрубил заступом древесные корни.

— Вот! Теперь дело-то скорее пойдет...

— Пойдешь, пойдешь... — бормотал старик неразборчиво. — Дело идет да идет...

Только сейчас Павел заметил, что болотина в некоторых местах была уже изрыта. И только сейчас ему стало ясно, что копает белый старик...

Смятение и горький страх подступили к сердцу. Старик оставил заступ и, ничего не сказав, направился к шалашам. Павел стоял, не в силах сдвинуться с места. Через какое-то время старик появился опять, он держал под мышкой ящик из-под гвоздей, следом за стариком молча шла женщина в праздничном казачке. Девочка лет пяти держалась за подол тоже праздничного материнского сарафана. Красными, как у голубки, лапками цеплялась она за одежду матери. Ее ноги в маленьких сапожках запинались за корневища, она упала, заплакала. Мать схватила ее, рывком подняла на руки. Павел уже отошел от ямы и видел, как старик бережно положил ящик на край болотной ямы. В могилке быстро копилась вода. Женщина с жутким прерывистым воем бросилась на ящик. Старик дал ей повить, затем отнял у нее ящик и опустил в воду... Женщина, так и не поднявшись с колен, сунулась под березу, девочка тоже с ревом дергала ее за полу праздничного казачка. Старик ногой утопил младенческий гробик в холодную весеннюю воду и начал поспешно спихивать туда же черную болотную землю.

Павел быстро пошел дальше, обходя кочки и пни. У костра, сидя на свежем березовом пне, грелся красноармеец в долгополой шинели. Винтовка с примкнутым штыком висела на ближней елке. «Хоть бы дулом-то вниз повесил», — подумалось Павлу. Женщины варили что-то в котлах у другого костра. У подростка, который строгал ножиком палку, Павел спросил, откуда они. Мальчишка сказал, что ростовские.

— Эй! — окликнул Павла красноармеец. — Ты кто такой? А ну, покажь документы.

— Да нет у меня никаких бумаг, — сам того не ожидая, соврал Павел.

— А нет, тогда иди откуда пришел. Тут тебе нечего делать...

Павел поспешно зашагал прочь к разъезду.

Горький дым ростовского лагеря, женский плач, покрытые хвоей нелепые шалаши, детские могилки в болоте — все это осталось где-то в лесу. Словно приснилось в кошмарном сне.

ХИ

Ерохин был недоволен судьбой...

Что ему два этих кубика на врату гимнастерки после уездного секретарства? В свое время Нил Афанасьевич запанибрата встречал самого Павлина Виноградова. Вместе гнали с Двины англичанских вояк. С Иваном Шумиловым — секретарем губкома — тоже на равных был, а нынче вот Ерохин ловит беглых украинцев. Касперс — новый начальник в Вологодском ОГПУ — застал в лес. Уж лучше бы служить в десятой дивизии у товарища Гринבלата!

Губернии ликвидировали и сделали округа. С новым секретарем окружка Стацевичем и с председателем окрисполкома Эглитом Ерохин не был раньше знаком, и вот ловит теперь бродячих попов, пасет как пастух спецпереселенцев да строит куркульские шалаши...

Голова клонилась от вина и бессонницы. Ерохин сидел на квартире заврайколхозсоюзом Микулина в ожидании пригородного, как называли — дачного, поезда. Зеленая бутылка, выпитая на две трети, стояла за самоваром. Ерохин встряхнулся, ткнул вилкой в миску с бараньим студнем. Микулин привстал на лавке:

— Еще, Нил Афанасьевич, по мерзавчику?

— Давай!

Ерохин выпил стопку. Есть не стал, только понюхал сырую луковицу.

— Я, Николай Николаевич, на том бюро сам был. Шестого февраля, как сейчас помню. Утвердили особую тройку по местному раскулачиванию. Я Райберга спрашиваю: кто отвечает за охрану спецпереселенцев? Отвечает: «Только за счет местных резервов!» А где размещать? Вот и сиди, ломай

голову. Я тебя очень прошу: немедленно займись фондами для лужинского участка! Вскрывай, находи резервы. Не найдешь — пеняй на себя.

— Фонды, Нил Афанасьевич, все выбраны. Надо просить в Вологде...

— Это я и без тебя знаю. Сколько сейчас?

Ерохин сверил свои часы с хозяйскими ходиками и грузно, медленно поднялся из-за стола. Он передвинул кобуру на самую задницу. Микулин подал ему тяжелый полушубок, проводил до наружных дверей:

— Успеешь, Нил Афанасьевич! Спешить не стоит.

Ерохин не попрощавшись ушел на вокзал. Хозяева в другой половине еще не спали, и Микуленок не стал закрывать наружную дверь. В тепле своей комнаты он зябко поежился. «А вить отесали бутылку-то. Вдвоем за один вечер всю пол-литру...» В зеленой посудине оставалось сколько-то водки, и Микулин поставил бутылку в шкаф. Самовар не стал убирать и улегся спать. «Найдем фонды! — бодро подумалось Микуленку. — И резервы вскроем».

Что снилось Микулину в ту ночь, после отъезда Ерохина? Ничего ровным счетом. Он спал крепко, как в детстве, и если чего-то снилось, то сразу и забывается.

Много воды утекло в реке Вологде, в реке Сухоне, Леже да Кубене с того дня, когда Микуленок стал районным начальником. И все шло хорошо, пока не началось раскулачивание. Микулин усидел-таки на своем месте, хотя многие — и не такие, как он, а поумней и пограмотней — полетели с постов. А недавно опять все перепуталось... Статья Сталина вывернула наизнанку всю политическую хламиду. Начался временный откат от генеральной линии.

«Откат временный, накат постоянный. Устав колхозный опять временный, — размышлял Микуленок. — Правду мужики говорят, что все теперь стало временное».

Утром, между бритьем и чаем, он со тщанием обувался, с удовольствием одекорился и напевал про московский пожар. А что тужить? Резервы пусть ищет предрик. Три к носу, все пройдет. Одна беда: Микуленок всякое утро вспоминал про Палашку, про ту грешную темную ночь и ржаную солому. Особенно впечаталась в память широкая, на полсвета, но совершенно беззвучная зарница, осветившая спящую Шибаниху, и гумно, и заголенную девку, и самого по-воровски торопливого Микуленка.

Николай Николаевич старался забыть все это, да не забывалось, и он нарочно приговаривал такую пословицу: «Дело забывчиво, тело заплывчиво». Его перевели в район и поставили на высокую должность. И нынче ему вовсе не до Палашки. Хотя каждый раз, как вспомнится та ночная зарница, сердце Микулина сладко лягалось в груди.

Жениться, конечно, надо, да стоит ли торопиться? Зарплата хорошая, жил на частной квартире, не хотелось обзаводиться хозяйством. Да и Палашка никак не подходила к его новой жизни и должности. «Куда ее? Сюда, что ли, везти? Чего стоит одна пестрядинная юбка...» — думал Микулин.

«А ведь и тут, в райцентре, девиц всяких полно. Вон выселенки, украинские хохлушки. Брови у каждой черные и меж бровями тоже черный пушок. Глаза волоокие, такая глянет и завлекет, не успеешь очухаться. Правда, опасное это дело, по должности. Свяжешься с раскулаченной, а тебе припишут близорукую классовую линию. Нет, лучше уж приударить за своими конторскими. Тут дело надежнее».

Вчера бывшая ерохинская секретарша, которая служит в прокуратуре, пригласила Микулина в клуб на предмайскую репетицию. В синеблужой бригаде не хватало мужчин для физкультурпирамиды. До Первого мая осталось мало времени. Микулин пришел на репетицию. В смятении и ужасе увидел он, как раздеваются синеблужницы. Снимать сапоги и галифе заврайколхозсоюзом наотрез отказался, трусы, майку и парусиновые тапочки, выдаваемые из клубной кладовки, не принял.

— Я, та-скасть, это... В другой раз.

Синеблужницы наперебой пустились его агитировать. Они бегали по дощатой сцене в одних трусах и майках. Затем начали устраивать пирамиду. Пирамида получалась неполная, так как не хватало главного коренника. Микулина не сумели раздеть, но утвердили посреди сцены. Он широко расставил ноги,

как было велено. По обе руки, с боков, оказались полуголые синеглазницы, каждая должна была опуститься на одно колено. Вторая пара должна была встать на первую, на самом верху предполагалось поставить юную пионерку. Все это сооружение и должен был держать коренник, но галифе и сапоги Микуленка не годились для этого. После пирамиды бывшая секретарша Ерохина начала читать стихи Безыменского. Микулин почувствовал себя лишним и в смущении покинул репетицию.

Сегодня он вспомнил все это и покраснел задним числом. «А что, девка как девка», — осознал он событие с пирамидой и секретаршей. Он пробовал старательно думать о служебных делах, но получалось плохо. Карие крупные глаза секретарши шаяли помимо Микуленковой воли. Помимо его сознания белело и девичье колено, и еще... все там прочее... Вот чем обернулась для него клубная физкультурпирамида!

Николай Николаевич Микулин твердо решил как можно быстрее, пусть и холодно, заменить кальсоны трусами. Хозяев не было дома. Он допил чай в хозяйской кухне и крикнул: пора и на службу, времени полдевятого.

Лукошко с крашеными яйцами стояло на конце стола. Что это, уж не Пасха ли? Ну да, Пасха и есть.

Микулин вернулся в свою половину к зеркалу. Пиджак с партийным билетом сидит на плечах как надо. Гимнастерка-рубаша чистая. (Ворот, правда, не как у Ерохина, без белой полоски.) Сапоги начищены с вечера, пальто, шапка, перчатки — все как требуется. Вот только к портфелю никак нету привычки: каждый раз какое-то от него неудобство, как от чего-то не то лишнего, не то постороннего.

Да, к портфелю Микулин еще не мог себя приучить, хотя к бумагам относился с большим почтением. Правда, бумага бумаге тоже ведь рознь. Одни понятные с первого разу. Другие излишне ученые, с ходу не разберешь. А вон секретарь райкома, новый, послеерохинский, этот говорит понятно, а поет не по-русски. Предрик, тот посылает бумажки коротенькие и всех лучше выступает на митингах.

А тут что, вместе с газетой?

Вместе с газетой была повестка со штампом прокуратуры: «т. Микулину Н.Н. Вам надлежит явиться в качестве свидетеля к пом. прокурора т. Скачкову». Указывалось в число — сегодняшнее, и время — три часа дня.

Микулин испугался: Какие еще свидетели? Сперва свидетель, а рядом и подсудимый. Недалеко ходить... С какой стати? Только нет худа без добра: повестку печатала веселая синеглазница. Был выходной, но Микулин пошел на службу и весь день до обеда провел в непонятном волнении. Он не мог разобрать, отчего случилось такое волнение. С одной стороны, неприятность, вызывают в органы, причем сам Скачков. С другой стороны, повестку-то печатала вчерашняя физкультурница. Микулин еле дождался обеда.

Прокуратура размещалась в полуверсте от РИКа, в новом доме, срубленном в лапу. На втором этаже еще не успели настлать полы и пахло свежей смолой. Внизу, несмотря на воскресный день, трещала машинка синеглазницы. Секретарша грозного помпрокурора взглянула так, что у Микуленка перехватило дыхание. словно охватило его теплым весенним ветром. И в словах ее чуялась такая же теплота. В чем, в чем, а в этом-то Микуленок уж разобрался. Она спросила:

— Николай Николаевич, что же вы убежали вчера с репетиции?

— Да я, та-сказать... имелось срочное дело... — Микулин растерялся. — Ну, теперь я... то есть в любое время.

— Не в любое, а вечером! Сегодня в семь тридцать. Договорились?

Микуленок был на седьмом небе. Он не успел ничего сказать. Некрашенная филленчатая дверинка распахнулась, и Скачков вышагнул из кабинета.

— Христос воскрес! — зычно гаркнул помпрокурора и хохотнул, довольный. — Прошу к моему шалашу... Ты, Микулин, знаешь, для чего я тебя вызвал? Нет, не знаешь! Садись, где тебе любо, кури, ежели здоровья не жаль. Вот я, к твоему сведенью, курю только по большим праздникам. Учти, что нынче у нас Пасха, и кури! Будем оба кадить.

«Что-то больно ты разговорчивой,— про себя отметил Микулин. — Неизвестно, к добру или к худу».

— Значит, Николай Николаевич, так. У меня к тебе три вопроса. Во-первых, когда жениться будешь? Во-вторых, бросай-ко ты свой колхозсоюз да переходи к нам. У нас народу в обрез! Что? Не вижу согласия...

— Пока, та-скать, справляюсь на прежней работе...

— С вином да с криком станешь предриком. — Скачков смеялся своим же шуткам. — Ты Головина знаешь? Не знаешь. Это новый областной прокурор. Приехал в Вологду из Рязани. Голова бритая...

Скачков, наверное, почувствовал, что говорит лишнее, и встал, заходил около своего стола. Микулин разглядывал слоистые линии и сучки сосновых тесаных стен. В простенке висел телефон. Кроме сейфа, стола, старинного кресла и двух некрашенных табуреток, не было в кабинете следователя ничего. Сам Скачков был сегодня в хромовых сапогах и в гражданских суконных брюках. Поверх гимнастерки на правой ягодице, как у Ерохина, топорщилась кобура. Серая пепельная голова следователя подстрижена ежиком, под носом такие же серые торчали два круглых клочка. «Усы-то под Ворошилова», — подумал Микулин и нетерпеливо покашлял. Скачков заметил это нетерпение. Сел за стол.

— Вот ты говоришь, что работа у меня легкая, сиди да плюй в потолок... — (Ничего этого Микулин не говорил и даже не думал.) — А у меня с Октябрьской выходного дня не было. Ночью вчера Ерохин шлет нарочного: срочно принимай меры! Утром сам заявился. В чем дело? Сбежал из лесу административно-высланный. Как фамилия? Малодуб Антон. Я говорю: Малодуба достану из-под земли. Найду, говорю, тебе этого Малодуба, а ты мне взамен что? Ничего.

— Нашли?— спросил Микуленок.

— Вечером отправляю в Вологду. Лет пять отхватит, в окружном суде немного и чикаются. Так вот, Николай Николаевич...

Микулин насторожился. Скачков глядел на него с прищуром. Постукивая по столу карандашом, спросил:

— Ты Шустова хорошо знаешь?

— Александра Леонтьевича?

— Точно так.

— А что?

— Тоже сбежал. Из Ольховицы вначале, теперь с лузинского лесоучастка. Ну, мы и его так или иначе найдем. А ты мне вот что скажи...

Установилось молчание. Скачков глядел на Микулина, Микулин глядел на Скачкова. «Видно, у его мода такая,— подумал Микуленок. — Измором берет».

Скачков действительно брал измором. Но сегодня у него не было на измор времени.

— Ты мне вот что скажи... Какое у тебя мнение о Сопронове? Вы вроде бы из одной деревни.

— Как какое? — удивился Микулин. — Сопронов и есть Сопронов. Он, та-скать, за советскую власть в огонь и в воду. В партии раньше меня.

— Так.

— Ручаюсь за него в большом и малом.

— Так.

— Ежели, та-скать, в части правого уклона... надежнее всех прочих.

— Так, так.— Скачков откашлялся. — Ну а правда, что за грудки любит брать?

— Бывает такое дело. Горяч, иной раз и кулакам волю дает,— сказал Микулин и подумал, что за грудки брать мастер и сам Скачков, у Ерохина хорошо выучился. «Это почему он записывает? — удивился Микулин, обозлился и повторил настойчиво:— Дело такое, товарищ Скачков! За Игнатя Павловича перед кем хошь головой, та-скать, поручусь».

Следователь вдруг переменял голос:

— Давай, давай, поручись! У меня, товарищ Микулин, есть другие сведения! Вот! Почитай...

Скачков бросил на стол бумагу, написанную под копирку. Микулин прочитал с пятого на десятое, но понял, что акт написан о рукоприкладстве Игнахи Сопронова. «Он взял за шкирку мою жену, потом сдернул платок с дочки Палагии, после чево и я из себя вышел...»

Микулин все еще не мог ничего понять. Пока он читал акт, подписанный каракулями Евграфа Миронова, Скачков с любопытством шурился и шевелил ворошиловскими усами. Дважды нетерпеливо вынимал карманные часы.

— Дай суда!— приказал следователь.— А эту возьми.

В руках Микулина оказалась другая бумага, тонкая, отпечатанная на машинке под фиолетовую копирку. Снова, хоть и ненадолго, встало в глазах белое круглое колено следовательской секретарши. Оно, это колено, ободряюще действовало на Микулина, было оно посылнейшей любовью, самой грозной бумаги, посылней, может, и следовательской кобуры с наганом. Иначе отчего же Микулину стало весело? Отчего и сам Скачков показался ненадолго смешным? Разбираться в своих переживаниях Микулину было сейчас недосуг. Он читал вторую скачковскую бумагу:

«Сопронов И. П. уроженец д. Шибанихи, пред. Ольховского ВИКа. Долгое время проживал неизвестно где. Из партии был механически выбывшим. Во время раскулачивания гр. Шустова, д. Ольховица, присвоил ружье, угрожал гражданам. В д. Шибанихе вместе с женой арестовал гр. Миронова, незаконно держал взаперти и занимался рукоприкладством относительно жителей д. Залесной. Позорным финалом в д. Шибанихе явилось раскулачивание середняка Брускова Северьяна и школьных работников с присвоением женой Сопронова двух решет и шестнадцати кило ржаной муки. Как самый активный левый оппортунист и загибщик гр. Сопронов содействовал провалу коллективизации в Ольховском с/с и допустил срыв налоговой политики. Направляется в окружной суд с привлечением по соответствующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР.

Пом. прокурора Скачков».

— Подпиши вот тут,— спокойно предложил Скачков.

— Д... д... да ты что, товарищ Скачков?— Микулин даже начал заикаться.— Я, та-скасть, это... такие бумаги не стану подписывать!

— Почему?

— Тут все, та-скасть, наврано.

— Наврано?— Скачков так грохнул по столу кулаком, что чернильница подскочила и пролилась, карандаш скатился на пол.— Я тебе покажу, как тут наврано! Люба! Арестованного привели? Гражданин Миронов, суда!

С этой минуты Микуленку перестало мерещиться девичье колено.

В сопровождении милиционера в дверях стояла сама синеблuzница, а позади нее — из-под земли, что ли?— перетаптывался своими мокрыми валенками не кто иной, как Евграф Миронов. Его дубленая шуба еще в прихожей воняла овчиной. Под широко растоптанными валенками стояли целые лужи.

У Микуленка что-то опустилось внутри. Скачков подал знак, и Евграф ступил в кабинет. Увидев изумленного Микуленка, Евграф поглядел на него дважды: сперва с одного боку, потом зашел с другого. И ничего не сказал.

— Та-скасть... Евграф Анфимович, доброго здоровья,— проговорил смущенный Микулин. Евграф отвернулся. Он обратился к Скачкову:

— Товарищ Скачков, ты мне скажи в определенности, долго ли ишшо будешь в бане меня дёржать?

— Сколько надо.

— Либо отправили бы, либо домой отпустили. До суда-то...

— Ты, гражданин Миронов, нас не учи! Что делать, мы сами знаем. Я вот тебя хочу с ним познакомиться,— Скачков кивнул в сторону Микуленка,— ежели вы еще не знакомые. Люба! Запиши разговор...

Синеблuzница присела на стул с карандашом и блокнотом.

Евграф потупился. Заправил бороду под шубу. Не знал он, куда деть большие свои ручищи, стоял, глядел на мокрый от валенок пол.

— Ну,— торопил Евграфа Скачков.— Знакомы?

— Этот-то? Этот сатюк мне знакомой, знакомой и я ему, только я с этим прохвостом и рядом не встану, я его, дьявола... Давно надо бы ему ноги-то из жопы выдернуть!

— Тихо, тихо!— Милиционер схватил Евграфа за рукав, да так, что рукав треснул. А может, и сам Евграф так отдернул руку, что рукав треснул, и Микулин не знал, куда деваться от стыда, краснел и ерзал.

— Та-скасть, не имеет значения... товарищ Скачков.

Евграф взъерился еще больше:

— Опеть ты миня таскать? Я вот тебе, прохвосту, потаскаю, я...

Евграф шагнул, намереваясь схватить Микуленка за ворот, и был остановлен.

— Тихо, тихо!— Милиционер держал Евграфа за второй рукав.

— Чево тихо? Я и так тихо! Он, прохвост, мою девку в гумне уделал и сам в райён! Он и у вас наделает выблядков, после в Вологду убежит, я этого кобеля знаю! Он у меня не то запоет, ежели я-то за ево возьмусь! Товарищ Скачков? Скажи-ко, хто евонных выблядков будёт кормить? Моя девка была девка как девка, нонче родила! Парня вон принесла! А вить этот прохвост жениться сулил!

— Родила, говоришь?— Скачков хохотнул.

— Да!— сразу переменялся Евграф. Подбоченился.— Витальём зовут.

...От стыда Микуленок готов был провалиться сквозь землю. Горю, расписался в бумаге и красный как рак высочил из кабинета. Глаза бегали, руки суетливо возились с портфелем. В таком виде Микулин и выскочил от Скачкова. «Как это так?— в смятении роились его мысли.— Неужто Палашка В и т а л ь я родила? Вот тебе и физкультурная пирамида... Евграф давно должен быть отправлен, а он тут. Опозорил, черт бородатый, на весь район опозорил. А Сопронов-то? Ничего себе!..» Микуленок не чуял под собой ног, перешагивал вешние лужи, стремился подальше от прокурорского дома.

Тем временем Скачков, довольный, убрал подписанную Микуленком бумагу и отпустил секретаршу. Евграф по-прежнему стоял, то глядел на затоптанный пол, то снова клеймил теперь уже не Микуленка, а Сопронова. От волнения он забыл сам про себя, о своей же пользе:

— Я ему, дьяволу, вихлет¹ сломлю, когда приеду в Шибаниху!

— Не приедешь,— возразил Скачков.

— Это как так?

— А так. Моржам будешь спины ломать, гражданин Миронов! Отправим тебя ближе к Белому морю. А всего скорее заставят тебя елки спиливать.

— Не я первый, не я последний, — перекрестился Евграф.— Господь не оставит...

— Слушай внимательно, твои вчерашние показания.

Следователь начал скороговоркой бубнить текст допроса: «...взял за шкуру жену Марью, сдернул платок с дочери Палагии, ударил меня по руке, после чего я из себя вышел и схватил от шестка кочергу».

— Так.— Скачков зачеркнул слова насчет кочерги.— Слушай дальше. «Часов было часа два ночи, он распахнул ворота и пнул мою бабу ногой. Она редела, и дочь Палагия редела...»

Скачков велел Евграфу подписать. Евграф взял карандаш и печатными буквами на бумаге вывел свою фамилию.

— Увести!— коротко бросил Скачков.

Милиционер вышел первый, указуя дорогу арестованному, чтобы тот не открывал по ошибке другие двери.

Скачков отодвинул бумаги и зевнул, потянулся, как сонный кот.

Дело сделано.

Не больно-то приятное дело оформлять такие бумаги, но ничего не попишешь, поскольку пришло указание свыше. Дня два назад ему передали телеграмму нового областного прокурора Головина с требованием выявить и привлечь к уголовной ответственности левых загибщиков. На верхнем левом углу чернилами косо была поставлена резолюция предрика: «Выявить. Оформить». Прокурор в районе тоже был новый, приезжий, тот красным карандашом добавил: «т. Скачкову, для исполнения». Скачков думал над телеграммой ночь, ни до кого, кроме Сопронова, не додумался и решил допросить кого-либо из

¹ Хребет. (Прим. автора.)

шибановских арестованных. Рогов Иван был давно отправлен. Под рукой оказался всего один, Евграф Миронов.

Такова была история сегодняшнего допроса заврайколхозсоюзом Микулина. «Хорошо, что не успели отправить Миронова в Кадников», — подумал Сkachков и позвал секретаршу:

— В двух экземплярах! Срочно...

Милиционер был обут в сапоги и шел прямо по лужам, Евграф же шагал в валенках и старался ступать где посуше, поэтому стражник иногда останавливался и ждал своего арестованного.

С утра было солнечно и тепло. Скворцы пели по всему поселку. Сейчас вдруг стало темно, наплыло небесной хмари, и повалил густой, не холодный снег. Широкие, по пяточку, хлопья залепили Евграфову бороду. Шуба раскисла, зимняя шапка промокла, лепешкой сидела на давно не стриженной голове. Но особенно мучился Евграф с обувкой. Ноги были давно сырые, хоть и обут с портянками. Да где это видано, чтобы по лужам да в катаниках? Хоть бы какие неражие сапоги...

Арестованных кулаков, подкулачников и оверхушенных держали в поселковой бане, на допросы водили через весь районный поселок. Евграфу было стыдно до слез: «Эк, до чего дожил! О Паске по лужам в катаниках. Будто варнак аль душегубец...»

Снег падал так густо, что народу на улице не стало, но какая-то старушка все же попробовала всучить Евграфу два яйца и горбушку ржаного хлеба. Милиционер отпугнул старушонку, да и сам Евграф не считал себя нищим. Обижен — это верно. Обижен, да не нищий, хоть и говорится в пословице: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Он и не зарекался. Только на милостынку век не надеялся и нынче не будет. Эх, кабы сапоги вместо катаников! Прохвост Микуленок, небось видел, во что обут Миронов Евграф. У самого-то сапоги хромовые, со скрипом. Те самые, которые подвели блядуна Микуленка за Евграфовой печью. Дело было в летней избе. «Палашка, дочка... Марья, женка... Где они, бедные, чем живут-кормятся?» Евграф на ходу кулаком промокнул глаза. Про Палашку-то... сказал наугад, а ей вроде еще и родить пора не пришла. В мае должна и родить.

Но в голове у Евграфа так уж сложилось, что Палашка родила парня Виталей. Почему Виталей? А кто знает, Виталей и Виталей...

Проходили мимо потребилловской лавки, дальше начинались склады и «галдарей». На одной галдарее под навесом сидел человек с котомкой. Он оглянулся, увидел Евграфа и сразу вскочил:

— Божатко!

Евграф встал как вкопанный в землю. Не верил глазам, разглядывал:

— Пашка? Неужто ты? Здорово, парень! Христос воскрес!

— Воистину...

Милиционер не слышал и топал дальше, а когда почувствовал за собой пустоту, обернулся назад:

— Живо, живо! Шагом марш.

— Да мы и так живы, — сказал Евграф. — Вишь родня вить мне, дай хоть поговорить...

— Ежели не очень долго. — Милиционер оглянулся во все стороны. — А то мне за вас попадет.

— Не попадет! — Евграф обнял Павла. — Ты давно ли с дому-то?

Оба сели под навес галдарей, около коновязи. Павел сбивчиво рассказал про Шибануху и про свою работу на лесоучастке. Спросил про Ивана Никитича.

— Отправлен! Давно отправили, а куды — не знаю. И Саша записенский отправлен, и Гришка из Заозерья, а меня вот держат. Пошто держат, не знаю. Сидим в бане, кормят дородно. Да кажин день новых приводят, одних в Кадников отправят, новых приводят. Места-то мало.

Милиционер забеспокоился:

— Хватит! Встали, пошли.

— Да мы счас! — обратился к нему Павел. — Еще немного...

Евграф заторопился:

— Паша, скажи моим!.. Вот кабы сапоги мне. Послали бы с кем!.. Я бы не тужил. Вишь обутка-то? Не по климату катаники-то!

Павел, не долго думая, начал разуваться.

— Да ты сам-то... — Евграф растерялся.

— Бери, бери! Обувай. Я-то тут разживусь. Возьмут в Красную Армию, там обуют. А то знакомых увижу...

Евграф вопросительно поглядел на конвойного. Тот легонько покашлял и опять оглянулся во все стороны. Негромко сказал:

— Живо, живо. Обувай, да надо идти.

Евграф быстро обулся в Павловы сапоги.

— Паша... Век буду помнить... Ну, не поминай лихом. Скажи там поклон... Подсоби моим бабам... чем можно...

— Прощай, божатко! Не увижу я их. Уеду. Хочу в Красную Армию...

— Поезжай... Ладно и сделаешь...

Павел стоял босиком на «галдарейном» настиле кооперативного склада. Ныла больная ступня. Евграф с милиционером быстро двигались к бане, оба вскоре исчезли за углом галдарей.

Павел кусал губы. Глаза тяжелели от влаги. Ступня и здоровой ноги начинала мерзнуть, он поглядел на Евграфовы валенки. Как в них добраться хотя бы и до военкомата? Деньги, выданные Шустовым, не троганы. Надо купить какую-нибудь обутку. Сапоги... хоть какие-нибудь. Вот и лавка рядом. До лавки-то уж как-нибудь...

Он расправил вонючие сырые портянки Евграфа, сунул руку в один валенок, чтобы выбросить промокшую соломенную стельку. Рука нащупала что-то лишнее. Павел вынул из валенка много раз сложенную бумажку. Развернул. Написанная химическим карандашом, подмоченная на углах и сгибах, была она сухая посередине. Павел прочитал и все понял. Украинские слова почти все оказались понятными:

«Кому в руки попадет это письмо. Низкий тому поклон. Отправьте по почте по этому адресу...» Бумажка с адресом была написана по отдельности. Павел спрятал письмо и адрес в бумажник, обул мокрые Евграфовы валенки и запрыгал через лужи в сторону кооперативного магазина. Но магазин был закрыт. Военкомат размещался в том же доме, только с другого крыльца. Павел запомнил это еще тогда, когда вызывали на приписку. Он завернул за угол. На дверях с небольшой красной вывеской — висячий замок. Выходной! Все выходные, кроме милиции... Надо было ждать до завтра, а где ночевать? Павел, растерянный, присел на рундук.

Милиционер, сопровождавший Евграфа с допроса в районную баню, хоть и с оглядкой, но дал переобуться. А как встретит райвоенком? Действительно ли приписное свидетельство, не потребуют ли других справок? А тут еще такая обутка и вид... Нет, вид у Павла Рогова был совсем не военный!

XIII

«Христов день... Пасха. Самый большой праздник в году...» — Павел боролся с дремотной усталостью, сидя на военкоматском рундучке. Ему вспомнилось детство. Ночь перед этим праздником всегда была какая-то непонятно торжественная. Большие почти не спали, ходили к церкви, маленькие чуяли все это во сне. Утром бабушка поцелует и даст крашеное яйцо: «Христос воскрес, Пашенька!» Надо было говорить: «Воистину воскрес», а он долго не мог научиться. Стеснялся, что ли? Пироги утром были всегда пшеничные, иногда полубелье. На улице вешняя свежесть. От всех домов слышны веселые петушинные клики. Говорили, что солнце в тот день ближе к земле и что оно играет на небе. Ребятишки и некоторые взрослые выходили утром смотреть, как солнце играет и радуется. Играет ли солнце сегодня? Или и над Шибанихой такая же снежная серая мгла? Если и так — все равно в доме напечены пироги. Дедко Никита в новой ситцевой рубаше поет под нос себе: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровал». И Вера,

жена, и сын Ванюшка, и теща Акси́нья — все праздничные. Встала в глазах мать с братом Алешкой: у них ни дому ни лому. Где они-то сейчас?

Павлу стало еще горше. Он сидел у запертых военкоматских ворот, и поздний весенний снег падал на его понурые плечи. Была Пасха. Христов день, двадцатого апреля одна тысяча девятьсот тридцатого года. Был праздник, скоро бы сеять, а он, Павел Рогов, тут — в чужом месте, с мокрыми ногами, с одной тридцаткой в кармане. В бумажнике было еще приписное свидетельство и арестантское чье-то письмо. «Как чье? — мелькнула вдруг мысль. — Да ведь это, наверно, письмо Антона, Грицькова брата. Убежал мужик от Ерохина искать женку с младенцем, наверно, вчера убежал! Его сразу же изловили да в районную баню. Теперь пойдет под суд, посадят в исправдом уже за побег. А виной-то всему он, Павел Рогов. Эх, дурак! Не надо было рассказывать Апалоньчу про женку с мертвым младенцем. Тот бы не сказал Антону с Грицьком, Антон бы не побежал искать семейство... И не сидел бы сейчас, не ждал суда...»

Куда идти? Где искать заступников? Земляка бы найти, Кольку Микулина, тот, говорят, стал большим начальником. Да где искать? И ночевать тоже не знаем где. Говорят, есть Дом крестьянина. А сапоги купишь, платить за ночлег будет нечем. И голодный как волк...

За воротом еще в поезде ночью опять что-то чесалось. Сейчас нащупал, прижал, вынул на свет и, так же, как вчера, обомлел. Большая белая вошь, шевеля лапками, ползла по черной от железа ладони... Вторая за жизнь! Никогда не привыкнешь... Он оглянулся, положил ее на порог, со злобой прижал ногтем. Под ногтем хрустнуло... Стыд и отчаяние охватили Павла. Он покраснел и вновь оглянулся. Плюнул...

«Домой надо! — подумалось вдруг. — В армию все равно не возьмут. Будь что будет. Бог не выдаст, свинья не съест».

Павел решительно поднялся с военкоматского рундука. Шагнул за угол. Домой! Пешком, на карачках или кувырком, а домой... Больше и думать нечего...

Сразу встрепенулось что-то внутри, глубже стало дыхание. Появилась сила в ногах... Домой, домой... День-два, и Вера истопит баню. Он скинет с себя все, отпарит, смоев барачную грязь, оденется в чистое, только с катка белье...

Павел даже запел, правда, только себе под нос:

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся!

Запел, и стало почему-то смешно, песня оказалась как раз про него. Домой, домой... Он распрямился, надел котомку.

— Хасиям! — послышалось вдруг чуть не над самым ухом. — Авэла...

Две звонкие цыганки обходили подугольную лужу. Они увидели Павла.

— Христос воскрес, касатик! — проговорила одна и остановилась. — Позолоти ручку, скажу тебе всю правду, что было и что с тобой будет, скажу...

— Неужто знаешь, что было? — сказал Павел. Приступ мальчишеского озорства накатился неизвестно откуда.

— Дай, дай руку-то, бриллиантовый! — говорила цыганка гортанным нездешним голосом. — Дай! А положи на ручку один двугривенной.

Павел Рогов поискал мелочь в кармане.

— Не жалея, касатик, все положи! Эх, вижу, что не скупой. Но послушай-ко, что скажу! Не возносись, золотой. Хоть и вырос ты в высоком доме, а горя много изведal! Отца-мать ты привык почитать, к женскому полу баловства в тебе нет! Жене ты верным будешь два года, на третий год изменишь...

— А про ее что скажешь? — засмеялся Павел.

— А про ее, касатик, ничего не скажу, в глаза мне черный туман стелется, знаю только, что деток у тебя один сынок, скоро будет второй, а будет

ли третий, известно одному Господу Богу. И ждет тебя семеренье и дорога в казенный дом. Отринь ты, касатик, пустые все хлопоты, а остерегайся соседского злого глаза. Тот глаз глядит на тебя и ночью и днем, ящó бойся напрасной брани и черной пятницы...

Поверх широкой, до пят, цветной юбки на ней ловко сидел коричневый казачок. На поясе, вокруг казачка, опоясан был ситцевый черный кошель, наполненный неизвестно чем. Алюминиевый бидончик был привязан сбоку. Шаль во время гаданья сползла на затылок. Черные, с вороньим отливом волосы, на пальцах смуглой руки сразу три разномастных кольца.

— Откуда будешь? — крикнул подошедший бородатый цыган. — Не с Вожеги? У нас на Вожеге много знакомых.

Кыш! — обернулась цыганка. Но цыган не обращал на жену никакого внимания.

— Поедем на Вожегу, пока снег на дороге. Вай-вай-вай, какая твоя обутка. А вот купи у меня сапоги. Новые! Почти как джимы...

— А сколько возьмешь? — Павел обрадовался и убрал руку.

— Тридцать! — Цыган словно бы знал, сколько у Павла всех денег. — Тридцать карбованцев клади — и сапоги твои! Совсем хорошие сапоги. Джимы — знаешь такой фасон? Воду не пропускают. А вот иди глядеть! Сам увидишь, сам скажешь: хорошие сапоги!

Цыган потащил Павла за рукав к галдареям. У коновязи стояла упряжка. В широкие розвальни, набитые цыганским скарбом, была запряжена чалая лошадь. Она старательно и звучно хрупала зеленое, с лесного покоса сено. Цыган присвистнул, ногтем почесал у себя в затылке, а кнутовищем почесал брюхо у лошади.

— Может, лошадку мне променяешь? У меня лошадь лучше всех! Баба у меня яще лучше, вона, гляди, сколько их накопила!

Только сейчас Павел заметил четыре черные головенки, торчавшие из глубины воза. Павел подмигнул одному. Тем временем цыганка уже гадала какому-то новому прохожему.

Цыган, подпоясанный красным кушаком, носил шапку с зеленым бархатным верхом и широкие, драные, табачного цвета вельветовые штаны. Сапоги на ногах были не лучше Павловых валенок. Он порылся в возу, извлек продажные сапоги — не новые, обсоуженные сапоги, но с новыми подметками и выправленными каблуками. Павел взял правый сапог, прикинул подошву. Получалось даже с запасом на портянку. Была не была!

— Сбавишь десятку, возьму.

— Эх, не могу, друг, никак не могу, — жалобно заныл цыган и замахал бородой. — Тридцать!

Что было делать? Стукнули по рукам... Павел достал бумажник, подал цыгану единственную тридцатку. Взял сапоги, но переобуться при цыганах не стал, попрощался и пошел вдоль улицы. Кое-где на дороге оставались сухие места. Домой! Домой... Летел бы домой на крыльях, да крылья не выросли... Скворцы вон уже прибыли. Вьют гнезда, поют... Грачи на проталинах переваливаются с боку на бок, тюкают желтыми клювами.

Он отмахал одним приемом версты полторы. Дорога шла вначале вдоль железнодорожной насыпи, дальше свернула налево. Неужели не будет ни одной попутной подводы?

За поселком, около первой деревни, у дорожного отвода Павел сел на жердину, чтобы переобуться. Сперва он досуха выжал Евграфовы мокрые портянки. Нога, которая осталась без пальца, ныла, ныла нутряным костяным нытьем, зато хромота была не очень заметной. По крайней мере, так казалось ему самому. Он тщательно намотал влажную портянку и начал обувать сапог, но... что это? Сапог не влезал. Опойковое голенище оказалось настолько узким, что обмотанную портянкой ступню пустило в себя только до пятки. Павел попробовал силой натянуть сапог. Все было напрасно и зря. В сердцах он бросил сапог под ноги... Одумался. Обул растоптанные бахилы Евграфа и хотел бежать обратно, искать цыгана. Но дорога домой манила его и звала, небо прояснилось и засинело. Просиял дальний лесок, стал вдруг зеленым и солнечным. Домой! Будь что будет... Черт с ним, с цыганом. «„Два года верным

будешь, на третий жене изменишь”, — всплывало в памяти гадание цыганки. — И к чему она так сказала?»

Поезд грохочет по насыпи, вагоны нагружены лесом.

Домой! Павел затолкал цыганские джими в мешок и ринулся по дороге. Голодный, с мокрыми пятками, он шагал широко и споро. Дорога сильно отмякла, нога порою проваливалась. Он шел часа два, и хоть бы одна подвода! Да и кто же ездит под извоз в самую Пасху? Разве только милиция либо цыганы. Дорога падала на глазах, а идти надо ровно полсотни верст...

Стало тепло. Небо, золоченное нестерпимым солнечным светом, раскрылось ясно и всеохватно. Туча ушла за лесные зубцы в сторону Белого моря. Туда, к Соловкам, тянуло непрерывно широким вешним теплом. Горели снега. Вешние воды точили, подпирали снизу и взламывали речные сине-зеленые панцири. Лишь ледяные озерные монолиты пока не поддаются теплу. Озера простоят до весеннего сева. Когда береза обьметса зеленым дымком и отшумят ручьи, метровые ледяные пласты на озерах ослабнут и источатся. Ледяная твердыня, иссеченная теплой водой, пойдет пучками стоящих серебряных пик — ступи, и погиб... Но далеко еще до такой поры! Хотя птица летела с юга... Кричали грачи. По деревням у каждой скворечни сидели скворцы, то стрекотали — дразнили местных сорок, то мяукали — дразнили котов. А то вдруг встрепенется такой скворчинный хлюст, распушится, обнажит худую, отошалаую во время полета шею, затем уложит черно-голубое перо и станет опять красавцем. И так споет, от себя лично, что баба, идущая с полными ведрами, остановится на тропе, не зная тому причины.

Павел Рогов весело одолел первый волок, почти с песнями, а на втором выдохся. Про ноги в размякших мокрых да еще и рваных валенках лучше было не вспоминать. Болела спина с поясницей, есть хотелось еще со вчерашнего. А больше всего хотелось сойти с дороги, перебраться через канаву и присесть на какой-нибудь лесной придорожный пенёк либо валежину. Павел знал, что лучше не останавливаться: отдохнешь, рассидишься, и после будет еще хуже, может, и не встанешь с пенька.

Домой! Там за деревню будет еще один волок, правда, самый долгий. Одолеть был его. Только хватит ли сил голодному? Павел снял шапку, зажмурился. Солнце пекло чуть не по-летнему. Голова закружилась. Он шагнул не туда, еле устоял на ногах. Хоть какой бы нибудь ржаной сухарь завалился в котомке! Ненужные цыганские сапоги в мешке и ни куска хлеба, не говоря о гостинцах.

Открылось за лесом поле и большая деревня вдали. И не одна еще, а две или три. Павел узнал деревню. Это здесь он покупал зимой верхний жернов. Ноги раньше головы решили, что делать, сами свернули с большой дороги на отворотку... У деревенского отвода он прислонился к столбу. Дальний девичий голос долетел к отводу вместе с теплым ветряным вздохом, но Павел не поверил своим ушам. Не спит ли он? Девичий голос был явственным, где-то в том конце пиликала даже гармошка. И вот совсем четко пропела чья-то девка:

У милово поговорка:
«Ничево подобново»,
Где же мне ево любить
Таково благородново.

Павел улыбнулся. «Пасха. Добрые люди празднуют. Творится неизвестно что, а все равно празднуют. Надо зйти к мельнику, там сразу же самовар... Принесут пирогов, тут нечего и сумлеваться». Павел встряхнулся, как тот усталый тощий скворец, отшатнулся от отвода, шагнул в деревню. Где же тот дом, откуда зимней ночью увез он мельничный жернов? Вроде бы в самой середине... Высокий дом, окна с наличниками. Да вот же он! Вот и тот самый колодец, из которого поили коня. Крыльцо с такой же резьбой, как на окнах.

Он подошел ближе. Взобрался по неметеным ступеням на крыльцо, и сердце упало. В пробоях торчал замок. Стеклышко в рамке над воротами выбито, тропы в огород нет. Не пахло от подворья ни скотиной, ни дымом, не слышно было никаких звуков.

Павел Рогов все понял. Он окликнул женщину, вроде старушку, выглянувшую из коровьих ворот соседского дома. Спросил, где хозяйева, у которых была мельница.

— И-и-и, батюшко. — Старушка оглянулась по сторонам. — Подойди-ко поближе-то, так и скажу. Раскулачили их, разорили, ишло до Рожесва. Мужиков-то увезли неизвестно куды, а бабы да малолетки у родни в других деревнях. А ты, батюшко, чей? Не Ольховской ли волости?

— Ольховской, — улыбнулся Павел, — что, разве заметно?

— В Ольховицу-то выхаживала моя двоюродная, не знаю теперь, жива али нет. Да ты заходи в избу-то!

...В избе никого не было, но стоял на столе самовар. И пироги, хоть и не пшеничные, а двоежитные, были нарезаны на хлебной доске!

— Садись-ко, садись да выпей кашецку, — сказала старушка, и Павел не стал отказываться. Она пододвинула ему хлебную доску, нацедила в чашку кипятку и добавила туда что-то из чайника. По вкусу похоже было на брусничный лист. Павел выпил две чашки, съел один косою восьмеричок от воложного пирога. С трудом подавил в себе голодный позыв, сказал «спасибо» и вышел из-за стола. Ему было стыдно сказать, что он голодный...

— Минька-то при мне миличию спустил с листницы, — докладывала старушка уже на крыльце, — довго-довго ево взаперти-то дёржали...

Ноги после отдыха не слушались. Есть хотелось еще сильнее, но до солнечного заката Павел прошел еще один волок. И опять ни одной подводы! Звенело в ушах, колени от слабости подгибались. Домой! Глаза иногда закрывались без его ведома, и ему что-то снилось, он спал на ходу, что-то явственно виделось, и он слышал родимые голоса.

Ночью, шатаясь как пьяный, он вышел из леса в поле Ольховской волости. В деревнях еще светились кое в каких домах кутные окна. Павел в полусознательном состоянии, падая и вновь подымаясь, то и дело проваливаясь на разбухшей дороге, достиг к полуночи родимой деревни Ольховицы.

...Митька Усов тоже поминутно падал и тоже вновь вставал сперва на карачки, потом на ноги.

Под частым разрывом гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался...

Усов пел, падал и снова вставал. Он возвращался из гостей к семейству. Маячило в темноте пустое холодное подворье бывшей коммуны имени Клары Цеткин. Слабый свет мерцал в окне флигеля. Тут на дороге и наткнулся Павел Рогов на лежащего бревном человека. Павел поднял его на ноги, поднял и тут же упал вместе с Усовым.

— Панко, ты? Данилович? — кричал Усов. — Мы, это, счас... Ты держись за миня-то, за миня-то держись! Тошнит?

Углядел Митька Усов, что Рогов тоже не стоит на ногах. Кто напоил — не спрашивал. Валились с ног оба: и Павел и Митька, один от голода, другой от вина... Поднимая друг дружку, постепенно дошли до флигеля.

— Иди! Тут доберешься, — сказал Павел.

— Рогоф? Я это... счас... Данилович?! Да неуж... я! — Митька ударил себя в грудь. — Счас самовар! Я, это, как из пушки...

— Иди, иди в избу... я к матке. Жива ли она?

— Жива, жива, в бане... это... с Олешкой...

Усов кашлял и корчился на крыльце флигеля. Павел Рогов собрал последние силы. Медленно в темноте побрел в сторону своего дома...

Он не хотел глядеть на родной дом, в котором жил теперь Гривенник. В зимовке горел свет, пиликала чья-то гармонь. Не тут ли пировал Митька Усов? Павел как вор прошел мимо крыльца, проковылял в огород, к бане. Дверца в предбанник была не закрыта.

— Хто, крешеной? Хто шевелится-то? — услышал Павел из темноты. Материнский голос был слабым и жалобным, как в больнице.

— Мама, это я... Не бойся, это я...

Павел открыл дверцу, согнулся чуть ли не вдвое и ступил в отцовскую баню.

— Паша, неужто ты? — заплакала Катерина. — Олеша, батюшко, вставай-пробудись. Зажги коптилку, где у нас спички-ти?

Алешка, одетый, крепко спал на скамье. «Молодец парень, не стал жить в Шибанихе». Павел нащупал коробок на банном окне, чиркнул спичкой. Коптилка зажглась. Он прижал к плечу сивую материнскую голову:

— Не плачь...

— Да как, милой, не плакать-то... Гли-ко, до чево мы дожили-то...

Она лежала на соломенной постели на верхнем полке под стеганным одеялом. Павел отвернулся, сел на первый полок. Он видел, вернее, чуял, как мать пытается сесть и не может.

— Лежи! Не плачь...

— Откуда ты, Пашенька?

— Вот... Иду из бурлаков... Еле выбрел. В Шибанихе все ли ладно?

С каждым дыханием трепетно шевелился маленький, готовый погаснуть коптилочный огонек. Свет не достигал прокопченных стен. Коптилка освещала один подоконник и давно не стриженную Алешкину голову.

— Лежу, Паша. На боках-то, наверно, пролежни... — Мать снова заплакала. — Угораю; сынок, кажинное утро. Да, видно, совсем скоро умру. Нет от Василья-то грамотки? От батьки-то уже и не ждем, видать, сгинул...

— Не плачь... К кому ходите, когда скутано?

— К Славушку. Олеша меня на чунках возит, ходить-то я не могу.

Керосин выгорел, коптилка погасла. Мрак. И холодно, как в погребке...

Павел хотел спросить, где берут дров, что едят, но ничего не сумел спросить. Привалюсь к стене, забылся, забылся в беспокойной мучительной дреме. Забрзжил в окошке синеватый рассвет. Павел вздрогнул от какого-то внутреннего толчка. Силы вернулись к нему, хотя ноги едва-едва слушались. Сердце щемило. Алешка спал под шубой на каком-то тряпье, вроде на половиках. Под головой не подушка, а старый материн казачок. Сдерживая стоны и оханье, зашевелилась на верхнем полке мать, спросила:

— Куда ты, Пашенька?

— Лежи, скоро приду...

Павел сам не свой вышел из бани. Давило в надбровьях. Кусал губы, сжимал кулаки. Настоящие слезы вскипели, когда увидел на крыльце родную подкову. На ступенях намерзла чья-то ночная моча, ворота не заперты. В сенях, давно не метенных, валялись деревянная расколота лопата, брюквенный лычей², сенные волоти. «Гривенник скотину завел...» — мелькнуло помимо сознания. Павел схватил скобу, распахнул двери в избу...

Он встал у родного порога. В подвешенном углу за грязным столом белела чья-то круглая лысина. Фокич! Тот самый уполномоченный, который играл и плясал в избе у Кеши, когда записывались в колхоз. Красные после пьянки глаза без страха и даже весело в упор уставились на пришельца. Он поставил только что початую бутылку на лавку в угол и хрипло проговорил:

— Ну? Чево не здороваешься?

Павел отвернулся. Оглядел избу. Все было раскидано, пол заплеван, окурки торчали в колодках зимних оконных рам. На лавке с открытым ртом храпел Гривенник. Шуба Данила Пачина сползла с него на пол. Павел еще раз повел глазами... На гвозде около вешалки, как прежде, висел железный безмен, на одном конце свинцовый, с куриное яйцо, набалдашник, на другом — крюк.

Фокич заметил, что Павел глядит на безмен, и заерзал на лавке. Взял бутылку, налил в чашки себе и Павлу:

— Иди суда! Выпей!

Павел подскочил к стене и сдернул безмен с гвоздя...

— Ты што, на Соловки захотел! — заорал Фокич и весь побелел. Павел Рогов придушил свое бешенство. Гривенник проснулся от крика. Остановил Гривенник храп, вскочил с лавки и вытаращил глаза.

С безменом в руке Павел Рогов прошелся по отцовской избе. Вернулся к

² Ботва. (Прим. автора.)

порогу. Ударил ногой в сосновые двери. На крыльце он сел рядом с подковой, заплакал утробным беззвучным плачем, как плачут коровы и лошади...

Славушко, родня и порядовой сосед, увел его в тепло своего дома, усадил за стол. Оба с женой начали сердечно потчевать Павла. Но самовар, стопка рыковки и вчерашние пироги не могли успокоить гостя. Павел то вскакивал, то задумывался.

— Вячеслав Иванович, у тебя есть ли ржаная мука?

— Так ведь, Данилович, ты сам и молот. — Хозяйка Матрена, жена Славушка, вышла из кути. — Как нет, есть мука.

— Навешайте фунтов двадцать займы! Счас надо... А еще после навешаете столько же...

Хозяйка поглядела на мужа.

— Иди к ларю, — сказал ей Славушко. — Да чего ее весить, муку-во? Я, Данилович, и без весу. Бери полмешка, и вся недолга... Хоть счас, хоть после.

— Пусть останется у тебя... Матрена иной раз испекет... Для матки с Олешкой.

— Да она уж пекла. Вроде бы пекла...

Славушко застеснялся, что сказал про то, что Матрена пекла для матери Павла. Полез в шкаф за новой бутылкой рыковки...

После двух стопок Павел почувал в себе недоброе. Он решил заглушить это недоброе третьей стопкой. Но все вышло наоборот.

— Дров-то было до Нового года, и дрова ваши, — тараторила Матрена, — вот Олешка по ночам к дому-то ходил да и брал, а Гривенник заприметил. Одинова замахнулся поленом. На Олешку-то.

От этих слов у Павла закаменели скулы. Забилось, затрепетало пойманной птицей в левом боку... Матрена ушла с пойлом к скотине. Славушко, наливая, рассказывал:

— Игнашка пришел одинова, в лавке народу не было. А што я, што мне Лачины! Одного отправили и второго куды надо отправим...

— Где Игнаха сейчас?

— Да в мезонине! Сидит как сыч, там и по праздникам.

Славушко взял миску в кути, открыл люк и улез под пол за рыжиками.

Павел рванул на груди рубаху. Пуговицы посыпались на пол. Он вскочил с лавки, схватил безмен...

Топилась у Матрены печь, жарко топилась. Огни ощупывали высокий печной свод, облизывали чугуны с коровьим пойлом. Зачем поглядел на огонь Павел Рогов? «Убью... — бормотал он, выбегая на улицу. — Оглушу, как глушат баранов, все одно пропадать...»

Он шел по Ольховице с безменом в руке, без шапки, с распахнутым воротом. Страшный и невменяемый, он ступал то вбок, то прямо. Он шел к бывшей сельской управе, к тому мезонину, где даже по большим праздникам сидел Игнатий Сопронов. Безмен, зажатый в правой руке, казался Рогову слишком легким, слишком игрушечным. Встречные девки шарахнулись в снег...

Сельсоветская коновязь, у которой стояла чья-то повозка, клонилась вбок. Дыбом вставало бревно коновязи вместе с лошадьёю и людьми. Человек с десятком подростков, каких-то баб и девок расступились, дали дорогу.

И вдруг в трех сажнях от крыльца Павел остановился. Он не верил своим глазам. Из настежь раскрытых дверей с высокого сельсоветского крыльца сошел белый как снег Игнатий Сопронов. Руки его были связаны спереди, скручены ремнем от шлеи или чересседельником. На полшага за ним и чуть сбоку вышагивал дородного вида милиционер, кажется, тот самый, что арестовал Ивана Никитича. С другой стороны и тоже чуть подальше торопливо двигался Фокич. Уполномоченный начал отвязывать лошадь. Милиционер подсобил Игнахе устроиться в розвальнях и сам взял вожжи из рук Фокича.

Павел тряс хмельной головой. Мелькнула жуткая мысль: «Теперь и я... как Жучок... Отправят в Кувшиново».

Нет, все было наяву! Игнаха сидел на возу со связанными руками. Белый, ни кровинки в лице. Надменно глядел поверх голов.

— Сена не мог побольше достать? — спросил милиционер уполномоченного.

— Найдем сена! — ответил Фокич. — Спросим в любой деревне.

Уполномоченный Фокич снял шапку, ладонью вытер белую круглую лысину и сел сзади рядом с Сопроновым. Лошадь отфыркнулась; розвальни сдвинулись, безмен выпал из рук Павла Рогова.

Хмель из головы вылетел тоже... Лицо остудило порывом весеннего ветра. Народ копился около сельсовета. Кричали подростки, бросаясь катками мокрого снега. Первой всплеснула руками уборщица Степанида:

— Ой, нет, не доехать им, дорога-то, деушки, пакнула³.

— Доедут! Эти хоть куда доедут.

Кто-то поздоровался с Павлом, кто-то позвал его к горячему самовару.

— Неужто самого Игнаху прищучили?

— Не видишь, повезли! Руки ремнями связаны...

Но Павлу все еще думалось, что он спит и что все это снится во сне.

Топились печи. Дым, как вчера, шарахался сверху вниз, предвещая весенний дождь. К запаху дыма и талой воды примешивался еле слышимый, мало кому заметный запах вытаивающей земли.

— Это кто безмен потерял?

— Бери да неси. Видать, вытаял.

— Дорога пала, а с ней пала и власть Игнашкина, — услышал Павел.

— Надолго ли? Одно в этом деле голове круженьё. Небось ворон верону глазу не выключет.

Голос показался Павлу знакомым...

Конец второй части

³ Пропала, испортилась. (Прим. автора.)

АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

(1889—1945)

*

В ЭТОТ ДЕНЬ

Впервые о поэте Несмелове я услышал в Китае еще в 1949 году. Из Порт-Артура ездил в Дальний — получать японские котлы для своего «объекта». Посредником нашей сделки оказался русский эмигрант, работавший в порту экспедитором иностранной фирмы. В кремовом костюмчике из китайской чесучи, в белой рубашке с раскладным воротом, в плетеных желтых сандалетах, он был строен и как-то легок для своих пятидесяти лет. Насчет бдительности при встречах с иностранцами, да еще русскими эмигрантами, нас, молодых офицеров, наставляли строго. Но я не отличался ни особым послушанием, ни рвением по части служебных инструкций.

Итак, мы оказались в ресторане, на крыше огромного торгового дома русского купца Чурина. Распивая прекрасную чуринскую водку «Жемчуг», болтая о том о сем, я спросил его: не из офицеров ли он? Он ответил уклончиво, что все было, да сплыло, ушло, мол, вместе с Россией в воспоминания. Потом эдак прищуркой, не скрывая азартного интереса, смерил взглядом меня с головы до пят, и, оправив пуговицу на моем погоне, сказал: «Так-то вот, господин лейтенант». «Инженер-лейтенант», — уточнил я. Он усмехнулся: «Вы во флоте так и не расстались со своими автономиями». «На флоте», — опять упрямо поправил я его. Он рассмеялся и сказал, имея в виду что-то свое: «Забавно...» Затем глубоко затянулся сигаретой, откинулся и, глядя куда-то поверх моей головы, стал читать стихи:

Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, растет.
Уж лиц не различить на пароходе.

Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое зывание сирены.
И вот корма. И за кормой — тесьма
Клубящейся, все уносящей пены.

Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи — завеса.
И я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.

Пойдемте же! Не возвратится вспять
Тяжелая ревущая громада.
Зачем рыдать и руки простирать?
Ни призывать, ни проклинать не надо.

Но по ночам — заветную строфу
Боюсь начать, изгнанием подрублен,—
Упорно прорубающий тайфун,
Ты близок мне, гигант четырехтрубный!

Арсений Несмелов (псевдоним) родился в июне 1889 года в Москве, в семье статского советника Ивана Ивановича Митропольского, писателя-толстовца. Окончил кадетский корпус. Участник двух войн — первой мировой и гражданской. Первую книгу — «Военные странички» — выпустил в свет в 1915 году в Москве. В начале 20-х годов во Владивостоке выходят его сборники «Стихи» (1921), «Уступы» (1924), позднее в Харбине — «Кровавый отблеск» (1928), «Без России» (1931), «Полустанок» (1938) и другие.

Скрипят борта. Ни искры впереди,
С горы и в пропасть!.. Но обувший уши
В наушники, не думает радист
Бросать сигнал: «Спасите наши души!»

Я, как спортсмен, люблюсь на тебя
(Что проиграю — дуться не причина)
И думаю, по-новому любя:
«Петровская закваска... Молодчина!»

Я был захвачен этой мерной волновой плавностью стиха, этой броской изобразительностью, этим саднящим, хватающим за сердце ностальгическим чувством отчаяния и непонятной, потрясающей твердостью духа при падении в бездну неизбежности. «Какой поэт!» — только и выдохнул я.

Стихотворение это я запомнил наизусть... А потом, долгие годы роюсь ли в старых сибирских и дальневосточных изданиях, общаясь ли с эмигрантами, хорошо знавшими поэта (особенно с другом его, замечательным писателем Всеволодом Никаноровичем Ивановым¹, человеком феноменальной памяти не только на события, но и на стихи), я все больше и больше познавал поэта Несмелова и радовался: да, мое первоначальное восторженное восприятие было не случайным.

Не то чтобы у Арсения Несмелова все было равноценно и безупречно. Нет, конечно. Попадают и стихи скороспелые, даже неряшливые, слова проходные, рифмы банальные... Увы, и это есть. Да и как не быть. Поэт почти всю жизнь прожил то в боях двух войн, то в изгнании вдали от родины, в захолустном Харбине, «в духоте, в маете», как скажет он потом в поэме «Протопопица» о своем герое Аввакуме. И смерть он принял такую же мученическую, как протопоп, — погиб в гродековской пересыльной тюрьме в сентябре 1945 года.

Горькая, тяжелая участь многих русских талантов за последнее семидесятилетие... Но, как и тот «огнепальный поп», не сломлен был и сам Несмелов, и дух его, талант бушевал, аки огонь на ветру, до последней черты, «до смерти до самых». Он мог бы с полным основанием сказать о себе слова, написанные им об Аввакуме:

Был он смел к умен. И писателем был
Беспощадным для гнили и нечисти, —
Огневое перо он себе раздобыл
Без указок риторики греческой.

Несмелов — поэт самого страшного, трагического времени нашей истории, и мало кто из его современников так сильно, так осязаемо, «грубо и зримо» написал об этом вселенском разбое, именуемом гражданской войной, когда,

...воскрешая мифы,
Заклубилась, почернела высь.
Из степи какой-то полудикой
Всадники в папахах ворвались.

.

А с балкона, расхлябаснув ворот,
Руку положив на ятаган,
Озирал раздавленный им город
Тридцатитрехлетний атаман.

Шевелил он рыжими усами,
Вглядывался, слушал и стерег.
И присевшими казались псами
Пулеметы у его сапог.

Эти «псы-пулеметы» поэтической находкой не назовешь, как привыкли мы выражать свои восторги по поводу «зримых деталей», — тут голое насилие во всем своем безобразии, тут убийственная картина народного бедствия. Да, да... Тут не игра в искусство, не черный квадрат, не треугольная груша, тут «великая в простоте художественность», как выражался Бунин. Это вовсе

¹ Всеволод Никанорович Иванов — автор романов и повестей «Черные люди», «На Нижней Девре», «Ночь царя Петра» и других.

не значит, что у Несмелова нет яркой образности, или, как называют это, живописи словом. Напротив, он необыкновенно живописен, точен и многообразен в красках, звуках, ритмике:

На чердаке, где перья и помет,
Где блики в щели шурились и гасли,
Поставиди треногий пулемет
В царапинах и синеватом масле.

Здесь все осязаемо и точно, все можно не только глазами увидеть, но и руками потрогать, все ощутить на цвет и запах. Или вот еще одна картина с «выставки фронтовой жизни»:

Идем давно... костры блестят из мрака,
И слышен говор тысячи людей...
Недалеко, должно быть, до бивака...
Вот в темноте залаяла собака
И где-то близко — ржанье лошадей.

Обед давно готов в походной кухне,
И кашевар не скупое делит щи...
— Эй, землячок, смотри, брат, не распухни! —
А утром — бой. Угрюмо пушка бухнет,
И смерть откроет черные клещи...

И точно все и зримо... И главное — сколько чувства вызывают эти тревожные и одновременно спокойные картины фронтовой жизни. Это и есть «склад русской литературы», как говорил Бунин, «ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова». Невольно вспоминаешь бессмертного «Валерика» Лермонтова и «Теркина» Твардовского. А ведь Твардовский писал о другой войне и жил в иное время. Но истоки те же — русский народ с его трудной, противоречивой судьбой грешника и святого.

Я не обмолвился, ставя в один ряд Несмелова с Твардовским; конечно, Несмелов — поэт иного склада, и не случайно кумиром его был Гумилев.

Прекрасен строгий образ Гумилева!..
Он в те года сияюще возник,
Когда какой-то иссякал родник
И дряблым, бледным становилось слово.
И голосом трубы, военной и суровой,
Его призыв воспрянул в этот миг,
И, к небесам подъятый, тонкий лик
Овеян был блистаньем силы новой...—

писал Несмелов о своем любимце, пылко называя его золотым сердцем России... И все же, все же, все же — есть связующая нить Несмелова с русской поэзией более позднего времени. Конечно же, Твардовский написал больше, охватнее и поэмы его куда фундаментальнее, сложнее поэм Несмелова. О поэмах Твардовского, о его лирике, особенно поздней, еще не сказано критикой весомых слов, не открыты ни глубинные истоки их, ни потаенный смысл при всей, так сказать, внешней простоте изложения...

Мне сладок был тот шум сонливый
И неусыпный полевой,
Когда в июне, до налива,
Смыкалась рожь над головой.

И трогал душу по-другому, —
Хоть с детства слух к нему привык, —
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых.

Но эти памятные шумы —
Иной порой, в краю другом, —
Как будто отзвук давней думы,
Мне в шуме слышались морском...

Это не Тютчев, не Фет — это Твардовский. Да, здесь все тот же еле уловимый глазом и чувством смысл и очерк бытия, здесь слышен голос пробужденной души. Только она, душа, может почуять «шум сонливый и неусыпный». Она только может изречь: «...устало все кругом: устал и цвет небес» (Фет); «Жизнь как подстреленная птица, подняться хочет и не может» (Тютчев). Вот он как не прост, этот «простой язык» великой русской художественности.

Мне и радостно и горько одновременно писать, что Несмелов, поэт, позабытый на родине, а вверху — подзапретно-неоткрытый, обладал редкостным даром слышать и передавать, как «звезда с звездой говорит». Привожу целиком его чудное стихотворение «Прикосновение»:

Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец греб,
И весла мерно погружались в воду...
И *ночь висела*, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.

*Слепой фонарь качался на корме, —
Живая точка в безысходной тьме,
Дрожащий свет, беспомощный и нищий...
Крутились волны, и неслась река,
И слышал я, как мчались облака,
Как медленно поскрипывало днище.*

И показалось мне, что не меня,
В мерцании *бессильного огня*,
На берег, на неведомую сушу —
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой *шаткой водяной меже*
Не человека он несет, а душу.

Эти монотонные сомнамбулические звуки, как приглушенный утробный рокот преисподней, обволакивают ваше сознание, и становится жутко от того, что граница мира светлого и того, потустороннего, ирреального, призрачна и зыбка и нет ничего проще — пересечь ее при полной нашей беспомощности. А какая яркая, какая неожиданная и сильная образность! «*Ночь висела*», «*слепой фонарь*», «*дрожащий свет, беспомощный и нищий...*», «*и слышал я, как мчались облака*». Это не уступает фетовскому: «Устало все, устал и цвет небес». Да, от этого пронизательного зренья и чувства сердце ваше не останется равнодушным. И машинально, как под гипнозом, повторяете вы за поэтом:

И позабыв о злобе и борьбе,
Я нежно помнил только о тебе,
Оставленной, живущей в мире светлом.
И глаз касалась узкая ладонь,
И вспыхивал и вздрагивал огонь,
И пену с волн на борт бросало ветром...

Что же нас держит на этом свете, что заставляет более всего цепляться за жизнь даже в самом отчаянном положении? Любовь к ближнему своему, говорит поэт, а стало быть, и любовь к Богу. Ибо все, и эта любовь, — от Бога, а она и является последним связующим звеном души человеческой с этим миром. Если придет время уходить туда, то эта нить станет ненужной. Помните, как у Толстого умирали Иван Ильич и Андрей Болконский? Им уже никто не нужен был из близких. А тут еще нет конца, тут мимолетное далекое предчувствие. Вот почему «и вспыхивал и вздрагивал огонь». И под конец — живая, яркая картина: «...и пену с волн на борт бросало ветром».

А дальше — ослепительное пробуждение, взрыв сознания и чувства:

Клинком звенящим сердце обнажив,
Я, вздрагивая, понял, что я жив,
И мига в жизни не было чудесней.
Фонарь кидал, шатаясь, в волны — медь...
Я взял весло, мне захотелось петь,
И я запел... И ветер вторил песне.

В заключительной строфе все ожило, по-другому задвигалось, зазвенело, и в звуках — клеток и звон («*клинком звенящим*»), и «слепой фонарь» уже не «качался на корме», а «кидал, шатаясь, в волны — медь...». И герой запел. «И ветер вторил песне».

Весь поэтический опыт Несмелова говорит о том, что испытанный временем реализм в поэзии не изжил себя, что «другой» прозы и поэзии не бывает, что литература всегда была и остается хорошей или плохой.

Да, русская поэзия даже в самые жестокие времена не мирилась с формальным крючкотворством или штукарством, с насилием, не пряталась в кусты от «мерзостей жизни»; истинно русский поэт не отсиживался в обозе, он был там, в гуще событий, в кипении страстей, и понимал, что гражданская война является самой страшной карой, ниспосланной свыше. Тут все виноваты, говорит поэт, — и те, кто разбойничал в гражданскую войну, и те, кто веками равнодушно взирал на бедствия народа. Свое стихотворение о страшном набеге на мирный город «атамана с рыжими усами» поэт заканчивает горькими словами:

Так взрощенный всяческим посевом
Сытых ханжеств, векового зла,
Он упал на город Божьим гневом,
Молнией, сжигающей дотла!

Оттого он и высмеивает интеллигентские кружки да сборища, на которых «болтают о „народе-богоносце“, о „народе — светоносном иноке“, в ту пору, когда этот „богоносец“ под немецкими пулями „безднадежно вкапывался в глину“». Идеализировать народ, щебетать над ухом его кенаром, когда он бьется в нужде и лишениях, дело далеко не безопасное. Это и теперь нам не мешало бы уяснить. Именно об этом стихотворение «Русская мысль», о пустопорожних спорах вокруг Бердяева и Бунина, в то время когда близился, надвигался черной тучей «вселенский» мятеж.

В короткой вступительной заметке нельзя более или менее сносно охарактеризовать такого одаренного и крупного поэта, как Несмелов. Пусть читатели судят о нем по его стихам.

Я собирал стихи Арсения Несмелова много лет. Два стихотворения из моей подборки (они отмечены звездочкой) были уже опубликованы в журналах «Октябрь» и «Сибирские огни». Но, случайно поставленные, они, на мой взгляд, не создали того магнитного поля, которое смогло бы передать читателю силу эмоционального напряжения поэзии Несмелова. И в этой подборке не все равноценно, и она не эталон; но это тот Несмелов, которого я знаю уже сорок с лишним лет; это мой Несмелов, как говорила Цветаева о своем Пушкине. И я не представляю себе Несмелова без таких его стихов, как «В этот день», «В Нижнеудинске», «Прикосновения» (последнее стихотворение было опубликовано в журнале «Знамя» с досадной ошибкой — «Прикосновение»). Не сомневаюсь, что появятся в скором времени его книги с серьезными, обстоятельными комментариями². Этот поэт заслуживает массовых изданий и широкого читателя.

БОРИС МОЖАЕВ.

В этот день

В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.

В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступили за режим!

В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!

В этот день страна себя ломала,
Не вздвигнув на то, что впереди,
В этот день царица прижимала
Руки к холодеющей груди.

² Этот материал был подготовлен для одного из номеров «Нового мира» за прошлый год. Задержка с выходом журнала привела к тому, что сборник стихов и прозы Арсения Несмелова («Московский рабочий», 1990) оказался на книжных прилавках раньше, чем номер журнала мог дойти до подписчиков. И все-таки редакция решила опубликовать этот материал, хотя и с запозданием. Нам представляется интересной попытка известного советского прозаика дать свое видение творчества крупного и мало известного ранее русского поэта. (Прим. ред.)

В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые кроки,
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.

В этот день... Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем,— надломилась ось:
В этот день в отпавшем Петрограде
Мощного героя не нашлось.

Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днем начался русский гон,—
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.

Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень...
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день!

Восемнадцатому году

Идут года. На водоемах мутных
Летящих лет черту не проведу
Все меньше нас, отважных и
беспутных.
Рожденных в восемнадцатом году.

Гремящий год! В венце багровых зарев
Он над страной прозыбил шаткий шаг,
То партизан, то воин государев,
Но вечно иступлением дыша.

И обреченный, он пылал отвагой.
Был щит его из гробовой доски.
Сражался он надломленною шпагой,
Еще удар, и вот она — в куски.

И умер он, взлетев ракетой яркой,
Рассыпав в ночь шрапнели янтара,
В броневике, что сделан из углярки.
Из Омска труп умчали егеря.

Ничьи знамена не сломила гибель,
Не прогремел вослед ничей салют,
Но в тех сердцах, где мощно след
он выбил
И до сих пор ему хвалу поют.

И не напрасно по полям Сибири
Он проскакáл на взмыленном коне,
В защитном, окровавленном мундире,
С надсеченной гранатою в руке.

Кто пил от бури, не погасит жажды
У мелко распластавшей струи,
Ведь каждый город и поселок каждый
Сберег людей, которые — твои.

Хранят они огонь в глазах
бесстрастных,
И этот взор — как острие ножа.
Ты научил покорных, безучастных
Великому искусству мятежа!

Пусть Ленин спит в своем гробу
стеклянном,—
Пусть Мавзолей и мумия мертва,
А ты еще гуляешь по полянам,
И году прогремевшему хвала.

Хвала тебе, год-витязь, год-наездник
С тесьмой рубца, упавшей по виску.
Ты выжег в нас столетние болезни:
Покорность, нерешительность, тоску.

Все меньше нас — о, Год! — тобой
рожденных,
Но верю я, что в гневе боевом,
По темным селам, по полям сожженным
Проскачешь ты в году...

Божий гнев

Город жался к берегу домами,
К морю он дворцы и храмы жал.
«Убежать бы!» — пыльными устами
Он вопил и все ж — не убежал!

Не успел. И воскрешая мифы,
Заклубила, почернела высь,—
Из степей каких-то, точно скифы.
Всадники в папахх ворвались.

Богачи с надменными зобами,
Неприступные, что короли,
Сбросив спесь, бия о землю лбами,
Сами дочерей к ним повели.

Чтобы те, перечеркнувши участь,
Где крылатый царствовал божок,
Стаскивали б, отвращеньем мучась,
Сапожища с заскорузлых ног.

А потом, раздавлены отрядом,
Брошены на липкой мостовой,
Упирались бы стеклянным взглядом,
Взглядом трупов, в купол голубой!

А с балкона, расхлябаснув ворот,
Руки положив на ятаган,
Озирал раздавленный им город
Тридцатитрехлетний атаман...

Встреча первая

Вс. Иванову.

Мы — вежливы. Вы попросили спичку
И протянули черный портсигар,
И вот огонь — условие приличья —
Из зажигалки надо высекать.

Дымок повис сиреневою ветвью.
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та — скости десятилетье! —
Огня иного требовала бы...

Схватились бы, коль пеши, за наганы,
Срубились бы верхами, на скаку...
Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану!»
Прищурился. «И рюмку коньяку...»

Вагон стучит, ковровый пол качая,
Вопит гудка басовая струна.
Я превосходно вижу: ты скучасшь,
И скука, парень, общая у нас.

Пусть мы враги, — друг другу мы не
чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.

И непонятно, право, почему ж ты
Несешь ярмо совсем иной судьбы?

Мы вспоминаем прошлое беззлобно.
Как музыку. Запело и ожгло...
Мы не равны, — но все же мы
подобны,
Как треугольники при равенстве углов.

Обоих нас качала непогода.
Обоих нас, в ночи, будил рожок...
Мы — дети восемнадцатого года,
Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!..

Что сетовать! Всему проходят сроки,
Исчезнуть, кануть каждый обречен.
Ты в чистку попадешь в Владивостоке,
Меня беспитчие съест за рубежом.

Склонил ресницы, как склоняют зная,
В былых боях изодранный лоскут...
«Мне, право, жаль, что вы еще не с
нами».
Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку.

Царевийцы

Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.

Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но послали Царя в трупобу
Не при всех ли, увы, при нас?

Сколько было убиц? Двенадцать.
Восемнадцать или тридцать пять?
Как же это могло так статься —
Государя не отстоять?

Только горсточка этот враг,
Как пыльцу бы его смело:

Верноподданными — сто сорок
Миллионов себя звало.

Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни, —
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.

И один ли, одно ли имя,
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.

И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь.
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!

Потомку*

Иногда я думаю о том,
На сто лет вперед перелетая,
Как, раскрыв многоречивый том
«Наша эмиграция в Китае»,
О судьбе изгнанников печальной
Юноша задумается дальний.

На мгновенье встретятся глаза
Сущего и бывшего: котомок,

Странных посохов стезя...
Скажет, соболезнуя, потомок:

— Горек путь, подслеповат маяк,
Душно вашу постигать истому.
! Почему ж упорствовали так,
Не вернулись к очагу родному?

Где-то упомянут, — со страницы
Встану. Выжду. Подниму ресницы:

«Не суди. Из твоего окна
Не открыты канувшие дали.
Годы смыли их до волокна,
Их до сокровеннейшего дна
Трупам казненных закидали!

Лишь дотла наш корень истребя,
Грозные отцы твои и деды
Сами отказались от себя,
И тогда поднялся ты, последыш!

Вырос ты без тюрем и без стен,
Чей кирпич свинцом исковыряли,

В наше ж время не сдавались в плен,
Потому что в плен тогда не брали!»

И не бывший в яростном бою,
Не ступавший той стезей неверной.
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво-высокомерной.

Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять — года, года, года,
До трубы Последнего суда!

Бродяга

Где ты, летняя пора, —
Дунуло, и нету!
Одуванчиком вчера
Облетело лето.

Кружат коршунами дни
Злых опустошений.
Резкий ветер леденит
Голые колени.

Небо точно водоём
На заре бескровной.
Хорошо теперь вдвоём
В теплоте любовной.

Прочь, согретая душа,
Теплая, как вымя:

Мне приказано шуршать
Листьями сухими!

Непокрытое чело,
Легкий шаг по свету.
Никого и ничего
У бродяги нету!

Ни границы роковой.
Ни препоны валкой:
Ничего и никого
Путнику не жалко!

Я что призрак голубой
На холодных росах,
И со мною только мой
Хромоногий посох.

Тихвин

Городок уездный, сытый, сонный,
С тихой рекой, с монастырем, —
Почему же с горечью бездонной
Я сегодня думаю о нем.

Домики с крылечками, калитки
Девушки с парнями в картузах
Золотые облачные свитки,
Голубые тени на снегах.

Иль разбойный посвист ночи вьюжной,
Голос ветра шальной и лихой,
И чуть слышно загудит поддужный
Бубенец на улице глухой.

Домики подслеповато щурят
Узких окон желтые глаза,
И рыдает снеговая буря,
И пылает белая гроза.

Чье лицо к стеклу сейчас прижато,
Кто глядит в отчаянный глазок?
А сугробы, точно медвежата,
Все подкатываются под возок.

Иди летом чары белой ночи.
Сонный садик, старое крыльцо.
Милой покоряющие очи
И уже покорное лицо.

Две зари сошлись на небе бледном.
Тает, тает призрачная тень.
И уж снова колоколом медным
Пробужден новорожденный день.

В зеркале реки замороженной
Монастырь старинный отражен
Почему же, городок мой сонный,
Я вспоминаем уязвлен?

Потому что чудища из стали
Поползли по улицам не зря.
Потому что, ветхие, упали
Стены старого монастыря.

И осталось только пепелище.
И река из древнего русла
Зверем, поднятым из логовища.
В Ладожское озеро ушла.

Тихвинская Божья Матерь горько
Плачет на развалинах одна.

Холодно. Безлюдно. Гаснет зорька,
И вокруг могильна тишина.

Гумилев

*И так сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымящему следу
Отступающего врага!*

Прекрасен строгий образ Гумилева!..
Он в те года сияюще возник,
Когда какой-то иссякал родник
И дряблым, бледным становилось слово.

И голосом трубы, военной и суровой,
Его призыв воспрянул в этот миг,
И, к небесам подъятый, тонкий лик
Овеян был блистаньем силы новой.

О, этот очерк крепко сжатых губ!..
А в эти дни, не веря нашей яви,
Блок забывал о доблести и славе
И к чертовщине влекся Сологуб.
Был страшен мир, где безмогильный труп

Вставал и шел своей тропею навьей,
А небеса уже закат кровавил,
Вздымая ночь с уступа на уступ.

Мы провалились в грозную войну,
Как в вырытую кем-то яму волчью,
Мы стали жить испуганно и молча,
В молчание повергнув всю страну,
И, задыхаясь, ринулись ко дну...
Лишь красный факел озарял
окрестность.

Моим судьям*

Часто снится: я в обширном зале...
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.

Сяду, встану, — много раз поднимут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.

Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою тряхти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом как червяка раздавят
Тысячелудовым: р а с с т р е л я т ь !

Заторопит конвоир: «Не мешкай!»
Кто-нибудь вдогонку крикнет: «Гад!»
С никому не нужною усмешкой
Подниму свой непокорный взгляд.

Как нетопырь, порчала неизвестность,
Будившая набатом тишину.

Один лишь голос серебром звенел,
И не был он никем перекликаем,
Все мы его и в наши дни узнаем,
Зане его не заглушил расстрел.
Да, как бы резко залп ни прогремел,
Каким бы ни был он зловещим лаем,—
Мы все-таки еще ему внимаем,
Пусть сонм годин над нами прошумел!

Прекрасен грозный образ Гумилева!
Как Лермонтов, он тоже офицер.
А вы теперь наказаны сурово,
Вы, сеятели басен и химер!
...Грохочут танки. Вихорь битвы — сер,
И вспыхивает в нем огонь багровый...
Но где оно, водительное слово,
Победно поднимающее всех?

И где они, где те певцы иные,
Чтоб заменили спящего мертвецом
Золотое сердце России
Мерно билось в груди его.

А потом — томительные ночи
Обступившей, непроломной тьмы.
Что длиннее, но и что короче
Их, рожденных сумраком тюрьмы.

К надписям предшественников — имя
Я прибавлю горькое свое.
Сладостное: «Боже, помяни мя»
Выскоблит тупое острие.

Все земное отженю, оставлю,
Стану сердцем сумрачно-суров,
И, как зверь, почувствовавший травлю,
Вздрогну на залазгавший засов.

И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!

Подготовка текстов БОРИСА МОЖАЕВА.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ДАМА В ЗЕЛЕНОМ

Из поэзии английского Возрождения

XVI век в Англии вобрал в себя два долгих и знаменательных царствования: Генриха VIII (1509—1547) и Елизаветы I (1558—1603). При первом церковь отделилась от Рима, место главы в ней занял сам король; при втором была разгромлена испанская «Непобедимая армада», и Англия сделала решающий шаг к своей будущей славе царицы морей.

Славным оказался век и для английской литературы. Правда, развитие здесь шло неравномерно, с ярко выраженным ускорением к концу, и наиболее урожайным стало последнее десятилетие, 90-е годы, когда были написаны лучшие произведения Э. Спенсера, Ф. Сидни, К. Марло и взошла ярчайшая звезда Шекспира.

Первым крупным поэтом столетия был Томас Уайетт (1503—1542). Блестящий рыцарь и дипломат, это он принес на берега Темзы такую изящную форму итальянской ренессансной поэзии, как сонет, и она прекрасно укоренилась в английской поэзии, дав свои лучшие плоды примерно через полстолетия лет. Не раз Уайетт попадал в опалу и в темницу. Легенда утверждает, что Анна Болейн, будущая жена Генриха VIII, была до замужества возлюбленной Уайетта. Скептики говорят, что эта версия создана позднее, дабы объяснить неблагоприятность короля к поэту; но ведь столько дворян попадало при Генрихе в тюрьму и на эшафот, а молва связала эту романтическую историю именно с Уайеттом!

Еще более яркая судьба (и, увы, еще более трагическая) у Уолтера Рэли (1552—1618), современника Шекспира. Бедный дворянин, он сумел попасть в фавор к Елизавете и сделаться одним из самых сильных людей в государстве. Опытный и храбрый командир на суше и на море, политик, ученый и поэт, он жил буйно и размашисто, не обращая внимания на толпы завистников. Но тайный брак с одной из фрейлин королевы привел его в тюрьму: монархиня оказалась обидчивой. Поэма «Океан к Цинтии» — вопль о милости, обращенный из темницы к своей венценосной госпоже и возлюбленной. Океан — это Уолтер Рэли (его имя звучит по-английски почти как «вода»), а Цинтия, непорочная богиня Луны, — сама Елизавета, которую называли королевой-девственницей. Так что образ, заключенный в название, слегка приправлен эротикой: ведь именно Луна управляет приливами и отливами океана.

Жизнь Уолтера Рэли — захватывающий роман, недаром о нем написано столько книг (кстати, роман Роберта Ная «Странствие „Судьбы“» был недавно у нас переведен). После смерти Елизаветы король Яков I заключил его в тюрьму, где Рэли, обвиненный в государственной измене, провел под смертным приговором тринадцать лет; писал «Историю мира», преподавал науки наследному принцу Генри, совершил («отпросившись» у короля) еще одно путешествие за море, в Гвиану, и наконец по возвращении в Англию был казнен, поразив лондонцев мужеством и необычным достоинством, с которым вел себя перед смертью.

Джон Донн (1572—1631) участвовал в юности в двух морских экспедициях против испанцев, где Рэли плавал вице-адмиралом. Любопытно, что Донн также разрушил свою удачно начатую карьеру тайным браком с племянницей своего патрона — и угодил за это в тюрьму. Вообще можно сказать, что страстность, темперамент — та черта, которая сближает стихи этих двух поэтов. Но и разница колоссальная. Рэли ясен и четок; Донн же перенасыщен самыми головоломными метафорами и сравнениями; даже говоря с возлюбленной, он постоянно философствует и щеголяет ученостью (недаром его стиль был впоследствии назван метафорическим). Он часто саркастичен и едок, особенно в стихах, написанных в молодости. Его элегия (середина 90-х годов) — абсолютно новое явление в английской поэзии. Это своего рода драматические монологи, лирический герой которых — повеса и насмешник вроде тех, с которыми мы встречаемся в шекспировских пьесах, скорее Меркуцио, чем Ромео.

Впоследствии Донн принял сан священника, осудил стихотворные грехи молодости и умер настоятелем собора святого Павла, знаменитым на всю страну проповедником. Ныне он справедливо считается одним из сильнейших, оригинальнейших поэтов английского языка.

В эту подборку включена также анонимная баллада XVI века «Гринсливз», или «Зеленые рукава» (в нашем переводе она называется «Дама в зеленом»). Эта баллада (и одноименная мелодия) — пожалуй, самая известная из английских песен той эпохи.

Уже четыреста лет она, что называется, на слуху у англичан. Стихи смешные, но одновременно и трогательные. Перевод сделан экзиритмически, его можно петь.

УОЛТЕР РЭЛИ

Природа, вымыв руки молоком...

Природа, вымыв руки молоком.
 Не стала их обсушивать, но сразу
 Смешала шелк и снег в блестящий ком,
 Чтоб вылепить Амуру по заказу
 Красавицу, какую только смел
 В мечтах своих вообразить пострел.

Он попросил, чтобы ее глаза
 Всегда лучистый день в себе таили,
 Уста из меда сделать наказал,
 Плоть нежную — из пуха, роз и лилий;
 К сим прелестям вдобавок пожелав
 Лишь резвый ум и шаловливый нрав.

И, план Амура в точности храня,
 Природа расстаралась — но, к несчастью,
 Вложила в грудь ей сердце из кремня;
 Так что Амур, воспламененный страстью
 К холодной красоте, не знал, как быть —
 Торжествовать ему или грустить.

Но Время, этот беспощадный Страж,
 Природе отвечает лязгом стали;
 Оно сметает Упований блажь
 И подтверждает правоту Печали.
 Тяжелый ржавый серп в его руках
 И шелк и снег — все обращает в прах.

Прекрасной плотью, этой пищей нег,
 Игривой, нежной и благоуханной,
 Оно питает Смерть из века в век —
 И не насытит прорвы окаянной.
 Да, Время ничего не пощадит —
 Ни уст, ни глаз, ни персей, ни ланит.

О Время! Мы тебе сдаем в заклад
 Все, что для нас любезно и любимо,
 А получаем скорбь взамен отрад.
 Ты сводишь нас во прах неумолимо
 И там, во тьме, в обители червей,
 Захлопываешь повесть наших дней.

Океан к Цинтии

Из поэмы

К вам, погребенным радостям моим,
 Я обращаю этот жалкий ропот,
 Тоскою и раскаяньем казним,
 Погибельный в душе итожа опыт.

Когда бы я не к мертвым говорил,
 Когда бы сам я, как жилец могилы,
 В бесчувствии холодном не застыл —
 Взывающий к теням призрак унылый,

Я бы нашел достойнее слова,
Я бы сумел скорбеть высоким слогом;
Но ум опустошен, мечта мертва —
И в гроб забита в рубище убогом...

Там, где еще вчера поток бурлил
Во всей своей мятежной, вешней силе,
Осталась лишь трясына, вязкий ил:
И я тону в болотном этом иле.

У нивы сжатой колосков прошу —
Я, не считавший встарь снопов
тяжелых;
В саду увядшем листья ворошу;
Цветы ишу на зимних дюнах голых...

О светоч мой, звезда минувших дней,
Сокровище любви, престол желаний,
Награда всех обид и всех скорбей,
Бесценный адамант воспоминаний!

Стон замирал при взоре этих глаз,
В них растворялась горечь океана;
Все искупал один счастливый час:
Что Рок тому, кому Любовь — охрана?

Она светла — и с нею ночь светла,
Мрачна — и мрачно дневное светило;
Она одна давала и брала,
Она одна язвила и целила.

Я знать не знал, что делать мне
с собой,
Как лучше угодить моей богине:
Идти в атаку иль трубить отбой,
У ног томиться или на чужбине,

Неведомые земли открывать,
Скитаться ради славы или злата...
Но память разворачивала вспять —
Грозней, чем буря, — паруса фрегата.

Я все бросал: дела, друзей, врагов,
Надежды, миражи обогащенья, —
Чтоб, воротясь на этот властный зов,
Терпеть печали и влачить презренья.

Согретый льдом, морозом распален,
Я жизнь искал в безжизненной стихии:
Вот так телок, от матки отлучен,
Все тербит ее сосцы сухие...

Двенадцать лет я расточал свой пыл,
Двенадцать лучших юных лет
промчалось.
Не возратить того, что я сгубил:
Все минуло, одна печаль осталась...

Довольно же униженных похвал,
Плещи о том, к чему злосчастье нудит,

О том, что разум твой забыть желал,
Но сердце никогда не позабудет.

Не вспоминай, какой была она,
Но опиши, какой теперь предстала:
Изменчива любовь и неверна,
Развязка в ней не повторит начала.

Как тот поток, что на своем пути
Задержан чьей-то властной рукою,
Стремится прочь преграду отместить,
Бурлит, кипит стесненною волною

И вдруг находит выход — и в него
Врывается, неудержим, как время,
Крушащее надежды, — таково
Любови женской тягостное бремя,

Которого не удержать в руках;
Таков конец столь долгих вожделений:
Все, что ты создал в каторжных
трудах,
Становится добычею мгновений.

Все, что купил ценою стольких мук,
Что некогда возвел с таким
размахом, —

Заколебалось, вырвалось из рук,
Обрушилось и обратилось прахом!..

Стенания бессильны пред Судьбой;
Не сыщешь солнца ночью в тучах
черных.

Там, впереди, где в скалы бьет прибой,
Где кедры встали на вершинах горных,

Не различить желанных маяков,
Лишь буйство волн и тьма до

горизонта;
Лампада Геро скрылась с берегов
Враждебного Леандру Геллеспонта.

Ты видишь — больше уповать нельзя,
Отчаянье тебя толкает в спину.
Расслабь же руки и закрой глаза —
Глаза, что увлекли тебя в пучину.

Твой путеводный свет давно погас,
Любви ушедшей жалобы невнятны;
Так встретить же смело свой последний
час,
Ты выбрал путь — и поздно на
попятный!..

Пастух усердный, распусти овец:
Теперь пастись на воле суждено им,
Пощипывая клевер и чабрец, —
А ты устал, ты награжден покоем.

Овчарня сердца сломана стоит,
Лишь ветер одичало свищет в уши;

Изорван плащ надежды и разбит
Символ терпенья — посох твой
пастуший.

Твоя свирель, что изливала страсть, —
Былой любви забава дорогая, —
Готова в прах, ненужная, упасть;
Кого ей утешать, хвалы слагая?

Пора, пора мне к дому повернуть,
Мгла смертная на всем, доступном
взору;
Так тяжело дается этот путь,
Как будто камень вкатываю в гору.

Бреду вперед, а сам назад гляжу
И вижу там, куда мне нет возврата,
Мою единственную госпожу,
Мою любовь и боль, мою утрату.

Что ж, каждый дал и каждый взял
свое,
Наш спор пускай теперь Господь
рассудит.

А мне воспоминание ее
Последним утешением да будет.
Проходит все, чем дышит человек,
И лишь одна моя печаль — навек.

ТОМАС УАЙЕТТ

Он прощается с любовью

Прощай, Любовь! Уж мне теперь негоже
На крюк с наживкой лезть как на рожон,
Меня влекут Сенека и Платон
К сокровищам, что разуму дороже.
И я, как все, к тебе стремился тоже,
Но, напоровшись, понял: не резон
Бежать за ветром бешеным вдогон
И для ярма вылазить вон из кожи.
Итак, прощай! Я выбрал свой удел.
Морочь юнцов, молокососов праздных,
На них, еще неопытных и страстных,
Истрать запас твоих смертельных стрел.
А я побуду в стороне; мне что-то
На сгнивший сук взбираться неохота.

**влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут
теми, что прежде дарили ему отраду**

Они меня обходят стороной —
Те, что, бывало, робкими шагами
Ко мне прокрадывались в час ночной,
Чтоб теплыми, дрожащими губами
Брать хлеб из рук моих, — клянусь богами,
Они меня дичатся и бегут,
Как лань бежит стремглав от ловчих пут.

Хвала Фортуне, были времена
Иные: помню, после маскарада,
Еще от танца разгорячена,
Под шорох с плеч скользнувшего наряда
Она ко мне прильнула, как дриада,
И так, целуя тыщу раз подряд,
Шептала тихо: «Милый мой, ты рад?»

То было наяву, а не во сне!
Но все переменилось ей в угоду:
Забвенья целиком досталось мне,
Себе она оставила свободу
И ту забывчивость, что входит в моду...
Так мило разочлась со мной она;
Надеюсь, что воздастся ей сполна.

ДЖОН ДОНН

На желанье возлюбленной
сопровождать его, переодевшись пажом

Свиданьем нашим — первым, роковым, —
И нежной смутой, порожденной им,
И голодом надежд, и состраданьем,
В тебе зачатым жарким излианьем
Моей тоски, и тысячами ков,
Грозивших нам всечасно от врагов
Завистливых, и ненавистью ярой
Твоей родни, и разлученья карой —
Молю и заклинаю: отрекись
От слов заветных, коими клялись
В любви нерасторжимой; друг прекрасный,
О, не ступай на этот путь опасный!
Остынь, смирись мятежною душой,
Будь, как была, моею госпожой,
А не слугой поддельным; издалече
Питай мой дух надеждой скорой встречи.
А если прежде ты покинешь свет,
Мой дух умчится за твоим вослед,
Где б ни скитался я, без промедленья!
Твоя краса не укротит волненья
Морей или Борея дикий пыл;
Припомни, как жестоко погубил
Он Орифею, состраданью чуждый.
Безумье — искушать судьбу без нужды.
Утешься обольщением благим,
Что любящих союз неразделим.

Не представляйся мальчиком; не надс
Менять ни тела, ни души уклада.
Как ни рядись юнцом, не скроешь ты
Стыдливой краски женской красоты.
Шут и в атласе шут, луна луною
Пребудет и за дымной пеленою.
Учти, французы — этот хитрый сброд.
Разносчики хвороб дурных и мод,
Коварнейшие в мире селадоны,
Комедианты и хамелеоны —
Тебя узнают и познают вмиг.
В Италии какой-нибудь блудник,
Не углядев подвоха в юном паже,
Подступится к тебе в бесстыжем раже,
Как содомиты к Лотовым гостям,
Иль пьяный немец, краснорожий хам,
Прицепится. Не клянчь судьбы бездомной!
Лишь Англия — достойный зал приемный,
Где верным душам подобает ждать,
Когда Монарх изволит их призвать.
Останься здесь! И не тумань обидой
Воспоминанье — и любви не выдай
Ни вздохом, ни хулой, ни похвалой
Уехавшему. Горе в сердце скрой.
Не напугай спросонья няню криком:
«О, няня! мне приснилось: бледен ликом,
Лежал он в поле, ранами покрыт,
В крови, в пыли! Ах, милый мой убит!»

Верь, я вернусь, коль Рок меня не същёт
И за любовь твою сполна не възщёт.

Сравнение

Как сонных роз нектар благоуханный,
Как пылкою олею мускус пряный,
Как россыпь сладких утренних дождей,
Пьянят росинки пота меж грудей
Моей любимой, а на дивной вые
Они блестят, как жемчуга живые.
А гнусный пот любовницы твоей —
Как жирный гной нарвавших волдырей,
Как пена грязная похлебки жидкой,
Какую, мучаясь голодной пыткой,
В Сансере, затворившись от врагов,
Варили из ремней и сапогов,
Как из поддельной мутной яшмы четки
Или как оспы рябь на подбородке.

Головка у моей кругла, как свод
Небесный или тот прелестный плод,
Что был Парису дан, иль тот, запретный,
Каким прельстил нас бес ветхозаветный.
А у твоей — как грубая плита
С зарубками для носа, глаз и рта,
Как тусклый блин луны порой осенней,
Когда ее мрачат земные тени.

Грудь милой — урна жребиев благих,
Фиал для благовоний дорогих,
А ты ласкаешь ларь гнилой и пыльный,
Просевший холм, в котором — смрад могильный.

Моей любимой нежные персты —
Как жимолости снежные цветы,
Твоей же — куцы, толсты и неловки,
Как два пучка растрепанной морковки.
А кожа, в длинных трещинах морщин,
Красней исхлестанных кнутами спин
Шлюх площадных — иль выставки кровавой
Обрубков тел над городской заставой.

Как печь алхимика, в которой скрыт
Огонь, что втайне золото родит, —
Жар сокровенный, пыл неугасимый
Таит любимейшая часть любимой.
Твоя же — отстрелявшей пушки зев,
Изложница, где гаснет, охладев,
Жар чугуна, — иль обгоревшей Этны
Глухой провал, угрюмо безответный.
Ее лобзать — не то же ли для губ,
Что для червей — сосать смердящий труп?
Не то же ль к ней рукою прикоснуться,
Что, цвет срывая, со змеей столкнуться?
А прочее — не так же ль тяжело,
Как черствый клин пахать камням назло?

А мы — как голубки воркуют вместе,
Как жрец обряд свершает честь по чести,
Как врач на рану возлагает длань, —
Так мы друг другу ласки платим дань.

Брось бестию — и брошу я сравненья,
И та и те хромают, к сожаленью.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Дама в зеленом
(Гринсливз)

Увы, любимая моя,
Обижен горько я тобой!
Так долго я любил тебя,
Так восхищался я тобой!

Ах, госпожа моя,
Я так любил тебя!
Надежды зеленый цвет —
Но мне надежды уж нет!

Я угождать тебе спешил,
Чтоб доказать любовь свою,
Ни денег не жалел, ни сил,
Чтоб заслужить любовь твою.

Я кошелек свой порастряс,
В расходы многие вошел,
Платил исправно, не скупясь.
И за квартиру и за стол.

Купил тебе я башмачки,
И плащ на беличьем меху.
И шелку алого чулки
С кружавчиками наверху.

Испанский веер дорогой,
И брошь богатую на грудь,
И чепчик с бантиком — такой
Что любо-дорого взглянуть.

Тебе я ларчик преподнес
Работы тонкой и резной
И позолоченный поднос —
Не постоял я за казной!

Купил тебе я поясок
В жемчужинах нашитых сплошь.
Тебя я холил и берег:
Так чем тебе я не хорош?

Во всем старался услужить,
Сластями редкими кормил,
Чтоб твой животик ублажить:
Так чем же я тебе не мил?

Пылинки я с тебя сдувал,
О нежных чувствах говорил,
Как баронессу, наряжал:
Так чем же я тебе не мил?

Зеленый бархатный дублет
Я в честь твою везде носил —
Ведь ты любила этот цвет:
Так чем же я тебе не мил?

Я нанял самых лучших слуг,
Они старались что есть сил,
Чтоб угодить тебе, мой друг:
Так чем же я тебе не мил?

Тебя носили на руках,
Являли рвение и пыл,
Служа на совесть — не на страх:
Так чем же я тебе не мил?

Захочешь музыке внимать —
Пожалуйста, я говорил,
Являлась музыкантов рать:
Так чем же я тебе не мил?

А кто за это все платил
И выполнял каприз любой? —
Так чем же я тебе не мил,
За что обижен я тобой?

Увы, я Богу помолюсь,
Чтоб он глаза тебе открыл,
А не поможет — утоплюсь,
Раз милой больше я не мил.

Прощай, любовь моя, прощай!
Будь беспечальна и свежа,
Моя прекрасная, как май,
В зеленом платье госпожа!

Ах, госпожа моя,
Я так любил тебя!
Надежды зеленый цвет —
Но мне надежды уж нет!

Вступительное слово и перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. ПЭНЭЖКО

*

НА СЕМИ ОБРАГАХ

Кто был этот талантливый и остроумный скульптор, увидевший в засохшем дереве на въезде в Касимов прекрасный материал для скульптуры-символа: три огромных дятла важно восседают каждый на своем суку, как в солидном кабинете? «Это наш новый герб», — поясняют касимовцы и как-то многозначительно усмеваются. В прежнем гербе были корабельные шпангоуты в память о том, как Петр I приписал касимовских татар к воронежским верфям. Кому-то может показаться, что разумнее было бы этот народ приставить к конному хозяйству, но это все от нашей застарелой привычки считать себя умнее начальства, хотя наружно выказывать ему все знаки уважения и даже подобострастия.

Когда приезжие нахалы (а среди многочисленных туристов таких более чем достаточно) спрашивают местных жителей, отчего это они при таком выгодном местоположении на хлебной торговле по судоходной Оке не одолели в свое время столицу, те скромно отвечают: дескать, Москва поставлена на семи холмах, мы же — на семи обрагах, но и у нас есть свои исторические преимущества. Какие же? — насаждают насмешники, накачавшись буфетного пива на своем туристском пароходе.

И тут выясняется, что еще за пять столетий до того, как по велению Кремля переименовали Нижний в Горький, Тверь в Калинин, Самару в Куйбышев и т. д., ни в чем не повинный Городец Мещерский, кое-как воспрявший от татарского разорения, получает от Москвы новое имя в честь беглого татарского царевича Касима. А сам царевич становится его полновластным хозяином. Не было тогда газет и радио, но можно представить, как перед собором московский дьяк оглашает указ Василия Темного: «Идя навстречу единодушным пожеланиям посадских людей и смердов...»

Вся страна ощутила гнет административно-командной системы на переходе к рынку. А в Касимове это случилось триста лет назад: когда в соседнем селе Гусевский Погост мужики провозгласили свободу торговли (за сто лет до Адама Смита) и купцы поехали мимо города, царевич Саит Бурхан Арасланович послал докладную московскому царю, что-де «затеяли тутошные люди самовольно торг без нашего указа... Покупают и продают товары беспошлинно, и оттого Касимовский торг запустел и учинилось таможенного недобору пятьсот рублей». Государь пресек реформаторов еще быстрее, чем нынешняя власть Артема Тарасова, но по тем временам никто и шикнуть не смел, а у нас программа «Взгляд» разбурчалась, да и в печати кое-кто смуту начал сеять... Своему отношению едва ли не к каждому сногшибательному явлению советской действительности касимовцы могут найти аналог в глубине истории. Вот поуродовали им ревностные атеисты два лучших собора на центральной улице. В одном теперь спортшкола, в другом — автостанция. Ну и что? Государь Петр Великий, будучи проездом через Касимов, от старой мечети один минарет оставил. Надо полагать, по военным соображениям.

Потом мечеть все-таки отстроили, и теперь... в ней краеведческий музей. Его директор Юрий Иванович Предеин, человек очень живой и изобретательный, умудрился так хитро разместить экспозицию, что на удручающе маленькой площади расположилось все: от костей мамонта до портретов передовиков производства. На вопрос, как ему тут живется, директор делает энергичный жест: не живем, а выживаем...

Предеин, прогуливаясь по центральной улице — прежней Ямской, а ныне Советской, — любит заглянуть в продовольственный магазин (здесь его именуют «сельхозпродукция») и посреди засилья турецкого чая, шматов свиного сала по семь целковых, почерпнутой восьмирублевой говья-

дины и вареной колбасы («походная») за червонец зачитать «Прейс-курант-магазина П. И. Колобаева в Касимове» от 1913 года: «Сливочное масло «Парижское» еженедельно получается 2 раза. (Ныне крестьянского по талонам 500 граммов в месяц.) Русские рыбные консервы Черноморско-Азовской консервной фабрики барона Фальц-Фейна — осетрина, стерлядь цельная, бычки, скумбрия, кефаль... Мясные закуски: колбаса копченая московская высший сорт, брауншвейгская, польская, ветчинная, малороссийская, вареная с языком, чесноком, ветчинная вареная рулетом, сосиски венские, гальберштадтские, ветчина от окорока...»

Бойкое место — краеведческий музей. С начала сезона к середине лета теплоходы выгрузили на касимовский дебаркадер 30 тысяч туристов. Представьте, если каждый оставит в городе хотя бы по червонцу. А если по сотенной? Что для этого нужно? Не так уж много. Поставить в затоне несколько «американских», на худой конец — «полуамериканских», пароходов товарищества Качкова (копии времен начала столетия) и чтобы даже преёскурант в буфетах соответствовал. Об этом позаботится директор училища речников, научив своих воспитанниц с кулинарного отделения отличать с закрытыми глазами консомэ от де-воляй. Содрать с Советской улицы безобразно провисший лозунг «Мир народам!» (все равно никто не поверит, что он в состоянии распространиться по земле из эдакой «дыры») и украсить ее, как встарь, рекламой тех продуктов родной земли, которые некогда в таком изобилии производились потомственными и почетными гражданами города. Асфальт, на котором сейчас шею свернешь, заменить бульжником и пустить по нему пролетки, изготовленные на местном обозном заводе. Мечтания, конечно, но уж такой это город, что невольно то в прошлое погружаешься мыслью, то уносишься в какое-то гипотетически-благословенное будущее. Чтоб только не задерживаться в настоящем.

Касимов относится к тем историческим городам России, где нынешние бедность и запустение выглядят особенно оскорбительно на фоне свидетельств былого достатка, а по сегодняшним меркам чуть ли не роскоши. Но люди то ли привыкли этого не замечать, то ли сговорились спокойно дожидаться того момента, когда все монументальные свидетельства их многовековой истории рассыплются в прах, и тогда уже не будет материала для обидных самолюбию сопоставлений. Уже многие симптомы свидетельствуют о том, что дело подвигается к ожидаемому. Например, в одно прекрасное воскресное утро жители улицы Советская (некогда Ямская и Большая) были разбужены грохотом. Это обрушились все три этажа женских туалетов училища речников (СПТУ-13), расположившегося полвека назад в бывшей гостинице купца Смирнова «Джавбаш». Здание опять-таки историческое, построенное в самом начале прошлого столетия. В Отечественную войну двенадцатого года здесь развернули военный госпиталь, где выхаживал раненых Михаил Достоевский, отец великого писателя.

Объясняя жизнь Касимова языком современной публицистики, можно сказать, что это один из семисот городов российской глубинки, некогда процветавший на хлебной торговле речным путем (в данном случае по Оке и Волге), но впоследствии, оказавшись в стороне от железной дороги, медленно захиревший. Тем самым мы лукаво переносим ответственность за нынешнее состояние города на «Россию до 1913 года», и совесть наша спокойна. Если, конечно, тут же не вспомнить, что такая, черт, глубинка, если утром сел в автобус, а к полудню уже в столице. В Америке на таком же расстоянии от Нью-Йорка живут люди, которые ежедневно ездят туда на службу. А до Рязани отсюда требуется столько же времени добраться, сколько в Москве из Чертанова в Новогиреево...

Юрий Иванович Предеин не только сам выживает за счет большого притока туристов и продажи им сувениров, значков и брошюр о местных достопримечательностях и легендарных личностях, но и помогает касимовским художникам, выставляя у себя их картины на продажу многочисленным приезжим. Когда к нему явилась делегация от местной мусульманской общности с требованием освободить занимаемую им мечеть, он и тут умудрился «выжить». Предложил подсчитать возможности общины и прикинуть, во сколько обойдется содержание здания и муллы с муэдзином. Делегаты подсчитали и приуныли. Тогда находчивый Предеин предложил им привести в порядок бесхозное и куда более скромное помещение на заброшенном татарском кладбище. Расстались друзьями...

Весной на выборах встал вопрос, как политически выжить местному партийному и советскому руководству. В принципе это не представляло большой сложности: раскрыть избирательные округа по давно отработанной технологии, чтобы нужные кандидаты проходили безальтернативно. Когда выборы завершились и в горсовете оказался в основном прежний партхозактив, на сессии произошла своего рода бартерная сделка: директора выдвинули на пост председателя горсовета секретаря горкома партии В. Пасмурного, а тот предложил на пост председателя исполкома директора завода «Холодмаш» В. Елифанова. Так новое поколение сорокалетних районщиков не только уверенно взяло власть в свои руки, но и очень грамотно соблюло баланс интересов, который теперь не нарушит никакая перестройка.

Прошло полгода с момента прихода новой власти, и касимовцы ощутили первые результаты ее деятельности. Они получили талоны на продукты и поначалу было порадовались. Но потом выяснилось, что это какие-то очень хитрые талоны. Продавцам сдавать их не надо. Достаточно зачеркнуть при отоваривании. Как же торговля по ним отчитывается? — тут же забеспокоились умные люди. И правильно забеспокоились, потому что обеспечение по талонам получилось каким-то... тающим. Скажем, в один месяц тебе продают на талон килограмм постного масла, а в другой

— лишь полкило. Вермишель сползает с 500 граммов на 200, сливочное масло со 100 граммов в месяц на 120 в квартал. Мясо вообще не стали продавать по причине «неосвязаемости» — 75 граммов. Причем одним удается талоны хоть как-то отоварить, а другим вообще шип.

Люди заподозрили, что «новая» власть столь же мало озабочена проблемой народovyжживания, как и «старая». Квартирный вопрос, похоже, тоже никто не торопится решать. Центральная районная больница разваливается, но насчет строительства нового корпуса покамест все те же надоевшие обещания. Касимовцы стали выказывать нетерпение, доселе им мало свойственное. И вот что интересно: громче и раньше всех заволиновался еще недавно родной завод Епифанова — «Холодмаш». Его коммунисты отказались выдвигать Виктора Игнатъевича делегатом на XXVIII съезд партии. И со всегда услужливым по части выдвижения руководства «Красным текстильщиком» что-то не заладилось. Так бы он и не попал в Москву, если бы не выручил завод «Зоветоборудование», который так погряз в своих неразрешимых проблемах, что ему давно уже все равно кого и куда посылать.

На революционный праздник представители «Холодмаша» вышли с лозунгами, резко выделенными из привычного контекста: «Депутаты горсовета, вы чью выражаете волю?», «КНК, на твоей совести торговля и распределение жилья!», «Исполком, заботу о ветеранах и инвалидах, живущих в трущобах!» и т. д.

На решения XXVIII съезда здесь тоже откликнулись своеобразно. К моему приезду из 100 человек парторганизации уже выбыла четверть, еще пять заявлений дождалось рассмотрения, и 32 коммуниста перестали платить партвзносы. Секретарь парторганизации Людмила Петровна Миролубова познакомила меня с этими людьми.

Солидные кадровые рабочие. От десяти до двадцати лет отдали родному заводу. От съезда к съезду, из пятилетки в пятилетку выполняли и перевыполняли производственные планы по количеству и качеству, становились на ударные вахты, брались за общественные поручения... Словом, приближали как могли светлое будущее, а оно все отдалялось. А себе что наработали? У большинства — комната в общежитии без удобств, в которую когда-то вселились еще молодыми и бездетными. Заработок — вроде бы по прежним меркам не такой уж плохой, но семья теперь еле сводит концы с концами. Мрачные, холодные и продуваемые рабочие места, не работающие душевые. Люди стоят за станками в старых, промасленных ватниках. С ними у меня состоялся большой разговор, прерываемый время от времени советованиями мастера на то, что именно этот простой срывает ему план.

А я все же должен был узнать, откуда у людей такое непоследовательное, мягко говоря, отношение к своему бывшему директору: то выбирают, то не выбирают, то любят, то не любят.

— Да за что ж его любить? — недоумевает шлифовщик Иван Рагулин (на заводе семнадцатый год, живет в общежитии, двое детей, в очереди на гипотетическую квартиру сто сорок пятый). — Что он сделал для завода? Начал дом строить, да так и бросил, не подняя выше первого этажа. Вы познакомьтесь с его карьерой. Мы для него стали трамплином для прыжка в исполком.

— Производство поставил на ноги его предшественник Степанян, — вмешалась штамповщица Нина Ефремова (на заводе одиннадцать лет, живет в том же общежитии в одной комнате с вернувшимся из армии сыном и новым мужем). — Только невзлюбило его местное руководство. Бывало, придет к первому в назначенное время, сидит пять минут — не принимает. Тогда он секретарше: «Передайте, что меня на заводе ждут» — и уходит.

— У нас таких не любят...

Мне дали газетку, в которой Виктор Игнатъевич представляли в качестве кандидата в делегаты XXVIII съезда КПСС и в которой он сам делает любопытное признание, что выдвижение от «Зоветоборудования» явилось для него «вестью неожиданной».

— Шесть директоров я пережил, — рассказывает Виктор Борисович Азимков, — и каждый обещал лучшую жизнь...

С пятьдесят седьмого года он здесь токарем. В последние годы возглавил жилищно-бытовую комиссию. Сам с женой, взрослой дочерью и сыном занимает однокомнатную квартиру. Так что судит о проблемах не со стороны. И вот он рассказывает, какой случай заставил его крепко усомниться в целесообразности своего пребывания в КПСС.

Завод получил от города 10 квартир, задумали их распределить по справедливости, и вдруг выясняется, что один из очередников, стоящий в самом конце длинной вереницы претендентов, уже справил новоселье благодаря своим хорошим связям. Счастливичиком оказался не кто-нибудь, а секретарь парткома, который к тому же на заводе без году неделя. Люди возмущались, потребовали восстановления поправной, по их мнению, справедливости, но не тут-то было. Их принялся учить уму-разуму разгневанный горком партии. Конфликт дошел до Москвы, вернулся в Касимов через Рязань, но справедливость так и не была восстановлена. Разве только счастливому новоселу пришлось уйти с завода и «устроиться» начальником «Водоканала».

Подобных примеров касимовские машиностроители мне наговорили массу: и про жилье, и про торговлю, и про выборы в местные органы власти. Поэтому как-то не очень веришь жалобам Епифанова. Мол, слишком скоро потребовали от него результатов. Нынешние властные люди и до мартовских выборов находились у кормила. Епифанов, например, не только руководил заводом, но и состоял в совете директоров. А для Касимова это большая политическая сила.

Когда я позднее поделился своими впечатлениями от беседы на «Холодмаше» с патриархом местных литераторов Родиным, Николай Александрович их прокомментировал следующим образом:

— Ах оставьте вы эти столичные выкрутасы. Провинции нет до них никакого дела. Она живет, чтобы выжить. Всякие там «правые», «левые», «демократы», «радикалы» — все это для нас темный лес. Есть правящая верхушка, настроенная любой ценой сохранить свое положение. И есть прочая касимовщина, которая знает единственный способ выразить недовольство своими правителями — это положить на стол партбилет. Благо сейчас это можно...

Тут же познакомился с двумя хорошенькими хозяйками — Аней Макаровой и Таней Артемовой, женами мастеров производственного обучения индустриального техникума. Мужья подались к родным в деревню за харчами. Без родительской помощи просто невозможно прожить на зарплату. Ведь у каждой уже по двое и растут так быстро, что просто ужасают еще молодых родителей.

«Холодмаш» образовался двадцать лет назад из мастерских индустриального техникума (совсем новый завод, а уже как будто пережил блокаду), но по-кукушечьи сразу же забыл о своем гнезде. Ни о состоянии общежития, которое либо сгорит, либо развалится, ни о жилье для семей преподавателей техникума руководители его не вспоминают. Перспектив на квартиру, в один голос утверждают хорошенькие мамы в халатиках, никаких — ни у них на работе, ни у их мужей. В скором времени интимная жизнь родителей превратится в такую пытку, что позавидуешь старшеклассникам. Возвращаясь в родную деревню, где два двора и три кола? Но Аня — оператор ЭВМ в статуправлении. Податься всем кланом со стариками в фермеры? Были такие примеры, да еще с мужьями, которые не такие, как у них с Татьяной, тихони. Местные «крепостники» — директора и председатели — сначала душили, потом вырывали их с корнем.

Забегали нарядные, чистенькие дети, стали требовать к себе внимания, заявили претензии на участие в разговоре, но были с шутливой строгостью выдворены на улицу. Господи, думаю, как бы мило протекала жизнь этих обаятельных хозяек где-нибудь во Франции, Италии, ну, на худой конец — в Югославии. А здесь... В восемьдесят шестом году резко похолодало — люди к Епифанову (тогда он правил заводом): мол, спасите-помогите. Ни тепла, ни газа, ни света. Тот к тогдашнему мэру Антошину. Мэр им по-отечески: «Потерпите!» А у Ани как раз ребенок родился. Негде пеленки сушить...

Прихотлива забота руководства. Недавно в предвидении продовольственного кризиса оно предложило мужьям организовать товарищество огородников. Выделило землю под деревней Каурово. Мужья оттуда вернулись веселые. Заявили, что собираются во Вьетнам. Зачем? Учиться рис сажать. Товариществу, как оказалось, посадили на болотину. Господи, да чем же провинились эти добросовестные, непьющие мужики, о которых жены так нежно, хоть и чуть иронично, отзываются? Что выбрали некогда самую уважаемую, а теперь самую пренебрегаемую профессию, без которой, однако же, обществу не обойтись? Заработки по 125 раньше, по 170 рублей теперь. Это когда не сегодня завтра и тысячного жалованья будет мало.

Аня приглашает к себе. Уютная, чистенькая комнатка. Софа, столик, телевизор, стеллаж с книгами. За занавеской спят дети. Здесь и вдвоем-то толком не повернешься. Но квартира никому из них не светит. Объясняя, как они делают покупки, Макарова продемонстрировала музейный экспонат, который вполне украсил бы преденскую экспозицию. Вся какая-то слипшаяся, с расплывшимися чернилами свекровина «Членская кооперативная книжка № 04057 Торбаевского сельпо», полученная ею 31 мая 1956 года, где среди прочего есть такие слова: «Членами сельпо могут быть все граждане обоего пола, достигшие 16-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных избирательных прав». Свекровь вступила в общество в сорок шестом, а пай свой полностью выплатила лишь 27 июня 1963 года. Зато невестка теперь имеет возможность приобрести дефицит. Награда колхознице за самоотверженный труд...

Общежитие «Холодмаша» находится как раз на полпути из горисполкома в горком партии. Я поднимался по темной и вонючей лестнице с этажа на этаж, пробирался и переступал через копошащуюся на полу малышню, отводил от лица свисающее с потолка постельное белье, стараясь представить себе, что творится на кухне или у дверей туалета в утренние часы...

У одной из плит встретил уже знакомую мне штамповщицу Нину Ефремову в превосходном настроении. Ей повезло: отхватила в магазине пять банок килек в томате — можно целую неделю не ломать голову над задачей, из чего варить суп!

В одном конце коридора две плиты, которые надо успеть занять, потому что всем в одно время на работу. В другом туалет, куда особенно трудно попасть именно тогда, когда всего сильнее хочется. Но самое главное — это несмолкаемый визг, писк и крик с раннего утра и до ночи, после которого гул родного штамповочного цеха представляется мелодичным журчанием ручейка. Люди от такой жизни опускаются, черствеют, готовы глотку перервать за какой-нибудь копеечный интерес. Стыдно сказать, до чего дошли мужики на заводе: женщин на «Холодмаше» сравнительно немного, так они норовят работниц от всего оттереть. Сигарет привезут — вам не нужно! Женские сапоги — так и тут мужики первые.

И все-таки главная трудность сегодня — дефицит веры. С 1983 года Нина в партии, не раз депутатом избиралась. Чего-то на собраниях суегилась, кому-то помочь пыталась. Самой бы кто

помог... А теперь баста. Положила билетик вместе с 14 участниками собрания. Все лучшие рабочие.

— Нина Ивановна, но как же совсем без веры-то? Вы бы хоть в церковь...

Нина Ивановна замаялась:

— Да в церковь неудобно как-то, лба не умею перекрестить. Вот покойница мать сильно верила. Великая была труженица. Всю ферму на себе везла...

Отняли у человека веру, первоначально разрушив ту, которую она могла перенять от матери, а потом другую, которую вдальблвали со школы...

Как же быть касимовцам? Может, поискать за рубежом потомков купца Колобаева? Или же послать депутатов в Лихтенштейн, к потомку означенного в колобаевском прейскуранте барона Фальц-Фейна, от продукции которого некогда трещали полки касимовских магазинов? Потому что теперь они неопровержимо свидетельствуют: среди местного населения перевелись люди, способные совместить интересы перестройки и продовольственного снабжения. Недаром они голосовали за Лигачева, чья деятельность на сельскохозяйственном поприще была особенно выдающейся.

— Дело не в людях, а в системе, — опрокинул мои легкомысленные суждения сам председатель горисполкома Виктор Игнатьевич Епифанов. — Введите новые экономические отношения — и нужные люди сами появятся.

— Вот и введите, — подхватил я с фальшивым энтузиазмом, а сам подумал: эх, мать честная! в Орле вон похвалялись, что десять (!) разновидностей экономики ввели, а много ли там лучше дела?

Пока Виктор Игнатьевич обдумывал взвешенный ответ, дверь распахнулась и в нее влетел человек, осанистый, в шляпе, но с таким видом, будто еле избег самосуда.

— Так переходим на кооператив или нет? — шумно выдохнул он, плюхнувшись в кресло, но оставаясь в шляпе. — Так у меня все люди разбегутся!

— Все не разбегутся, — напустился Епифанов. — Деваться им особо некуда.

— Уж бригадир требует: да или нет? Терпение, говорит, лопнуло. Заявление написал...

Давным-давно строители касимовского управления Рязаньгражданстроя вместе со своим начальником Александром Яковлевичем Бондаренко решили образовать кооператив. В самом деле, что толку числиться в объединении, которое стройматериалами снабжает лишь наполовину, а заработком обеспечивает таким, что стыдно жене отдавать. Решили по принципу «хуже не будет, потому что некуда» взять свою судьбу в собственные руки, разработали устав и послали его в объединение. Мол, была без радости любовь, разлука будет без печали. И ошиблись, потому что Рязаньгражданстрой не удостоил их даже ответом. Тогда рабочие надели на Бондаренко: ты, мол, депутат горсовета — давай действуй через свою власть. Александр Яковлевич сунулся было к Епифанову, уж этот-то понять может, давно ли сам хлебал директорского лиха на своем «Холодмаше», но совершенно неожиданно для себя и в нем встретил какое-то странное, пассивно-доброжелательное сопротивление. Дескать, куда вы без объединения, где материалы возьмете? Не выжить вам отдельно... И никакие бодрые доводы, что выкупим наш же Касимовский завод стройматериалов, свою базу организмом, пронять предрика не могут. Вот ведь загадка. Ну тебе-то чего — выживем, нет ли, если сами решили. Дайте людям хоть в этом вопросе свободу и самостоятельность. Нет, почему-то нельзя. Раз власть, значит, непременно должна осчастливить тебя своей заботой и «гуманизмом».

Виктор Игнатьевич не верит кооператорам: «Живут одним днем, думают только о зарплате». Приватизация Епифанова тоже смущает. Отдать в частные руки небольшие магазины, сервис — еще куда ни шло. Но крупные предприятия, хотя бы тот же «Холодмаш»...

— А мне они говорили, что готовы хоть завтра идти под любого капиталиста. Правда, им предпочтительнее японцы...

— Значит, они ничего не поняли. У нас была экономическая учеба, и нам объяснили, что приватизация — это лишь переход на коллективную, акционерную собственность. Тот же «Холодмаш» больше половины прибыли отчисляет в государственный, министерский и местный бюджеты. Три четверти остатков его заставляют направлять на развитие производства и уж почти совсем ничего на жилье и соцкультбыт. Надо прежде менять систему, чтобы коллектив мог сам распоряжаться своей прибылью...

Должно быть, именно так мудро и взвешенно говорил Виктор Игнатьевич на встрече с рабочими еще недавно своего «Холодмаша». А они послушали-послушали и стали поодиночке и группами покидать зал. Дескать, хватит театра государственной мудрости. Вчера разоряли, пускали по миру, а сегодня поучаете, как надо обогащаться. Маленький пример. В Касимове уже 16 строительных кооперативов (куда и бежит от Бондаренко народ), но все работают на материале заказчика. Есть и завод стройматериалов, но кирпич он везет в Рязань. Надо бы его оставить в Касимове, но это большие хлопоты и осложнения взаимоотношений с областью. Проще осудить кооператоров за легкомыслие и нахрапистость.

...Вот и подошли мы к главной, определяющей сегодня провинциальную жизнь России черте — не могли! Давняя и любимая шутка касимовцев — что их город совсем как Москва, только навыворот. Та основана на семи холмах, они же — на семи оврагах. Сегодня эта шутка приобрела какой-то злой оттенок. Мол, вся наша жизнь — навыворот. Вот хотим выглядеть как люди,

привести в порядок гардероб, но не идем в модный магазин, а лезем в сундуки, достаём старое шмотье, выносим во двор, выворачиваем наизнанку и колотим палкой. Стук, пыль столбом, пот градом. Возвращаемся усталые, но довольные домой. одеваемся перед зеркалом. Ну уж теперь-то... Господи, да мы опять в старье!

В Российской империи губернские города старались копировать столицу, а уездные из всех сил подражали губернским. Но в уездах было меньше неподатливого камня, больше мягкого дерева, и оттого столичная идея административного переустройства — чтобы все было как в Петербурге — здесь меньше встречала препон. Как знать, может, двести лет назад эти классические колоннады и портики воспринимались жителями глубинки с не меньшей неприязнью, чем нынешние бетонные параллелепипеды. Поэтому, хотя в Касимове творил свой Воронихин (оказавшийся к тому же еще племянником петербургскому), в архитектуре храмов, учреждений и домов проявляется преступное стремление изменить суровому классицизму и удариться в растленный ампир.

К чести касимовцев, они не спешили перестроить свой исторический центр, и потому еще сегодня, подъезжая на теплоходе к касимовской пристани, вы можете найти справедливыми слова цесаревича Александра и поэта Жуковского, проезжавших здесь полтора столетия назад: «С дороги Касимов — деревня, с реки — губернский город»...

400 ребят в местном училище речников: рязанские, брянские, подмосковные, с Волги, Днепра и Черного моря, Балтики, даже из сплошь сухопутных Донбасса и Караганды. И на всех — общежитие на 40 мест. А есть подростки, которые приезжают в одних кроссовках на все четыре времени года и с двумя червонцами в кармане. И, понятное дело, без царя в голове. А за Успенским оврагом — общежитие педучилища. Такие наряденькие, чистенькие девочки. Айда знакомиться! Желаящих набралось несколько десятков, потому что по дороге присоединились ребята из индустриального техникума, где тоже ощущают дефицит в подругах. Однако путь «женихам» преградила вахтерша, и пререкания с ней затянулись до тех пор, пока не прибыл наряд милиции. Тогда разочарованные «женихи» построились в колонну и двинулись процессией по Советской улице, беззлобно матерясь и раскидывая по сторонам мусор. Милиция вскоре пресекла демонстрацию, арестовав нескольких ее зачинщиков. Кое-кого повыгоняли из учебных заведений. Тем не менее главный вопрос остался нерешенным: где молодежи встречаться, знакомиться и проводить досуг так, как хочется ей, а не умудренному жизнью начальникам? Летом у них дискотека под открытым небом. Зимой — один раз в неделю в Доме культуры. И один раз... баня. Ну еще в кинотеатре «Марс» на всю неделю обязательная для провинции индийская киномелодрама. Пробовали было ребята самостоятельно расчистить для своих клубов подвалы, благо в старых домах они огромные, но сначала им просто не помогали, а потом решительно пресекли. Начальнику ГРУВД Анатолию Ивановичу Жукову вообще подвалы не imponируют. В возне вокруг них он усматривает некую злонамеренность, призванную затруднить работу органов внутренних дел.

Мэр Елифанов обнадёживает. С января будущего года в исполкоме откроется новый отдел по делам молодежи. Тогда дело сдвинется. А пока парни и их подруги собираются на лавочках автобусных остановок (благо автобусы ходят редко) или стайками слоняются по Советской улице. Молодое поколение касимовцев отличается, если судить по милицейской статистике, просто удивительным благонаравием. К нарушениям закона относится лишь каждый двадцатый. В основном беспокойство доставляют полковнику милиции Жукову, как он сам выразился, «кражонки». Дважды проникали юные воришки в мастерскую училища речников, где хранятся великолепные макеты кораблей (чего стоит один только петровский линейный «Предистанция»), натуральная моторка, модели паровых машин, инструменты... Практически все сделано под руководством педагогов производственного обучения или ими самими. Представьте, лет двадцать — тридцать назад будущие механики вместе со своим учителем лазили по машинному отделению парохода, рулеткой измеряли все детали двигателя, чертили, а потом своими силами изготавливали. Сами же на судоремонтном отливали станины, растачивали... Все это поколение мастеров 50—60-х годов — В. Брагин, Н. Трубочкин, Н. Сенин. Благодаря им слава о выпускниках-касимовцах докатилась до берегов Амура. Пограничники присылали за ними ходоков. Теперь мастера состарились, на пенсии, а в благодарность за самоотверженный и малоденежный труд каждый получил по инфаркту.

Те, кто идет по их стопам — навигатор Юрий Мещанинов, мастер производственного обучения Александр Куропаткин, — воюют с нищетой (базовый судоремонтный завод даже обрезков металла не может выделить), оформляют и оборудуют классы, стараются хоть искру интереса к профессии заронить своим воспитанникам. Но что можно сделать, когда нет не только приличной библиотеки, а и с собственной-то книгой расположиться негде. Даже у телевизора не посидишь. В спортивную комнату еле помещается стол для пинг-понга, а из котельной под полом поднимается удрушающий угольный угар.

В приемной директорского кабинета преподаватели пили чай с антоновскими яблоками (давню уже забытый, но сохраненный кое-где в провинции обычай).

— А я им говорю: у вас не товарищество, а самая настоящая колда! А они, что бы вы думали: не смейте нас оскорблять!

— **Пойдете на демонстрацию? (Дело было перед ноябрьскими.)**

— И не подумаю.

— Нашего сегодня в горком тягали к первому. Тот руководителям предприятий накачку давал. Мол, чтоб все на демонстрацию и направляющие с красными повязками...

— А пошел он...

— Наш не посмеет отслушаться. Он кроткий...

А в это время отгороженный от коллег толстой дверью директорского кабинета Александр Васильевич Шмелев погружался в Касимов столетней давности, перебирая старинные документы, гравюры, снимки... Жизнь кипела, торговала, гудела пароходами, дребезжала первыми телефонными звонками: «Торговля лесными материалами, бакалейным и хлебным товаром, мыло разных сортов собственного завода Алима Гиреевича Тубабаева. Соборная улица, телефон № 109». А рядом: «Колбасный паровой завод! Оптово-розничная торговля колбасными и гастрономическими товарами и ренсковый погреб Алексея Яковлевича Ермолаева, угол Казанской улицы и Троицкой площади, телефон № 140»... Бок о бок бойко торгуют православные, мусульмане — и накакого тебе национального или же религиозного вопроса. Богатеют, и прогресс налицо: «Наследники Л. Г. Туривес. Велосипеды, швейные и стиральные машины. Телефон № 209». А с причалов слышится могучее гудение. Это подают голос ветераны Окского пароходства, основанного сорок четыре года назад (а на дворе 1916-й) крестьянином села Ерахтур Касимовского уезда Александром Видуловичем Качковым и мещанином Алексеем Петровичем Самгиным. Они сложились капиталами и заказали в 1871 году на заводе Гакса пароход «Дмитрий Донской», который через год открыл навигацию в среднем плесе Оки. Водный путь между Касимовом и Рязанью считался тогда несудоходным. О баках и перевалочных вехах еще не знали, а «судоходители» больше руководствовались разными приметам в виде кустиков, отдельных деревьев на берегах и прочего. Благополучно закончив навигацию, компаньоны на том же заводе Гакса заказали второй пароход, «Касимов», и с 1873 года открывается пассажирское сообщение между Рязанью и Касимовом. Тип первых пароходов был однопалубный, первый и второй классы помещались в трюме, а для пассажиров третьего класса предназначалась прикрытая сверху тентом, а с боков парусиновыми шторками кормовая часть палубы. Котлы пароходов в то время работали на дровах, отапливались в холодное время только помещения первого класса, а для освещения применялись керосин и минеральные масла.

— Но все равно, — с жаром восклицает Александр Васильевич, — это уже был двадцатый век, перед глазами восхищенных гимназистов и реалистов наяву разворачивались картины, которые доселе рисовались лишь в воображении, разгоряченном романами Жюль Верна!

Началась великая пароходная война. В 1873 году волжское пароходство «Самолет» и ардабьевские купцы Бородачев и Куракин, работавшие прежде в низовьях Оки, пошли с пароходами до Рязани, а Качков и Самгин продвинулись до Нижнего. Гонки устраивали, котлы рвали, народ на берега помирал от ужаса и одновременно проникался сознанием, что вот она, новая жизнь, — быстрота, натиск, скорость!

В конце концов пароходчики договорились отправляться из Нижнего (самая главная точка — Макарьевская ярмарка) по очереди, установили одинаковую таксу и работали так до 1881 года, пока Качков не приобрел в собственность два парохода и все пристани прекратившего окскую линию общества «Самолет». С 1889 года он начинает перестройку товарищества «на американский лад», то есть пароходы приближаются к тому типу, какие ходили по Оке и Волге все 30-е и 50-е годы. Вскоре «Фирма потомственного почетного гражданина А. В. Качкова» завладела всем пассажирским и товарным речным путем от Москвы до Нижнего Новгорода: 10 пароходов американского типа, 2 полуамериканского, 1 грузовой и 4 буксирных. 20 барж и 25 пассажирских дебаркадеров. Собственные склады в Москве на Комиссариатской набережной (ныне Максима Горького, откуда теперь грязный уличный снег в речку сбрасывают).

— А чего вы все это мне рассказываете, Александр Васильевич?

— Отрабатываю впечатление, которое хочу произвести на своих головорезов. Не знаю, чем их пронять. Вот хоть историй...

Отец и дед Шмелева были окские речники. Сам он дипломированный педагог живописи и черчения. В свободное время с помощью директора музея Предеина занялся воссозданием картины величественного касимовского прошлого. Увлечен необычайно, потому как это чем-то очень напоминает наркотик. Помогает отвлечься от дикости, что вокруг...

— В музее прекрасные старинные образцы чугунной садовой мебели, — досадует Шмелев. — Нам бы сейчас, с переходом на рынок, наладить у себя в мастерских ее производство — купались бы в деньгах. И отремонтировались бы, и новое типовое училище построили. Но без помощи судоремонтного нам не развернуться, а заводу на нас плевать...

Для умеющего ценить жизнь в Касимове всегда найдется любопытное

Вот разворовали со склада протравленный против колорадского жука картофель да еще чистого яду изрядно прихватили. Вся милиция поднялась по приказу: кто начнет помирать — хватай. Но никто даже намека не подал. Либо тут милиция страшнее смерти, либо яды уж очень слабые.

Гражданин Алпеев поджег дверь тещы. Пока горело, испугался, протрезвел и бросился тушить. Сам получил жуткие ожоги, после больницы угодил под суд, а тещю хоть бы хны. Ходит, посмеивается. Получил страховку.

Пьяньенькая старушка в Покров на улице пустилась в пляс: «Покрой землю снежком. меня. младу, женишком...»

В городской гостинице пахнет злодейством. Там в ресторане посетителям навязывают фирменное блюдо «гусарская печень».

На побеленном с фасада, но ветхом и запущенном древнем строении с туалетами на дворе красуется табличка. Она извещает, что жильцы здесь ввязались с незапамятных времен в безнадежную борьбу за «дом образцового быта».

Газета «Мещерская новь» с прискорбием сообщила: помойки в новом районе имени 50-летия СССР таковы, что дают пропитание теперь уже не только воронам, чайкам, мышам, крысам, кошкам и собакам, но даже лошадям.

В конце августа, когда кому отпуск, а кому самая сельскохозяйственная страда, на город Касимов и его окрестности пахнуло идеологическим жаром недавнего прошлого. Через газету объявили, что 22-го «состоится единый политдень по теме «Крепить перестройку конкретными делами» (по материалам XXVIII съезда КПСС). В передовых коллективах выступят члены бюро горкома партии, горисполкома...» — и далее по тексту. Судя по всему, блестяще проведенный политдень почему-то не оказал существенного влияния на темпы и успехи уборочной страды, поэтому учебный год для СПТУ-13, мед- и педучилищ, а также индустриального техникума начался в поле, и во второй половине октября «трудоному семестру» еще конца не было видно.

Во время нашей беседы с мещерским мэром Епифановым ему доложили: студенты педучилища объявили, что выходят на капусту последнюю неделю.

Теперь-то нам всем ясно, что весенние разглагольствования правительства о новых подходах к уборке, об экономических, механических и прочих рычагах руководители колхозов и совхозов встретили иронически. «А нехай оно тохда сгни!» — Так сказали бы на Полтавщине. И прошлая осень полностью подтвердила их хозяйскую прозорливость. Аграриям-то что? Их даже из кабинетов не погонят. А городу кушать хочется. И в положенное время пошла по стране обычная осенняя вакханалия и докатилась она до Касимова, ударив сильнее всего по обезжитиям техникумов.

Поразительно, как различается атмосфера рабочего общежития и студенческо-педагогического. Там свободно проходишь вахту, и любой попавший тебе навстречу человек с охотой говорит «за жизнь». Здесь перво-наперво надо преодолеть яростное сопротивление вахтерши («Коменданта нет! Комендант не приказывал!»), потом предпринять безуспешные попытки вступить на кухню в контакт с преподавателями (может, и им приказывает комендант?) — и только после всего этого, разъярившись окончательно, шагаешь по отвратительному коридору и стучишь во все двери подряд. Но народ в основном в поле, под ледяным дождем. Дома лишь больные да «вольноотпущенники». И тоже любопытная деталь: из всех моих собеседниц и одного собеседника лишь Люда Журавлева и Ирина Штарклоф не побоялись, чтобы я упомянул, как их зовут. Остальные девушки и даже весьма возмужалый юноша просили их не упоминать. Чего опасаются?

— Репрессий! — ответили чуть не хором.

И мне тут же вспомнилось, как с сожалением заметила в разговоре со мной штамповщица с «Холодмаша» Ефремова: «Забитые какие-то дети у нас выросли...»

Ирина и Люда говорят о том, что разочарованы в своей будущей специальности.

— Я бы лучше в кооперативный техникум пошла.

— Я бы тоже. Но мать (она у меня в торговле) сказала: «Только через мой труп!»

— Как житье, учеба?

— Учимся в пальто и перчатках. В общаге тараканы, крысы, плиты не работают. Раз в неделю танцы в ДК и баня...

На вопрос, чему научились (ведь все-таки четвертый курс), дружно пожимают плечами:

— Составлять план недельный и ежедневный. А в нем — «режимные моменты». Например, прогулка состоит из пяти пунктов: собирать цветы, бумажки, самостоятельно ботинки завязать... Что там у Толстого в педагогике или у Спока в педагогике — кому это, зачем?

То же самое я увидел и услышал и в общаге механического техникума. Игорь (монтаж и ремонт промоборудования), Люба и Люда (литейное производство) так же разочарованы в выбранной профессии, как и их соседи. Винават ли в том рязанский «Центролит», где ребята проходили практику («Самую грязную работу — нам!»), неустроенность быта, бесправие студсовета?.. Скорее все вместе. В самом деле, кого из нынешних молодых людей вдохновит бестолковое, полуголодное, неоправданное существование...

Вернувшись в гостиницу, я включил телевизор и увидел выступление покойного ныне писателя В. Пикуля. Рассуждал он о том, что «молодежи у нас слишком много дали» и оттого, мол, она у нас какая-то не такая, какой ее хотелось бы видеть. А вот, дескать, мы — голодные, холодные, босые, сирые — в шестнадцать лет воевали на флоте против фашистов. Честь и хвала Валентину Саввичу и его ровесникам, подумалось мне, но с тех пор прошли мирные полвека, а наши девочки и парни все так же на каком-то полужакарменном положении, и благополучным их существование назвать никак нельзя.

Изнурение генофонда в военных условиях понятно. Но когда подобное происходит сейчас,

почти пятьдесят лет спустя, в конце XX века, — этого уже умом не объять, в логику не уложить. Если будущие судоводители лезят по свалкам в поисках выброшенных металлических кроватей, а будущую воспитательницу малышей вынуждают зубрить «режимные моменты из пяти пунктов», если молодому человеку недоступна даже элементарная гигиена — режут слух рассуждения о том, что «молодежи у нас многое дано».

Высокий крест Никольской церкви (начало XVIII века) можно разглядеть с Оки. Не чудо ли — молиться в церкви, где, может, осенял себя крестом Петр Великий со своими сподвижниками. Правда, есть в Касимове мнение (писателя Родина), что это не столько нарышкинское барокко, сколько более ранняя посадская эстетика. Поразительно выглядел этот уголок касимовской старины в ясный праздничный вечер Покрова Богородицы. Служил отец Владимир (в миру Владимир Сергеевич Правдолюбоб), потомственный священник, отец которого и родственники не раз страдали за веру. Издеательства и требования снять крест в школе. Трудности отнюдь не академического свойства при поступлении на мехмат Московского университета. По окончании — распределение. Нет, не в институт учебный или исследовательский, а преподавателем в школу где-то в пензенской глухомани. Молодой учитель с жаром берется за дело, внутренне ужасаясь, до какого пещерного состояния у нас доведено народное образование в провинции. Но тут поднимается новая, уже хрущевская волна гонений на церковь, многие пастыри дрогнули и прилюдно отреклись... А он оставил школу и принял сан. Разумеется, пришлось много заочно учиться, экстерном сдавать экзамены в духовную академию.

Минуло четверть века, и вот отец Владимир правит праздничную службу в честь Покрова Богородицы в родной церкви, в которой служил отец и которую он сам посещал с малолетства, когда учился произносить свою первую молитву. Мало было тогда прихожан. Без оглядки нельзя было лба перекрестить. А на Пасху сорок третьего года казалось, что от напора людского раздвинутся приделы, и на дворе от горящих свечей было светло, как днем.

Теперь отец Владимир принялся восстанавливать Георгиевскую церковь (XVIII век, образец нарышкинского барокко), что стоит на самом обрыве к Оке, на месте Богоявленского монастыря, где, по преданию, отпевали Александра Невского, умершего по дороге из Орды. Дело подвигается, в церкви уже начали служить...

Печалит священника состояние нынешних нравов. Вот недавно ему певчая пожаловалась на пятнадцатилетнего сына. Попал в плохую компанию, пропил все ее имущество от священных книг до последнего мешка картошки, деньги вымогает... И никаким церковным авторитетом тут, не сможешь. Из поколения в поколение происходил распад души. Теперь нужна прежде всего консионерская работа, как среди язычников. Да, наелась мы своего комсвинства досыта. Хотим, чтобы все было как у людей. Храмы, духовенство, приюты, дома призрения и церковноприходские школы. А главное, чтобы душа ожила.

— Но как ей ожить, когда претендуют на нее кашпировские да чумаки. Бесовщина!

— Да почему же бесовщина? — спрашиваю отца Владимира.

— Да потому, что человек должен безраздельно владеть душой своей, а не перепоручать ее кому бы то ни было.

За Окой полыхал редкий в эту дождливую осень оранжевый закат, и создавалось полное впечатление, что лучи его рассыпались по храму искрами свечей и лампад. Отец Владимир был неузнаваем в праздничном облачении.

— Каждый отдельный человек строит царство Божие в душе своей. И вторгаться в нее не смеет никто посторонний, потому что там идет большая сокровенная работа.

Я смотрел на молящихся. Главным образом женщин, которые войну пережили девчонками-подростками. Мужиков этого возраста и десятка не наберется. Молодежи практически нет: две-три пары. Представил себе, сколько в это время в московском Патриаршем соборе молодых красивых лиц. Не все веруют, но ищут веры.

Всем нам предстоит огромная работа над душой.

Ходил по улицам ночного Касимова и думал: проповедь отца Владимира — это что, глас вопиющего в пустыне? Из оврага поднималось зловоние прорвавшейся канализации. Заготовив тару, милиционеры мчались, подмигивая полутемным улицам, на очередную облаву на мясокомбинате. На автобусных остановках сидели парочки, тесно прижавшись, согреваясь сигаретами и объятиями на пронзительном осеннем ветру. Никто никого не бил, не резал, и все равно было ощущение, будто над всей провинциальной Россией бесконечная осень. А весна? Когда-то ее еще дождешься...

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЛЕГЛЕР

*

УРОКИ КООПЕРАЦИИ

В преддверии экономики, рыночной не по-совминовски, а просто рыночной, которая, хочешь не хочешь, а неизбежно придет, Россия провела трехлетний эксперимент с негосударственной хозяйственной деятельностью. Я говорю о кооперации. За те три года, что существует новая кооперация, она успела пережить бурную историю. Менялась страна, менялись законы, менялись сами кооперативы. Одни граждане приветствовали появление кооперативов и стали активно в них работать, другие увидели в них источник всякого зла и требовали их уничтожения. Попробуем разобраться в этом.

Большинство понятий, попав в нашу перевернутую систему ценностей, тоже переворачивается. Из последних примеров — «социалистический плюрализм» и «регулируемый рынок», значения которых противоположны значениям слов «плюрализм» и «рынок» в остальном мире. Не стало исключением и слово «кооперация». В мировом языке кооператив — это группа частных собственников, объединившихся для решения какой-то экономической задачи. Скажем, группа крестьян-собственников покупает маслобойку. Они объединили не все свое имущество, а только производство и продажу масла. В этом смысле русский крестьянский кооператив, дореволюционный или времен нэпа, как и сегодняшней кооператив в Голландии или Италии, есть не то, что нынешний советский кооператив.

Сегодняшний наш кооператив объединяет не собственность, которой у советского человека нет, а труд. Это есть то, что на Руси искони называли артелью. Помните у Толстого: «Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву». Или прочтите у Лескова в «Запечатленном ангеле» про артель, которая строит в Киеве мост через Днепр. Так что эта форма хозяйствования вполне органична и традиционна в России, отчего, возможно, так легко сейчас развивается. Вот как определял артель Свод законов Российской империи: «Артелью трудовой признается товарищество, образовавшееся для производства определенных работ или промыслов личным трудом участников, за общий их счет и с круговой их порукой. Распределение между членами артели заработков артели производится соразмерно с участием каждого в работах артели личным трудом по постановлению общего собрания».

Сегодняшний наш кооператив — это такое предприятие, все работники которого одновременно являются его владельцами. Этим он отличается, с одной стороны, от государственного предприятия, где собственников вообще нет, а все находятся друг у друга на службе, и, с другой стороны, от классического капитализма с его разделением на хозяина и работника. Ближе всего это к тому, что на Западе зовется народным предприятием, когда все акции фирмы принадлежат тем, кто в этой фирме работает. И разумеется, он не имеет ничего общего с чисто государственными учреждениями — колхозами, пром- и потребкооперациями, с которыми его объединяет только общее название.

Отличие нашей кооперации от традиционной еще в одном: в России и Европе кооперация всегда рассматривалась как форма преодоления частной собственности, как шаг к социализму. Швейная мастерская Веры Павловны — типичный кооператив-артель. А как не вспомнить ставшее уже трюизмом ленинское определение социализма как «стройка цивилизованных кооператоров». Мы же возвращение к кооперативным формам хозяйствования воспринимаем не иначе как реставрацию капитализма. Прошлогодный лозунг ВЦСПС «Долой кооперативы, избирающие народ!» привел бы в изрядное замешательство и Веру Павловну и Владимира Ильича. И все же как получилось, что в монолитной тоталитарной хозяйственной системе появилась кооперация, этот призрак рынка? Есть такой детский розыгрыш. Сговариваются вместе громко крикнуть «раз, два, три!». Все промолчат, а один крикнет. Он и станет виноватым. Где-то на третьем году перестройки большие дети в правительстве договорились крикнуть про экономическую реформу. Было обещано много хороших законов. И о предприятии, и о собственности, и о земле, и о внешней торговле. Но об этом промолчали. Только раздался одинокий выкрик: «Кооперация!» Получилось

так потому, что все остальные законы правительство поручило готовить самому себе, а закон о кооперации готовили другие.

Одно из правил работы бюрократических систем звучит примерно так: выигрывает тот, кто готовит документы. Решение, принимаемое высоким комитетом, сильно зависит от референта, готовящего проект, и секретаря, оформляющего протокол. Если это один и тот же человек, то можно смело сказать, что он и управляет комитетом, и отсюда легкость превращения секретарей в генеральных секретарей. Так вот, все экономические союзные законы до и после закона о кооперации готовились правительственным аппаратом и, естественно, его интересы и выражали. Если аппарат не был согласен с политически декларируемой целью нового закона, он запускать в его текст такой вирус, который эффективность закона полностью сводил на нет. Роль кооперации аппарат видел в том, что она будет на подхвате у госпредприятий, поможет вытягивать у населения деньги и остатки трудовых ресурсов — словом, будет замазывать щели в системе. Этот закон представлялся малозначимым, и его доверили составить группе ученых во главе с академиком В. Тихоновым.

Напротив, составители этого закона считали его частью будущего пакета законов о радикальной экономической реформе, где кооперации отведена роль одного из секторов в будущей многоукладной рыночной экономике. Они составили закон таким, что кооперация действительно смогла осуществиться. Проект закона был протемпелеван тогдашним Верховным Советом, так же как любой другой закон, который был бы подан ему на утверждение. Раз подан, значит, надо, и депутаты утвердили его, не ведая, что творят. Больше аппарат уже не повторял такой ошибки и никому, кроме себя, не доверял готовить тексты законов. Когда с ростом демократизации дело дошло до альтернативных проектов, новый союзный Верховный Совет, в сущности своей такой же аппаратный, как и старый, исправно голосовал за правительственные варианты, так что почти ни одного годного закона больше принято не было. Так благодаря оплошностям правительства и Верховного Совета закон о кооперации был принят в работоспособной форме. Внутрь тоталитарной (командно-карательной, административной, бюрократической, коммунистической — называйте как хотите) системы был введен экономический троянский конь.

Эффективность

Кооператив-артель имеет два сильных преимущества перед госпредприятием. Во-первых, он свободен. В направлении деятельности, в организации труда, в подборе кадров и так далее. Во-вторых, в нем все непосредственно заинтересованы в результатах работы, заработок каждого прямо зависит от успеха или неудачи кооператива в целом. Посмотрите, как это сказывается на результатах.

Я начну со старательских артелей по добыче золота, которые полностью аналогичны нынешним кооперативам, но существуют уже несколько десятилетий. Артели сдают добытое золото строго по расчетной цене, по всем государственным нормам и расценкам. Правда, они работают в условиях, не равных условиям на госпредприятиях. Артелям разрешается работать только на нерентабельных, то есть на мелких, удаленных и бедных месторождениях. К тому же артели можно было почти не снабжать техникой.

Директор производственного объединения Амурзолото А. Зарукин писал, что «артелями передают в основном старую технику — ненужный хлам, порой давно погребенный под песком таящих рек и ручьев. Они все примут». К тому же артели не требовали расходов на жилье и обслуживание. По словами того же А. Зарукина, «старатели Минцветмету СССР выгодны, ибо с ними никаких проблем. Один лишь спрос с них — за отдачу». В 1987 году, в момент, когда со старателями велась идеологическая борьба в печати, он выступил с предложением, слегка ироническим, как его предприятие может обойтись без старателей. Для этого нужно получать дополнительно каждый год сотню бульдозеров, станки, стройматериалы, автомобили. Построить научно-производственный комплекс, создать институт Амурзолотопроект, утвердить строительство соцкультбыта на 15 миллионов рублей. И тогда можно будет «переложить всю добычу золота на плечи государственных предприятий».

При всем этом громадном неравенстве условий золото, добываемое артелями, обходилось государству примерно в 4 раза дешевле, чем добываемое госпредприятиями, а давали артели почти половину общесоюзной добычи (все это факты общепризнанные, из официальных документов). Сами же рабочие-старатели зарабатывали в несколько раз больше, чем их коллеги на госпредприятиях. Вот где наглядно видна разница между государственной и кооперативной экономикой!

Принципы коллективной собственности, самоуправления, хозрасчета в артелях были реально и надолго осуществлены за много лет до закона о кооперации. Следует отдать должное руководителям Минцветмета и Союззолота, которые в эпоху абсолютного господства административной

системы сохраняли в своем ведомстве такой заповедник экономики и производственной демократии. Не будем приуменьшать их заслуги тем, что стране было очень нужно золото. Продукты, например, тоже были очень нужны, но в сельском хозяйстве дорогу здравому смыслу это не открыло.

Явное превосходство артелей над госпредприятиями вело к тому, что сфера их деятельности постепенно расширялась. Артели занялись жилищным, дорожным и промышленным строительством, заготовкой леса, производством стройматериалов. Оказалось, что и в этих областях деятельности преимущества артельной организации труда сохранялись. Передо мной лежит справка из треста Коминетфедорстройремонт со сравнительным анализом собственной работы треста и работы артели, с которой трест заключил договор. Работали в одинаковых условиях и занимались одним и тем же — строили дороги к нефтяным месторождениям. У артели месячная выработка на человека оказалась выше, чем у треста, в 3,5, объем грузоперевозок на один самосвал — в 4,5, производительность одного экскаватора — в 2,5 раза.

В Коми АССР с десяток лет строили дорогу, которая должна была связать отдаленный район с центром республики. Это была обычная государственная стройка, где, как отмечала республиканская газета «Красное знамя», наблюдалась вопиющая бесхозяйственность («Люди не хотят палец о палец ударить»). Соответствующими были и темпы. Та же газета констатировала, что «за долгие годы строительства из 98 километров сооружено пока всего лишь 48. В нынешнем году запланировано ввести в действие еще тринадцать. Но уже сегодня строители начинают поговаривать, что возвести столь «длинный» участок дороги вряд ли удастся». В апреле 1986 года подряд на это строительство взяла работавшая в республике старательская артель «Печора». И вот что написала в сентябре районная газета «Новый Север»: «Удивляет чистота и порядок... Не увидишь здесь фактов бесхозяйственности... За четыре месяца капитально отремонтировано тридцать, сдано двенадцать километров новой дороги... Еще десять километров ее планируется сдать в сентябре». А через год, 1 сентября 1987 года, «Красное знамя» с торжеством сообщило, что дорога, которую планировали закончить только к концу пятилетки, открыта на всем протяжении.

Под воздействием таких фактов местные власти старались использовать артели как можно шире, но министерство противилось этому, опасаясь огласки и последующих идеологических санкций. Однако авторы закона о кооперации знали об артелях и сознательно использовали их опыт. Преемственность здесь проявляется еще и в том, что после выхода закона многие старательские коллективы прямо превращались в кооперативы. Один из первых примеров такого рода был описан в печати под названием невьянское чудо, когда в уральском городе Невьянске бывшие старатели приобрели развалившийся и убыточный кирпичный завод и в короткое время превратили его в рентабельное и процветающее предприятие.

Несколько десятков мощных кооперативов организовалось на основе артели «Печора», одной из самых крупных и известных в отрасли (история «Печоры» и ее председателя рассказана мною в журнале «ЭКО» в № 4 за 1990 год). Артель была закрыта по ложному обвинению буквально накануне перестройки — по обычной схеме уничтожения организаций, добившихся выдающихся хозяйственных успехов. В последующие годы бывшие члены этой артели создали кооперативы самых разных типов — от строительных и горнодобывающих до зрелищных и научно-исследовательских.

Одной из наследниц «Печоры» стала строительная артель «Доломит» в Удмуртской АССР. Приняв от госпредприятия убыточный карьер, артель за три месяца увеличила производительность его втрое, а за полгода — в 10 раз, естественно, сделав его прибыльным. При этом оборудование карьера осталось прежним, большинство работников тоже. Изменилась только форма собственности и соответственно организация труда. Другому наследнику «Печоры» — кооперативу «Волхов» в Новгороде — предложили принять большой кирпичный завод, закрытый из-за нехватки заключенных в связи с амнистией. Завод словно бы символизировал собой развитой социализм — вокруг масса колючей проволоки, а внутри абсолютная разруха. Темный и страшный цех был засыпан глиной и битым кирпичом, от вентиляции не осталось ничего, механизмы демонтированы, и все производство шло вручную, вероятно, в целях воспитания трудом. По помещению бегали огромные крысы, вокруг груды металлолома и грязь по колено... И через полтора года в цехах и на территории чистота, механизмы восстановлены и работают. На месте находящейся по соседству тюрьмы — общежитие, на месте штрафного изолятора — профилакторий с бассейном, вокруг асфальт и газоны. Вместо 300 человек работает 100, производство кирпича увеличилось втрое, госзаказ выполняется, остальную продукцию кооператив реализует по госцене куда хочет, заработки высокие, текучесть кадров низкая. Проблемы есть, конечно, но с тем, что было, не сравнить.

Еще один кооператив, вышедший из «Печоры», — «Тиман» в Коми АССР. Принял карьер, выпускавший 4 тысячи тонн щебня в год, через полгода на том же оборудовании стал выпускать 200 тысяч, увеличив производительность в 50 раз («Правда», 31.12.88). Сегодня «Тиман» выпускает

продукции на 15 миллионов рублей в год усилиями примерно 700 человек. Это несколько разбросанных по республике участков — строительных, дорожных, лесоперерабатывающих, горнодобывающих. Впечатление от посещения любого участка: видишь единый, подогнанный, отлаженный механизм. Никто не простаивает, и ни одна машина не едет порожняком. Кругом порядок, каждый знает свою задачу, все обжито, налажено, и не верится, что кооперативу немногим больше двух лет от роду. «Главное богатство предприятия, — говорит председатель кооператива М. Алексеев, — это коллектив. Все прочее, будь то деньги, машины, помещение, — дело наживное. Если есть люди, которым приятно работать вместе, то все остальное к этому приложится». Удивительно выглядят жилые поселки, построенные кооперативом, например поселок, стоящий на берегу реки Сойвы. По склону проложены асфальтовые дорожки, лесенки, как в санатории. Между домами и дорожками нетронутый лес. Вплотную к соснам стоят свежие лакированные стены домов, ни один не похож на другой. Внутри комфорт, удобства и чистота, о которой в районной газете было написано: «Такое впечатление, что здесь не мужики обитают, а выпускники санитарного факультета мединститута». Строить все это кооператив никто не заставлял. Можно было просто поставить барак. «Конечно, — говорит начальник Троицко-Печорского управления кооператива П. Клецун, — бараки обошлись бы дешевле, но мы решили с самого начала сделать все иначе». Сегодня желание жить по-человечески, вырваться из заколдованного круга бесправия и нищеты ощущается в стране повсюду. Здесь, в кооперативе, это желание можно реализовать. Так, без всяких проектов и согласований, строили когда-то дома русские мужики, и те из них, которые чудом сохранились в наших городах, ныне поражают воображение своей красотой. Мы же, сколько себя помним, всегда строили прямоугольный барак, называя его то домом, то цехом, то Третьяковской галереей. Так что же, стоит дать людям возможность жить свободно, вне системы тотального надзора — и в жизни сами собой появляются красота и уют?

В Усть-Куломском поселке кооператива тоже не увидишь двух одинаковых домов. Они стоят среди деревьев, не в линию, под разными углами к улице, с лестницами, фонарями, флюгерами... Добавим к этому центральную базу «Тимана» в Сыктывкаре — комфортабельный замок из дикого камня, с деревянным теремом наверху. Зампредседателя кооператива А. Мокрушин поясняет: «Идет усталый человек с работы через весь поселок — зарядится хорошим настроением. Когда все красиво и разнообразно, ко всему душевно привязываешься, начинаешь считать своим домом, вахта дольше не надоедает». То-то я в своем типовом микрорайоне от остановки к подъезду стараюсь бегом пробежать! На участках предусмотрено многое, чтобы скрасить тяжелый труд. Вот баня, большая, кафельная, с бассейном и сауной. А у реки примостилась еще одна, маленькая, как бы деревенская. Комфорта здесь меньше, но многие предпочитают ее — здесь уютнее. Вокруг поселков бродят упитанные розовые свиньи, пасутся козы, коровы. Все это ради пользы, конечно, но еще и создает ощущение дома, крестьянского хозяйства. В бесплатных столовых свежее мясо, молоко, ветчина — все свое, выращенное здесь же. И трудятся здесь так же, как живут. Вот купили в Казахстане мощный карьерный экскаватор. Пригласили в кооператив ту же бригаду, которая на нем раньше работала. Приехали они вместе с разобранным экскаватором, осмотрелись и смонтировали его за неделю. А по нормам положено за два месяца. Правда, когда бригада заказывала кран или другой механизм, он поступал точно вовремя. Что-то приварить, привезти, выточить — все обеспечивалось. И вот такой результат.

Мокрушин в свободное время читает справочники, учебники по строительству, лесопереработке, информатике, которыми завален его кабинет. Он хочет говорить со всеми специалистами на их профессиональном языке. И учится каждый день. Он говорит: «Чтобы полностью отладить производство, нужно работать зло и монотонно три-четыре года. Увязать всю технологическую цепочку. Готовить кадры. Накапливать технические и организационные резервы. Где бы всему этому поучиться? Вот съездить бы за границу, посмотреть, как там работают, почему у них получается». Кое-что удастся сделать. Три специалиста с лесоперерабатывающего участка поехали в Италию учиться работать на оборудовании, которое, возможно, поступит в «Тиман».

Экономика таких кооперативов, как «Тиман», проанализирована на примере еще одного наследника «Печоры» — кооператива «Строитель» из Карельской АССР («Известия», 7.8.89). Авторы, кандидаты экономических наук, показывают, что производительность труда в «Строителе», «Тимане», «Волхове», «Доломите» (и многих других) втрое выше, чем на аналогичных государственных предприятиях. При этом, несмотря на высокие заработки, для государства они оказываются в несколько раз выгоднее, чем собственно госпредприятия.

Ну а как сложились у них взаимоотношения с госсектором? Говорит П. Федоров, начальник объединения «Комиавтордор», главный заказчик и хозяйственный партнер «Тимана»: «Мы кооперативом довольны, намерены его поддерживать и дальше. «Тиман» ликвидировал нам острый дефицит щебня в республике. Организовал строительство дорог в двух районах, чем мы сами сделать не могли. Для открытия там собственных подразделений нам пришлось бы создавать производ-

ственную базу, строить жилье, соцульбтыт, решать массу сложнейших вопросов, на что ушло бы несколько лет. А кооператив пришел и сразу начал работать, причем строго по госрасценкам. В целом получается и быстрее и дешевле. Производительность труда в кооперативах, работающих при нашем объединении, примерно вдвое выше, чем в наших собственных подразделениях, а работать с ними даже легче, потому что свои договорные обязательства они всегда выполняют. Мы не будем возражать, если и другие подразделения треста перейдут на кооперативную форму. А вот арендный подряд не оправдывает ожиданий. Слишком много ограничений остается. У нас с «Тиманом» составлен договор, программа развития до 1995 года. Это, конечно, если министерство не срежет объемы дорожного строительства. Тогда придется аннулировать заказы кооперативам. Свои предприятия мы ведь не можем ликвидировать. А за счет кооперативов можно быстро свертываться, а если надо — быстро расширяться».

Оказывается, «плановое» хозяйство гораздо менее предсказуемо, чем «рыночная стихия». На свободном рынке можно с определенной вероятностью прогнозировать долгосрочный спрос и конъюнктуру, там подписанный договор положено выполнять. А у нас любые планы могут быть в любой момент изменены в соответствии с мнением далекого министерства. Это один из бесчисленных парадоксов, которые еще придется осознать, исследуя нашу хозяйственную систему.

Возникновение кооперации повлекло за собой целый ряд социальных последствий. Кооперация включила в активную деятельность массу людей, до этого никак себя не проявлявших. В тоталитарном государстве участие в любой форме социальной жизни, в том числе и в хозяйственной деятельности, требовало, во-первых, постоянной демонстрации идеологической лояльности и, во-вторых, сложного балансирования между законом и замысловатым сочетанием законных и незаконных, официальных и теневых действий. Каждый советский хозяйственник должен ежедневно решать принципиально нерешаемые задачи и делать вид, что окружающий его безумный мир нормален. Далеко не все могут и хотят играть в эти игры, отчего в стране всегда имелся слой способных, предприимчивых, энергичных и высокообразованных людей, занятых, однако, исключительно частной жизнью. Кооперация вобрала этот слой в себя, отчего многие вчерашние аутсайдеры фантастическим образом превратились в социально активных и преуспевающих лидеров.

Каждый раз, когда бывший государственный служащий переходит на работу в кооператив, в его сознании происходят революционные изменения. В государственном хозяйстве производственная деятельность определяется формулой «инициатива наказуема». Каждое подразделение Административной Системы должно беспрекословно принимать указания сверху для неукоснительного выполнения или передачи дальше. Отсюда главные добродетели работника — послушность (вверх) и непреклонная воля (вниз). Плюс некоторая изворотливость и цинизм, необходимые, чтобы вывернуться в случае поступления невыполнимого приказа. Личный успех состоит в том, чтобы понравиться начальству. Для этого надо уметь показать себя с хорошей стороны, избежать ответственности при неудаче, не оказаться, как говорят, крайним. Все остальное — успех дела, мнение и благосостояние подчиненных, состояние окружающей среды и прочее — имеет значение лишь постольку, поскольку не противоречит главному критерию. Если вы начальству понравились, оно вас наградит, переведя на более высокую должность. Успех, достигнутый вами в каком-то деле, выражается в том, что вам придется с этим делом расстаться. Хорошего директора завода заберут в министерство, секретаря обкома — в ЦК и так далее.

В кооперативах, наоборот, все достигается инициативой. Личный успех определяется не должностью, а успехом общего дела. Два человека в разных кооперативах могут занимать одинаковую должность, а их реальное положение будет отличаться как небо от земли. Успех кооператива выражается в росте доходов, престижа, комфорта, в расширении производства, строительства и т. д. Все это достижения групповые, командные, артельные, которых хватает всем. Толкучка за должностями здесь не имеет смысла. Кто так работал — знает, как приятно ощущение общности, как это прибавляет сил, превращает жизнь в праздник.

Директор госпредприятия ориентируется на инстанции, которые могут повысить, а могут снять. В ситуации, когда приказ министерства противоречит интересам предприятия, он выполнит приказ. Напротив, председатель кооператива думает в первую очередь о его хозяйственном успехе и лишь потом о расположении вышестоящих. Это рождает совсем другое сознание — замороженный государственный служащий превращается в свободного человека. «В госсектор я вернусь только на лесоповал», — заявил публично доктор наук, хирург Ю. Воронцов, ставший председателем медицинского кооператива (подразумевая, что вернется только под конвоем).

Все эти преимущества выразились в виде быстрого роста кооперативного сектора. В 1987 году кооперативы произвели товаров и услуг на 330 миллионов рублей, в 1988-м — на 6,1 миллиарда, в 1989-м — на 40,3 миллиарда. Итого, как пишет академик В. Тихонов, рост за два года в 122 раза, в том числе за 1989 год в 6,6 раза. В 1988 — начале 1989 года во многих предприятиях обсуждались проблемы перехода к кооперативной форме хозяйства. В 1989 году комбинация

свежепринятых законов о предприятии, о кооперации и об аренде давала каждому предприятию формальное право самостоятельно, по решению трудового коллектива, превратиться в кооператив. Многие руководители с энтузиазмом рассматривали такую возможность, и немало предприятий осуществило такой переход.

Вообще-то умение кооперативов работать лучше, быстрее, дешевле, меньшими силами и т. д. — это не единственное их достоинство. Не менее важно, что они экономически суверенны и никому, кроме закона, не подчиняются. Государственное предприятие, даже хозрасчетное, остается низовым элементом Административной Системы. Оно выполняет планы, добывается показателей и направляет отчеты, сохраняя самостоятельность лишь в тех вопросах, которые вышестоящие органы не считают важными. Предприятие — безвольный придаток министерства, мускул, сокращающийся при поступлении импульса из нервного центра. Наоборот, кооператив — маленький, но полноценный экономический организм. В погоне за конъюнктурой, прибылью и прочими изменчивыми вещами он сам думает, что ему делать, будучи сам себе госплан, госкомтруд и министерство. Даже если кооператив берет в аренду предприятие со всеми его планами и обязательствами, он делает это свободно, добровольно занимая клеточку в Административной Системе. И добровольно же может ее покинуть. Короче говоря, кооператив есть готовый элемент будущей рыночной экономики.

Поэтому открывшаяся в 1989 году для предприятий возможность самостоятельно переходить к кооперативной форме фактически означала самостоятельный переход к рыночной экономике. Радикальная экономическая реформа, официально провозглашенная, а затем отмененная, могла теперь осуществиться явочным порядком. Оказалось, что в Административной Системе существует дырка — закон о кооперации, — через которую, предприятие за предприятием, может вытечь все производство, оставив министерства и Госплан наедине с самими собой. И народное хозяйство продемонстрировало явную готовность это сделать.

Несовместимость

Было бы, конечно, чрезмерным считать закон о кооперации полным совершенством. В ряде вопросов он не защищал кооперативы от произвола Системы. Например, слабо был проработан вопрос о собственности кооператива и его членов, о материальной ответственности членов по долгам кооператива. Совершенно упущены были проблемы, возникающие при ликвидации кооперативов, не был предусмотрен механизм разрешения споров между кооперативом и государственными органами. Закон не перечислял запрещенных кооперативам видов деятельности, предоставив право запрещать правительству. На волю аппарата были оставлены также и все вопросы налогообложения. Не был предусмотрен порядок изменения и толкования самого закона, что дало право любому ведомству кроить его по своему усмотрению.

Наоборот, в одном вопросе закон о кооперации оказался излишне либерален — в пункте о ценах. Кооперативам было дано право устанавливать цены на свою продукцию по собственному усмотрению. Само по себе это, в общем-то, правильно, так должно быть и будет в условиях рыночной экономики, на приход которой, понятно, и рассчитывали авторы закона. Но поскольку экономика рыночной не стала, право самостоятельного ценообразования обернулось совершенно незаслуженной привилегией, прямым приглашением к спекуляции. Все вокруг продается по твердым ценам, а ты за свою продукцию можешь назначить цену сам. Многие не устояли перед соблазном воспользоваться этой ситуацией, принялись быстро зарабатывать сказочные деньги, вызывая тем самым зависть и злобу окружающих. Разрешая, например, торговые кооперативы, им не предусмотрели ограничений ни в ценах, ни в ассортименте продаж и покупок, в отличие, скажем, от буржуазной Голландии, где норма прибыли при перепродаже установлена в 6 процентов. Естественно, это в условиях дефицита обернулось грандиозной спекуляцией. На бюро Краснодарского крайкома партии докладывают: «Кооператив закупил в Баку 4 миллиона штук металлических крышек для консервирования по розничной цене 3 копейки за штуку и реализовал по 7—8 копеек». Вывод крайкома — торгово-закупочные кооперативы в крае закрыть. От мальчика забыли спрятать конфеты, и он их съел. Теперь застрелим мальчика.

Потянулась неизбежная цепочка последствий. Вскоре Госкомцен установил многократно повышенные цены на все, что госпредприятия продавали кооперативам, — на технику, сырье, запчасти, горючее и т. д. Оказалось, что одна и та же вещь стоит по-разному в зависимости от того, кому она продается. Это еще более усугубило хозяйственный хаос и повлекло за собой массу казусов такого, например, типа: кооператив берет кредит и покупает на него станок по двойной цене, затем по какой-то причине кооператив закрывается и, чтобы вернуть кредит, распродает свое имущество. Но продать станок назад в госсектор он может только по одинарной цене. Как же вернуть кредит?

Теперь уже кооперативы не могли продавать свою продукцию по государственной цене, даже если бы хотели. При этом повышение цен на государственное сырье осталось в тени, а высокие кооперативные цены были у всех на виду, вызывая недовольство народа и подготавливая первую волну антикооперативной демagogии. Ситуация усугубилась тем, что под видом кооперативов в повышение цен втянулись и госпредприятия. Скажем, вокзалы под вывеской кооперативов стали брать хорошие деньги за посещение туалетов, приводя население в неудержимую ярость. Многие продукты, в том числе импортные, к которым кооперативы заведомо не прикасались, стали продаваться по резко повышенным «кооперативным» или «договорным» ценам.

Производственные кооперативы, возникшие из артелей и имевшие жизненный опыт, с самого начала видели эти ценовые ловушки. Они полагали, что, если кооператив считает себя более эффективным, чем госпредприятие, он должен это доказать в равных с ним условиях. Поэтому упоминавшиеся уже мной «Строитель», «Волхов», «Доломит», «Тиман», «Дорожник» и многие другие сразу провозглашали, что они работают строго по государственным расценкам, и требовали такого же отношения к себе. Они считали заведомо проигрышным идти по пути беспорядочного повышения цен, поскольку этот путь приводил их в беззащитное, морально уязвимое положение. Эту точку зрения удалось доказать в правительстве. Сначала ряд кооперативов получил индивидуальные индульгенции от Госкомцен, где говорилось, что кооператив имярек производит все по госрасценкам и имеет право также все и покупать по ним. Затем были приняты соответствующие постановления общего характера, сперва разрешающие, а потом и обязывающие кооперативы работать именно так. Однако след этой ошибки в виде не утихающей антикооперативной пропаганды тянется до сих пор.

Как раз в это время начался общий крах советской экономики, выразившийся в последовательном исчезновении из оборота одной группы товаров за другой. Обнаружилось, что этот процесс удобно списывать на кооперацию, и поначалу это успешно делалось. Появилось выражение «кооператоры скупили» — современный эквивалент классических формул «диверсанты подожгли» и «кулаки зарыли». Многие поверили, что кооперативы стали причиной нехватки сахара, исчезнувшего в результате антиалкогольной политики правительства. В печати сообщалось, что кооперативные студии звукозаписи скупили все магнитофонные кассеты (в действительности звукозапись является государственной монополией, и именно поэтому она столь невообразимо дорога). Но по мере того как все новые виды кооперативной деятельности подвергались запрету, кризис только возрастал. В конце концов всем стало очевидно, что вызвать потрясения такого размаха никаким кооператорам не под силу. Исчезновение крупы и табака никто уже не пытался свалить на кооперацию.

Если в целом для государства кооперативы наряду с «мафией» пригодились как мировоззренческий элемент, объясняющий кризис в рамках традиционной картины мира, то профсоюзы и «аппаратная партия» ОФТ — РКП поставили кооперацию едва ли не в центр своей пропагандистской деятельности. Появление кооперации позволило вновь наполнить архаичное понятие «классовая борьба» конкретным содержанием, вновь увидеть классового врага в жизни, а не в учебнике. Где классы, там борьба — значит, пролетариату снова понадобится авангард!

Советский профсоюзный аппарат — одна из бутафорских шестерен Системы. Реально он не нужен ни государству, ни народу и используется для трудоустройства номенклатуры, чья карьера в главном русле не удалась. Он существует за счет распределения благ, произвольно вырванных из системы обычной торговли. Расширение распределяемого ассортимента усиливает позиции распределителей, их явные и тайные преимущества. Переход же к свободной торговле, к рынку грозит все это отнять. Главный человек в лагере — хлеборез. На это место профсоюзы и претендуют, громя кооперацию как носителя идеи, лагерю противоположной. При этом они доказывают, что они нужны народу в качестве его защитника от кооператора-миродея.

Разбирать всерьез всю профсоюзную риторику малоинтересно, поскольку она на правдоподобие и не претендовала. Например, в старом Верховном Совете РСФСР прозвучало такое обвинение: «За девять месяцев текущего (1989) года кооперативам Ленинграда и области банками выдано наличных денег около 700 миллионов рублей, а получено обратно всего 44 миллиона». Но по этой схеме работает вся промышленность, не только кооперативная. Наличные деньги поступают из банков в виде зарплаты, потом уходят в магазины и возвращаются через них обратно в банки. Ни заводы, ни институты наличных денег не сдают. Другой пример: журнал «Наш современник» заявил, что главным требованием бастующих шахтеров летом 1989 года было закрытие кооперативов, но что пресса скрыла это в своей информации о забастовках. Практически одновременно «Известия» в анонимном комментарии обвинили Союз кооперативов СССР в сотрудничестве с шахтерами, в подстрекательстве шахтеров к забастовкам. То есть было предложено два взаимноисключающих, но равно неблагоприятных для кооперации объяснения забастовок.

Конечно, было бы преувеличением считать кооператоров ангелами, на которых возводят

напраслину. Кооператоры как выборка населения более энергичны, предприимчивы, независимы. Но в моральном отношении, думаю, они часть своей нации и не отличаются от общества в целом. Вот, скажем, в Москве есть институт, который должен регистрировать товарные знаки, за что он получает финансирование из бюджета. Знаков институт не регистрирует, ссылаясь на неправильное оформление клиентами заявок, но намекает, что оформить знак можно через созданный при институте кооператив за соответствующую высокую оплату. Бандитизм, разумеется. Но причина его в том порядке регистрации товарных знаков, который установлен государством. Другой московский кооператив получает от райисполкомов в аренду помещения, а потом уступает их нуждающимся, требуя за это огромные взятки. Суть в том, что служащие исполкомов распоряжаются огромными, многомиллиардными ценностями, будучи не заинтересованными в том, как эти ценности используются. Уродливые явления, справедливо возмущающие многих в кооперации, связаны не с ее внутренней природой. Они возникают главным образом в точках непосредственного соприкосновения кооператоров с государственной системой.

Мы знаем на своем опыте, что тоталитарное общество быстро приходит к полной аморальности. Мы знаем по опыту других, что рынок со временем порождает если не высокую, то хотя бы устойчивую, реально работающую мораль. В экономике надо рассчитывать не на бескорыстие действующих лиц, а на то, что их корысть совпадает с общественной пользой. Эта истина известна повсеместно с XVIII века, но у нас она забыта. Купцы, предприниматели, промышленники — люди удивительные. И думают они в первую очередь о себе, о своем деле, своей семье. Но вот что удивительно: со временем их страны и народы неизбежно начинают процветать. Развивается торговля, строятся города, укрепляются законность и порядок. Пути, проложенные купцами, способствуют культурным обменам, промышленники покровительствуют науке и искусству. А на другом человеческом полюсе мы видим героев, фанатиков, революционеров. Их цели возвышенны, они мечтают о всеобщем счастье и справедливости и готовы идти в бой за это. Но их душевные порывы обычно оборачиваются пожарами, кровью, упадком. Действительность сложнее, и всеобщее благоденствие не достигается с наскока.

Хотя кооперативы и не совершали тех фантастических злодеяний, в которых их обвиняли профсоюзы, у Системы были всеские основания начать против них всеобщее наступление. Закон о кооперации на несколько лет опередил остальные звенья экономической реформы, оставаясь в сфере экономики единственным реальным достижением перестройки. Это вызвало значительную напряженность в обществе, но стало и источником развития: ситуацию уже нельзя было тихо замолчать. Одна из наступающих армий глубоко вклинилась в расположение противника. Надо или двигать весь фронт за ней вдогонку, или отдавать ее на растерзание противнику. Понимал это и противник, стремившийся как можно скорее ее уничтожить.

В первый же год выяснилось, что кооперация бесспорно превосходит госсектор в области экономической и в некоторых отраслях хозяйства начинает его вытеснять. В ответ Система наносила ответные удары в области административной, действуя с непреложностью математического закона. Вот кооператив взялся за газификацию домов, избавляя жителей от топки печей, а городской воздух от дыма. В первый же год сделано в 30 раз больше, чем делало за это же время местное специализированное предприятие. Кооператив расширяет производство, приобретает авторитет у населения. Тогда следует серия административных решений, запрещающих кооперативам выполнять такие работы. Корреспондент «Известий» пишет: «Пока кооперация не конкурент, пока на нее можно смотреть сверху вниз, пусть ее, ведомства — «за». Но когда она всерьез начнет претендовать на равноправие и докажет свою состоятельность делом — вот тут и готовь «сети». Случайно ли обрушились на кооператив именно в тот момент, когда сотни домов были полностью готовы к сдаче? Ведь зажечь голубые огоньки в этих домах — значит признать кооператив реально существующей, сильной строительной организацией»¹. Вскоре сходная история повторяется в другом месте. Кооператив за год газифицировал село (на что местное СМУ потратило бы десять лет) и был закрыт Госгортехнадзором по указанию сверху. При этом сам начальник управления Госгортехнадзора говорит корреспонденту: «Если кто и работает на совесть, то это кооперативы... И трудятся в поте лица своего, и качество дают отменное. Чем вызван запрет? Не берусь судить. Знаю лишь, что дело они делали полезное и нужное». Газета подытоживает: кооперативы ликвидируют там, «где их предприимчивость ярко высвечивает неразворотливость и просто плохую работу государственных предприятий»².

Ожесточеннее всего Система борется с кооперацией там, где она хуже работает сама. Например, в нашей стране есть неограниченные возможности для международного туризма, и западные туристические фирмы готовы вкладывать деньги в его развитие. Туризм — это реставрация

¹ «Известия», 10.2.89.

² «Известия», 20.3.89.

памятников, благоустройство территорий, дорогое валютное обслуживание, валютное же сельское хозяйство. Это возможность мгновенного оживления экономики целых регионов. Но с одной оговоркой — госсектор здесь бессилен. Иностранные партнеры знают, что такое «Интурист», и не хотят иметь с ним дела. А с кооперативами — готовы. Не потому ли в декабре 1988 года кооперативам было запрещено обслуживать интуристов? А чего стоил запрет на кооперацию в области образования, основанный на смехотворном доводе о «социальной справедливости». Можно подумать, что сегодня столичный и сельский школьник получают одинаковое образование. Кооперативная школа, пусть не везде и не сразу, способна улучшить качество обучения, материально помочь школе и учителям (многие родители готовы тратить деньги в первую очередь на образование детей). Организаторы школ готовы были обучать часть детей бесплатно. Здесь возможна масса вариантов — именно сочетанием частных и государственных, платных и бесплатных школ обеспечивается должный уровень образования во всем мире. Но если выяснится, что устроить хорошую современную школу в нашей стране все-таки возможно, как тогда будет выглядеть Минпрос? И все же жизнь опрокидывает большинство подобных запретов. И самостоятельные школы возникают, и туристы обслуживаются, и фильмы снимаются, и книги издаются. Монополии, стиснув зубы, шаг за шагом отступают.

Обратимся еще к одному примеру «административной конкуренции» — на этот раз из области видеопроката: «Единственная государственная организация, призванная заниматься видео — ВПТО «Видеофильм», — за все время своего существования практически ничего не сделала. И сделать по каким-то причинам, видимо внутреннего характера, не может. Поэтому это объединение всеми силами стремится не улучшить свою работу, а помешать... работе других конкурирующих организаций... И, к сожалению, ВПТО в этой борьбе преуспело... Постановлением перекрыли кислород всем кооперативам, занимающимся видео»³. И что толку, добавлю я, — все равно видео крутят где угодно и кто угодно.

Кооперативы опасны для Системы не только как прямые конкуренты. Будучи основанными на здравом смысле, они самым фактом своего существования высвечивают всю абсурдность и безобразие нашей действительности. В городе Талды-Кургане почтамт берет за доставку пенсий 2,4 процента от их величины, но не доставляет их. Кооператив готов это делать всего лишь за половину этой суммы, оставляя вторую половину пенсионерам. Тут-то и выясняется, что собственно на доставку пенсий тратится лишь шестая часть этой суммы, а остальное идет вышестоящим инстанциям. Кому же нужен такой кооператив!⁴

В 1989 году в хозяйстве страны шли взаимно противоположные процессы. Система разваливалась, а кооперация развивалась. Напряженность между ними росла, и выбор — ускорять реформу или ликвидировать кооперацию — становился все неотвратимее. Дела пошли к ликвидации. Новогоднее постановление защитило от кооперативов наименее конкурентоспособные отрасли госсектора. Весной были отняты только что дарованные права на внешнеэкономическую деятельность. За считанные месяцы, пока они действовали, кооперация развеяла миф об отсутствии в нашей стране товаров для экспорта. Стало продаваться то, что раньше считалось мусором, что выбрасывалось, сжигалось, сбрасывалось в реки. Напуганные внешнеэкономические ведомства добились восстановления своей монополии, а «мусор» переименовался в стратегическое сырье. Летом происходило активное наступление на кооперативы торговли и общепита. Их просто закрывали, не ссылаясь ни на какие законы и не обвиняя ни в каких нарушениях. Банки получили инструкции не выдавать кооперативам с их счетов их же собственные деньги. Впрочем, государство всегда считало, что деньги, положенные в советский банк, принадлежат ему, а не вкладчику. В июне была сделана попытка вовсе ликвидировать кооперацию посредством налогообложения, но она не удалась, и в августе были приняты более умеренные ставки налогов. В сентябре размер зарплаты в кооперативах был поставлен под контроль местных властей. Все это сопровождалось мощной пропагандистской кампанией.

Факты показывают, что отторжение кооперации от Системы происходило не только по команде из центра, но и во всей толще общества в центре и на местах, в городе и на селе. Пресса, как пожарная команда, бросалась гасить то один, то другой конфликт. Но это были не отдельные очаги. Горела земля под ногами кооперации повсеместно. Наихудшим ее положение было в начале 1990 года, когда старые Верховный Совет РСФСР, Минфин, Моссовет и другие Советы своими постановлениями, инструкциями, ставками налогов фактически подписали ей приказ самоликвидироваться. Сами авторы инструкций и постановлений открыто провозглашали свои ликвидаторские цели, а торговые кооперативы были уже ликвидированы Верховным Советом СССР. Инструкции Минфина содержали множество казуистических подробностей, направленных на скорейшее душе-

³ «Смена», 1989, № 6.

⁴ См.: «Правда», 16.8.89.

ние. Например, когда Госстрой СССР добивался освобождения строительных кооперативов от налогов в первые два года их деятельности и это вошло в Закон о налогообложении, Минфин дал такое толкование понятию «строительный кооператив», что ни один реальный кооператив под эту льготу не попадал. Затем после длительной борьбы формулировка была изменена. И такие примеры можно приводить многими десятками.

В 1988 году государство относилось к кооперативам благожелательно, и их число быстро росло. Теперь оно сурово нахмурилось. В результате в первом квартале 1990 года объем кооперативного производства сократился на 20 процентов, хотя до этого происходил его ежеквартальный рост почти в два раза.

Взаимоотношения между государством и кооперацией хорошо иллюстрируются зигзагами кредитной политики. Вскоре после принятия Закона о кооперации Минфин разрешил выдавать кооперативам кредиты. И, как водится, в банки были спущены планы по кредиту. План, как известно, — закон. И всякий, кто переступал порог банка в те счастливые дни, не ведал отказа. Трое дагестанцев явились в банк одного северного города. Они создали кооператив по откорму свиней и попросили 150 тысяч рублей на закупку поросят. Странная любовь правоверных мусульман к свинине не вызвала подозрений работников банка. Они не поехали проверять ферму кооператива. Они даже не записали, что наверное сделал бы любой непрофессионал, паспортных данных и прописки «свиноводов», удовлетворившись адресом кооператива, который, естественно, оказался фиктивным. Стоит ли винить в происшедшем Закон о кооперации? Впрочем, скоро банки перестали давать кредиты под любые проценты, под любое обеспечение и самую надежную репутацию. План по кредитам был уже выполнен.

С весны 1990 года ситуация вновь изменилась. Общество все отчетливее стало осознавать, что без кардинальной экономической реформы ему не выжить. Появились слова «разгосударствление» и «приватизация». Заговорили о малых предприятиях и акционерных обществах, повсюду открывались совместные предприятия. В некоторых городах и районах к власти пришли демократы, отменившие часть драконовских постановлений своих предшественников. Теперь кооперация перестала быть единственным оппонентом Системы и перестала привлекать массовый острый общественный интерес. Страсти закипели вокруг фермеров, Моссовета и Ленсовета, свободных экономических зон, распродажи родины и валютного кризиса. О кооперативах начали забывать. Они перестали играть ту исключительную роль единственной рыночной ласточки, которую играли три года. Можно обсуждать итоги эксперимента.

Кооператоры изменились за эти три года. Они «закалялись в борьбе», объединялись. Возникли региональные, отраслевые, республиканские союзы, затем Союз объединенных кооперативов СССР. Его лидерами были избраны достойные и компетентные люди — ни одного отставного генерала, ни одного аппаратчика-неудачника. Несмотря на запреты, появилась кооперативная пресса. В нулевом номере газеты Союза объединенных кооперативов «Коммерсантъ» говорилось: «Кооперативы были первопроходцами новой экономики страны. Следует ли удивляться, что они же и приняли на себя основную силу ответного удара... Люди, осознавшие реальность, пытаются спасти хозяйство страны, где живут они и их дети... Это и было названо кооперацией. Эту осознавшую себя силу, возможно, уже не удастся уничтожить». Возможно...

Когда вследствие пропагандистских усилий слово «кооператор» приобрело сомнительный оттенок, многие предприимчивые люди задумались, как воспользоваться свободой и другими преимуществами кооперативной организации и в то же время не запачкать свою репутацию этим словом и не платить тяжелых кооперативных налогов. В массовом количестве стали появляться «хозрасчетные предприятия», «фирмы», «ассоциации», «объединения», «центры» и бог знает что еще. Возникло также множество совместных предприятий, вклад инофирм в которые приближался к нулю. Совместность приносила взаимную пользу — советская сторона избегала налогов, иностранная получала некоторые льготы и удобства. Совместные предприятия были по крайней мере законны, ибо опирались в своей деятельности на правительственные постановления. Остальные находились, строго говоря, вне закона, не подчиняясь ни Закону о госпредприятии, ни Закону о кооперации. Большое море коммерческой инициативы плескалось между этими двумя утесами, как бы не замечаемое ни финансистами, ни юристами. Делалось это так: влиятельное ведомство получало разрешение организовать «хозрасчетную экспериментальную внедренческую фирму», имеющую право делать все что угодно и размер налогов устанавливающую себе сама. Исполком ее регистрировал, банк открывал счет. Затем фирма создавала филиалы, тоже имеющие право делать все, затем возникали филиалы второго, третьего и так далее порядков. Фирма-основоположник могла исчезнуть с хозяйственного небосклона, а ее филиалы существовали под новыми именами. Они занимались научно-техническим прогрессом, маркетингом, инжинирингом, лизингом, бартером, менеджментом и прочими привлекательными, но мало понятными вещами (а в основном торговали компьютерами и переводили безналичные деньги в наличные, то есть участво-

вали в посредничестве, которое кооперативам было запрещено). Интересно, что суровые критики кооперативов эту стихию даже не заметили. Скажем, после запрета кооперативам заниматься видеобизнесом он весь сосредоточился в центрах научно-технического творчества молодежи при райкомах комсомола. Порнушка, таким образом, крутилась комсомолом, а персты моралистов по-прежнему указывали на кооперативы. Антикооперативную кампанию двигала не столько реальная забота о госбюджете и общественной нравственности, сколько пропагандистская задача найти врага...

Выше я говорил о кооперативах как о представителях рыночной экономики, но в эти три года их рыночный потенциал оставался в основном не задействован. Это связано с тем, что в плановом советском хозяйстве отсутствуют свободные ресурсы, которые можно купить за деньги. Нет ни земли, ни помещений, ни материалов, ни техники. Это не значит, что их вообще нет, — каждый видит массу пропадающей земли, сотни пустых разрушенных зданий, горы материалов. Но все они не являются предметами купли-продажи. Все это может быть только «выделено», а кооперация изначально была отрезана от такого способа распределения.

Кооперативы развивались с учетом этого ограничения. В большей своей части они фактически вписались в плановую экономику, стали выполнять госзаказы и пользоваться фондовым распределением, как уже упоминавшиеся «Тиман», «Волхов», «Строитель». Они готовы работать в рыночной экономике, но пока работают в Административной Системе, хотя и лучше, чем родные дети этой Системы. Отсюда ясно, почему вместо работы на население кооперативы в значительной мере предпочли работать на производство, почему кооперация стала воспроизводить существующую производственную структуру, вместо того чтобы менять ее. Относительно немногие кооперативы, которые можно считать рыночными, работают в подвалах, полученных за взятки, на сэкономленном и полуукраденном сырье, на станке, привезенном со свалки, с использованием технических идей, вынесенных из ближайшего госбюджетного НИИ, и т. д. Пока сохраняется нынешнее положение, эти кооперативы связаны с теневой экономикой и по самой своей сути не могут достичь больших масштабов.

Среди реальных, выявившихся в свете кооперации, есть и такая: в обществе ослабшего тоталитаризма, но не сформировавшегося рынка отсутствует механизм принятия решений. Вообще. Поясню: любое решение, любой поступок неоднозначны, имеют положительную и отрицательную стороны. Например, вы решили купить курицу. Плюсом решения будет наличие у вас курицы, минусом — необходимость отдать за нее деньги. Решили не покупать — плюс и минус меняются местами. Так и в социальной жизни. Общество решило срубить лес и построить дом — тогда не будет леса. Решило оставить лес — тогда не будет дома. Полного счастья не бывает никогда.

В тоталитарном обществе решения принимаются начальством и не подлежат обсуждению. Любое решение единственно верно, а если завтра начальство передумает, то новое решение тоже будет единственно верным. При рыночной экономике решение определяется алгебраической суммой плюсов и минусов, доходов и расходов, измеряемых, естественно, в деньгах. Правильно то, что приносит наибольшую прибыль. В этом смысле рынок прежде всего — механизм принятия решений, а деньги — единица измерения, средство передачи информации. Как писал Ф. Хайек, «основная функция цен — эффективная и дешевая передача информации, необходимой экономическим агентам для принятия решений о том, что и как производить и как использовать ресурсы». Эта интеллектуальная роль денег и рынка меньше всего понята в нашем обществе. При этом в рыночной экономике имеют право на жизнь и заведомо некоммерческие решения — очистить реку, передать здание бесплатному спортивному клубу, отдать территорию под парк, а не под карьер. Но во всех случаях известна цена решения — какую сумму общество готово потратить на здоровье, культуру или экологию. Существует единица измерения.

Когда в обществе, как у нас сейчас, нет ни начальства, ни денег (денег нет не в смысле что их мало, а нет как явления, ибо наши рубли деньгами не являются), то любое решение, принятое любым субъектом, может быть оспорено любым другим. Хозяйственная жизнь превращается в необъятное поле для демагогии. План застройки района обсуждается на митингах, реконструкция завода вызывает демонстрации, распределение квартир сопровождается голодовками. а проблемы территориально-административного устройства разрешаются боевыми действиями. Одна московская газета напечатала снимок строящегося дома (овощной магазин на первом этаже и контора строительного кооператива на втором) с комментарием: «Надо ли строить магазин, когда в городе не хватает жилья?» Почти в тот же день по московскому телевидению прозвучала фраза, что «в городе катастрофически не хватает овощных магазинов». Когда нет критерия, любые решения оказываются в полной зависимости от красноречия спорящих.

Можно только посочувствовать властям, которые при отсутствии критериев должны выделять участки под застройку или передавать пустующее здание одному из десятка претендентов. В

нормальных условиях его получит тот, кто заплатит больше. А у нас? Здесь действительно взятка может оказаться единственным путем для решения кооперативом своих проблем. Однако эта ситуация имеет и другую сторону: любое должностное лицо, защищающее или хотя бы сильно не нападающее на кооперацию, может быть заподозрено во взятках. Возникает то, что я назвал бы фельетонным правом, — возможность любых лиц и организаций оспаривать любые решения властей, намекая на их подкупленность. Как оно действует, все видели на примере газеты «Советская Россия», обвинившей нескольких членов Верховного Совета СССР в «кооперативном лоббизме».

Когда депутаты Верховного Совета СССР принимали нынешние ставки налогов, они догадывались, что многие полезные кооперативы не выдержат их тяжести. И утешали себя мыслью, что они установили лишь максимальные ставки, которые местными властями могут быть снижены. Но забыли при этом о «фельетонном праве». За прошедший с тех пор год тысячи председателей исполкомов, тяжело вздыхая, объясняли председателям кооперативов, что, «если мы вам снизим налоги хоть на рубль, мы будем немедленно обвинены во взятках». В Коми АССР ряду строительных кооперативов, работающих по госрасценкам и выполняющих госзаказы, налоги были снижены. В том числе «Нефтянику», «Северному» и «Тиману». Исходя, в частности, и из того, что государственные организации, занимающиеся аналогичной деятельностью, от платежей в бюджет освобождены. Правительство республики, рекомендуя депутатам снизить налоги, полагало, что неизбежная в случае максимальных ставок ликвидация этих кооперативов никому не будет на пользу. И вот помощник прокурора Р. Чистоходова в газете федерации профсоюзов Коми обвиняет городских и республиканских руководителей в получении взяток от кооперативов, а прокуратуру республики — в покровити всего этого, в круговой поруке. Основание — сам факт снижения налогов. Помощник прокурора перечисляет суммы как бы недополученных налогов, которые «в казне оченьгодились бы», не понимая, что, если кооператив погибнет, от него нельзя будет получить уже ничего. Особенно катастрофический характер «фельетонное право» приобрело в связи с исчезновением в стране товаров и продуктов. Ежедневно люди следят друг за другом и пишут, что банка тушенки, пачка печенья или лист фанеры проданы не тому, кому следует. (А как узнать, к о м у следует?) И с каждым днем страна все больше захлебывается в потоках зависти и злобы.

Рассматривая каждый частный случай отторжения кооператива Системой, каждый отдельный конфликт, арест счета и так далее, видно, что в сердцевине подобного противостояния лежит не нарушение кооперативом закона, не экономический ущерб от него, даже не конкуренция с госсектором (от которой госсектор может мгновенно избавиться, просто предложив кооперативу свой госзаказ), а — идеология. Основной постулат государственной идеологии неизменен со времен «Манифеста Коммунистической партии». «...коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности»⁵. Этот чисто отрицательный лозунг действует и сейчас, и если перевести на человеческий язык казуистику терминов «собственность частная» и «собственность личная», то все сводится лишь к тому примитивному убеждению, что никто не должен жить хорошо. Наличие ценностей в руках рядового гражданина — высшее преступление с точки зрения коммунистического государства. Все должны быть бедными. Я не даю этому факту оценки, но это факт: основная, явная и тайная цель коммунистической идеологии — не допустить, чтобы кто-то из нас на законном основании был богатым. Это позволяет понять поступки, кажущиеся абсурдными: например, конфискация на таможне ввозимых гражданами в страну подарков, отчего их перестают ввозить, или отказ от свободного обмена рубля на валюту, отчего его стоимость понижается до нуля, хотя в действительности нулевой не является. При этом богатство, нажитое преступным путем, идеологически не опасно — здесь богач остается преступником, чистота идеологии сохраняется. Опасно честное, законное, заработанное богатство, первой возможностью которого стала кооперация. Богатый, честный и уважаемый человек есть прямой отказ от идеи коммунизма, от цели Октябрьской революции. Потому кооперация и встретила столь мощное сопротивление, потому дискуссии вокруг нее на съездах и сессиях вспыхивали вновь и вновь, отгесняя, казалось бы, многократно более важные вопросы.

В последние годы на страницах печати выплескивались многочисленные споры на тему: построили ли мы социализм, и если да, то какой? В конце концов споры угадали сами собой оттого, что спорщики так и не сумели договориться об определении слова «социализм». Полагаю, что неудача этих споров связана с тем, что в действительности Сталин построил нам коммунизм, то есть общество, в котором в полном соответствии с Марксом ликвидирована частная собственность и которое руководится коммунистической партией. Именно так наш строй давно называется во всем мире. Большинство же из нас до сих пор не пришли в себя от гениального розыгрыша Хрущева, назвавшего коммунизмом воображаемый потребительский рай вне всякой связи с воз-

⁵ Маркс К и Энгельс Ф Сочинения, т. 4, стр. 438

возможностью его осуществления. Слова об «удовлетворении растущих потребностей» были чисто случайны. С тем же основанием в число признаков коммунизма можно было бы включить отсутствие болезней и смерти, победу над глупостью или преодоление закона всемирного тяготения, как нередко представляли себе коммунизм в 20-е годы. Объяснить, почему гипноз этого розыгрыша оказался таким сильным, по-видимому, можно, исходя из психики подавленной религиозности, сменившей объект упования. Если же оставить хрущевскую шутку в стороне, то очевидно, что Марксов коммунизм, включающий в себя, по «Манифесту», уничтожение частной собственности, уничтожение семьи и уничтожение религии, вполне возможен. Практически в полном объеме он был осуществлен в Кампучии времен красных кхмеров, где человек не имел ни своей жены, ни своей хижины, ни своей ложки. Выяснилось, однако, что надолго установить полный коммунизм невозможно, поскольку захваченная им нация вымирает. Даже несмотря на разрушительные войны, наша страна вымерла не полностью, поскольку не полным, не всеобъемлющим был сам коммунизм. В нем оставались пустоты, несовершенства в виде, например, отдельных квартир или приусадебных участков, за счет которых можно было выжить. Благодаря этим несовершенствам население с 1917 по 1953 год вымерло только на треть, а потом государство еще немного отступило от идеальной модели, что в сочетании с беспощадным истреблением природных богатств позволило дожить до нынешнего дня.

Отсюда понятно, почему так изменилось отношение к кооперации в промежутке от РКП(б) к РКП, от Ленина к Полозкову. Для Ленина, исходившего из реалий дореволюционной России, кооператив — предприятие социалистическое, он находится на социалистической стороне горизонта. Для коммунистического Советского Союза он кажется шагом к капитализму. Изменилось не явление — сместилась нулевая точка отсчета на шкале.

Историки коллективизации отмечали, что социальной базой большевиков в деревне были люмпены в противовес крепкому хозяину. Сегодня та же помощник прокурора в Сыктывкаре настойчиво призывает пьяниц, уволенных из «Тимана», подавать на кооператив в суд. А когда те отказываются (совесть-то есть), сама пишет и подписывает вместо них заявления и идет в суд, требуя их восстановления. Казалось бы, хотите пить — создайте рядом свой кооператив, и на здоровье. Но прокурор хочет иметь точку опоры именно внутри сильного кооператива, чтобы люди не были сами у себя хозяевами.

Самый масштабный пример идеологической борьбы с кооперацией — разгром концерна АНТ. Эта история обсуждалась в печати с диаметрально противоположных позиций. Я изложу версию самих руководителей АНТа, поскольку она логична, основана на фактах и ни в чем не была опровергнута (противоположная версия, опубликованная «Советской Россией», сводится к идеологическим заявлениям). Концерн был организован специальным постановлением Совета Министров как внешнеторговая фирма для продажи за рубеж неликвидов и встречного завоза потребительских товаров. В короткое время удалось найти бросовые, не используемые у нас материалы почти на триллион долларов. Вскоре были заключены сделки на первые миллионы долларов, а до середины 1990 года в страну планировалось везти товаров на 35 миллиардов рублей. Серия таких сделок могла быстро стабилизировать рубль, прекратить экономический кризис и вызвать доверие к политике перестройки. Это привело к беспокойству тех ответственных лиц, кто рассчитывал использовать кризис для поворота вправо. К АНТу обратился танковый завод с просьбой продать за рубеж несколько тягачей, зашифрованных как «изделие №», и настойчиво просивший как можно скорее оплатить их. Когда концерн оплатил «изделия», еще толком не зная, что с ними делать, завод внезапно отправил в Новороссийск полтора десятка боевых танков. Там они были перехвачены, и в печати разыгрался грандиозный скандал по поводу «распродажи страны». Моральная ответственность за случившееся была возложена на кооперацию в целом, хотя АНТ, созданный по индивидуальному решению, никакого отношения к обычному кооперативу не имел. На таможах арестовывались грузы, по всей стране расторгались договоры. Некоторых депутатов Верховного Совета обвиняли в том, что они подкуплены кооператорами.

По-видимому, в этой атаке участвовали очень большие силы, перед которыми отступило даже правительство. АНТ был молниеносно ликвидирован, его сделки аннулированы. Развернулась грандиозная антикооперативная кампания. Лишь когда А. Собчак упомянул, что АНТ был организован по распоряжению Н. Рыжкова, страна вдруг увидела на экранах «плачущего большевика», главу правительства, заявившего наконец, что АНТ ничего плохого не делал. Если не делал, то за что он был разгромлен? И почему никто не вмешался, когда, получив дополнительный повод, «заинтересованные лица» два месяца поливали грязью кооперацию, к этому вдобавок не причастную? Так правительство продемонстрировало свою трусость и двуличие. Однако, несмотря на большой тактический успех, всех целей эта атака не достигла, поскольку в стране уже была независимая пресса и независимые депутаты. Общего поворота назад не последовало.

По сходной схеме развивалось большинство нападений на кооперативы: административная

ликвидация, арест банковского счета, обвинения в печати. Но к методам судебного преследования прибегнуть уже не удавалось, поскольку управляемость судов снизилась. Наоборот, кооперативы сами подавали в суд и выигрывали дела (например, крупные московские кооперативы «ЛИК» и «Техника»).

Итак, противоречие между Системой и кооперацией достаточно очевидно. В 1930 году аналогичная ситуация закончилась полной победой Системы. Но девяностый год не стал повторением тридцатого. Система слабеет и разваливается на глазах. Возможно, она еще успеет победить кооперативы, но скорее всего это будет ее последняя победа...

Неизбежность

Кооператив-артель — предприятие, безусловно, социалистическое, и в этом смысле он соответствует сегодняшнему массовому общественному сознанию, которое можно определить как социал-демократическое. С другой стороны, он предприятие эффективное. Возможно, менее, чем частная фирма, но несравненно более, чем госпредприятие. Следовательно, он способен примирить и уравновесить в общественном сознании такие понятия, как «социальная справедливость» и «эффективность». Похоже, что в ближайшие годы все формы нашего хозяйства будут эволюционировать именно в этом компромиссном направлении. Результаты социальных поисков и экспериментов последних лет достаточно убедительно подтверждают перспективность «народного» предприятия, то есть предприятия коллективной собственности. В качестве примеров можно привести Бутовский комбинат, коллектив которого начал с аренды, а затем выкупил свое предприятие, глазную клинику С. Федорова, прошедшую тот же путь. Независимо от названий эти предприятия движутся к некоторой оптимальной форме коллективного владения собственностью и распределения доходов. Кооперативы-артели, как бы они номинально ни назывались, являются сегодня магистральным направлением экономической реформы. Предприятия, взаимоотношащиеся друг с другом по принципам рынка, внутри себя скорее всего будут устроены по принципу кооперативов. Государственные предприятия, называющие себя сейчас то концернами, то фирмами, то акционерными обществами, не были и не будут способны работать. Частные предприятия, на мой взгляд, не будут поддержаны общественным мнением. Фактически многие небольшие кооперативы сегодня ничем не отличаются от частных предприятий. Председатель принимает новых членов в кооператив точно так же, как хозяин брал бы работников, оговаривая их оклады и другие условия работы, а прибыль (или риск в случае неудачи) распределяя только внутри узкой группы организаторов кооператива. (Правда, крупные предприятия такого рода мне неизвестны.)

Не так давно появилась критика кооперации со стороны, противоположной коммунистическим идеям. Например, экономист Б. Пинскер критикует ее как недостаточно радикальное решение вопроса по сравнению с частной собственностью. Он сообщает о слабой конкурентоспособности кооперативов относительно частных фирм на Западе. Однако нельзя не учитывать, что у нас в кооперацию идет самая активная, предприимчивая часть населения, то есть те, кто там идет в предприниматели. А у них — люди с более социалистическим, менее коммерческим сознанием. Поэтому от нашей кооперации можно ждать большей результативности. К тому же кооперация — удобный путь для мягкого, эволюционного свертывания коммунистической идеологии.

Здесь я хотел бы слегка затронуть господствующую у нас (в городах) идею, что страну накормит фермер-единоличник. Что и говорить, колхозно-совхозный строй исчерпал все свои возможности. Но крестьянина нужно было звать чуть раньше, сейчас его уже нет. Фермер западного типа может существовать только при наличии обслуживающей его инфраструктуры — покупателей, продавцов, транспорта, связи, ремонтников, строителей и так далее. Такой структуры в СССР нет и в обозримом будущем не будет. Сегодня, чтобы выжить, фермер должен быть агрономом, земледельцем, животноводом, механиком, строителем, коммерсантом, снабженцем, юристом и прочая и прочая. Причем во всем — на профессиональном уровне. Таких людей просто нет. А кооперативу, даже небольшому, где все друг друга знают, это под силу. Фермер-одиночка беззащитен перед соседом-любомом со спичками, перед жуликом-экономистом из колхозной конторы, перед городским налоговым инспектором или взяточником на бензоколонке. А кооператив будет держать одного, двух, трех человек исключительно для обороны. Возьмет своего экономиста, своего юриста, своего снабженца. И выживет, как выживают пока его собратья в городах. Живет же подмосковная «Снятинка».

«Тиман», скажем, с первого дня своей деятельности завел мощное подсобное хозяйство. Продает стройматериалы — покупает корма. Мог бы и сам выращивать овес, картофель, сено — многое росло на этой земле раньше. Вокруг «Тимана» вымирают деревни. Ежегодно в районе десятки гектаров выходят из сельхозоборота, зарастают кочкой, кустарником. «Тиман» готов взять 200 гектаров брошенных земель рядом со своим участком, возродить деревню, помочь

уехавшим вернуться в нее (деревня эта известна с XVI века, а погибла лет десять назад). Кооператив мог бы развернуть современное продуктивное сельхозпроизводство, выращивать лен, совершенно заброшенный в этих краях. Видя то, что этим людям уже удалось, можно не сомневаться, что и здесь бы они все сделали по мировым стандартам, не потребовав с государства ни копейки. Все республиканские и областные руководители поддерживают эту идею. Но землю дать не могут, потому что она числится за сплавконторой. Контора не использует ее, но и не отдает. Закон о земле составлен так, что применить его невозможно.

Здесь нельзя не сказать хотя бы несколько слов об общей ситуации в стране в той мере, в какой она связана с предметом настоящей статьи. Речь идет, коротко говоря, о крахе коммунистической (она же плановая, административная, тоталитарная и т. д.) хозяйственной системы. Нет необходимости в очередной раз объяснять, почему эта система нежизнеспособна. В мировой экономической литературе это многократно доказано за последние полвека, в советской — за последние годы. Не существует ни малейшей надежды, что тотальное директивное планирование может стать «хорошим» и «правильным» в отличие от сегодняшнего «неправильного». Ошибки, масштаб которых поражает воображение (когда, например, вся страна десять лет строит БАМ, потом оказывающийся никому не нужным), в этой системе устойчиво воспроизводятся вновь и вновь.

Наше удивление должен вызывать не нынешний крах, а скорее длившееся в течение предыдущих десятилетий квазустойчивое состояние советского хозяйства. Сейчас ясно, что оно держалось исключительно за счет истребления невозстановимых природных, человеческих и культурных ресурсов. Как только основной капитал, заложенный в морях, реках, почве, лесах, недрах, трудолюбии и нравственности народа, церковном золоте и сокровищах Эрмитажа, приблизился к концу, неизбежное наступило. Рискну даже сказать, что наблюдаемый распад позволяет нам испытывать определенный мировоззренческий оптимизм, поскольку мир вновь стал предсказуемым и согласующимся с научными законами. Наша хозяйственная катастрофа была неизбежна, нравится нам это или нет.

Неверных путей много, а правильный всего один. Поэтому сойдя с неверного пути, можно оказаться на другом неверном. Еще древние греки догадывались, что Земля не лежит на трех слонах, но окончательная карта мира была составлена лишь в прошлом веке. Рыночная экономика — очень сложная система, конструировать ее и управлять ею должны специалисты. Здесь возможна такая аналогия: даже простой автомобиль, кроме двигателя, имеет еще десяток сложных систем (тормозную, зажигания, охлаждения и т. д.), неисправность хотя бы одной из них означает, что автомобиль либо не поедет, либо потерпит аварию. Сегодняшняя наша законодательная и исполнительная власть, похоже, начала отказываться от принятия полностью ошибочных законов и решений и в последние годы перешла к выработке частично верных и даже в значительной степени верных. Но этого мало. Механизм будет работать только тогда, когда в нем исправно все, а не просто значительная часть. Настоящих же механиков, которые знают, как это сделать, пока не пускают на порог нашего государственного гаража.

В последние годы новые, прогрессивные, демократические парламенты и правительство СССР неустанно работали, и трансляция их деятельности по телевидению сыграла большую воспитательную роль. Но результат этой деятельности — внушительный массив различных законов и постановлений — может быть интересен разве что будущим историкам в качестве памятника нынешнего нашего смятения умов.

Параллельно управленческим судорогам центра вдруг с невероятной быстротой развился региональный сепаратизм. Для того чтобы понять это явление, напомним, как действует в области экономики наше государство. Сначала оно железной рукой изымает с Каспия всю черную икру и покупает на нее астраханский газоконденсатный завод. Потом оказывается, что завод не может производить газ, но при попытке его запустить он уничтожает всех оставшихся осетров вместе с икрой. Эту схему работы союзных Госплана и Совмина я назвал бы коммунистическим суженным воспроизводством. Полвека работы по ней и привели богатейшую страну мира в известное нам ныне состояние.

Автору этих строк довелось однажды участвовать в такой прикидке. Все произведенное за год в республике Коми (уголь, нефть, газ, лес, рыба) с учетом качества было пересчитано по мировым ценам и поделено на число жителей. Выяснилось, что валовой национальный продукт жителя Коми приблизительно равен таковому для жителя США. А уровень жизни, легко получаемый из сопоставления средних зарплат и покупательных способностей рубля и доллара, приблизительно в 100 раз ниже. Удержаться от вопроса «куда же идет все остальное?» почти невозможно. Подобные подсчеты догадались провести во всех областях и республиках. Всюду выяснили, что производится достаточно для хорошей жизни, и задумались, почему жизнь плохая. И всюду был сделан вывод, что произведенное вывозится в другие области, где работают меньше, а едят

больше. Русские решили, что все вывозят к узбекам и латышам, узбеки и латыши — что к русским, провинция заподозрила столицы, села — города, юг — север, и так до бесконечности. Последовали запреты на вывоз, ограничения на покупки. Страна стала распадаться на уделы.

Выяснилось, что Советский Союз — такое объединение, в котором всем участникам хуже, чем поодиночке. Здесь нет народа, имеющего, как, скажем, англичане в прошлом, особые имперские преимущества. В существовании Союза в его нынешней форме заинтересованы лишь несколько тысяч людей, занимающих руководящие должности и живущих в основном в центре Москвы. Они сидят вокруг гигантской выхлопной трубы, по которой национальные богатства вылетают невесть куда, и слегка греются ее теплом. Всем остальным 300 миллионам в таком Союзе жить много хуже, чем без него. Отсюда и всеобщее неудержимое стремление к независимости.

«Парад независимостей» отразился на кооперации в целом благоприятно. Большую роль здесь сыграли решения направлять кооперативные налоги целиком в местный бюджет и формировать бюджет по реальному доходу, а не по нормативам. Кооператоры сразу же из волков, подлежащих идеологическому отстрелу, превратились в овец, которых с немалой экономической выгодой можно стричь. Конечно, здесь не обходится без стремления снять для начала по семь шкур, но это уже разрешимая проблема. Каждый со временем догадывается, что большое и упитанное стадо больше дает. Важно, что изменился сам принцип отношений.

Перестав смотреть на жизнь через идеологические очки центральных газет, местные власти увидели, что кооперативы, даже торговые, трижды преданные анафеме, могут быть очень полезны. Они способны, скажем, обеспечить город более дешевыми и качественными овощами и фруктами, чем государство. Кооперативы работают производительнее, чем госсектор, управляемость и законопослушность их не ниже, а при включении их в госзаказ и в систему снабжения они делают то, что требуется, плюс постоянно проявляют инициативу.

Когда завод или строительный трест жалуются, что им ничего нельзя, а кооперативам все можно, им ничто не мешает перейти к кооперативной или любой другой форме народного предприятия. Когда Мосстрой заявлял, что уход строителей в кооперативы подрывает жилищную программу, — что не позволяло ему поручить выполнение этой программы тем же кооперативам? Всем же ясно, что они справляются со своей работой быстрее и лучше. Здесь и выясняется, что между государством и кооперативами, между народом и кооперативами нет реальных противоречий за исключением того, что работники министерств, исполкомов и Минфина не могут поступиться принципами. Но нередко в конфликтах оказывается немалая доля вины самих кооператоров. Жадность, повышение цен, заносчивое поведение, нарушения законов — все это возмущает население и способствует конфликтам. Те десятки печорских кооперативов, о которых я говорил, знали эти правила поведения заранее и все они сумели пережить трудные времена и дожить до сегодняшнего дня. (Конечно, их время от времени кто-то пытается уничтожить.)

Переход власти на местах к новым Советам в основном облегчил положение кооперации, но кое-где ухудшил. Прежняя власть уже успела разобраться в ситуации, многое понять. Новая часто состоит из людей, сведущих только в предвыборной демагогии и заряженных газетной антикооперативной риторикой. Они искренне стараются разобраться в ситуации, но по дороге успевают наломать дров.

Невозможно избежать темы — кооперативы и теневая экономика, кооперативы и мафия.

Коррупция, теневая экономика — это необходимое подразделение Административной Системы. Аппаратный работник распоряжается ценностями на сотни миллиардов, отчего его собственный заработок не меняется ни на копейку. Свое положение он может улучшить только взяткой. В кооперативе можно заработать честно, а в госсекторе нельзя, там можно только украсть. К одному известному председателю кооператива, которого когда-то ославили в газетах как страшного преступника, обратился добропорядочный директор завода: мы вам по липовому договору переводим миллион, вы нам половину возвращаете наличными. Председатель отказывает: мы такими делами не занимаемся. Директор разочарован: что же про тебя писали, что ты главный мафиози!

А. Костин, председатель Союза кооператоров Коми, до этого провел двадцать три года на оперативной работе в угрозыске. На вопрос, являются ли кооператоры более криминогенной публикой по сравнению с другими профессиями, он отвечает так: «Если с одинаковой тщательностью проверять госсектор и кооперацию, то в госсекторе нарушений будет гораздо больше. Как создается общественное мнение: украли что-нибудь на заводе — говорят «воры украли». Украли что-нибудь в кооперативе — говорят «кооператоры украли». Вот у нас была коллегия прокуратуры республики, и там говорилось о нарушениях. А они часто происходили потому, что кооперативное законодательство ежедневно меняется, не все успевают за ним уследить. Зампред гориспол-

кома Ухты встает и говорит: «У меня на двести кооперативов вы нашли десять нарушений, а на двухстах госпредприятиях вы нашли бы этих нарушений сотни. Если взять последние сводки МВД, там из проверенных двухсот двадцати тысяч госпредприятий на всех найдены финансовые нарушения».

Одна из главных опасностей на пути возврата России к цивилизованным формам и нормам жизни состоит в уверенности простых, честных, хороших, но измученных тяжелым бытом людей, что можно изловить жуликов, ограбить еще раз богачей и зажить наконец по-человечески. Найти виноватых! Как легко увлекает за собой этот лозунг, видно было по громовому успеху Т. Гдлына и Н. Иванова, по народной поддержке их. А ведь этот лозунг, овладев массами, может вновь проломить тонкую кору порядка и культуры и погрузить страну в кровавый хаос, за которым неизбежно последует новая свирепая диктатура. Тысячелетиями христианство учило бороться со злом прежде всего в самом себе и не судить — да не судим будешь — ближнего своего. Потом пришел борец за социальную справедливость и сказал: «Убей классового врага и возьми его имущество». Врага убили в неисчислимом множестве, только оставшимся стало жить не лучше, а хуже. Но мы снова и снова ищем врагов, пьющих кровь трудового народа, и думаем, что если истребить воров, то зерна станет больше.

Социальная справедливость — традиционная область нравственных законов. Так было в старой России (красноярские купцы сбросились и послали талантливого мальчика Сурикова учиться в Академию художеств), так происходит сегодня на Западе, где в виде благотворительности перераспределяется весомая часть национального дохода. Всерьез обсуждается эта тема во многих современных кооперативах. В странах со свободной экономикой каждый внезапно может оказаться богатым. Однако нет оснований утверждать, что при этом он немедленно станет хуже, потеряет совесть, перестанет замечать бедных, больных и старых. Добровольная помощь нравственно возвышает и дающего и берущего. Один приобретает опыт доброты, другой — благодарности. Когда же бедный приходит грабить богатого (экспроприировать, национализировать, раскулачивать, выселять, уплотнять, лишать, облагать), то оба испытывают ненависть — один бессильную, другой торжествующую — и оба проваливаются в нравственную пропасть.

Это всегда хорошо знала церковь, обращавшая свою проповедь и к бедным и к богатым. Во время Крестьянской войны в Германии Мартин Лютер обратился с письмом к обеим сторонам, осудив как алчность и жестокость князей, так и беззакония крестьян. Наши историки обвиняют его в непоследовательности. Но путь уступок и примирения всегда лучше для всех конфликтующих сторон, чем кровавая победа одной из них. Хорошо было бы учесть это вчерашним и завтрашним нашим богатым. Вчерашним — отдать больницы и санатории пресловутого Четвертого управления, не дожидаясь, пока в них разобьют стекла, и не закрывать московские магазины от провинциалов, чьим трудом они только и наполняются. Завтрашнему богатому предприятию вспомнить, что не всем так повезло, как ему.

Для того чтобы нравственность реально существовала, оставалась действенной, у нее должны быть функции, в социальной структуре должны иметься пространства, регулируемые именно ею. Любое чувство имеет смысл лишь при возможности его реализации. Из запертого сейфа не украдут ни вор, ни честный человек. Когда тот, кто любит родину, и тот, кто ее ненавидит, одинаково никогда не смогут ее покинуть, чувство любви объективно излишне. Когда общество полностью регулируется сверху (кажется, Черчилль сказал: «В России все запрещено, а то, что не запрещено, обязательно для всех»), то на долю нравственности остается лишь распределение сидячих мест в метро.

Всем ясно, что из нынешнего положения Россия не выйдет без мировой помощи. И из гуманитарных и из прагматических соображений мир не заинтересован в экономическом крахе нашей страны. Он готов помогать, и по мере усиления кризиса эта помощь будет усиливаться. Вполне возможна программа, аналогичная «плану Маршалла», возродившему послевоенную Европу. Но сегодня, с точки зрения Запада, помогать у нас просто некому, поскольку Система любую полученную помощь направит не на реальное улучшение экономики, а на продление своего собственного существования. Мир будет выжидать, пока у нас появятся независимые предприятия, способные использовать помощь по назначению. И кооперация может быть полезна еще и в качестве того субъекта, которому мир может передать свою помощь.

Нынешнее внешнеэкономическое законодательство сводится к двум формулам. Первая — «Родина не продается»; вторая — «Сдайте валюту!». Практически внешнюю торговлю имеют право вести только центральные ведомства, а всю выручку молчаливо забирает себе Внешэкономбанк.

Кооперативы, желающие выйти на внешний рынок, крутятся в замкнутом кругу: чтобы производить товары, надо иметь технологию; чтобы иметь технологию, надо сначала продать

немного сырьё, но все сырьё государство хочет продать само. Единственный выход — найти партнера для совместного предприятия и получить технологию вперед. Грустное зрелище представляют собой организации, пытающиеся создать международный бизнес в стране, где нет почтовой и телефонной связи, нет мест в гостиницах и билетов на самолеты, нет продовольствия и ресторанов.

Со стороны западных бизнесменов существует сильное стремление войти в контакт с советскими производителями. Но по дороге к ним они сталкиваются с двумя плотными слоями. Первый — традиционные центральные ведомства, признающие только контракты сразу на 100 миллиардов и на десять лет, а остальные предложения рассматривающие только как предлог для собственных поездок за границу. Второй — новые коммерческие организации, желающие брать деньги с той и с другой стороны «за посредничество». Они разножат проспекты западных фирм, заклеив названия фирм собственными названиями и адресами. Они готовы поговорить с вами, если вы сначала переведете им десяток тысяч в виде аванса. Они любезно согласятся «найти партнера» и «подготовить контракт» всего лишь за 30 процентов будущих доходов. Западные гости вязнут в этих двух слоях и возвращаются обратно, разнося по миру свои разочарования. (Хотя эти два слоя надежно предохраняют промышленность Запада и Востока от прямого соприкосновения, хочется все же надеяться, что оно в конце концов состоится.)

Развитие кооперации попутно решит и проблему научно-технического прогресса. В Административной Системе под названием «наука» существует множество НИИ и академий. Они имеются, потому что так положено. Но это буфаторская, недействующая система, социальный паразит. Настоящая наука здесь не может ни приносить пользу, ни даже просто существовать, потому что она дитя свободной экономики. (Еще Маркс говорил, что экономическая потребность двигает науку вперед сильнее, чем десяток университетов.) А то, что называется наукой у нас, есть совсем другое социальное явление. Кооперативы принципиально меняют эту ситуацию. В погоне за наживой они сначала ищут выгодные изобретения, потом будут создавать лаборатории, потом, как фирмы на Западе, станут поощрять университеты и финансировать фундаментальные исследования. Нынешнее госбюджетное министерство науки в виде Академии наук ни к каким реформам не способно. Если мы возродим рыночное хозяйство, то автоматически получим и настоящую науку, куда в конечном счете уйдут все подлинные ученые из нынешних бесполезных институтов.

Переход от нынешнего положения к народным предприятиям лежит через процесс разгосударствления, или приватизации. Сегодня предлагается и осуществляется одновременно несколько разных сценариев этого процесса. Наилучший из них сводится к тому, что собственником должен стать каждый. Национальное богатство (в виде условных цифр) делится между всеми гражданами республики, и каждый вправе обратиться свои цифры в акции, любую движимость и недвижимость. Собственность переходит в руки граждан, и сразу запускается рынок, где каждый может участвовать в любом производстве и добровольно объединяться с другими. Этот план, простой, логичный, выполнимый и справедливый, вероятно, именно поэтому не привлекает внимания.

Другой сценарий состоит в передаче, или выкупе, предприятий в собственность коллективов, на них работающих, он отчасти выполняется. Этот план сразу вызывает вопросы, поскольку на разных предприятиях на долю одного работающего приходится разное количество собственности — от нуля до миллионов в валюте. Попытки восстановления справедливости здесь либо сводят ситуацию к первому плану, либо восстанавливают Административную Систему с ее индивидуальными «научно обоснованными» нормативами.

Еще активнее осуществляется сегодня план аппарата — когда под вывесками акционерных обществ, концернов, совместных предприятий или коммерческих банков государственная собственность становится частной собственностью высокопоставленных руководящих работников. Столь же активно перетекает в новые коммерческие структуры и собственность КПСС. Переход от коммунизма к монополистическому капитализму происходит с сохранением прежнего социального расслоения — кто наверху был, тот там и остался. Естественно, этот сценарий, далекий от принципов справедливости, стал вызывать резкие протесты. Конечно, «партия авангарда рабочего класса», быстро занимающая места в рядах капиталистов, производит самое курьезное впечатление. Но мне кажется, что защита ею прежних коммунистических идеалов с оружием в руках была бы много катастрофичней. Наверное, ничто так явственно не говорит о конце передовой идеологии в СССР, как массовый переход ее главных носителей на позиции «классового врага», превращение партийного функционера в капиталиста.

Наконец, на государственную собственность претендуют, в основном на словах, органы советской власти разных уровней. Можно только качать головой, видя, как на один и тот же дом или дерево претендуют одновременно и Союз, и республика, и область, и город, и район, вследствие чего возникает полная растерянность и анархия. Это трудно назвать демократией, это скорее попытки переноса тоталитаризма на более низкие уровни.

С каждым днем (это пишется в ноябре 1990 года) в стране нарастает хозяйственный хаос. В Москве одновременно действуют два парламента и два правительства, не обращающих друг на друга внимания. Провозглашен переход к рынку, начавшийся с десятка свирепых антирыночных указов и полной ликвидации тех жалких элементов рынка, которые были в стране перед кризисом. Одновременно существуют три официальных (!) курса рубля, не считая рыночного. Южные республики и области, потеряв интерес к бумажному рублю, отказались продавать продукты на север, и выяснилось, что способа повлиять на них не существует. Союзная власть потеряла контроль над страной, но не соглашается передать ее в республики. Отказ от введения рынка и безудержная эмиссия рубля вызвали известный распределенческий коллапс, когда вся энергия общества уходит на распределение при падении внимания к производству. Снижение объемов производства еще более усиливает внимание к распределению. Сложился порочный круг, который на общенациональном уровне может привести только к созданию новых продотрядов и гражданской войне. Так неужели только всеобъемлющая катастрофа может нас взрастить?! Или все-таки мы сумеем нащупать и обрести верный путь — и за кризисом наступит подъем, основанный на рыночной экономике, либеральном отношении к предпринимательству, социальном и экономическом гуманизме?

Так чему же нас может научить трехлетний опыт кооперации?

Во-первых, что в стране достаточно много людей и организаций, желающих и умеющих работать лучше, чем сегодняшние госпредприятия. Готовых самостоятельно хозяйствовать, решать и отвечать за свои решения, рисковать, учиться и зависеть от покупателя. Другими словами, готовых работать в условиях рынка. Страна подготовлена к рынку достаточно, чтобы не бояться за судьбу реформы. Если нормальные законы будут приняты, найдется кому их реализовывать.

Во-вторых, на смену сегодняшнему рабскому коммунистическому труду придет скорее всего не буржуазное производство в духе XIX века, с хозяином-толстосумом и исхудалым работником. Но и не постиндустриальный офис с белыми воротничками. Придет один из вариантов народного предприятия, из которых самыми жизнеспособными пока показали себя традиционные для России кооперативы-артели.

В-третьих, не исключено, что переход к этому состоянию произойдет не прямо и не гладко. Сначала придется пройти через нужду, распад производства, удельную раздробленность, распределенческий коллапс. (Пока что союзное правительство все быстрее ведет нас к этому.) Когда-то еще будут приняты простые и честные законы, позволяющие нормально жить и работать! И кто знает: может быть, первую радость и надежду на возрождение люди получат от ощущения дружного артельного труда. А результаты не замедлят воспоследовать. Спросите немцев и японцев — они подтвердят...

Ноябрь 1990 г.

PS. Полгода в наше время — большой срок, и прогнозы успевают стать реальностью. В январе под вильнюсскими пулями закончилась «перестройка» — эпоха социального компромисса, когда разные общественные группы на словах провозглашали общность целей, в действительности стремясь при этом к разным целям. Сейчас лозунги каждой группы провозглашены открыто, и попытка РКП скомандовать обществу «задний ход!» не удалась. Экономическая реформа, так и не разрешенная центром, стала проводиться большинством республик. Выяснилось, что кооперативы были еще цветочками, теперь стал формироваться настоящий, неприкрытый частный бизнес с банками, биржами и клубами миллионеров. И, в отличие от кооперации три года назад, идеологического сопротивления он почти не встречает. Отмечу, что частные фирмы в основном возникают в торговле, а не в производстве. В промышленности среди негосударственных форм по-прежнему преобладает кооперация. Теперь в системе возникла уже не дырка — выпала целая стена, и страна потоком устремилась к рынку. Центр отстывает, пытается занимать новые рубежи обороны все ниже и ниже по течению. Например, сегодня премьер-министр Павлов готов допустить негосударственные формы собственности настолько, чтобы за их счет содержать гибнущий госсектор, но я думаю, что это у него тоже не получится. Вновь возникающий рынок из-за обстоятельств своего возникновения принимает во многом нецивилизованные формы. Однако в целом происходит то, что неизбежно и необходимо.

Май 1991 г.

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

СЕРГЕЙ ФУДЕЛЬ

*

ВОСПОМИНАНИЯ

VI

Горят во мне и жгут
Слова любви, не сказанные мною.

В этих строчках Бальмонта выражен закон всякого вида литературного писательства, и в особенности воспоминаний. Они только тогда оправданны, когда они не «о себе», когда они — «слова любви» к другим, «не сказанные мною». И иногда мне кажется, что мне возможно будет как-то выговорить именно такие слова об ушедших близких, слова, которые точно руками тронут их плечи в немой радости и скажут им, что они не одни и что мы не хотим быть одни, без них.

Поэтому я продолжаю воспоминания.

Лев Тихомиров⁵⁴, бывший член ЦК партии «Народной воли», а затем верующий и церковный человек и редактор «Московских Ведомостей», был близок с моим отцом еще в XIX веке. Его жена в начале 1901 года стала крестной моей матерью. К детской вере Лев Тихомиров вернулся в Париже, где он жил эмигрантом после убийства Александра II в 1881 году и разгрома партии, вернулся, кажется, под влиянием своего старшего сына Александра, тогда еще очень юного, а в конце концов ставшего епископом Тихоном и умершего в Ярославле, кажется, в конце второй мировой войны. Сам Лев Тихомиров умер в начале 20-х годов в Загорске⁵⁴, в своей семье и еще в своем доме на Московской улице (проспект Красной Армии, д. 30), но в большой скудости, почти в нищете. Я помню его великолепную квартиру на Петровке в эпоху редакторства правительственной газеты, на втором этаже особняка, с громадным его кабинетом и еще более громадным холодным залом, где очень редко кто собирался, а когда собирались, то, как мне рассказывали мои старшие сестры, было всегда скучно. Впрочем, все-таки там и танцевали немного, причем среди молодых людей бывал там и танцевал Симанский, будущий патриарх Алексей, а тогда лицеист московского лицея. С сыном Льва Александровича епископом Тихоном они потом были вместе викариями в Новгороде.

Скучно было у Тихомировых не только в зале, но и везде, и я, тогда еще совсем мальчик, это чувствовал. Лев Александрович давал тон всему, а это был человек, отрешенный от обиденной жизни и погруженный в жизнь мысли, жизнь горячую и живую, но замкнутую в себе и часто не замечающую живых людей.

Конечно, Лев Александрович боролся непреклонно и страстно в книгах, статьях и выступлениях за тепло в мире, за сохранение этого уходящего из мира тепла, но не знал, что надо начинать с борьбы за тепло в собственном доме. Впрочем, даже этот холодок в его доме я любил и люблю за какую-то его особенную тихомировскую неотмирность. Он воевал за то, что он понимал как христианскую государственность, и свою жизнь воспринимал как жизнь в окопах этой войны. В ЦК «Народной воли» он когда-то ведал идеологической работой. После революции его не тронули: были еще люди, знавшие его безупречную и благородную партийную и личную жизнь. Но все-таки ему пришлось пойти в милицию (почему в милицию — не помню) и там отдать свою «декларацию», в которой он обязался подчиняться новой государственности. Он это сделал как выражение христианского подчинения власти, но кто-то в газете назвал его двойным ренегатом.

Потом он переехал в Загорск и, доживая там жизнь, писал «Тени прошлого»,

воспоминания о встречах на своем большом пути. Там было много о его прежних соратниках по революции, но была глава, посвященная и моему отцу⁵⁵, с такой характерной для вечно недовольного собой Льва Александровича припиской на полях: «Этот очерк никуда не годится и представляет только материал...»

Он в это последнее время жизни в Загорске, конечно, больше жил в тени прошлого. Этим объясняется то, что он не сближался с жившими тогда там же Флоренским, Мансуровым⁵⁶, Розановым, Дурьилиным и часто туда приезжавшим Новоселовым⁵⁷. Флоренский ему казался каким-то модернистом. Не любил он и не понимал не только новые течения религиозно-философской мысли, но и искусство эпохи перелома, воспринимая его тоже только как «декадентство». Помню, как он с возмущением говорит, цитируя чьи-то стихи: «Вы только подумайте! Это называется поэзия:

Ходит месяц обнаженный
Пред лазоревой луной...»⁵⁸

Не бывал он, еще живя в Москве, и в Религиозно-философском обществе имени Вл. Соловьева в Мертвом переулке. Во всем этом он оставался где-то в 80-х годах XIX века, неся свой трезвый подвиг мысли. Но тем более поэту ценно, что именно он написал еще в 1906—1907 годах эту удивительную по религиозной актуальности и нужности статью «О семи апокалипсических Церквях», в образе которых апостолом дано как бы начертание истории Вселенской Церкви. Я знаю, как высоко ценят эту статью многие люди и в наши дни. (Она была напечатана в журнале Московской духовной академии «Христианин» в 1907 году.)

Над темой Апокалипсиса он работал и в последние годы жизни в Загорске, написав «Апокалипсическую повесть», в которой весь сюжет художественного произведения, в том числе взаимоотношения мужчины и женщины, был дан на фоне последних лет жизни мира. Я помню из всего только имя женщины Лидия и ту обстановку, в которой происходило чтение. Мы сидели в столовой, угощением были какие-то не очень сдобные лепешки и суррогатный чай без сахара. Лев Александрович почему-то пил его с солью. Керосина тоже не было (это был 1918 год), и горели две маленькие самодельные коптилки, освещая на столе больше всего рукопись.

Апокалипсис был не только в повести про Лидию, но уже и в комнате.

В том Религиозно-философском обществе, которое мало интересовало Льва Александровича, я был первый раз в декабре 1916 года. Это был третий год первой мировой войны.

Заседание было посвящено двадцатипятилетию со дня смерти К. Леонтьева. С ним было много предварительных огорчений, как я понял из разговоров отца. Московский градоначальник публичное и открытое празднование юбилея запретил — Леонтьев и в 1916 году казался подозрительным, — в университете тоже ничего не вышло, и вот все ограничилось скромным собранием в соловьевском Обществе.

Первый доклад читал мой отец об отношениях Соловьева с Леонтьевым, а второй читал С. Н. Булгаков, читал так же страстно, как всегда он и мыслил и говорил. Помню, что он искал какого-то «выхода» из совершенно, конечно, чуждого ему Леонтьева, и при этом искал не для себя, а как бы для самого Леонтьева, искал в нем какой-то религиозной правды.

Мышление Леонтьева, имея весьма много ценного в своей негативной части, в своей критике современного прогресса, было в своей положительной части какой-то «дорогой в никуда». Истина его мышления — в констатации конца европейской мещанской демократии и цивилизации, но, оставив эту истину в одиночестве, не найдя от нее путей в историческое будущее человека, он из самой этой истины сделал какой-то тупик и мышления и жизни. И вот Булгаков без гнева, но страстно разламывал воздвигнутый тупик, вырывался на свободу неумирающей мысли и жизни христианства. Умирает европейская цивилизация, но вечно живет спасенный Христом человек, созидая свою историю — и в катакомбах и на просторах мира.

Заседания Религиозно-философского общества были, наверное, часто бесплодны и наивны, и я понимаю, почему Тихомиров их не признавал. Но даже я, несмотря на свою молодость, успел присутствовать на таких докладах, которые запомнились навсегда. Один из них читал Вяч. Иванов, «О границах искусства», — о том, что оно не безгранично и не всеяльно, как это иногда думают даже и верующие люди. Сила доклада была в том, что его читал настоящий художник слова, поэт и философ.

В. Иванов был во многом родствен Флоренскому, их объединяла какая-то онтологичность мышления и еще, может быть, общая «предыстория» их христианства: древняя Греция и Восток в своем ожидании Нового завета. У него была книга под названием «По звездам», и в моей памяти он сохранился как волхв евангельского рассказа, медленно на верблюдице приближающийся к тому месту, где лежал младенец спеленатый в яслях.

Помню, какое негодование вызвал этот доклад у Андрея Белого. Стоя в последнем ряду небольшого зала, где происходило собрание, он даже не говорил, а выкрикивал свои возражения, как-то иногда подпрыгивая вслед за словами. Доклад он явно воспринял как измену искусству и все предостерегал докладчика от страшной для него опасности — от какого-то апаса.

В эти и последующие годы А. Белый представлялся мне искусным мистическим фокусником: что только не вынимал он из своего цилиндра, поставленного на стол, — и Канта, и Ницше, и Гёте, и Штейнера, и многое другое, и, может быть, даже и утку, но только мистическую.

Но в одних своих воспоминаниях он искренно жалеет, что на фронтоне углового здания Московского университета, там, где на углу бывшей Никитской улицы помещалась домовая университетская церковь, нет более этой издали видной надписи: «Свет Христов просвещает всех». И он был один из первых, кто в печати приветствовал Флоренского.

Г. И. Чулков⁵⁹ говорил мне, что, когда А. Белый умирал, он пошел с ним проститься и унес с собой от этого последнего свидания что-то хорошее. Я не помню точных слов Георгия Ивановича об этом свидании, но точно знаю, что он, бывший «мистический анархист» и поэт, сотоварищ и Блока и Белого, член общества политкаторжан, был уже в это время духовным сыном Алексея Мечёва⁶⁰ и, если бы не имел основания, так бы не сказал. О том, как вообще опасно выносить о ком-либо «судебный приговор», можно показать на записи речи Мережковского, произнесенной тоже на заседании Религиозно-философского общества, но только петербургского. Тот самый Мережковский, которого мы так легко анафематствуем, вот как неожиданно глубоко отчитал В. Розанова за его толстовский адогматизм и отрицание богословского и обрядового вооружения Церкви. Мережковский сказал: «Мертвый камень (храма Св. Софии в Константинополе) таит в себе живую силу христианства, как в живом теле. Надо видеть этот храм, чтобы понять, что нигде не могла раздаться впервые «Херувимская» кроме как под твердым куполом Св. Софии. Такое чувство, как будто находишься внутри огромной золотой лилии, пронизанной солнцем: благоухание, дыхание, душа этой лилии, которая возносится к Богу, и есть «Херувимская». Но если бы не было твердой механики Никейского собора — то не было бы и твердых сводов Св. Софии, не было бы и „Херувимской“» («Христианское чтение». 1904, т. 218, стр. 785).

У меня осталось благодарное воспоминание только об одной из вещей А. Белого (Бориса Николаевича Бугаева, сына известного московского математика) — об его «Северной Симфонии», в которой так вдохновенно в языческих формах передано предощущение Нового неба и Новой земли:

И понесся вдаль безумный кентавр, крича, что с холма
он увидал розовое небо, что оттуда виден рассвет...

Из докладов Дурылина я помню его доклад о Леонтьеве (на том же вечере памяти Леонтьева в 1916 году). Доклад, как это часто бывало у Сергея Николаевича, был полон сплошного восхищения перед Леонтьевым, причем не только в отношении его исторических прогнозов и социальной зоркости, но и в отношении его явного примитивизма в чисто религиозной области, в отношении его метафизической слепоты.

Еще помню его доклад на тему «Апокалипсис в русской литературе». Это было уже летом 1917 года. Запомнилось, что в перерыве кто-то (кажется, Оболенский) убеждал Л. М. Лопатина⁶¹, виднейшего тогда представителя русской философской мысли, выступить с возражением: «Вы должны сказать ему (докладчику), что выводы его о близости конца истории неверны, что по Священному Писанию сначала еще должно наступить тысячелетнее Царство Божие». Лопатин не выступал, и прений почти не было. У меня долгое время хранилось отдельное издание «Трех разговоров» Вл. Соловьева с надписью: «Л. М. Лопатину от автора».

С летом 1917 года у меня связано воспоминание о Тернавцеве⁶² и о его работе по Апокалипсису, которую он читал в московских религиозно-философских кружках. Помню, что он был убежденный сторонник хилиазма, то есть веры в тысячелетнее Царство.

В докладе Сергея Николаевича хилиазм, под влиянием того же Леонтьева, замалчивался, а на нем следовало бы остановить мысль, даже и не вынося никакого приговора. Веры в тысячелетнее Царство держались, на основании 20-й главы Апокалипсиса, многие великие святые первых трех веков христианства. Хилиазм нигде и никогда не был осужден каким-либо Собором. Начиная с четвертого столетия он просто сам по себе замолк, уступая место теории христианства как осуществленного уже на земле, через Церковь, царства Божия. После Нантского эдикта⁶³ и торжества христианства над языческим государством в этом был как бы логический вывод. И не будет ли столь же логичным возврат к чаяниям хилиазма и некоторых людей после крушения всех их надежд на создание истории истинной христианской государственности?

Духовенства на этих заседаниях Религиозно-философского общества я что-то не помню, но рассказывали, что в таком же обществе, но в Петербурге, бывало много священников. Москва продолжала быть твердыней так называемого филаретовского духовенства, в общем безмятежно спящего в своих приходах.

Заседания московского Общества происходили в доме М. К. Морозовой в Мертвом переулке (теперь улица Островского). За столом президиума обычно сидели: председатель общества Г. А. Рачинский⁶⁴, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Е. Н. Трубецкой, «православный софианец», по определению Вл. Лосского, и С. Н. Дурылин (секретарь). Рачинский был широко образованный и широко мыслящий человек, знавший, говорят, наизусть в подлиннике всего «Фауста», умевший объединять трудно объединяемое и премудро сглаживать ненужные углы. Печатная работа у него была, кажется, всего одна — «Об японской поэзии», но его опыт и философско-литературные знания, так же как прекрасный характер, делали его незаменимым в качестве председателя. Он очень уважал моего отца, и я помню его фигуру с седой, коротко стриженной головой на чтении Великого покаянного канона в Николо-Плотниковском храме на первой неделе Великого поста. На этих чтениях я помню также фигуры Нестерова, С. А. Котляревского⁶⁵ и даже один раз Бердяева.

Однажды, на первый день Пасхи в 1917 или 1918 году, одна знакомая девушка предложила мне и своей подруге пойти поздравить Рачинского. Пасха была поздняя, день был безоблачный. Мы прошли длинный Трубниковский переулок, вышли через проходной двор в конце его, мимо церкви, на Кудринскую площадь (теперь площадь Восстания) и в начале Садовой повернули куда-то влево, к Грузинам, уже не по оформленной улице, а мимо каких-то многочисленных небольших домов, занимавших среди молодой травы и уже распускающихся деревьев громадное пространство какого-то волевого поселка. Шел первый или второй год революции, но Москва точно по какой-то инерции еще жила прежним бытом: в ее небо со всех сторон ее «сорока сороков» бесконечно легко и радостно поднимался пасхальный звон. Это было точно уже неземное откровение великого земного города, часы и минуты точно уже единого и уже святого Града и христианского торжества. «Вниди и ты, грешный город, в радость Господа твоего, в его Непобедимую победу».

С. Н. Булгаков много раз я встречал и в 1916 и в 1917 годах. Помню его летом семнадцатого года в вестибюле Московского епархиального дома в Лиховом переулке, пытающегося в перерыве заседаний епархиального съезда как-то утихомирить и образумить группу бунтующих и кричащих псаломщиков, будущих живоцерковников. Я помню лицо Сергея Николаевича, когда он вдруг осознал, что никакой логикой тут не осилишь, что тут просто бунт неверия в Церковь. На этом съезде тогда происходили очень ответственные выборы московского митрополита из двух кандидатов: Тихона, архиепископа Литовского, и А. Д. Самарина⁶⁶. Помню Булгакова, отвергающего проект наименования нового церковного журнала после закрытия всех прежних в том же семнадцатом году, — «Святая Русь». «Нельзя профанировать святое имя». — сказал Сергей Николаевич, и журнал был назван «Возрождение». Вышло его только несколько номеров. В номере третьем, кроме статьи С. Н. Дурылина о церковном возрождении и статьи «Филадельфийская церковь», была помещена статья Сергея Сидорова «Обыденные храмы в древней Руси» с фотографией храма, сделанной Н. С. Чернышевым. Сидоров — это будущий отец Сергей, до сих пор многими людьми с любовью вспоминаемый священник, а о Н. С. Чернышеве я еще буду говорить дальше.

Журнал не случайно назвали «Возрождение». Некоторые современные православные из молодых и недавно пришедших в церковь, видя в нем зло греха и неверия, не знают или не хотят знать, что это зло родилось не сейчас, что оно есть зло древнее,

жившее внутри церковных стен уже с Тайной вечери. Поэтому, отвергая «живоцерковничество» как перенесение в Церковь идеи и методов революции, и Булгаков, и Флоренский, и Свенцицкий, и Дурьлин, и Новоселов, и все другие церковные деятели и мыслители того времени одновременно ждали для Церкви возрождения в жизни истинной духовности, в освобождении от государственного и бытового обмирщения и формализма. Все они тогда ждали наступления эпохи духоносной «Филадельфийской Церкви» после окончания своей «Сардийской» церковной эпохи, о которой в Апокалипсисе сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Имя этой мертвенности — замена внешностью внутреннего духовного бытия, то есть все то же обмирщение.

Помню Булгакова, колеблющегося вместе с Новоселовым и В. А. Кожевниковым⁶⁷ над вопросом: издавать или нет рукописи Анны Шмидт⁶⁸, загадочного русского мистика конца XIX века, не то больной, не то истинной пророчицы («о године свершения»), как-то связанной с Вл. Соловьевым, который, кажется, провожал ее гроб до могилы.

Помню острые и умные статьи Булгакова, в частности о Достоевском, о котором он говорил лучше всех, сам представляя из себя точно сплав всех трех братьев Карамазовых. Но все-таки Алеши было в нем меньше, чем Ивана, и поэтому, в те годы во всяком случае, в нем было слишком много профессиональной публицистики. Сам себя он называл тогда Колей Красоткинским.

Еще запомнилась мне одна всенощная у Спаса на песках, на Арбате, летом 1917 года, то есть еще до его священства. Возглашают: «Слава тебе, показавшему нам свет». Поют хорошо, то есть просто и тихо, и вечер московский был тих. Около входной двери стоит Сергей Николаевич, и по его глазам видно, как он любит этот свет и радуется, что до него дошел.

«Свет Невечерний» уже издан и, кажется, уже весь распродан⁶⁹. (На епархиальном съезде в вестибюле была продажа книг издательства «Путь», издавшего эту книгу.) Но сейчас для него, наверно, совершается лично что-то еще большее, чем в этой книге.

Флоренский продолжил и углубил Хомякова, а Булгаков — Достоевского в области русской религиозной мысли. Вполне возможно, что Булгаков мог впоследствии перейти какую-то меру богословствования о Софии и допустить ошибки, которых так ищут те, которым доставляет удовольствие производить над ними суд. Не будем участвовать ни в том, ни в другом. Богословие должно быть смиренно, как молитва, но и судить еще не смиренных мы не решаемся.

Человек, присутствовавший при смерти Булгакова, мне рассказывал, что он умер как праведник, весь потянувшись к уже ему зримому горнему миру.

О С. Н. Дурьлине хочется сказать еще несколько слов, так как некоторые люди были ему многим обязаны, в частности будущий о. Сергей Сидоров. Он водил его, меня и Колю Чернышева в кремлевские соборы, чтобы мы через самый покой их камня и красок ощутили славу и тишину Церкви Божией, водил на теософские собрания, чтобы мы знали, откуда идет духовная фальшь, на лекции Флоренского «Философия культа», чтобы мы поняли живую реальность таинства, в «Шукинскую галерею», чтобы мы через Пикассо услышали, как где-то, совсем близко, шевелится хаос и человека и мира, на свои чтения о Лермонтове, чтобы открыть в его лазурности, не замечаемой за его «печоринством», ожидание «мировой души» Соловьева.

И в пурпуре небесного блистанья,
С очами, полными лазурного огня,
Явилась ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня⁷⁰

Это строфа из стихотворения Вл. Соловьева, а вторую строчку он взял у Лермонтова.

Те университеты, которые мы тогда проходили под влиянием всех людей, о которых я вспоминаю, а лично мы трое особенно под влиянием С. Н. Дурьлина, в главном можно было бы определить так: познание Церкви через единый путь русской религиозной мысли, начиная от древних строителей «обыденных храмов» и кончая точно случайными отсветами великого Света у некоторых современных русских писателей, отсветами, осознанными как предчувствие «всемирного и творческого дня».

Третий из нас троих и наиболее близкий к С. Н. Дурьлину был Коля Чернышев. Он был «тяжелодум», мыслил не по-интеллигентски быстро, а как-то по-мужицки медленно, но когда тяжелый пласт «средостения» у него снимался, было видно, что в

его душе все свое, а не интеллигентски заимствованное, и все глубокое, глубинное, как слова из той древней «Книги голубиной», или «глубинной», которую мы тогда с ним читали. Читали мы тогда Тютчева, Блока, И. Анненского, «Три разговора» Соловьева и его стихи, Флоренского, Эрнэ, Эврипида, Розанова, каких-то ранних символистов, «Цветочки» Франциска Ассизского, «Древний патерик» и «Луг духовный». Мы не читали Достоевского только потому, что жили вместе с ним, нося его всегда в себе и уже давно его прочитавши глазами.

Дом Чернышева был на Немецкой улице, и в его большом и нарядном зале С. Н. Дурылин поставил в 1916 году как семейный спектакль пьесу Крылова «Триумф», причем актерами были его ученики, и среди них Игорь Ильинский.

Сережа С. тогда был юноша с курчавой черной головой и красивыми восточными глазами: его мать была грузинка. Где-то в Курской губернии тогда еще жила в своем бывшем имении его тетка, и туда, к моей зависти, иногда ездили Сергей Николаевич и Коля, а я почему-то не мог ездить и оставался в голодной Москве 1918 года, зная, что там будут не только «пиры ума» — интереснейшие разговоры с Сергеем Николаевичем и Сережей, — но и достаточно сытные обеды.

Сейчас тем, кто не пережил этих лет — 1918—1920, — невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плыл свободный корабль Церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у о. Алексея Мечёва, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали. В Лавре снимали тяжелую годуновскую ризу с рублевской «Троицы», открывая божественную красоту. В Москве по церквам и в аудиториях вел свою проповедь Флоренский, все многообразие которой можно свести к одной самой нужной истине: о реальности духовного мира. В Московском университете еще можно было слушать лекции не только Челпанова, но даже и Бердяева, читавшего курс какой-то путаной, но все же «космической философии». Он же потом (кажется, в 1921-м) основал «Вольную академию духовной культуры»⁷¹. В Москву из Петербурга приехал на жительство Розанов, сразу присмиривший от пережитого и уехавший умирать в Сергиев Посад⁷². Я, помню, провожал его на Ярославском вокзале, и он все меня благодарил. Он был тогда такой самый простой старичок с хитрецой, вернувшийся по мудрому страху к «вере отцов» и к стати решивший из благодарности за проводы, что я и Коля Чернышевы должны жениться на двух его дочерях, совершенно нам неизвестных.

Далеко, далеко от меня это время — скудости и богатства, темноты и духовного счастья. Когда-то митрополит Филарет Московский перестал ездить на заседания в Синод, говоря, что «шпоры генерала (то есть обер-прокурора) цепляют за мою мантию». В то время, о котором я пишу, все шпоры были позади, и мы вдыхали полной грудью великую церковную свободу. А скудость была большая, попросту — голод и поездки куда-то за Рязань в тамбурах и на крышах вагонов за хлебом и магическим тогда спасительным пшеном. Помню, как помогали сохранять и терпение и веру эти тогда написанные строчки Вяч. Иванова:

Вари пшено, и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока...

Мало остается близких от того времени людей. Иные и остались, но они точно перемолоты в каких-то жерновах долгих десятилетий, и нужно дерзновение любви, чтобы прорваться через все занавесы времени к чистой душе этих первоначальных лет.

Вот наверху окошко светится,
Упав на белой мостовой,
Там, где легко мела метелица
Год революции второй.

Сережа ни в каком высшем заведении не учился, но был по-своему образован и так же самобытен, как Коля. Он хорошо знал русскую поэзию, мемуарную литературу и русскую историю, и в этой истории его любимым веком был XVIII. Он был романтик, ощущая тепло земли именно в этом аспекте, но романтика как-то легко и просто уживалась в нем с глубоким церковным чувством. Помню, я как-то сказал ему:

«Почему в церковных песнопениях я больше люблю благодарственные, а не покаянные?» Он ответил: «Потому что ты еще очень юн в Церкви. Со временем все придет». Иногда он меня тоже спрашивал, но я, кажется, не умел отвечать. Как-то он спросил меня: «Можно ли сочетать христианство с влюбленностью?» Был он тогда влюблен в Таню Кожевникову, и я помню, как, отстоявши двенадцать евангелий в Великий четверг у нас в Плотниках, мы спешили с ним пешком (трамваи не ходили) в университетскую церковь на угол Никитской, чтобы увидеть ее при выходе «как мимолетное виденье».

Знал Сережа и какое-то продолжение, еще нигде не записанное, рассказов о русских подвижниках XVIII и XIX веков и XX, конечно, об этих чистых и странных для мира людях, не вмещавшихся в нем. Я из таких знал только Н. Н. Прейса, о котором уже писал, и А. Н. Руднева, умершего в 1920 году, ученого-филолога, ученика проф. С. И. Соболевского, много лет работавшего в библиотеке Московского университета. Это были праведники с высшим образованием, любившие мир Божий и прошедшие по нему, не запятнав ничем своей к нему любви. Я бы не сказал, что они были последние, потому что и сейчас знаю таких. А. Н. Руднев не был женат, но был в многолетней переписке с одной слушательницей московских Высших женских курсов, то есть потеперешнему гуманитарного вуза. Она (Вера Ив. Л.), как и А. Н., любила посещать московские храмы, где ее особенное внимание привлекали блаженные и странники. Таких блаженных тогда было немало, и я их тоже помню, не только по монастырям, но и по Москве. Эти два человека, несомненно имея друг к другу большое чувство и живя в одном городе, вели друг с другом переписку, но никогда не бывали друг у друга и нигде не бывали вместе.

Сережа С., помню, прочел нам то, что он записал тогда об одном из таких людей (о Лучинском или Лучицком). Все забылось, кроме одного: как Лучинский любил ходить по московским улицам и переулкам в поисках тех мест, где когда-то давно, в веках, стояли сгоревшие или снесенные храмы. Много храмов было снесено и в любимом Сережей XVIII веке, что он хорошо знал, так что если и продолжал его любить, то без всяких иллюзий. И вот Лучинский искал и находил эти места и там, на улице, молился. Уже очень много лет спустя я слышал, как о. Серафим Битюгов⁷³ придавал особое значение тому месту, где когда-то совершалась божественная служба и возносила Чаша.

На этом чтении о Лучинском, кажется, был и Коля Чернышев. Потом он женился на моей сестре, которую как-то по-своему любил. Он учился живописи у Машкова и Фалька, совершенно отрицал Васнецова, но одну его картину он признавал — «Иван-царевича на сером волке», и я знаю почему: ему казалось, что он — царевич (а может, и волк), а она — царевна.

Для жизни в браке надо иметь такое же призвание, как для жизни в монашестве. Может быть, Коле лучше было бы быть монахом. Я помню, с каким сердечным чувством он декламировал свое любимое стихотворение Блока:

Ветер стих, и слава зареая
Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
Он смиренно ждет звезды...

Но бежит шоссе́нная дорога,
Убегает вбок...
Дай вздохнуть, помедли, ради Бога,
Не хрусти, песок.

Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука?

Коля не выговаривал «л» и произносил «без кробука», звонко и светло повышая голос на этих словах. Он говорил и от себя и от нас, от нашего тогдашнего (в восемнадцатом и девятнадцатом годах) восприятия монашества — то ли в романтизме и ограниченности, то ли в истинном подвиге, широте и любви. Я не знаю. Многого в своей жизни я не узнал до сих пор.

В 1934 году зимой сестра умерла. Мне рассказывали, что, пока она лежала дома в

гробу, он все бегал по улицам в тоске. Я ему написал из Вологды и получил в ответ его стихи о ее смерти, в которых была такая строчка: «Не дрогнут мраморные пальцы...»

Отпевание сестры на дому совершил еп. Афанасий (Сахаров)⁷⁴, как-то оказавшийся в это время в Москве в редком промезутке между своими бесконечными высылками. Я узнал его еще в 1923 году в зырянской ссылке. Это был епископ, сумевший сочетать в себе строгую уставность и даже формализм византийской эпохи Церкви с какой-то личной первохристианской простотой и легкостью. В одном письме ко мне он про себя говорит: «Я уставщик и буквоед и поэтому для «монастыря в миру» занялся бы его внешним уставом». И в то же самое время все, кто его знал, помнят его детский веселый смех и даже смешливость и его совершенно детскую простоту общения со всеми. Свое смирение и свою любовь к людям он нес внутри себя, где-то в крови, а не в виде облачения, полагающегося «по уставу». Поэтому-то он совсем не терпел той елейности обращения, той его фальшивой сладости, которая многими считается обязательной в отношении духовных лиц. Оптинский старец Лев⁷⁵, основатель оптинского старчества, называл такое елейное отношение химерой.

Из разговоров с владыкой Афанасием особенно запомнился один. Я передал ему рассказ моего знакомого священника, присутствовавшего на вскрытии мощей одного великого русского святого и крайне смущенного тем, что нетленности действительно обнаружено не было, хотя внешне останкам была искусно придана форма сохранившегося тела. Передав этот рассказ, я сам со смущением ждал, как будет на него реагировать этот строжайший монах и обрядовер. Он помолчал, задумавшись, и вдруг сказал: «Когда мощи Александра Невского перевозили по повелению императора из Владимира в Петербург, они где-то по дороге попали в пожар и сильно пострадали. И вот было велено их восстановить скульптурно, так, чтобы никто ничего не подозревал». Потом еще помолчал и как-то еще тише добавил: «Один архиерей, когда я еще был молодым, говорил, что к концу мира должен исполниться над святыми закон: земля еси и в землю отыдеси». Много соблазнов было бы отстранено от немощных в вере, если бы такое понимание этого вопроса со стороны епископа было бы распространено.

Ни в первохристианстве, ни в последовавших за ним ближайших веках не было этой убежденности многих наших верующих в том, что если человек святой, он обязательно должен быть нетленным. Макарий Великий в IV веке вообще отрицал возможность для христиан нетления. «Если бы человек стал бессмертен и нетленен по телу, — писал он, — то целый мир, видя необычность дела, а именно что тела христиан не истлевают, преклонялся бы к добру по какой-то необходимости, а не по произвольному расположению» («Слова», СПб. 1904, стр. 130). Вот как святые высоко оценивали свободу души!

С. Н. Дурылин привез впервые меня и Колю в Абрамцево летом 1917 года. Тогда оно было еще совсем не музей, а большой дом, полный личной жизни владеющих им людей. Помню на террасе за чайным столом совсем уже старого Савву Ивановича Мамонтова⁷⁶. Но мамонтовскую эпоху дома в этот приезд и в последующие я как-то не замечал, в частности Врубеля, весь погружаясь в воздух аксаковского гнезда⁷⁷, тогда еще совсем теплого. Я впервые попал в этот мир уходящей эпохи и полюбил его навсегда. Я ходил по дому и буквально нюхал необъяснимо милый мне запах какого-то навсегда теряемого покоя. Ночевал я не раз в отдельном домике уже мамонтовской эпохи, но там был простой стол у окна, а за окном парк, и хотелось писать за этим столом что-то очень спокойное, доброе и нужное всем, может быть, продолжение «Записок об ужении рыбы»⁷⁸. Но все-таки и я понимал, что, возвышаясь над всем, что есть в этом доме, и будучи в центре его, сидела эта девочка с ясными глазами на удивительном портрете Серова⁷⁹.

Кажется, этим же летом или осенью помню всеобщую в абрамцевском храме. Шестопсалмие читал А. Д. Самарин. Мой отец давно знал его и высоко ценил, и, когда Александра Дмитриевича незадолго до революции назначили обер-прокурором Св. Синода, я помню, что отец пошел на телеграф (мы жили тогда на даче) и послал ему поздравление. Тогда шла глухая борьба против Распутина, против разложения правительства и церковного руководства, и назначение Александра Дмитриевича воспринималось как победа в этой борьбе. Помню неудачную попытку повлиять на лиц, ослепленных страшным мужиком, через оптинского старца Анатолия, привезенного для этого в Петербург. Помню передаваемые из рук в руки, не помещаемые в газетах стенограммы

антираспутинских речей в Государственной думе. Помню рассказ о том, что Распутин уже в полном ослеплении от своей власти послал на фронт великому князю Николаю Николаевичу телеграмму с уведомлением, что он выезжает к нему в Ставку, и краткий телеграфный ответ главнокомандующего: «Приезжай, повешу!». Ужас и отвращение перед существованием над Россией Распутина были тогда так сильны, что, я помню, когда совершилось его убийство и я сообщил об этом иносказательно (в печати, конечно, ничего не было) по телефону одной знакомой, то она мне сказала: «Ну, слава Богу! Теперь осталась еще одна», намекая на императрицу. Здесь интересным фактом является только то, что эта знакомая дама была из очень почтенного общества и верующей семьи.

Явление Распутина страшно не потому, что был такой человек сам по себе, а потому, что он был выразителем и точно итогом многовекового затемнения в русской религиозной душе великой и трудной идеи святости. Русский человек вдруг оказался падким на тот самый соблазн, на который строго указал уже апостол Павел. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, — пишет он Римлянам как бы от имени этих соблазненных, — как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Из «делать зло, чтобы вышло добро» русский человек сотворил себе дьявольский силлогизм: 1) «Не покаешься — не спасешься», 2) «Не согрешишь — не покаешься», а поэтому 3) «Не согрешишь — не спасешься». Путь к спасению стал утверждаться не против греха, а через грех. Как удобно! И мы хорошо знаем, что не только темные сибирские мужики, хитро иногда подмигивая собеседнику, могли развивать эту теорию своей практики о спасении *ч е р е з г р е х*, но и вполне интеллигентные люди, ничего не понимая в истинной святости, могли и могут говорить нечто подобное (но, конечно, более деликатно), убежденно презирая, как они говорят, «всякое святошество». «Праведен суд на таковых». Может быть, все положительное, что было и есть в послереволюционной религиозной мысли, надо было бы определить как возврат к апостольскому осознанию идеи святости, не имеющей, конечно, ничего общего со «святошеством», так же как истинное покаяние не имеет ничего общего, то есть несовместимо с грехом. Отец Амвросий Оптинский, передавая учение Отцов, говорил, что «покаяние не оканчивается до гроба и имеет три свойства: очищение помыслов, терпение скорбей и молитву. Три эти вещи одна без другой не совершаются», то есть без очищения и покаяния.

А. Д. Самарина я еще помню на литургии в Успенском соборе, уже после епархиального съезда, на котором большинство всего в несколько голосов получил второй кандидат на московскую митрополию — Тихон. Когда подходили к кресту, который держал новый митрополит, я видел, как он с улыбочкой приветия и уважения сделал движение вперед к подходившему Александру Дмитриевичу.

Все современные моей юности Самарины были живыми носителями духа старого славянофильства, одного из наиболее неожиданных и светлых движений русских образованных людей XIX века, которому многим обязан не только Достоевский, но и Герцен. Недаром самый сердечный некролог на смерть Константина Аксакова был написан именно Герценом.

Светлая неожиданность славянофильства в том, что после давнего разложения образованного общества и его дехристианизации в XVIII веке возникло движение яркое, смелое и чистое к возрождению христианства в этом образованном обществе и к преобразению всей России на основе христианства. Суть славянофильства, конечно, не «славяне» и совсем даже не «народ» как таковой, а только христианский народ, то есть Церковь. «Славянофилы придавали и народности значение не самой по себе, а *только* как органу, призванному осуществить в жизни учение Христа» (Д. Самарин, «Поборник вселенской правды», СПб, 1890).

«Для России возможна только одна задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ» (Хомяков).

«Славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь» (Ив. Аксаков).

Возврат к чистому христианству — вот что такое старое славянофильство, имеющее очень мало общего с позднейшим национализмом и реакцией.

Эта суть славянофильства драгоценна нам теперь тем более, что всю широту понятия истинного христианства они уместили в ясное определение Церкви как богочеловеческого организма, то есть вернули экклезиологию к ее первоисточнику: к учению апостола Павла.

«Введение его (понятия Церкви) в наше религиозное сознание, — пишет Вл. Соловьев, — есть главная и неотъемлемая заслуга славянофильства» (т. 4. стр. 223). «„Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм истины и любви“ — так формулирует Ю. Ф. Самарин взгляд Хомякова и свой» (там же)⁸⁰.

Славянофильство мне вспомнилось вместе с людьми, тогда еще живыми, после того как я вспомнил службу в Успенском соборе. Собор был полон святых, и он был полон русской историей. Когда в нем шла служба, все это оживало, и святые на фресках, и вся Россия, страдавшая и радостная, умиравшая и снова несущая свою веру — свой Крест.

Однажды, наверное в 1914 или 1915 году, я пришел в собор ночью, на утреню с понеделника на вторник Страстной. Собор был совсем темный, немного страшный при мысли, что здесь стояли опричники Грозного в рясах поверх кольчуг. Что-то читалось, мерцали немногочисленные лампы, а потом вдруг с обоих клиросов начали сходить гуськом соборные протопопы в камилавках, священники и диаконы и встали в круг посредине перед амвоном. Их было много, человек двадцать, и вдруг они запели: «Се, Жених грядет в полунощи». Они пели басами (причт Успенского собора и подбирался по басам), и в их пении было что-то грозное, и в нем была все та же Россия.

Была у меня еще одна ночь в Кремле, но уже на площади, в мае 1913 года, когда открывали мощи св. Гермогена. По всей площади от соборов к Спасским воротам стоял или сидел народ большими и малыми группами, не расходившийся после всеобщей в ожидании утреннего торжества. Горели во многих местах свечи перед иконами, раздавалось пение молебнов, не нарушая как-то общей тишины ожидания. Ночь была очень тихая. Можно ли забыть это видение Церкви, молящейся в самом центре большого города? Это была какая-то Пасха «среди лета», и в то же время это был 1913 год, то есть канун первой мировой войны, когда мы вступили в «свою», нам предназначенную эпоху, так что можно сказать, что, в то время как Страстная должна быть перед Пасхой, здесь Пасха была перед Страстной. Не означает ли это, что в христианстве одно от другого неотделимо?

VII

ЕПИСКОП АФАНАСИЙ

В духовном облике епископа Афанасия (Сахарова) было для меня что-то чуждое, но так как, несмотря на это, я его любил и люблю, мне хочется записать то, что сохранилось о нем в моей памяти, пока эта память еще действует.

Прежде всего мне кажется, что это мое в отношении его отчуждение он сам же во мне как-то уничтожал своим сердцем, полным любви. Он был один из тех русских епископов-подвижников XX века, «их же имена Ты, Господи носи».

Хотя неудобно начинать воспоминания о другом с воспоминания, так сказать, о самом себе, но для вводной и очень важной характеристики владыки я начну с одного его письма ко мне и обо мне. В конце 50-х годов он прочел мою работу «Путь Отцов», где я пытаюсь дать современному христианину, живущему «в миру», сборник для чтения по монашеской аскетике, вне которой непонятно то первохристианство, к которому, очевидно, постепенно будет возвращаться ход церковной истории. Вскоре я получил от него письмо о его впечатлении:

«Милость Божия буди с Вами, милый и дорогой мой Сереженька... (Владыка был старше меня лет на двенадцать — тринадцать.) Господь да поможет Вам шествовать «путем Отцов...». «Монастырь в миру» — на эту тему была написана большая тетрадь покойным отцом Валентином Свенциким... Идея «монастыря в миру» для меня особенно дорога, и пропаганду ее я считаю существенно необходимой... Вы знаете меня, что я не аскет-созерцатель. Я уставщик, обрядовер и, может быть, даже в некоторых отношениях буквезд. Я, говоря о «монастыре в миру», стал бы говорить о внешнем поведении православных христиан — монахов в миру. Ваша книга — богословское обоснование «монастыря в миру»... С любовью обнимаю Вас и лобызаю, и паки прошу прощения. Спасайтесь о Господе. С любовью богомолец Ваш епископ Афанасий».

Тут все его: и «буквездство», и любовь смиренной и великой души старца-епископа, одного из тех редчайших людей, которым хочется поклониться до земли и

припасть к коленям, ища у них их неоскудевающего мужества и неугасимого тепла. А поклониться можно было бы, даже если знать только одни чисто внешние факты его жизни. Кажется, из тридцати трех лет его епископства он только вначале три года был свободен и руководил своей епархией, а остальное время провел в лагерях и ссылках. Ссылки были в промежутках между лагерями, «для некоторого отдыха», как он, улыбаясь, говорил. А в лагерях проходил он всякие общие работы, включая и такие, как вывозка нечистот. В самом еще начале этого его «хождения по мукам» я его увидел впервые в 1923 году в Усть-Сысольске, или Сыктывкаре. Тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Жил он в пригороде Усть-Сысольска Искаре со своим келейником и добровольным спутником иеромонахом Дамаскином. Они занимали одну большую светлую комнату. В ней был стол, два небольших диванчика, стоявших за занавеской спинками друг к другу, и в углу у икон небольшой столик, служивший престолом для литургии. Из архиереев тогда были в том же городе: Кирилл — митрополит Казанский, Николай (Доброправов) — архиепископ Владимирский, Фаддей — архиепископ Астраханский⁸¹ и кто-то еще. Время от времени появлялись и целые партии архиереев, но их обычно тут же расселяли по другим городам и селам, а те, которых я назвал, были уже вроде местных старожилов. Пел и читал во время богослужений владыка Фаддей, а у владыки Афанасия не было ни слуха, ни голоса. Он служил довольно часто, так как в местную церковь никто из нас не ходил: там были живоцерковники. Конечно, он мог бы иметь и полное архиерейское облачение, но он предпочитал служить в простой, холщовой, священнической фелони, только сверх нее надевал омофор. И митра у него была не обычная, не высокая и не сияющая искусственными бриллиантами, а маленькая, матерчатая, по образцу древних митр русских святителей, без камней и украшений, только с иконками. Говорили, что она и поныне цела. В этом была какая-то мудрая мера. Служение в комнате предъясняет духовные требования и к внешности: пышность византийского обряда становится в комнате чем-то громоздким, ненужным и даже досадным. Я особенно почувствовал эту, так сказать, диалектику истории, когда однажды в том же крае, в селе Серегове, был на богослужении в комнате у епископа Аввакума, уфимского викария. Это был тоже молодой, очень образованный и приветливый человек, еще совсем недавно перед этим бывший профессором математики в Казани, а до этого, как говорили, увлекавшийся анархизмом, человек, конечно, совсем не византийских вкусов. Но он жил в доме, полном монахинь из только что закрытого там Сереговского монастыря, недалеко от Усть-Выми, монахинь, его приютивших и его опекавших. И вот я видел, как он покорно облачался в полное и великолепное архиерейское облачение, точно заполнившее всю комнату и делавшее ее как-то еще более тесной.

На богослужении у владыки Афанасия были только свои ссыльные по делам Церкви. После окончания службы полагалось обильное, по мере возможности, конечно, и, во всяком случае, очень оживленное и веселое кормление всех присутствующих. Простота отношения к нам владыки не допускала даже намек на ту фальшивую елейность, которая почему-то многими считается каким-то хорошим тоном для общения с людьми духовного звания. Одна знакомая рассказывала, как за такой же вот веселой трапезой после богослужения владыка, высмеивая елейность, сказал, передавая кому-то чайную ложку: «Возьмите эту ложечку, ею сам владыченька кушал».

Он не любил акафистов и тяготился тем, что некоторые их составители присылают их ему на оценку и благословение. В современных акафистах угнетает искусственность их составления, обязательность этих именно 144 «радуясь», хотя невозможно человеку 144 раза подряд радоваться, это и тематическая и даже словарная стандартность. Каноны, составлявшиеся в древности, неизмеримо глубже, свободнее и богаче акафистов. Помню, как владыка говорит: «Вот опять прислали новосоставленный акафист святому. Вы знаете, как они теперь составляются: берется житие и перелagается отдельными стишками, с прикреплением к каждому слова «радуясь». Вот и в этом: в житии святого был случай, что он, не желая нарушить закона любви, в постный день не отказался в гостях от рыбы. В акафисте насчет любви сократили, и получился такой стишок: «Радуйся, иже в пяток от рыбных пищи не отказывайся». И тут владыка залился своим добрым смехом.

В его же комнате было и мое венчание. Венчать нас должен был митрополит Кирилл, но его за неделю до этого дня неожиданно перевели в другой городок, где он жил потом вместе с епископом Николаем Петергофским, будущим известным митрополитом Николаем Крутицким. Но зато «Исаия, ликуй» нам пел владыка Фаддей, а

напутственное слово сказал, кроме венчавшего нас священника, владыка Николай (Добронравов), причем оно состояло всего из четырех слов по-латыни: *per cruce[m] ad lucem* («Через крест к свету»). Для всех архиереев я по просьбе владыки заказал столу деревянные посохи, длинные некрашенные палки с утолщением наверху. Владыка всегда ходил с посохом: и на регистрацию и на прогулку. Он даже на суд пришел с посохом и так с ним и сидел на скамье подсудимых. Этот суд был какой-то мимолетный и не совсем понятный эпизод. Кажется, что-то где-то заподозрили незаконное в действиях лиц, подчиненных владыке, когда он еще был на свободе, в своей епархии. Может быть, во время изъятия церковных ценностей, не помню. Прокурор говорил большую речь, мы все волновались, но кончилось все благополучно, и владыка пошел домой со своим посохом, окруженный нами.

Для всех ссыльных священников владыка любил делать очень искусно иерейские кресты из картона и бумаги, золотой и серебряной, и священники, когда совершали богослужение, всегда их надевали. Был при этом случай, который смутил и огорчил владыку. Сделал он одному священнику «золотой» крест. Тот его с удовольствием принял, но тут же попросил написать ему удостоверение в том, что он «награжден золотым крестом». Оказалось, что он у себя в епархии имел только серебряный. Огорчила владыку, конечно, эта деловитость да и собственная неосмотрительность.

За недостатком икон владыка делал и маленькие иконки разных святых из вырезанных где-нибудь их изображений, из материи, картона и бисера. Входил из кухни в его комнату, и в ней обычная картина: тишина, в углу горит лампадка, а за столом владыка или пишет, или клеит иконки. Это при его живом характере вместо разъездов по епархии! О. Дамаскин, келейник, был человек исключительно преданный ему, но человек болезненный. Иногда у него делались какие-то приступы неудержимой тоски. Он тогда от всех убегал, странствовал где-то по улицам и полям, не одетый, без шапки. Приходилось его искать и вести домой. Так что та тишина, которая окружала владыку, была совсем не такая простая и легкая. Это была тишина подвига. Он был настоящим монах. Помню, он говорил: «Если бы было нужно иметь в Церкви не семь, но восемь таинств, то я хотел бы, чтобы этим восьмым было монашество». Тем самым он был, конечно, строгий постник. Для того чтобы показать, насколько пост угоден Богу, он как-то рассказал про себя: «Особенно я старался в тюрьме соблюсти именно Великий пост как подготовку к Пасхе и заметил, что на пасхальные дни Господь всегда посылал мне и в пище великое утешение и обилие. А вот однажды было так: перед Пасхой меня отправили на этап, перевод на другое место, и на этапе я не выдержал и поел рыбных консервов. И вот это была самая трудная и самая скудная для меня Пасха!»

Можем ли мы вообще представить себе эту лагерную Пасху и ее скудость!

Молящимся мы его видели только во время всенощной и обедни, но, конечно, они с о. Дамаскином вычитывали все установленные на день службы богослужебные правила. Об этом можно судить хотя бы по тому, что уже в Петушках, то есть в последние годы его жизни, он, уже старый и слабый, неуклонно выполнял это ежедневное молитвенное «стояние на страже». От тех, кто тогда приезжал к нему с ночевкой, неоднократно я слышал: «Бывало, утро зимнее, темное, в комнате еще не тепло, спать хочется страшно, но из-за стены слышно плесканье рукомойника и добрый голос владыки: «Вставайте, вставайте, ленивии», причем это последнее слово он произносил по-славянски, с двумя «и» на конце. И владыка начинал длинное утреннее правило».

Его душа звала близких участвовать в подвиге, но его доброта, конечно, никого не принуждала и, самое главное, никого не осуждала. Он был строг к себе, но не к другим. Это я очень хорошо знаю. Материально владыка там, в Усть-Сысольске, не бедствовал, получал посылки и помощь от близких. Тогда была жива еще его мать, которую он очень любил (она умерла в 1930 году, и это было для него, как он сам говорил, величайшим горем). И тут его доброта выражалась в материальной помощи другим людям, причем не только близким. Помню, что моя сестра понесла от него большую пищевую передачу в тюрьму совершенно чужим ему по духу людям. Это были эсеры, и тут, кстати сказать, произошло одно «осложнение». Когда его передача была передана их вожакам (а сидели они все вместе, большой группой, в какой-то закрытой церкви), то у этих вожаков возникла серьезная принципиальная проблема: «Можно ли принимать помощь от церковников?» Большинство этих вождей склонялись к тому, что нет, и только решительное противодействие одного из них (Вани Кашина) спасло положение, и, как потом рассказывали, он, лукаво поблескивая

очками, внес к голодному и обрадованному рядовому составу громадный поднос с котлетами и со словами: «Владыка благословил рыбка».

После моего венчания я поступил на работу в городе, который отстоял примерно в двух верстах от нашего жилья. Вскоре моя жена заболела и почти весь день должна была проводить одна в ожидании моего возвращения с работы. Единственной ее опорой и утешением был владыка. Он приходил, подметал пол, приготавливал пищу или приносил что-нибудь с собой, причем, я уверен, не забывал принести и что-нибудь сладкое, так как он сам его любил и всегда говорил с улыбкой: «Во-первых, я сам Сахаров, а вторых, все духовные должны есть побольше сладкого».

Таким же владыка остался и освободившись от своих «университетов» и поселившись, после 1953 или 1954 года, в Петушках. К этому последнему периоду его жизни относится его открытое письмо Ольге Илиодоровне Сахарновой, явившееся для многих людей поворотным пунктом в их отношении к Церкви. В этом письме, которое лучше назвать посланием епископа, было дано благословение всем, кто еще уклонялся тогда от общения с Церковью по мотивам незаконности ее высшей иерархии, войти в полноту этого общения. Этим посланием епископ, оставшийся после тридцатилетнего лагерного стажа совершенно таким же, каким он был всю жизнь, утверждал какое-то недомыслие, нелепость ухода в раскол и необходимость сохранения единства церковной ограды даже и в том случае, если она все больше наполняется духом, чуждым ее апостольской чистоте. Конечно, владыка уже знал в то время благодатную формулу об этом отце Валентина Свенцицкого: «Грех в Церкви есть грех не Церкви, но против Церкви».

Ольга Илиодоровна была одна из близких ему людей, когда-то в юности знавшая еще отца Иоанна Кронштадтского, а в это время пребывающая в каком-то недоумении раскола. Я ее знал в течение пяти лет в Сибири, причем последние два года она пребывала там совершенно добровольно, только для того, чтобы обслуживать уже совсем больного и старого отца Дмитрия Крючкова. Только похоронив его на глухом сельском кладбище, она вернулась в родные места и жила до смерти в Загорске. В петушинский период, хотя владыка не стал епархиальным архиереем, а жил там как частное лицо, его церковная деятельность неизмеримо расширилась. Он получил возможность ездить во Владимир, в Москву, в Загорск. К нему все время приезжали отовсюду люди за духовным советом. Он начал интенсивно работать над приведением в порядок богослужебных книг. Несколько раз его приглашали участвовать в архиерейском служении — во Владимире, в Загорске («Лавра и та и не та», — сказал он о своем впечатлении от лавры). Во Владимире он служил на праздновании восьмисотлетия города, и его служение привлекло толпы народа, из которого еще многие могли знать его в начале 20-х годов, когда он был владимирским викарием. Служить в петушинском храме по архиерейскому чину ему не разрешили, а служить как простой священник он не захотел. Когда он мне об этом рассказал, я, кажется, впервые увидел, что он может сердиться. «Я сам знаю, как мне служить», — сказал он.

В этот же период столько людей в разных городах получали от него письма или открытки с фотографиями икон и с письменным обращением на обороте, всегда таким ласковым и простым, к Пасхе, к Рождеству (вторые обычно начинались словами: «Христос рождается!»).

Владыке сшили новую рясу, и иногда его можно было встретить на московских улицах — по всему своему облику, по этой рясе, по длинным волосам, по дорожному посоху человека не этого мира, а каким-то образом сошедшего с иконы в наш атомный век святителя допетровской Руси.

В это же время его пригласили для работы в Патриархии, в комиссию по церковному Уставу. Он, правда, недолго в ней работал, его скоро освободили. «Не умел ладить с начальством», — писал он в одном письме. Но, может быть, в этом отстранении его выразилась, хоть и уродливо, какая-то закономерность церковной эпохи. Когда его назначили в эту комиссию, кто-то сказал: «Владыку назначили председателем комиссии по отцеживанию комаров». Соблюдение богослужебного Устава, то есть Типикона, надо уважать и по мере сил соблюдать. Только не надо этот Устав догматизировать, считать, что Типикон — это «боговдохновенная книга», то есть книга, равная Священному Писанию, а именно это определение Типикона приводит владыка с одобрением в своей работе 50-х годов «О поминовении усопших по Уставу Церкви». Ужасно, когда из-за нежелания войти в труд молитвы, из-за духовной лени сокращается богослужение, то есть нарушается Типикон. Но ужасно и то, если «на плеча людям кладутся бремена тяжкие и неудобоносимые». Если Типикон есть требование во всем меры, то и наше

отношение к нему самому не должно быть безмерным. Он в смысле своих детальных правил есть нечто условное, а не безусловное, как Слово Божие. Было время, когда этих правил не было. Надо осознать, что Типикон создавался в византийском средневековье в монастырях и преимущественно для монахов или вообще для людей, свободных от других обязанностей, семейных или служебных, создавался для выполнения всего большого суточного богослужебного долга. Вот в нем запрещено в воскресные и праздничные дни за литургией возносить открытые моления об усопших, и владыка в своей работе правильно показал, что это только для того запрещено, чтобы не отвлекать молящихся во что-то хорошее, но все же личное, в личной горе, от вселенского, всецерковного литургического торжества. И что желающие литургически молиться за усопших могут сделать это в любой другой, то есть не праздничный и не воскресный, день. Он правильно рассуждал, так же как и составитель этого запрещения в каких-нибудь VIII—IX столетиях, видя монахов или других людей, имеющих возможность посещать храм в будние дни. Но если современный нам и еще работающий где-нибудь в учреждении или на заводе человек только в воскресенье и сможет попасть в церковь, и то только, может быть, от скорби по своим усопшим, то не понуждает ли нас любовь к нему, к миллионам таких как-то молиться об усопших и в воскресный день? Но, конечно, это очень трудный вопрос. Прикрываясь любовью, можно уйти по дороге живощерковничества. Без духовного рассуждения, соблюдая Типикон, можно действительно заняться «поглощением верблюдов». Без Устава может возникнуть произвол, с Уставом на плечи может лечь невыносимое бремя, противоречащее закону любви и тому самому чувству меры, которое должен осуществлять Устав.

Очевидно, правильно мыслил о. Павел Флоренский, говоря, что в Уставе надо различать две стороны — духовную и внешнюю. Первая — это животворящий страх Божий перед участием в богослужении, необходимость нашего молитвенного труда и в нем порядка. Вторая сторона — это буква Устава, которая иногда может и мертвить, это всевозможные конкретные установления относительно этого порядка, размещение и построение фактически уже существующих в практике богослужебных частей. Первая незыблема, вторая же меняется, как условная. И может меняться в зависимости от сокращения или включения в богослужение новых частей или от создания новых богослужений. До IV—V веков в богослужении не было ни «Херувимской», ни «Святый Боже...», ни нашего «Символа веры», ни многого другого. До IV века не было богослужения даже для такого великого праздника, как Рождество Христово. Первая же сторона существует с самого основания Церкви, она есть сама суть богослужений и нашего стояния перед Богом. Она не зависит от прибавления или убывания частных богослужебных частей.

Только твердо держась духовной стороны Устава, можно избежать противоречий относительно него и, что главное, получить действительное оружие против духовной смерти, проникающей в церковное человечество, уже давно проникшей в него, причем еще в эпоху полного и безраздельного господства Типикона. Об этом говорит и история Византии и история России XVI—XVII веков. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Эти слова были сказаны в I веке, то есть тогда, когда у Церкви еще ничего не было, кроме Слова Божия и огня Пятидесятницы. Но в этом и было действительно все, что надо было «держаться», в этом была и есть вся полнота бытия, и в этой полноте живет и духовная сторона Устава. Если мы и будем ее в себе держать, нам будет чужд богослужебный произвол и молитвенная лень, и мы будем жить в духе первохристианской Церкви с ее горением в непрестанном молитвенном труде, с ее апостольским чувством меры, строя и страха Божия.

Во владыке же чувствовалась какая-то недооценка значения для нас первоначального христианства. Помню, он еще в Усть-Сысольске говорил: «Из двух слов, «христианин» и «православный», мне милее и дороже второе». И это будет понятно, если вспомнить, что слово «христианин» появляется уже в «Деяниях святых Апостолов», за тысячелетие до Типикона. В тех же «Деяниях» рассказывается, что тогда «все верующие были вместе и имели все общее... и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (2). А вот владыка как-то рассказал мне один поразительный факт: когда ему в его скитаниях в Сибири однажды посчастливилось случайно соединиться в какой-то глухой ссыльной деревне с митрополитом Кириллом, очень им всегда уважаемым и действительно великим иерархом, то это счастье длилось у них, оказывается, недолго. «Пришлось нам, — рассказывал мне владыка, — через некоторое время поселиться врозь, и все из-за расхо-

ждений по Тиликону». Не в силах был дать им Тиликон ни единодушия, ни «простоты сердца». Но при всем том владыка понимал, что Церковь входит в какую-то иную эпоху своей истории, чуждую некоторых установившихся традиций и понятий

Последние годы владыка был точно в каком-то смятении чувств. То, что совершалось и в стенах Церкви и в мире, вызывало в нем глубочайшую тревогу. Он стал сомневаться даже в правильности своего «ухода на покой», в этом своем, как ему стало казаться, уклонении от участия в борьбе со все усиливающимся злом. «Не попросить ли мне о назначении меня на епархию?» — спрашивал он близкого ему человека. Кажется, в это время его «повысили», сделали архиепископом, но разве это могло ему помочь? Он так и не собрался поехать в Москву для получения звания. Какое-то горестное недоумение и скорбь о все увеличивающемся обмирщении Церкви выразалось и в разговорах его и в письмах

Так он и умер в 1962 году. Но перед смертью он сказал близким о том, где же выход. «Вас всех спасет молитва» — это были его одни из самых последних слов. А в работе «О поминовении усопших» он когда-то, в 50-х годах, писал. «Каждый должен молиться о всех». Так он остался верен своей сути, своему монашескому молитвенному духу, который, если он истинный, есть, конечно, дух первохристианский «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». «Непрестанно молитесь», — слышим мы в первохристианстве. Я узнал о его смерти в Москве и поехал в Петушки. По дороге смущала мысль: неужели я больше не увижу его лица? Ведь, по традиции, лица духовенства и монашествующих после смерти закрываются материей. В дом было трудно войти. Народ стоял во дворе, на лестнице, в комнатах. Мне уже рассказали, что приехал от Патриарха для совершения похорон архиепископ Симон, близкий человек владыке, что похороны будут во Владимире с участием и владимирского архиерея. Наконец я вошел в комнату, где люди стояли вплотную и где в углу у гроба священник читал Евангелие. Я взглянул на гроб и был поражен: передо мной в полном голубом архиерейском облачении лежал с совершенно открытым лицом владыка. Где же традиция? Все отошло перед иной правдой. Лицо было невероятно скорбно. Перед нами лежала страдающая за нас и молящаяся за нас любовь.

17 XII.75.

VIII

Теперь я попытаюсь подробнее записать то, что осталось в памяти от моих тюремных и ссыльных лет, эпохи и моего страдания и счастья.

Было часов шесть утра в середине июля, когда я вышел из дома, стоявшего в старом парке под Москвой, чтобы ехать к себе на Арбат. Цвели липы, и воздух был полон покоем и чистотой Божьего утра. Я уже с вечера знал, что в Москве у меня на квартире засада, что мой арест за выступление против живоцерковников неизбежен, и все же утро было такое, что, когда я увидел у самой стены дома человека в черной гимнастерке, с наганом в руке, я как-то не сразу связал его с тем, чего ждал и к чему был подготовлен. Я почувствовал только вопиющее, невероятное несоответствие этой фигуры всему, что ее окружало. И тут же сердце заняло от боли по уходящей свободе. Из-за угла вышла вторая фигура, тоже с наганом, и меня вполне драматически повели на вокзал.

Тогда, в 1922 году, были времена, так сказать, еще архаические, и даже во внутренней тюрьме, куда меня через два с половиной часа привезли, еще сохранилось кое в чем древнее простодушие. Со мной при выходе из дома были две книги по русской филологии, кожаный портфельчик и маленькое Евангелие на славянском языке. И вот с этим багажом меня и ввели в предварилку. Это был ряд комнат в полуподвале, на первый взгляд самых обычных, с окнами во двор, откуда несло монотонное и деловитое пение электропилы, напоминавшее мне зубодробительную бормашину. Но окно было закрыто высоким щитом, в нижние просветы которого можно было наблюдать — в яме перед окном — бесшумно путешествующую крысу.

Предварилка — это нечто вроде проходной комнаты. Люди приходили и уходили, редкие оставались дольше двух дней, никто не успевал ни с кем сблизиться, все были растеряны, старались говорить о посторонних вещах и как можно больше спать, подложив под голову кепку, — сон был единственным способом бегства от действительности. Из этой комнаты я помню поэта с круглым лицом, с волосами в скобку и с ногтями

длиной буквально сантиметров восьми или десяти. Я так и не спросил, к какому поэтическому цеху он принадлежал — ведь в те времена были самые невероятные, — но помню, что из-за этих ногтей он с трудом подносил ко рту ложку с баландой. Потом привели нашего посла в Китае, прямо с дороги, очень растерянного, держащего в руке единственную вещь: пачку прекрасной голубоватой почтовой бумаги. Потом в коридоре, когда водили на допрос, мелькнула фигура митрополита Агафангела в черной рясе и белом клобуке и очень многое мне напомнило: всего за шесть лет перед этим мы вместе с ним жили летом в Толгском монастыре под Ярославлем, и это ему, по рассказам, варили тогда монахи уху на курином бульоне. Это было последнее лето перед революцией. На великой реке была тишина, с одной стороны была березовая, а с другой — кедровая роща, и если подойти к краю березовой, то открывались луга и там на краю их, верст за пять, — белая церковка, от которой по субботам слабо доносился звон. Я тогда уже знал стихи И. Аксакова:

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.

Я тогда читал славянофилов, Григория Сковороду, преп Серафима «О цели христианской жизни», и, слушая этот звон, мне думалось, что там, наверное, нет монахов, выходящих покурить во время литургии, что именно там, а не здесь хранима еще Богом Церковь — «ты, риза чистая Христа», как сказал Тютчев.

Но несмотря на растерянность, все в камере, в общем, чувствовали себя довольно спокойно: ведь период террора окончился и ВЧК была тогда уже переименована в ГПУ. Надо было только научиться наименее болезненно перенести полученную рану.

Кажется, на второй день один из сидевших сказал мне, что в соседней камере отец Владимир Богданов со святыми дарами и что можно упросить дежурного к нему пройти. Я так и сделал и в тот же вечер вошел в голубую от табачного дыма соседнюю камеру, чтобы причаститься.

Отец Владимир обрадовался моему приходу. Он был бодрый, улыбающийся, простой, совсем не похожий на известного «богдановского» вождя арбатского периода. Это был человек, точно сбросивший какое-то бремя и нашедший наконец свое истинное место. А рядом с ним на нарах изнемогал от духоты и своего громадного тела протопресвитер Большого Успенского собора Любимов, поп-гора, как его называли его ученицы по закону Божию в дореволюционной гимназии.

Дежурный, впустив меня, стоял у полуприкрытой двери и ждал, пока окончится таинство. И сидевшие в камере — я помню — не очень удивились моему приходу. Такие тогда еще были времена! Отец Владимир Кривоулицкий рассказывал мне о случае еще более знаменательном. Он был однажды арестован на улице, когда шел с дароносницей причащать больного. Введя в комендатуру, его поставили где-то в углу и велели ждать. Рядом был высокий прилавок. Он поставил на него дароносицу и попросил четверть стакана воды, объяснив в немногих словах окружающим, что с ним святыня, которую он не может отдать, но должен выпить. Окружающие — в кожаных куртках — переглянулись, и кто-то из них молча принес ему до краев полный стакан воды. Это мне кажется совсем как «и побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, положив на трость, давал ему пить». Когда все было закончено, о. Владимир тщательнее вытер маленькую чашу и отдал ее этим же людям.

Вскоре после того как я вернулся в свою камеру, меня перевели уже в настоящую внутреннюю, на второй или третий этаж, причем опять оставили, хотя был обыск, и филологические книги и Евангелие.

Прогулок во внутренней тогда не полагалось, книг не давали, сидение было довольно томительное, но зато тогда можно было днем лежать на своей койке сколько хочешь и, следовательно, уткнувшись носом в стенку, быть только с самим собой. Впрочем, окружение у меня оказалось небольшое и неутомительное. Молодой добродушный агроном с украинской фамилией, постоянно недоумевающий, что он сюда попал, выходил под вечер «посмотреть овсы», как он говорил, то есть походить между койками, где на полу лежала осыпавшаяся из тюфяка солома. Старый адвокат Жданов, привезенный прямо с процесса правых эсеров, где он изводил прокурора саркастическими репликами, рассказывал, пожевывая седяющие усы, всякие истории из дореволю-

ционных политических процессов. Бывший директор конторы Государственного банка, в мешковатом сером костюме, по-стариковски аккуратно перекладывал с места на место свои многочисленные мешочки с передачей. Молодой протестный парень с угреватым лицом, мелкий служащий на железной дороге и в то же время сын «графа Амори» — скандального продолжателя в литературе известных романов Вербицкой, — методично бил боксом по пальто на вешалке у двери. Об отце он не любил говорить. Был еще маленький испуганный еврей-инженер, из тех, кто когда-то в молодости хаживал в меньшевистские кружки, а теперь был бы рад забыть о них вполне и совершенно. Был еще кубанский белый офицер, остаток уже отошедшей тогда в прошлое гражданской войны, рассказывавший о том, как его водили на фиктивный расстрел. Был еще секретарь ЦК партии левых эсеров, молодой карим с черной бородой, вечно лежавший на койке с закинутыми за голову руками, вечно молчавший и не отводивший от потолка своих больших, печальных караимских глаз.

А по ночам, когда затихали все рассказы и закрывались все глаза, когда в тишине лишь изредка доносился через стены, из недостижимого свободного мира, визг трамвая, наверно, при завороте с Театральной, а по ковру коридора не замирали мягкие шаги, можно было наблюдать, как вездесущие мыши плясали свои свадебные пляски на старом паркете. Ведь когда-то это было зданием страхового общества и гостиницы «Россия». Уткнувшись в стену, можно было без конца читать Евангелие. Мне был тогда только двадцать один год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа — это Божие возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог — если Он благоволит еще его спасти — посылает ему страдание явное (болезни, лишения, скорби), чтоб хоть этим путем он принес «плод жизни вечной». «Жена когда рождает, терпит скорбь» — это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда, и мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутило открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу. Помню, как особенно часто я читал там 6-ю главу от Марка: «И призва обанадесять и начат их посылать два два (по два)... и заповеда им да ничесоже возмут на путь токмо жезл един, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Через ткань этих слов все яснее чувствовалось, что при любви к Христу нельзя работать двум господам, что душа должна наконец сделать выбор. И таким простым тогда казался мне этот выбор! Душа так легко, так бездумно шла тогда по дорогам и проселкам галилейским, ища даже не учения, а только зримый образ Учителя и Бога. Как сказал Пастернак о Магдалине:

Омываю миром...
Я стопы пречистые Твои.

В этом я жил тогда. Это был кризис и выздоровление после долгой и тяжелой болезни молодости.

Через два месяца, в ясный сентябрьский день, меня перевезли в просторные и еще совсем патриархальные тогда Бутырки. В центре тюремных корпусов стояла еще тогда, хоть и закрытая, тюремная церковь, где когда-то служил отец, где меня крестили и куда меня в первый раз взяли к заутрене на Пасху: я помню, как мы идем с мамой ночью в церковь по длинным праздничным половикам, расстеленным в тюремных переходах. Церковь была небольшая, в левом притворе стояла икона «Взыскания погибших», а в первом помещались во время службы арестанты: там был полумрак, высокое распятие с большой лампадой у лика Спасителя и слышался иногда перезвон кандалов. Из коридора, по которому нас теперь водят на прогулку, еще видна верхушка кирпичного дома, где прошло мое детство до семи лет. Там был кабинет отца с твердыми черными креслами у стола, с портретами на стене: отца Амвросия в камиллавке, Леонтьева, уже старого, в пенсне и шляпе, и моей матери в кокошнике и сарафане работы Ярошенко, маслом. Ярошенко был приятель папиного брата, революционера. Рядом с домом был сад с какими-то скучными клумбами, а за садом большой пустынный дровяной склад, заросший лопухами и крапивой и так замечательно хорошо пахнувший прелым дерном.

Тюрьма — это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке — начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно

значительным: не научные его открытия и работы и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал, точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех. В Рождество 1945/46 года я лежал в невероятном тесном, темном и душном отделении столыпинского вагона на перегоне из Челябинска в Красноярск. Кругом уркачи, голодные и мрачные, как тигры. Они только что стащили у одного спящего на полу в каше тел новые хромовые сапоги. Духота и жажда. Есть уже и не хочется, а только пить, а пить нечего: воду дают дважды в день по несколько глотков. Шаря по пустому вещевому мешку, я нащупал какую-то маленькую корочку и, потирая ее между пальцами, вдруг ощутил, как легкое дуновение, восхитительный запах мандарина. Это было замечательно: мандариновый запах не только как-то облегчил жажду, но он установил в черном и душном аду какое-то обетованное место — кусочек родного дома с рождественскими елками, на которых, конечно, когда-то висели у нас мандарины. Я тер, и нюхал, и вдыхал детство, а потом, застеснявшись, говорю одному из уркачей, молодому и, можно сказать, культурному москвичу: «А ну-ка, земляк, понюхай». Земляк нашел в темноте мою руку, взял корочку и, конечно, тоже восхитился, и мы поделили пополам и всё нюхали, к зависти других, но к зависти уже дружеской: корочка сделалась мостом между всеми нами, и дальше ехать было легче.

Кстати, не могу не вспомнить еще один факт из тюремной жизни моего знакомого, ученого и верующего человека, как я уже сказал. Он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, и он чувствовал, что его силы, не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу, правда с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать и на этом условии, спасая свою голову и забывая о времени. Но проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему абсолютно нужна одна математическая формула, которую он забыл и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся его радость померкла, и несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз, машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» или стихи Демьяна Бедного, как вдруг увидел, что одна из книг — его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим! Бог спасает людей своих и в одиночной камере.

Передачи в Бутырках я получал тогда обильные, и не только еду, но и книги и длинные письма. Во внутренней ни книг, ни писем уже и тогда не полагалось, но продукты пропускались всякие и в любом виде. Рассказывали, что кто-то из сидевших тогда эсеров был обязательно раз в неделю пьян, к великому, конечно, удивлению и ужасу тюремного начальства: ведь все-таки это была не долговая тюрьма Маршалси из «Крошки Доррит», а самая настоящая внутренняя. Но наконец в глазок подглядели, как этот заключенный отколупливал восковую заклеечку на цельном яйце и выпивал спирт, налитый в пустую скорлупу. Раз к нам во внутреннюю привезли молодого эсера, боевика, из рабочих. Его привезли из Таганской тюрьмы плащом на грузовике с приставленными к нему штыками. Оказывается, этот парень умудрился получить в передаче револьвер, кажется, в пироге, и во время прогулки сшиб вместе с кем-то охрану и прорвался на улицу. В те времена тюремная техника была еще явно отсталая. В сидение 1932—1933 годов я видел в Бутырках одного беглеца-еврея. Это был высокий, крепкий и умный человек, староста громадной и буйной камеры в двести человек уголовников, которыми он грозно и мудро управлял. Он сумел убежать от Соловков, то есть острова в Белом море, добрался до Москвы и здесь скоро занял привычное ему положение. Впрочем, не менее удивительно, как он опять очутился в тюрьме: уже совсем забыв о своем прошлом, он шел по Тверской и остановился почистить ботинки. Пока ему чистили, он читал газету, держа ее перед лицом. Потом почему-то опустил ее, открыл лицо и тут же увидел глаза проходящего мимо одного из своих соловецких начальников.

На окнах Бутырской тюрьмы тогда щитов еще не было, и из двух окон нашей камеры можно было видеть кусочек далекой улицы с проезжавшими по ней извозчиками. Тогда по Москве еще всюю ездили извозчики. За дальностью расстояния шума езды слышно не было, и лошади и люди, бесшумно катясь и исчезая, точно на экране немого кино, казались существами иного и нереального мира. Надо было оторвать от них жадный взор и обратиться к реальности. Вот два белоруса опять начали свою благодушную борьбу на поясах. Они были в лаптях, светлых рубашках и домотканых штанах какого-то сиреневого цвета и всегда неразлучны — молодые, высокие, белые, с бородами. Они брались за пояса и старались оторвать друг друга от земли, долго похаживая вокруг незримой оси. А вчера, когда вся камера шумно и весело пошла на прогулку, они остались одни с о. Владимиром Богдановым, чтобы исповедаться и причаститься. После камерного шума была такая тишина, когда на длинный засаленный тюремный стол о. Владимир поставил крошечную чашу. Я стоял рядом и читал благодарственные молитвы. Вот где источник осеннего солнца, светящего в окна. и вот где источник силы этих двух притихших богатырей. Прогулки были длинные, минут на двадцать, и, что их особенно оживляло, на них выпускали сразу по две камеры. Помню, из соседней камеры выходят два католических священника, совсем друг на друга не похожие. один пожилой, спокойный, с черной бородкой, всегда приветливо подходил к Павлу Вятскому. архиерею из нашей камеры, под благословение и целовал его руку. а другой, молодой, бритый, с недоверчивыми и спорящими глазами, только сухо издали кланялся. чувствовалось, что для него и здесь, в тюрьме, до небес достигали перегородки между Церквами.

В нашей камере, кроме длинного общего стола, был еще маленький столик в простенке между окнами, служивший престолом для совершения литургии. В камере был антиминс и сосуды, конечно жестяные, было одно холщовое священническое облачение, несколько маленьких икон, свечи и даже настоящее кадило и ладан. Забота о кадиле лежала на мне, и вот, пристроившись к коридорным дежурным по раздаче утренней или вечерней еды, я спускаюсь с ними и с кадилом в тюремную кухню. и кто-нибудь из поваров с особым каждый раз удовольствием на лице вытаскивает мне из громадной печи самые отменные угли. В камере было при мне временами до пяти архиереев и по несколько священников. Они служили по очереди, не каждый день, но довольно часто. Иногда на служение пускались гости и из других камер. Пели почти все — это, значит, человек двадцать, — и каменные своды старой тюрьмы далеко передавали божественные песни. Богослужение — это единство устремления людей к Богу. Если на богослужении нет совсем людей, устремленных к Богу, то богослужения и не будет. а будет только стертая медь обряда. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая... и нет мне в том никакой пользы». У нас в камере было два человека, явно устремленных к Богу. о. Валентин Свенцицкий и о. Василий Перибаскин. Первый еще недавно перед этим был в гуще интеллигенции, писал в газетах и журналах вместе с Мережковским и Гиппиус, а теперь носил черный подрясник и, хоть и женатый священник, монашеские четки. Это был человек и большой и трудный. В нем чувствовалась тогда мощь духовного борца, находящегося в смертельной схватке невидимой брани и еще не достигшего покоя. Мира души как трофея победы в нем еще не чувствовалось, но самая борьба его, настолько реальная, что как бы уже видимая, была сама по себе учительна и заразительна для других. Он был именно устремлен ко Христу: наверно, и он увидел его где-то, может быть, тоже на пути, и эта устремленность устремляла других.

О. Василий Перибаскин был как бы простейший русский, да еще вятский поп, конечно, обремененный семьей, конечно, рыжеватый, высокий, с красноватым носом, в сером старом подряснике, из-под которого, попозже к зиме, выглядывали несурзано большие валенки. О. Валентин все больше молчал, перебирая четки, а о. Василий часто говорил с людьми. Между собой они были в явной дружбе. Говорил о. Василий словами простыми, иногда даже словами совсем не литературными, грубыми, но всегда говорил то, что было надо сказать собеседнику, точно вырубая заросли чужой души. Помню разговор его с одним ученым протоиереем, державшимся от всех нас в стороне. Это был еще молодой юрист, профессор канонического права в одном из университетов. Принявши почему-то священство (в начале революции), он к этому времени уже снял рясу и работал как юрист в каком-то учреждении. Помню, что о. Василий долго ему что-то рассказывал вполголоса, сидя на его койке, про какого-то священника в деревне, про крестный ход летом на полях, про какое-то торжество молившихся под голубым

небом людей И я ясно помню лицо этого юриста в слезах. О. Василий имел дар помощи людям и он делал ту помощь в радости и в непрестанной молитве. Как говорил преп Макарый Великий, «молитва основана на любви, а любовь на радости». Это и есть христианство Но где теперь эти люди?

Вот вечером служится всенощная. Все стоит и участвуют, кроме двух-трех отрицателей, играющих в стороне на шахматы. Кстати, один из отрицателей был художник, замечательно искусно делавший из протертого через материю хлеба не только шахматы, но и нагрудные кресты для духовенства и четки. Камера освещена пыльной лампочкой, кругом постели, обувь, чайники, параша, воздух тяжелой ночлежки — все здесь не похоже на привычное в долгих веках благолепие храма, где и стены помогают молиться. Здесь надо ничего не видеть, кроме маленького столика в простенке с горящей на нем свечой. А мне еще надо видеть о Василия. Вот поется канон, и его красивый мягкий тенор запеваает седьмую песнь «Божия снисхождения огонь устыдился в Вавилоне иногда, сего ради отрочи в печи радованною ногою, яко во цветнице ликующе пояху: благословен еси Боже отец наших». Я вижу его поющее лицо, счастливые спокойные глаза, и кажется мне, что это он стоит «во цветнице ликующе пояху», в печи Вавилонской, которой сделалась для него эта темная камера со стенами, осклизлыми от столетия человеческого житья. О, мой дорогой, тихий вятский авва! Ты и меня тогда учил идти «радованною ногою» по узкому Христову пути.

Подъем утром был в семь, а если тихонько встать на час раньше, то узнаешь самое хорошее камерное время Тишина, простор, покой, ушла пелена табачного дыма, не слышно перебранок, в коридоре дремлют на табуретках утомленные сторожа, в своей дремоте ставшие совершенно такими же простыми и понятными, как вот эти спящие вокруг меня фигуры архиереев, художников, жандармов, инженеров и крестьян. «Земля людей» «Помилуй Боже ночные души».

Я беру присланный в передаче отцовский молитвослов и читаю в полунощнице 17-ю кафизму: «Коль сладка гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим... Твоя есмь аз, спаси мя Раб твой есмь аз, вразуми мя.. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Гвое .. Благо мне яко смирил мя еси, яко да научуся оправданиям твоим... Жива будет душа моя и восхвалит тя и судьбы твои помогут мне...»

Вот я пишу сейчас эти слова, чувствую, что пишу слишком много, и не могу остановиться За прошедшие сорок лет столько раз я уходил от этих слов, и сколько раз они снова открывались мне как звезды в ночи души, напоминая, умоляя и зовя. И бывало, видя их снова, я иногда испытывал искреннее недоумение, уже погружаясь в полное забвение бутырской полунощницы, и точно говорил им: quo vadis, Domine? И тут же вспоминал все по сказанному. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и исшед вон плакал горько»

«Благо мне яко смирил мя еси».

После подъема начиналось самое неинтересное время: проверка, мелкие или крупные ссоры из-за хлебных паек, из-за книг тюремной библиотеки, томительное ожидание — даже не обеда и прогулки, а вообще какого-то движения «реки времен». Впрочем, и сама эта томительность постепенно делалась привычной. И здесь, в тюрьме, обыденность пробивала какую-то свою колею, и постепенно койка и камера делались для каждого точно домом, и люди окутывались особым тюремным покрывалом, какой-то смесью равнодушия и отчаяния. Когда я в период этой первой ссылки был на этапе в вологодской тюрьме мне однажды показали камеру смертника, какого-то крупного растратчика. Исполнение приговора было отложено на несколько дней в связи с его просьбой о помиловании. Я подошел к двери и заглянул в глазок, вспоминая шильонского узника Я увидел прежде всего небольшую круглую чугунную печку, на которой стоял голубой кофейник На кровати, перед которой стояли ночные туфли, лежал приговоренный и с Явным интересом читал затрепанную книжку, по шрифту, формату, конечно, роман Или человек реагирует только на прямую физическую боль? Кстати, эта самая Вологда связана у меня с воспоминаниями о физической боли. Наш этап пришел туда в начале декабря, утром. Во время выгрузки из вагона на запасных путях один заключенный юркнул под вагон и попытался исчезнуть. Его очень скоро нашли в пустом товарном вагоне. Это был человек среднего роста, бедно одетый и простоватый, по профессии цирковой клоун Пока шли поиски, мы стояли у путей, а тут нас опять выстроили и повели по молодому снежку в тюрьму на окраине города. Сзади, как обычно, понуро шли угрюмые овчарки, незаменимые в таких делах. В тюремном дворе нас построили, как на парад, в две шеренги — в передней шеренге прямо передо мной

стоял совсем неотмирный в черной дорожной скуфейке архиепископ Астраханский Фаддей, — клоуна вывели на «плац», конвойные выгнали шомпола, и перед нами в назидание началась экзекуция. Она продолжалась недолго: клоун затих и упал. Впрочем, недели через две я опять его увидел, вышедшего из больницы, хоть и бледного, как мертвец.

Не могу не вспомнить и жестокость другого рода. От шомполов есть больница, а где спасешься от жестоких слов? Среди других был там в моей первой камере один архиерей, молодой, твердый, иконописный, высоко ставивший монашеское звание. «На последнем курсе академии я с одним товарищем, — говорил он мне, — как-то даже сочинение написал на тему, что брак — это не христианское учреждение. Но, — добавлял он, как бы снисходительно спохватываясь, — это, конечно, не так, это не так». Камерным бездействием он, видимо, тяготился и часто коротал время за игрой в бирюльки с художником. Бирюльки — это пучок отшлифованных стеклом палочек, которые надо сжать в кулаке и, внезапно открыв, доставать из кучи каждую палочку отдельно, не задевая других. Был послеобеденный час, все лежали и от нечего делать слушали разговор этого архиерея с одним лютеранином — высоким добросовестным обрусевшим немцем. Я помню спокойный голос архиерея: «Поскольку вы не в Церкви, вы и не христианин, вы для меня то же, что язычник». И вдруг оказалось, что для немца это был пинок прямо в лицо. Он приподнялся на своей койке, лицо его стало красным, и он с таким возмущением и огорчением буквально закричал: «Что вы говорите, что вы говорите! Как можно, как можно!..» Так мне довелось тогда узнать, что не все то православная Церковь, что именуется ею, что всякий нераскаянный грех, особенно прямой грех против любви, отводит меня от нее. «Если я имею всю (православную) веру, а не имею любви, то я ничто, и если отдам тело мое на сожжение (или на монашеский подвиг), а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Никакой пользы», «ничто» — никакой Церкви, так как Церкви не может быть в небытии. Даже самой благообразной и правоверной н е - л ю б в и нет места в святом бытии Церкви.

Надо отвергать лютеранство, а не лютеран, папство, а не католиков. Существует только одна-единственная Церковь, православная Церковь, но ее незримые связи с христианами Запада, в частности с лютеранами, нам непостижимы, а они действительно существуют, и мы знаем, что на Западе есть христиане, гораздо более находящиеся в Церкви, чем многие из нас.

Мандарины играют в моих тюремных воспоминаниях определенную роль, и я сейчас опять о них вспомнил. Это было ранее и совсем еще темное утро 25 декабря 1946 года. Этапная камера Бутырок задыхалась от людей, ожидающих отправки. Я уже знал, что меня сегодня-завтра отправят, и мне не спалось. Да и какое спанье, если для того, чтобы повернуться на другой бок, надо будить соседа и поворачиваться вместе, а соседи бывают разные. Впрочем, моим соседом был очень добрый юноша Илюша. И вот вижу: на противоположном конце камеры у окна стоит во весь рост, точно на трибуне, высокая фигура молодого лютеранина с молитвенно сложенными руками. Слезать на пол нельзя: везде спящие тела. Кругом тишина и храм. Он стоит долго неподвижно, со сложенными руками, глядя в замороженное окно. Там, за окном, где-то в темноте пространства, — 25 декабря, Рождество, там его лютеранское детство и где-то там детство Иисуса Христа, «в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода». Что до того, что прошли века, что все больше людей Его забывают. Этот человек на нарах не только помнит Его, он видит Его. Как сказал Пастернак:

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.

Потом открылась дверь, и начали вызывать на этап. Я быстро собрался и, уходя, показал Илюше глазами на одинокую фигуру на нарах. «Да ведь сегодня у них Рождество, — понял он и радостно добавил: — Я сейчас отнесу ему мандарин».

Больше я никогда не видел ни лютеранина, ни Илюшу. И вот теперь, через пятнадцать лет после этого последнего этапа, оглядываясь на многолетний поток людей, с которыми я тогда встречался и шел, я отчетливо знаю, чему в итоге они, эти люди и годы, меня терпеливо учили. Тому, что смысл жизни страшно прост: стараться всегда и везде сохранять тепло сердца, зная, что оно будет нужно кому-то еще, что мы всегда нужны кому-то еще.

На этом следовало бы перевернуть эту страницу памяти 1946 года, но из каких-то

ее темных пустынь вдруг еще выходят образы, обрывки разговоров, живое теплое сердце тех часов и минут. У Блаженного Августина есть замечательная фраза: «Где же ты теперь, мое детство? Ибо не может быть, чтобы тебя нигде не было». С этими же словами мы, может быть, обращаемся ко всему дорогому, ко всему хорошему, что было когда-нибудь в нашей жизни, обращаемся с такой горечью, потому что больше его не видим, и с такой надеждой, что, может быть, когда-нибудь увидим опять. Как поется ночью Великой субботы: «Воскреснут мертвии и восстанут сущие во гробах, и все земнороднии возрадуются». Но то, что сейчас возникло в памяти, не поддается передаче в словах, так как, собственно, не имеет никакого сюжета. Это только напев одной песни. Известно, что старая русская песня иногда до молитвенной печали может достичь, но я не знал, что и старый русский романс также может достичь молитвенной печали. Теснота в этой камере, где лютеранин стоял на трибуне, была такая, что когда нас приводили на десять минут и запирали в совсем уж не соответствующую по размерам уборную, то в настоящий обморок от духоты падали даже бравые колчаковские полковники, выловленные после окончания войны где-то в Китае. Весь день мы сидели на нарах, а если встанешь, чтобы размяться, то вступаешь в густой сплошной поток людей, совершающих вращение по камере. И вот милый друг этих дней, которого я никогда раньше не знал и только что встретил и через несколько дней потерял навсегда, говорит мне: «Я знаю, чем вас порадовать! — Глаза его заблестели, и он поднялся на нарах. — Василий Петрович! Капеллу!» — закричал он. Через несколько минут, по закономерности вращения людского потока, к нам на нары высадились два незнакомых мне человека. Наружность их ничего мне не говорила: так, какие-то в серых толстовках. Они запели тенорами:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика...

У Лермонтова есть сон во сне, а здесь — песня в песне. Десятки раз уже слышанные слова опять повели за собой сердце.

И припомнил я ночи другие
И другие поля и леса...

Это была в те минуты не песня, а исповедь о самом драгоценном, что пряталось на дне. Сколько же радостного для нас в этих темных далеких полях, в полях, таких дорогих сердцу. Если их нет в современности, то они есть у Бога. «Ибо не может быть, чтобы их нигде не было».

Друг мой, созвавший капеллу, перед этим все спрашивал меня: «Вот я приеду в лагерь. Могу ли я покончить с собой?» Он допытывался, конечно, не о технике этого дела, а хотел узнать: если он это сделает, позволит ли ему Господь подходить вот такой русской ночью к чуть задремавшему перед утреней Китежу? Он спрашивал и все глядел на меня тревожными и доверчивыми глазами. У него было очень тяжелое следствие, а был он человек слабый, был он русский интеллигент. Я то отмалчивался, то отвечал ему формально. И он спросил: «Вы отвечаете формально?» И я сказал: «Да».

Видел я еще в этом же сорок шестом году молодого румынского журналиста. Он был как все: читал Ромена Роллана из тюремной библиотеки и руководил хорovým кружком. Но когда приходило воскресенье, он до часу дня не участвовал ни в чем камерном и ничего не ел. Он ходил и про себя молился. «В эти часы, — объяснил он мне, — совершается литургия». Может ли кто-нибудь представить себе этот подвиг поста в условиях тюрьмы, когда из-за делимых паек хлеба как раз в эти часы в камерах бушует зависть и злоба? Когда наконец он садился спокойно за свой завтрак, мы обычно уж старались подложить ему к хлебной пайке какой-нибудь кусочек сахара или дольку чеснока.

Архиереи, которых я встречал в тюрьмах, были, конечно, разные. Были такие, как Кирилл Казанский, — светлые и верные Христовы рабы. Были добрые, искренние и простые. Были усталые старички, которые, думаю, были бы не прочь сыграть в преферанс. Были такие, которые не знали, что такое Оптина пустынь, про Флоренского не слыхали и втайне были уверены, что скоро опять будут ездить в каретах и носить

ордена. Но я тогда еще не встречал среди них нового, современного нам архиерея, старающегося уверить нас, что Христос приходил на землю не для спасения человека от греха и смерти вечной, а для улаживания социальных конфликтов. Такие тогда были только у живоцерковников, думающих, что лукавым камуфлированием или маскировкой христианства под современность они сумеют кого-то обмануть. Церковь не может быть ни социалистической, ни капиталистической, ни феодальной. Она может быть только Церковью Божией, и поскольку она перестает быть только Божией, она перестает быть Церковью или из Церкви Христовой преобразуется в церковь придворную, при каком бы строе или дворе она ни жила. Это и есть обмирщение Церкви — капиталистическое, социалистическое или феодальное, *cujus regio eius religio*. Обмирщение может быть разных глубин и всевозможных степеней, но суть его всегда та же: замена веры — неверием, чистоты — грехом.

Как-то я встретил в тюрьме одного московского портного, толстого человека лет шестидесяти. Он подолгу делал одошевые нам физкультурные зарядки в трусиках и вообще старался бодриться, считая, что его, возможно, скоро освободят «Я на вашем месте, — сказал ему кто-то из сидевших, — как только бы вышел, пошел бы в церковь и отслужил молебен». «Нет уж, с меня хватит попов, я им не верю», — задумчиво ответил портной. Оказывается, он был в близких отношениях с одним известным живоцерковным священником, прислуживал ему в алтаре и с ним же вместе пьянствовал, причем после особо сильных выпивок этот батюшка русской церковной реформации опохмелялся утром в алтаре во время литургии. Конечно, это, может быть, грубый пример, но так или иначе именно в грехе или в обмирщении Церкви лежит суть живоцерковничества, а не в тех реформах, которыми оно окружило себя как ореолом. Если Церкви нужно изменить что-то в ее обрядовых обычаях, которые она никогда не воспринимала как неизменяемые, то она это делает просто и без всякого ореола. Митрополит Кирилл, сидя во внутренней, спокойно, как он мне сам с улыбкой говорил, ел и постом баланду из кроликов, будучи монахом. В церкви бутырской камеры не было ни иконостаса, ни уставных книг, престол мог стоять на восток, а мог стоять и на запад, один священник причащался по-священнически в пиджаке, архиереи служили даже без омофора и т. д. Московский протоиерей отец Иоанн Крылов, сидя в тюрьме, подготовил к крещению одного татарина. Откладывать таинство он не считал возможным. И вот когда они были в очередной бане, он крестил его под душем, будучи сам, конечно, так же наг, как и крещаемый. И повторилось Писание: «И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его» (Деян. 8).

Образ митрополита Кирилла Казанского, конечно, неизгладим из памяти. Высокий, очень красивый, еще сильный, несмотря на большие годы, он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам России. Помню его входящего, точно в богатую приемную залу архиерейского дома, в нашу маленькую и невероятно клопиную камеру вятской тюрьмы. На нем была не громоздкая и нелепая шуба, а теплый меховой подрясник, твердо опоясанный ремешком, как древний кафтан, высокая меховая шапка и шарф, закрученный поверху, с концами за пазухой, как это делали когда-то московские извозчики. Это был Илья Муромец, принявший под старость священство. В той камере нас застало Рождество 1922 года, и была отслужена всенощная, и митрополит громогласно воспевал праздничный канон на пару с одним эсером, неожиданно оказавшимся хорошим церковным певцом. Мы стояли перед голой стеной, и облачения уже, конечно, не было — ведь мы были на этапе. — но ирмосы канона звучали убедительно, как всегда.

Этапный период — самое тяжелое время для заключенного, но в присутствии старого митрополита унывать было совершенно невозможно. На худой конец, он и в шахматы заставит играть, чтобы не падать духом. Помню, он играет с певчим эсером, и тот, переставляя фигуру, с некоторым ехидством ему говорит: «Известно, что восточные патриархи курят А вы, владыко, курите?» «Мало ли что еще делают восточные патриархи», — с горечью отвечает митрополит. В нем совсем не было иерархической елейности. Помню его, принимающего меня на исповеди у себя в комнате, в зырянской ссылке. Епитрахиль на серебристой волне волос, опускающихся на плечи, на руке синие нитяные, затертые от молитвы четки, низкий голос говорит: «Мы, священники, видим в этом таинстве свое, особое назначение». Потом его рука прижимает к груди мою голову, и чувствуешь холодок и запах епитрахили и все тепло этого простейшего

человека. Он все собирался венчать меня с моей невестой и совершить это у себя в комнате. но неожиданно до назначенного срока его перевели в Усть-Кулом, где с ним впоследствии жил молодой ссыльный епископ Николай Петергофский. будущий знаменитый Николай Крутицкий «Наша епархия теперь вот! — сказал как-то митрополит Кирилл и широким жестом показал на сидевших в комнате двух-трех близких ему людей. — Теперь мы совсем по-иному должны сознавать свои задачи. Довольно мы ездили в каретах и ничего не знали. — И тут же, улыбаясь, рассказывал — Когда меня назначили в Петербург викарием к Антонию, один человек говорит мне: „Вас, владыко, сюда назначили по росту, как в гвардию“».

Помню, как в Прощеное воскресенье он, старый, грузный, опускается на колени, чтобы поклониться до земли своей келейнице Евдокии, несшей всю тяготу его скитальческой жизни. Где теперь эти люди? «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть!» Но все страшнее видеть, как умирает церковная эпоха — «Сардийская церковь», — как все пустынное становится жизнь в ней, как все труднее делаются поиски десяти праведников.

С владыкой Кириллом мне пришлось проделать и целое этапное путешествие на лошадях в январе 1923 года. В Вятке мы сначала сидели, как я уже сказал, в маленькой клопотиной камере в очень небольшом составе кроме владыки Кирилла и меня, там было еще четыре человека — архиепископ Фаддей, архимандрит Неофит (секретарь патриарха Тихона), певчий эсер (о котором я уже тоже говорил) и один врангелевский офицер с совершенно нелепой, но слишком длинной для рассказа историей и с целым чемоданом великолепных блестящих сапожных инструментов, которые он вез с собой прямо из Константинополя, где он уже успел сделаться сапожником. Сидеть там было хорошо, но вскоре нас перевели в тюрьму при управлении ГПУ. Это был громадный сарай позади особняка на одной из центральных улиц, и там мы попали в большую компанию эсеров и «исламов». Совершать службу стало уже как-то затруднительно. кругом были, как сказать, не Мити Карамазовы и даже не смердяковы, а просвещенные потомки Чернышевского, вежливо, но чуть презрительно поглядывавшие на попов и совершенно не понимающие, почему они, собственно, оказались вместе под тюремной крышей.

Поэтому сидение наше в этом вятском сарае было неудобное, и мы были рады, когда нас вызвали на этап, построили и повели. Скоро мы миновали центр и пошли пустырями. Был хороший зимний вечер с добрым русским снежком, тихо опускавшимся на землю. И вдруг — я сразу даже не понял, откуда пошел звук. — все эсеры тихо-тихо запели: «Динь-бом, динь-бом. Слышен звук печальный. Динь-бом, динь-бом. Путь сибирский дальний» — Сдержанный звук голосов сливался со снегом и вечером. О русская земля!

На вокзале нас посадили в один вагон, но скоро мы и расстались, их повезли, кажется, в Котлас, а нас высадили задолго до него на станции Мураши, чтобы везти триста километров на лошадях в Усть-Сысольск, железной дороги тогда к нему еще не было.

И вот мы стоим на маленькой станции, поезд ушел, уехали конвойные, с нами только один, да еще добродушный провожатый, кругом гишина, снег, солнце, дымки из труб, лес, свобода, свобода. Можно пойти вон к тем бабам с березовыми лукошками и заговорить с ними, можно пройти внутрь станции и долго читать на стене совершенно не нужное мне расписание, можно весело окликнуть деловито пробегающую большую собаку и засмеяться ее удивленному взгляду. И все это от великого избытка радости обретенной, хотя и ссыльной свободе. Хочется тронуть рукой и стены домов, и длинную коновязь, у которой лошади мирно похрустывают сеном. Подошла Софья Ивановна, уже нас здесь поджидавшая, и передала от невесты из Москвы маленький образок Божией Матери «Отрады и Утешений». И мы чувствовали себя почти как путешественники XIX века, едущие по каким-то личным и совсем благополучным делам.

Путешествие длилось неделю, ехали не спеша, так как начались большие морозы и мы, замерзая в санях, уговаривали своего проводника делать почаще привалы. Мы были, наверное, одной из первых партий массовой ссылки и уж несомненно первой церковной, поэтому на всех остановках и ночлегах к нам в избу сходилась удивленный народ. Зырянский край был тогда еще совсем глухой, везде по избам пряли пряжи и горела березовая лучина в поставке на железном подносе. Народ удивлялся, конечно, не нам, мирским и обычным, а невиданным фигурам архиереев, да еще почему-то ссылаемых к ним. Ко мне как-то подошел один мужичок и, хитро подмигнув, спросил: «За золото?» А к владыке Кириллу подошел другой мужичок и, молча встав перед ним на

колени, выгасил из-за пазухи длинную бумагу. Оказалось, что он истец по многолетнему бракоразводному процессу, затерянному в каких-то давно исчезнувших дореволюционных консисториях. Небывалость явления ссыльных архиереев приводила тогда в некоторое недоумение и растерянность даже начальство. Когда мы наконец прибыли в Усть-Сысольск, нам это начальство предоставило для первого ночлега одну большую комнату. Вскоре появился самовар, и мы в полном составе и в полном благодушии пили чай, когда открылась дверь и вошли два высоких человека в военных шинелях. Они подошли к столу, и один из них, глядя на сидевшего в центре владыку Кирилла, как-то приосанился и четко сказал: «Позвольте представиться: я начальник местного ГПУ (он назвал фамилию, но я забыл ее), а это мой заместитель товарищ Распутин». (Эта фамилия, конечно, запомнилась.) Тогда с добродушной улыбкой в глазах поднялся во весь свой рост владыка Кирилл и, на любезность отвечая любезностью, сказал: «Позвольте и нам представиться...» — и он назвал себя и каждого из нас.

Но надо кончать это «собрание пестрых глав». Я совсем не уверен, будут ли они нужны кому-нибудь, кроме меня. Нужно ли кому личное поминанье? А для меня это и есть чтение поминанья в церкви у жертвенника: «О рабе Божиим Игоре, о рабе Божиим Фердинанде (был такой на этапе), о рабе Божиим...» Вот и забыл имя, а фамилия у него была смешная, украинская — Сметанка. Был он простой солдат из категории так называемых шпионов, то есть людей, имевших несчастье попасть в немецкий плен.

Сколько людей прошло за эти три сидения, как вплотную можно было подойти к ним, когда совместные страдания срывали все занавеси, скрывающие их в эпоху личного и социального ожирения.

Но сидение учило не только этому, а и русской истории. Первый раз я сидел в 1922 году, а десять лет спустя, в 1933 году, уже открывалось новое лицо России.

В это сидение священников в камерах я встречал мало, но общий религиозный уровень сидевших был уже далеко не тот, что в 1922 году. Именно там я оказался тогда впервые на антирелигиозной лекции. Об этом стоит рассказать именно как о новой эпохе в истории России. В камере, рассчитанной человек на 35, было более 200. Это была темная толпа запертых людей, к которой без особой нужды не заходили дежурные, а когда все же заходили, то делали это весьма быстро и зорко. Там сидели украинцы, татары, цыгане, венгерские троцкисты, евреи за золото, студенты, матросы, шпионы, мужики и просто уголовники. Матросы весь день с поразительным упорством играли в карты, в козла и в очко, а на ночь залезали спать под нары, точно в трюм корабля. Украинцы со смаком рассказывали о том, что они когда-то ели и пили на воле: «И вот она, как я утром встану, передо мной яичницу из четырех яиц с колбасой — раз! И стакан красного вина». Это говорит один из них, с черной редкой бородой на уже опухающем от недоедания лице. Татары держались кучкой, бранились по-русски, разговаривали по-татарски, но тоже почему-то сердито, и зло поглядывали вокруг. Вот один из евреев рассказывает кружку замороженных слушателей о различных способах прятанья в квартире золотых и серебряных вещей и о различных способах отыскивания их, применяемых следователями. Где-то у зимнего окна вижу высокую фигуру молодого инженера-химика, красивого и удивительно кроткого, все переживавшего совсем не то, что он здесь, а то, что накануне ареста он узнал об измене любимой жены. Вот подходит ко мне молодой известный шахматист и, узнав, что я жил в зырянском крае, и ожидая, что и его туда пошлют, расспрашивает меня: какие там женщины? Троцкисты, цыгане и шпионы ни о чем не расспрашивали и держались особняком. В общем, все держались особняком за исключением, пожалуй, того времени, когда совершалось избивание провинившегося в воровстве хлебной пайки. В эти минуты вспыхивала та объединяющая всех черная соборность, о которой говорил С. Н. Булгаков, и большинство камеры гудело, орало, визжало, требуя вящего наказания преступнику, обычно какому-нибудь неопытному парнишке.

Там были свои портные и сапожники, производившие разнообразные починки, искусные мастера мундштуков, художники и татуировщики, прекрасные брадобреи, орудующие осколком стекла вместо бритвы, профессиональные сказочники с непрекращающимся потоком уголовно-былинного эпоса. Для разнообразия были там и два эпилептика, наводивших своими припадками страх на всех, даже на рыжего матроса, у которого на груди была громадная татуировка двуглавого орла.

Особенных драк не было (случаи с ворами — это не драки), раз только, помню, кто-то напал на цыган, и их старшина с длинной седеющей бородой, рассказывавший мне об их цыганском короле в Сибири и о лечении чахотки собачьим старым салом,

вдруг вытащил из-под изголовья большой кусок железа, вроде лома. Это удивительно, как жизнь протаскивает постепенно разные предметы в места, казалось бы, совсем отгороженные. Карты, например, всегда были в два цвета: черный и красный. Для черной краски где-то добывалась сажа, но что и где добывалось для красной, я так и не выяснил. Почти каждый раз, когда водили в баню, в опустевшей камере начальством производился шмон, то есть обыск, карты, конечно, забирались, и вот не пройдет и недели, как новая колода опять в руках играющих. Весь день эта толпа, даже и затихая, бурлит, томится, не находит себе места. Скрыться негде, разве только лезть в черноту под нары, и чувствуешь себя точно в грохоте, в котором сортируют зерно. Наиболее тяжело было утром и днем. К вечеру как-то все затихало, все уставало, люди точно тускнели вместе с зимними окнами. Это был январь. И вот новый, русский староста, сменивший умного еврея, решил проявить культурную инициативу: ввел по вечерам после проверки камерные собрания с увеселительными и общеобразовательными целями. На первом же таком вечере он попал сразу в обе цели, вставши на нары перед затихшей толпой и рассказавши серию похабных анекдотов. На второй вечер в программе была антирелигиозная лекция. Докладчиком был искусствовед, научный сотрудник одного подмосковного музея, а почти все 200 человек занимали места слушателей и слушали в тишине, обнаруживая свою удивительную несопротивляемость. После искусствоведа вышел матрос (не рыжий и большой с орлом, а маленький и молодой, которого недавно били) и с феноменальной ловкостью начал отплясывать яблочко.

Эта камера была почти безотраднa. Видел я там одного озлобленного монашка, который, когда отдавал что-нибудь из своей передачи неимущим, тоже залезал на нары и произносил оттуда краткую проповедь над кусочком сахара или хлеба, вроде мистера Чэдбенда из «Холодного дома»: «Совершим это в духе любви».

Тепло в сердце осталось только от бородатого тамбовского мужичка, который все сидел у себя на нарах, ни в чем не участвуя, и который учил меня, как лечить зубы. «Ты, Сергей, — говорил он медленно, зашивая старую зимнюю шапку, — если хочешь, чтобы у тебя зубы не болели, никогда их порошком не чисти, а только утром холодной водой полоскай да молись мученику Вонифатию».

Молиться в такой камере сообща, то есть церковно, конечно, было невозможно. Если кто молился, то только про себя, ходя по камере или лежа где-нибудь на каменном полу. Вспоминались чьи-то слова: «Будет время, когда у нас ничего не останется, кроме имени Божия». Только этот зубной врач мой перед сном широко крестился и окрещивал все вокруг себя и под собою, делая это, наверное, так же уверенно, как у себя в деревне на печке. Но такой был один, и я думаю, что месяцы этих темных испытаний давались тогда для того, чтобы оценить свет Церкви, чтобы из глубины соборности черной затосковать о соборности церковной, в которой, собственно, тоже толпа людей, но людей, стоящих перед Богом с горящими свечами в руках.

Но вот однажды ночью мягко щелкнула дверь, и меня вызвали с вещами. Началась моя вторая ссылка, об одном эпизоде которой я тоже хочу рассказать. Меня поселили у станции Явеньга, между Вологдой и Архангельском. Прошла холодная Пасха, а 30 мая вдруг пошел снег, безжалостно заметая землю. В этот день меня вместе с большой толпой таких же, как я, собрали на станции, посадили в теплушки и повезли отдельным составом через Коношу на Вельскую ветку. Про эту железнодорожную ветку там тогда говорили, что она построена на костях:

Потом бараки черным зевом
Вобрали мутную толпу
Людей, без ропота и гнева
Принявших смертную тропу.

Бараки стояли в большом сосновом лесу, далеко от деревни и всякого питания. А с организацией питания дело обстояло так. Утром нас, уже не евших сутки из-за внезапности переброски из Явеньги, выгнали на работу по заготовке леса, дали норму и предупредили, что питание и хлебный паек будут даваться только тем, кто эту норму полностью выполнит. Я попробовал один день и, выполнив, кажется, не больше половины, понял, что дело дрянь. Работать и не получать питания — долго не протянешь. В таком случае лучше уж, лежа на нарах, сохранять силы в ожидании чуда. Может быть, собирать даже первые весенние грибы или какие-нибудь травы.

Всех отказавшихся от работы переводили в смертный барак. Он так откровенно и

назывался, и когда я в него перешел, он был уже наполовину заполнен. Снег скоро сошел, и никаких грибов, конечно, не было. Были крысы, которых некоторые доходяги пытались бить на еду. Я сам вскоре был уже вне опасности: приехали родные и привезли все что нужно. Я был там только наблюдателем смерти, а также и преступления рядом с ней. Помню, перед рассветом в тишине барака чей-то негодующий тревожный окрик «Эй! Брось!» Это один всю ночь умирает и никак не умрет, и вот его соседу не терпится забрать его жалкое вещевое наследство, и он, озираясь, накидывает ему на лицо какую-то тряпку. Впрочем, это, может быть, уже не преступление в обычном смысле слова, а начало безумия. Полную картину его я увидел в соседнем бараке. Там, мне сказали, доходит один священник. Я протянул ему, сидевшему на нарах, горсточку мелких кусочков сахара. Он взял, не глядя на меня, и вдруг взор его просиял, он засмеялся и стал подбрасывать в воздух кусочки, ловить их и опять подбрасывать. Он — весь, маленький тамбовский попик. — веселился в своем безумном детстве. Я ушел. Легче смотреть, когда смерть идет через голодный понос, оставляя в покое разум.

Зарывали, конечно, сами же. Это был не благоустроенно организованный и плановый лагерь, а как бы стихийно возникший, некая, так сказать, случайность классовой борьбы. Сначала над каждым зарытым телом делали могилки, но потом это было запрещено, чтобы лес не превратился в очевидное кладбище.

Помню большую фигуру иеромонаха Спиридона, седебородого, ходившего с молитвословом в руках между черными соснами. Он, не смея стоять у могил, все же совершал про себя отпевание усопших. Этот отец Спиридон так хорошо рассказывал в бараке про свой Валаам и еще, я слышал, учил заканчивать Иисусову молитву так: «Богородицею помилуй нас!» И ведь это действительно так и в этом лесу, и во всем этом страшном мире. «Богородицею помилуй нас!» Только так.

Еще один священник воронежский — не знаю его имени. — горбоносый, почти седой, с красивыми черными глазами, умирал у нас в бараке. Он дошел за два дня, совершенно молча, никого не тревожа, ни с кем почти не разговаривая. Все глядел на потолок. Почему, спрашиваю я себя теперь, я к нему не подошел? Помню, как его выносили:

И не дождавшийся до хлеба,
И смерть не смевший превозмочь,
Качался носом острым в небо,
С глазами, брошенными в ночь.

Хотя в этих четырех строчках две последние — краденые (у Анненского и у Есенина), но именно так я их тогда себе выговорил.

Пришел день в начале июля, когда вдруг окончилось это испытание. Меня и двоих моих товарищей (по хлопотам А. И. Толстой) неожиданно по телеграфу вызвали в Вологду: мы подумали, что нас вырвали отсюда к жизни. Получив какие-то документы (под удивленные и внимательные взоры людей в лагерной конторе), мы отправились в путь. Километров восемь пешком по лесу, потом маленькие вагончики все еще строящейся ветки с качающимися рельсами на не засыпанных шпалах. И вдруг изо всей этой полулагерной обстановки мы неожиданно для себя въехали в обычный свободный цивилизованный мир.

Я с товарищем стоял у открытого окна. На заборе железнодорожной станции висела афиша кино и футбола, а перед ней стоял парень в спортивной майке. Рядом бойко шла какая-то торговля. Здесь шла жизнь, ничего не желавшая знать о кладбище в сосновом лесу. Мы с товарищем переглянулись от одинакового чувства. Что-то мучительное было в этом столкновении того почти потустороннего мира, из которого мы вышли, с афишей кино. И мы подумали, что потусторонний мир был для нас более реален и чем-то невероятно дорог.

* * *

Какой же общий итог этой тюремной главы?

Есть вера-обычай и есть вера-ощущение. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас этот обычай — бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни к чему духовно трудному не обязывает. Вера-ощущение требует подвига жизни: труда любви и смирения. И только она дает ощущение Церкви, которого в нас

так ужасно мало, о котором мы часто даже и не слышали. «Какое там еще ощущение Церкви!» Может быть, это даже какое-то новое раскольничество?

Вот только к этому ощущению реальности святой Церкви, к ощущению ее святого пребывания в истории и величии многих из нас годы тюремной и ссыльной жизни.

Помню одно ноябрьское утро в камере 1922 года. Ноябрьское утро бывает темнее декабрьского, если снег еще не покрывает землю. Это самое одинокое время года, время тоски и природы и сердца. И в такое утро особенно трудно встать. Откроешь глаза — и вот все та же пыльная лампочка, горевшая, по правилам, всю долгую ночь. В коридоре еще тихо, только где-то внизу хлопнула дверь. Но я вижу, что о. Валентин и о. Василий уже встают, и вдруг стену внутреннего холода пробивает, как луч, теплая, победоносная мысль, да ведь сегодня будут служить литургию! Сегодня там, на маленьком столике у окна, опять загорится огонь и через все стены и холод опять поднимется за всех людей, за всю страдающую землю жестяная тюремная чаша.

«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» — у нас нет ничего, кроме этого, но именно в этом больше всего нуждается мир.

Покров Божией Матери.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Начальные строки стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).

² Полный текст стихотворения Ф. И. Тютчева (1867).

³ С к о в о р о д а Григорий Саввич (1722—1794) — украинский религиозный философ, поэт, педагог. С. И. Фудель цитирует письмо Г. Сковороды его другу и ученику М. И. Ковалинскому (сентябрь—октябрь 1763). Новый перевод латинского оригинала письма см. С к о в о р о д а Г Сочинения в 2-х тт. М. «Мысль». 1973, т. 2, стр. 249.

⁴ О п т и н а п у с т ы н ь (Оптина Козельская Введенская Макариева пустынь) — мужской монастырь в Калужской губернии, неподалеку от Козельска, в XIX и начале XX века — основной очаг возрождения православного русского монашества. За советами знаменитых старцев в Оптину пустынь приезжали многие представители русской культуры. И. В. и П. В. Киреевские, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, К. Н. Леонтьев и другие. В 1923 году монастырь был закрыт. В настоящее время возвращен Русской Православной Церкви. См. подробное очерк «Оптина пустынь» («Наше наследие», 1988, № 4)

⁵ с т а р ц а И о с и ф а — оптинский иеросхимонах Иосиф (1837—1911), ближайший ученик и преемник великого оптинского старца Амвросия, ныне причисленного Русской Православной Церковью к лику святых

⁶ д о р о г у в Ш а м о р д и н о — Шамординский Казанский женский монастырь, расположенный в двенадцати верстах от Оптиной пустыни, основанный в 1884 году оптинским старцем Амвросием, был его любимым детищем. Здесь он и скончался в 1891 году.

⁷ З о с и м о в о й п у с т ы н ь ю — Смоленская Зосимова мужская пустынь (основана в XVII веке) по Ярославской железной дороге, в бывшей Владимирской губернии. В 1910-е годы Зосимова пустынь, по свидетельству Н. А. Бердяева, «приобрела центральное духовное значение и заменила Оптину пустынь» («Самопознание» Париж. 1949, стр. 200) Искать духовного руководства в Зосимову приезжали виднейшие представители русской религиозной мысли. о. Павел Флоренский, С. Н. Булгаков, М. А. Новоселов и многие другие. В 1923 году монастырь был закрыт

⁸ м а н а т е й н ы е м о н а х и — монахи, носящие мантию. Монашеские одежды различаются в зависимости от трех степеней посвящения. Монахи первой (начальной) степени (так называемые рясофорные) носят рясу и камилавку, монахи второй степени, или малосхимники, надевают поверх рясы мантию и покрывают голову клобуком, иначе их называют манатейными, монахи третьей степени, или великосхимники, вместо клобука покрываются куколем (особая одежда с изображением креста, покрывающая голову, плечи, грудь и спину).

⁹ Из Толгского монастыря (основан в XIV веке), расположенного близ Ярославля, на берегу Волги, происходит икона Толгской Божией Матери, почитаемая Русской Православной Церковью чудотворной (празднование 8 августа старого стиля). После пожара посвященной ей церкви икона, по преданию, была чудесно обретена в монастырской кедровой роще.

¹⁰ Слова Иисуса Христа, обращенные к «книжникам и фарисеям» (Евангелие от Матфея. 23. 38; Евангелие от Луки, 13. 35).

¹¹ О, в с е п е т а я М а т и — начальные слова поющего трижды кондака 13 из «Акафиста ко Пресвятой Богородице».

¹² И г н а т и й (Дмитрий Александрович Брянчанинов, 1807—1867) — архимандрит Сергиевой пустыни (близ Санкт-Петербурга), в 1857—1861 годах епископ Кавказский, известный аскетический писатель. См. о нем: С о к о л о в Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и литературная деятельность, тт. 1—2. Киев 1915.

¹³ ...не могла до конца убедить Толстого — Л. Н. Толстой не раз бывал в Оптиной, навещая свою сестру М. Н. Толстую, монахиню Шамординского монастыря; беседовал он и со старцем Амвросием и с К. Н. Леонтьевым, уже монахом, но оставался верен своим представлениям о христианстве (см.: Б р ю к о в П. И. Биография Л. Н. Толстого. М. 1922, т. 3, стр. 125—126). После своего ухода из Ясной Поляны (28 октября 1910 года) Л. Н. Толстой направился в Шамордино через Оптину пустынь. По свидетельству сопровождавшего его врача Д. П. Маковицкого, «у Л. Н. видно было сильное желание побеседовать со старцами» («Яснополянские записки». М. «Наука». 1979, кн. 4, стр. 405), но у него не хватило решимости зайти к старцу Иосифу, и беседа не состоялась.

¹⁴ «Я сделал опыт поездки в Зосимову Пустынь и встречи со старчеством. М. Новоселов всех старался туда вести. Я поехал туда с ним и С. Булгаковым. Опыт этот был для меня мучительный... нас согласился принять и старец Алексей, находившийся в затворе. Разговор с ним произвел на меня тяжкое впечатление. Ничего духовного я не почувствовал. Он все время ругал последними словами Льва Толстого, называл его Левкой. Я очень почитаю Л. Толстого, и мне это было неприятно» (Б е р д я е в Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Париж. 1949, стр. 202—203).

¹⁵ Л о д ы ж е н с к и й М. В. Свет Незримый. Из области высшей мистики. СПб, 1912, стр. 218 («И надо сказать, русская интеллигенция боготворила свой кумир — великого писателя земли русской...»).

¹⁶ Старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексей (в мире Соловьев Федор Алексеевич) родился 17 января 1846 года в духовной семье; долгие годы служил диаконом в Николо-Толмачевском храме Москвы; с 1895 по 1898 год — пресвитер Большого Успенского собора в Кремле; отсюда он поступил в Смоленскую Зосимову пустынь; в 1916 году ушел в затвор; от монашествующих был избран членом Поместного Собора 1917—1918 годов, где ему было поручено тянуть жребий при выборе Патриарха, павший на митрополита Московского Тихона. После закрытия монастыря (весной 1923 года) о. Алексей переехал в Сергиев Посад, где и скончался 22 сентября 1928 года. Церковное предание уже давно фактически канонизировало зосимовского старца.

¹⁷ ...н а к а ф и з м а х г а с я т с я с в е ч и... В богослужебном употреблении Псалтырь делится на двадцать частей, называемых кафизмами; порядок их чтения определяется Уставом богослужения Православной Церкви. Кафизма в переводе с греческого означает «сидение»; во время их чтения разрешено сидеть.

¹⁸ См.: Д и к к е н с Ч. Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями. Собрание сочинений в 30-ти тт. Т. 12. М. «Художественная литература». 1959.

¹⁹ ...ш а т е р Н и к о л ы Я в л е н н о г о — церковь Николая Явленного на Арбате (разрушена после 1928 года) была знаменита надвратной шатровой колокольней XVII века (см.: «Сорок сороков». Альбом-указатель всех московских церквей в 4-х тт. Составил Семен Звонарев. Париж. УМСА. 1988, № 59, т. II, стр. 381—382).

²⁰ См. об этом: Монахиня Игнатия, «Церковно-песнотворческие труды инокини Кассии» («Богословские труды»). Сб. 24. М. 1983, стр. 320—336).

²¹ Ф и л а р е т (Дроздов, 1782—1867) — митрополит Московский (с 1821 по 1867 год), один из самых влиятельных иерархов Русской Православной Церкви XIX века, выдающийся богослов.

²² Первое Соборное послание святого апостола Петра, 4.1.

²³ Неверов Я. М., «Воспоминания о встречах с Тургеневым и Станкевичем» («Русская старина». 1873, т. 40, № 11).

²⁴ С а в в а (в миру Тихомиров Иван Михайлович, 1819—1896) — археограф и палеограф, ректор Московской духовной академии, епископ Можайский (1862—1866), Полоцкий (1866—1874), архиепископ Тверской (1879—1896); автор обширных воспоминаний «Хроника моей жизни» (тт. 1—9, Троице-Сергиева лавра, 1898—1911).

²⁵ «Хроника моей жизни» (Троице-Сергиева лавра, 1911, т. 9, стр. 365—366).

²⁶ «Русское дело» (издатель-редактор С. Ф. Шарапов) — еженедельная газета позднеславянофильского толка, издававшаяся в Москве в 1886—1890, 1905—1910 годах. В 1891—1904 годах газета не выходила.

²⁷ Полный текст записи священника Павла Левашова воспроизведен в книге: К о н ц е в и ч И. М. Оптина Пустынь и ее время. Джорданвилль. 1970, стр. 305—308.

²⁸ См.: Л е с к о в Н. С. Собрание сочинений в 11-ти тт. Т. 4. М. «Художественная литература». 1957.

²⁹ О. Иосифу Фуделю посвящен неопубликованный очерк (восьмой) из воспоминаний Л. А. Тихомирова «Тени прошлого», включенный в рукописный сборник «Воспоминания об о. Иосифе». Очерк датирован: Сергиев Посад, 1919.

³⁰ Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Остров» с неточностью в первой строке: «Но за то, что церковь Божью».

³¹ Р а ч и н с к и й Сергей Александрович (1836—1902) — педагог, автор многочисленных трудов по народному образованию, из которых наибольшей известностью пользовался сборник статей «Сельская школа», выдержавший несколько изданий.

³² Книга священника Павла Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» в полном виде впервые была издана московским издательством

«Путь» в 1914 году. Ее более ранняя редакция появилась в 1913 году под заглавием «О духовной истине» в двух выпусках. См. подробнее: игумен Андроник (Трубачев), «Из истории книги „Столп и утверждение истины“» (в кн.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины (II). М. 1990, т. 1, стр. 827—837).

³³ Рассказ «Фараон и хорал» О'Генри («Избранное» в 2-х тт. М. «Художественная литература». 1955, т. 1, стр. 217).

³⁴ ...еще живой «Анатэмы» — название нашумевшей в свое время (1909) пьесы Леонида Андреева.

³⁵ См.: Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. Тт. 1—9. М. 1912—1913 (издание осталось не завершено).

³⁶ Преподобный Серафим Саровский (1759—1823).

³⁷ Дурьлин Сергей Николаевич (1877—1954) — писатель, критик, литературовед, истуктвовед, театровед. В 1920 году принял священство, но вскоре сложил с себя сан.

³⁸ Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь» (1892).

³⁹ Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» (1836).

⁴⁰ Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Бессонница» (1829).

⁴¹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830).

⁴² ... у Ильи Обыденного — церковь Илии Пророка в Обыденском переулке в Москве, действующая и ныне.

⁴³ Неточная цитата из стихотворения Гл. Сазонова «Финал»:

Скорбь, это — миф, порожденный грехами,
Призрак, витающий ночью над нами,
Тающий в блеске зари.

(См.: Сазонов Гл. Орган. Вторая книга стихов. Пенза. 1912, стр. 62)

⁴⁴ Эллис (настоящее имя Лев Львович Кобылинский, 1878—1947) — поэт, переводчик, критик.

⁴⁵ Цитата из стихотворения Эллиса.

⁴⁶ Игумнов Константин Николаевич (1873—1948) — пианист, профессор Московской консерватории (с 1899 года, в 1924—1929 годах — ректор).

⁴⁷ В своих неопубликованных воспоминаниях «Отец Иосиф Фудель» (Сергиев Посад. 1919) С. Н. Дурьлин называет временем их знакомства осень 1912 года.

⁴⁸ Степень доктора филологических наук была присуждена С. Н. Дурьлину в 1943 году.

⁴⁹ ... в Мертвьи переулк — в Мертвом переулке (ныне улица Островского), в доме богатой московской меценатки М. К. Морозовой собиралось Религиозно-философское общество имени В. С. Соловьева.

⁵⁰ Епископ Стефан (Никитин). См. о нем: П. Г., «Епископ Стефан (Никитин)» («Журнал Московской Патриархии», 1963, № 7, стр. 26).

⁵¹ Свенцицкий (Свентицкий) Валентин Павлович (1879—1931) — церковный писатель, прозаик, драматург, публицист. После революции — священник.

⁵² Старец Анатолий (Потапов) умер незадолго до окончательного закрытия Оптиной пустыни в 1923 году.

⁵³ Цитата из стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие».

⁵⁴ Л. А. Тихомиров (род. 1852) умер в 1923 году.

⁵⁵ В опубликованную книгу «Воспоминания» Л. Тихомирова (М.—Л. 1927) очерк об о. Иосифе Фуделе включен не был.

⁵⁶ Мансуров Сергей Павлович (умер в 1929 году в Верее) — историк церкви, священник (с 1925). Автор уникальных по методу «Очерков из истории Церкви»; законченные главы этой работы посмертно опубликованы в кн. «Богословские труды» (сб. 6, М. 1971; сб. 7, М. 1972).

⁵⁷ Новоселов Михаил Александрович (1864—1938) — известный церковный писатель, до революции редактор и издатель очень популярной «Религиозно-философской библиотеки» (к 1918 году вышло более ста выпусков), основатель и руководитель периодических церковных собеседований (известных под названием новоселовского кружка), проходивших на его московской квартире в Обыденском переулке. В 1928 году он был заключен в Ярославский политический изолятор, а в 1938 году отправлен в ссылку в Сибирь.

⁵⁸ Неточная цитата из стихотворения Валерия Брюсова «Творчество» (1895):

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...

⁵⁹ Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — прозаик, поэт, критик, мемуарист.

⁶⁰ Алексей Мечев — протонерей Алексей Мечев (1860—1923), настоятель церкви св. Николая в Кленниках (на Маросейке), один из популярнейших московских священников. См. о нем в сборнике воспоминаний «Отец Алексей Мечев» (Париж. 1970).

⁶¹ Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ, психолог, профессор Московского университета.

⁶² Тернавце в Валентин Александрович (1866—1940) — богослов, публицист, один из основателей Религиозно-философского общества в Петербурге.

⁶³ Нантский эдикт был издан в 1598 году французским королем Генрихом IV и завершил религиозные войны. По смыслу явная авторская описка: речь идет, конечно, о так называемом Миланском эдикте 313 года, когда императоры Константин и Лициний признали юридическую законность христианской Церкви в Римской империи.

⁶⁴ Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — философ, литератор, переводчик, председатель Религиозно-философского общества в Москве. См. о нем: Андрей Белый. Между двух революций. М. 1990 (по именному указателю).

⁶⁵ Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939) — правовед, земский деятель, член ЦК конституционно-демократической партии (1905—1912).

⁶⁶ Самарин Александр Дмитриевич (1868—1932) — общественный и церковный деятель. с 1908 года — московский губернский предводитель дворянства, в 1915 году — обер-прокурор Святейшего Синода. См. о нем: К. Лазарев, «А. Д. Самарин в воспоминаниях его дочери Е. А. Самариной-Чернышевой» (в кн. «Память. Исторический сборник», вып. 3. Париж 1980).

⁶⁷ Кожевников Владимир Александрович (1852—1917) — историк, философ. Автор многих статей и книг, в том числе двухтомного исследования о буддизме (Петроград, 1916). Близкий друг Н. Ф. Федорова, подготовил к изданию его философские труды.

⁶⁸ Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — автор религиозно-мистических сочинений. См. о ней: «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт» М. 1916, стр. I—XV (это не подписанное предисловие принадлежит С. Н. Булгакову).

⁶⁹ «Свет Невечерний», изданный в 1917 году, был первой чисто богословской книгой С. Н. Булгакова, обозначившей новый этап в его творчестве.

⁷⁰ Неточная цитата из поэмы Вл Соловьева «Три свидания»

И в пурпуре небесного блистанья,
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

⁷¹ Ошибка авторской памяти: «Вольная академия духовной культуры» была основана Н. А. Бердяевым зимой 1918/19 года.

⁷² В. В. Розанов переехал в Сергиев Посад в сентябре 1917 года, где спустя полтора года умер от истощения (1919).

⁷³ О. Серафим (в миру Сергей Михайлович Батюков, 1880—1942) — священник московской церкви Кира и Иоанна на Солянке («Сербское подворье»); в 1928 году в знак несогласия с церковной политикой митрополита Сергия (Страгородского) он покинул храм и перешел в «катакомбы», до самой смерти совершая богослужения в частном доме в Загорске.

⁷⁴ См. о нем: «Крестный путь преосвященного Афанасия Сахарова» («Вестник русского студенческого христианского движения», 1973, № 107), а также официальный некролог («Журнал Московской Патриархии», 1962, № 12).

⁷⁵ Старец Леонид (в схиме Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, 1769—1841), первый из знаменитых оптинских старцев.

⁷⁶ ... Савву Ивановича Мамонтова — С. И. Мамонтов (1841—1918), знаменитый русский промышленник и меценат, владелец усадьбы Абрамцево (с 1870 года) близ Загорска

⁷⁷ ...воздух Аксаковского гнезда. — с 1843 года Абрамцево было именем семьи Аксаковых и важным центром русской культурной жизни

⁷⁸ Книга С. Т. Аксакова (1791—1859).

⁷⁹ Автор имеет в виду Веру Саввичну Мамонтову (1875—1907), дочь С. И. Мамонтова, изображенную на знаменитом портрете В. А. Серова «Девочка с персиками».

⁸⁰ Эти мысли С. И. Фудель подробно развил в своей работе «Славянофильство и Церковь» («Вестник русского христианского движения», 1978, № 125, Париж — Нью-Йорк — Москва)

⁸¹ Подробные биографические справки об упоминаемых духовных лицах можно найти в кн Регельсон Лев. Трагедия русской церкви. 1917—1945. Париж. 1977.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

П. Б. СТРУВЕ
(1870—1944)

*

ЗА СВОБОДУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

Представляя читателям «Нового мира» личность и деятельность Сергея Николаевича Булгакова, И Роднянская недоумевала, каким именем его определить. Она остановилась на наименовании «общественный деятель», что справедливо лишь для первого периода: после рукоположения в 1918 году отец Сергей посвятил себя целиком служению Церкви и богословскому творчеству. В историю он войдет прежде всего как богослов, дерзнем сказать — как «отец Церкви».

Несколько труднее подобрать определение к его другу и единомышленнику Петру Бернгардовичу Струве, в течение всей жизни разрывавшемуся между различными призваниями, разносторонними научными интересами. Экономист, социолог, историк, политик, издатель, публицист, писатель — все эти определения почти в одинаковой степени к нему применимы. Упоминаемый в кратком курсе ВКП(б) как враг Ленина, он еще известен и как министр, хотя административных или правительственных постов фактически никогда не занимал, звание министра не носил, а был в 1920 году лишь девять месяцев управляющим иностранными делами в последнем русском некоммунистическом правительстве генерала Врангеля в Крыму.

И сколько за одну жизнь переменных фазисов. национально настроенный юноша, легальный марксист в молодости, первым проделавший и указавший путь от марксизма к идеализму, тем не менее оппозиционер слева и даже эмигрант (с декабря 1901 по октябрь 1905), затем правый кадет, ведущий веховец, воевавший с религиозным и государственным «отщепенством» интеллигенции, после захвата власти большевиками убежденный и активный участник Белого движения, в эмиграции продолживший политическую борьбу, пока она была возможна и сколько-нибудь действительна, чтобы под конец жизни поневоле вернуться к профессорской и научной деятельности.

Радикальная эволюция, не только философско-религиозная, как у Булгакова, но и конкретно-политическая — от написания манифеста социал-демократической партии вплоть до попытки (не удавшихся) объединить эмиграцию под водительством великого князя Николая Николаевича, — вызывала у современников непонимание, а часто и нарекания в непоследовательности и даже в измене. левые, в том числе и умеренный Н. А. Бердяев, не прощали ему «белого знамени», правые не забывали его левого прошлого и своим не считали.

Тем не менее знаменитый стих Алексея Толстого «Двух станов не боец, а только гость случайный» к П. Б. Струве не подходит. Сам он себя причислял к течению «либерального консерватизма», не очень широко представленного в России, но все же: именами Пушкина, Вяземского, Тургенева, Чичерина и других. Ничего случайного в его вовлеченности в исторически полярные лагеря не было. По темпераменту П. Б. Струве был не только мыслителем и деятелем (как его назвал С. Л. Франк), но и больше и глубже: одновременно пытливым философом, углубленным в постижение мировых законов, и страстным, принципиальным, неутомимым борцом. Единство многогранной судьбы П. Б. Струве заключалось в неизменяемости тел начал, за которые он всю жизнь, не жалея себя и принося в жертву научную деятельность, боролся: имя и свобода, культура, Россия. Легальным марксистом, то есть экономистом, убежденным, что Россия должна пройти через капиталистическую стадию хозяйственного развития, он стал, понимая, что повышение производительных сил повлечет за собой и повышение культурного уровня страны. Более чем актуально, пожалуй даже актуальнее, чем тогда, в конце XIX века, звучит призыв, которым заканчивалась его первая книга «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капиталистам».

Борьбу с абсолютизмом, выражающимся в тяжелой опеке бюрократии, он повел, уже не будучи социалистом, а из убеждения, что только свободная личность (будь то индивидуальная или национальная) способна на культурное творчество. Как только государство, после революции 1905 года, стало на правильные рельсы экономического и политического строительства, он направил свои стрелы на оппозицию слева, одержимую пафосом разрушения, а не созидания

Катастрофа октября 1917 года обнажила то, что было самым сокровенным, а значит, и самым мощным двигателем в его борьбе: страстную, неизбывную любовь к России, к величии нации и созданной ею культуре. Большевику и соратнику своей юности, В. И. Ленину, П. Б. Струве не мог простить посягновения на великую русскую свободную православную культуру. Вот почему вопреки увещаниям друзей он не хотел и не мог в эмиграции уйти в одну науку и чел своим долгом всячески продолжать бороться с большевизмом.

Политическую борьбу всю свою жизнь П. Б. Струве вел преимущественно через печатное слово. Он мало участвовал в собственно политических действиях (хотя и был избран депутатом во Вторую думу). Не был он и оратором, что необходимо для успеха в политических делах, даже профессорство не составляло его любимой стихии. Адекватное выражение своему темпераменту мыслителя-борца он находил в писательстве. Необходимость писать при стремлении к полной независимости побудила его еще с молодости стать издателем: в течение почти сорока лет, с 1897 по 1934 год, П. Б. Струве не переставал руководить повременными изданиями, в которых звучало его властное редакторское слово: «Новое слово», «Начало» (оба закрыты царской цензурой 90-х годов); заграничное «Освобождение»; затем в 1905 году — «Полярная звезда», «Свобода и культура» (оба опять-таки остановленные цензурой); «Русская мысль», превращенная им в лучший толстый журнал последнего десятилетия России (1907—1918), продолженный в эмиграции; еженедельник «Русская свобода» (1917); еженедельное «Возрождение» (1925—1927), из которого правые вынудили его уйти; «Россия» (1927—1928), наконец «Россия и Славянство» (1928—1934). Только полное отсутствие средств заставило его прекратить издательскую деятельность, которая имела и обратную сторону: она отвлекала П. Б. Струве от главного, мешала ему синтезировать свои размышления и оставить крупное научное наследие, в чем он отстает от своих собратьев по «Вехам» — Булгакова, Бердяева и Франка. Примечательно, что у него, за исключением первой небольшой юношеской книги и магистерской, а затем докторской диссертаций, нет ни одной законченной книги. Его собрание сочинений будет состоять почти исключительно из сборников статей «на разные темы».

Но, конечно, не только недосуг не позволил П. Б. Струве оставить потомству больших трудов, адекватных его обширнейшему и сильнейшему уму. Он обладал подлинным писательским даром, сказавшимся прежде всего в необычайной концентрации, почти что афористичности его стиля. Князь Д. Святополк-Мирский назвал его мастером малой формы. И действительно, часто его короткие статьи «томов премногих тяжелей». Но между накоплением потрясающего количества фактов, большей частью почти никому не известных (начитанность и знания его были энциклопедические), и предельно сжатыми обобщениями в его писаниях трудно найти промежуточную стадию, ту, что занята педагогической подачей материала, медленным его разворотом, приводящим к убедительному заключению. Эта особенность письма П. Б. Струве коренилась в его основной интуиции, в его основном методе, точнее, в структуре его мышления. Им были пуцены в научный обиход заимствованные у Гёте философские термины «универсализм» и «сингуляризм», которыми он оперировал в социологических и исторических анализах. Упрощая, скажем, что универсализм (как и средневековый реализм) имеет дело с общими понятиями, в то время как сингуляризм (как и средневековый номинализм) — с отдельными фактами. Еще более упрощая, скажем, что универсалистами бывают философы, а сингуляристами — историки или представители точных наук; мышление П. Б. Струве было направлено на соединение того и другого. Одной из отличительных черт, отчетливо мне запомнившихся, была его привычка приходить в дом с общими заключениями на основе незначительных уличных наблюдений... Бесчисленное разнообразие единичных фактов он пытался возводить до всеобъемлющих выводов. Всегда ли это ему удавалось, трудно сказать, но значение его как мыслителя именно в этом многотрудном сопряжении двух полярных начал...

...Он приехал к нам в Париж из Белграда жарким июльским днем 1942 года, после трехмесячного пребывания в немецкой тюрьме (куда он попал как «друг Ленина» по доносу эмигранта из правых, прогитлеровских кругов), измученный голодной и холодной жизнью последних двух лет. По трудности связи в те военные времена мы не знали точного дня приезда и поочередно караулили на Восточном вокзале... Ехал он со своей женой, Ниной Александровной, самоотверженной спутницей всей жизни, тогда уже полуслепой. Когда они наконец появились у нашей двери, Нина Александровна сказала: «Я не думала, что доведу его живым». Струве немедленно «рухнул в эмпирик кресла». В тепле семейной атмосферы он быстро ожил. Физически сломленный, духом он был бодрее всех окружающих, немедленно принялся за работу — дописывать экономическую историю России, и взялся за новый замысел, еще более обширный, — за всеобщую историю экономической мысли, для чего начал перечитывать в подлиннике всего Эсхила!.. Со свойственной ему страстностью он следил за всеми событиями: гитлеризм он ненавидел не меньше большевизма, был непоколебимо уверен с самого начала в конечной победе союзников, в первую очередь англосаксов. Я был свидетелем той детской радости, которую он выражал хлопанием в ладоши и приплясыванием, когда я его извещал о военных успехах англичан в Северной Африке: Вопреки тому, что пишет в своей монографии Р. Пайпс¹, я не помню, чтобы он так же непосредственно радовался победам советских войск. Он имел обыкновение повторять: «...большевизм и его порождение гитлеризм в один мешок» — и даже придерживался несколько особого мнения, считая важным, чтобы немцы взяли Москву, поскольку это может сокрушить сталинский режим, но не изменит конечно разрома Германии. Политическим кумиром его был Черчилль...

Он предчувствовал и грустил, что не доживет до конца войны. Нина Александровна его утешала: «Ведь ты все равно знаешь, чем кончится». Пожалуй, хорошо, что до развязки он не дождал. Разгром Гитлера его бы не удивил и, разумеется, обрадовал бы, но укрепление коммунизма в России и Европе для его горячего сердца стало бы непереносимым мучением.

¹ См.: Pipes R. Struve. Liberal on the right. 1905—1944. Cambridge, Mass., Harvard Univ. press. 1980.

«Он умер поистине на «славном посту», творя и работая до последнего мгновения, — писал С. Л. Франк моему отцу. — Оценят его по заслугам будущие поколения как мыслителя и деятеля; но личность его, это дивное сочетание юношеской чистоты, юношеского горения сердца с великой мудростью — эту личность могут оценить только те, кто имел счастье быть его другом».

Добавим: до некоторой степени и те, кто вчитается в «горящую соль его нетленных речей».

МОИ ВСТРЕЧИ И СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛЕНИНЫМ

Когда я выпустил свою первую книгу¹, путь моего духовного и политического развития и всей моей деятельности скрестился с путем другого человека, который тогда тоже стоял в рядах марксизма и уже был, в гораздо большей степени, чем я, учеником Маркса и Плеханова. Этот человек был по своему складу ума совершенно мне чужд. Но хотя, в силу этого, я никогда не был и не мог быть в близких личных отношениях с ним, мое умственное общение с этим человеком, особенно в течение многих зимних часов 94—95 годов, дало мне достаточно для непосредственного интуитивного понимания и оценки его личности. Я говорю о В. И. Ульянове-Ленине.

Я познакомился с ним через инженера-технолога Р. Э. Классона, с которым я познакомился в ходе моих идеологических и практических контактов с членами кружков, организовавших тогда довольно грубую, примитивную и осторожную, но все же весьма опасную социал-демократическую пропаганду среди петербургских рабочих. Это были (называю их в порядке моего личного знакомства с ними): Д. В. Странден, В. В. Бартенев, В. С. Голубев, М. И. Бруснев, А. Н. Потресов, В. В. Старков и Л. В. Красин. Все вышеупомянутые лица посещали меня в комнате, которую я снимал в квартире А. М. Калмыковой, ход в которую был через ее книжный магазин, куда заходило множество людей различного положения и профессий. Со Странденом, которому принадлежит место в истории русского социал-демократического рабочего движения как члену брусневской организации, я был знаком давно, еще до студенческих дней: мы учились в одной и той же гимназии, и Странден был одноклассником моего брата Михаила. Но почин моего привлечения к пропаганде среди рабочих принадлежал не Страндену, а Бартеневу и Голубеву. То, что я не принял более активного участия в этой пропаганде и не был арестован уже в 91 году, и таким образом остался как бы вне «практической» социал-демократической работы, было следствием случая, а именно разоблачения и ареста Голубева. Необходимой предосторожностью при этих посещениях «рабочих» была просторная и вместе с тем обыкновенная и «демократическая» шуба Голубева. Посещать рабочих в студенческой форме или в небрежном потрепанном штатском платье «радикала» было невозможно из опасения привлечь внимание открытых и тайных агентов полиции. А провал Голубева, арестованного весной 91 года, повлек за собой и потерю его шубы. Потом к концу 91 года я серьезно заболел (крупозным воспалением легких) и, проведя некоторое время в больнице, уехал за границу, где оставался свыше года и где написал и напечатал (по-немецки) мои первые экономические статьи в марксистском духе.

Пока я писал и печатал мою книгу, я показывал рукопись и корректуры Потресову. Он находился под гораздо более сильным влиянием Плеханова, чем я, и поэтому испытывал притяжение к социализму не только отвлеченно и рассудочно, но и эмоционально, тогда как мое отношение к нему было даже тогда довольно холодным. Я интересовался социализмом главным образом как идейной силой, которую, в зависимости от того, какую принимать социологическую концепцию развития России, можно было повернуть либо за, либо против завоевания гражданских и политических свобод. Для меня этот вопрос разрешался довольно просто. В марксизме я считал нерушимым то начало, что если социализм возможен как «прогрессивное» явление, то только через капитализм как зрелый и законный плод последнего. Это было, конечно, глубочайшим убеждением всех русских марксистов от Зиберы, Аксельрода и Плеханова до Ульянова-Ленина — покуда последний не пришел к власти. Но у меня это убеждение имело иную эмоциональную окраску, чем у Плеханова и других учредителей группы «Освобождение труда» или у таких социал-демократов, как Потресов, а тем более Ульянов-Ленин. Они все были в гораздо большей мере социалистами, чем я.

В сущности, в лице Ульянова-Ленина и моем столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые как морально, так и политически и социально. Каждый из нас понимал это в то время, но смутно; лишь позже мы отчетливо осознали это. И не случайно, что первым крупным печатным марксистским трудом Ленина была обстоятельная критика моей книги, размерами лишь немного уступавшая последней.

Я уже упомянул, что в те дни, почти пятьдесят лет тому назад, мы, молодая русская интеллигенция, были охвачены и одержимы двумя нравственными силами. Одну из них я назову — для себя и со своей стороны — любовью к свободе.

Сейчас, умудренный опытом, пережив великую историческую эпоху, продумав множество исторических проблем, я ясно вижу, откуда вытекли для нас эта любовь к свободе и стремление к ней. Они родились из огромного богатства русской духовной и культурной жизни, которую явно перестали вмещать традиционные юридические и политические рамки самодержавия, или абсолютизма, хотя бы и просвещенного. Мы желали свободы слова и печати, свободы собраний, свободы поднимать политические и общественные вопросы; наконец мы желали, чтобы «обществу» была дана ответственная роль в жизни государства, в политической жизни. Мы жаждали свободы а жизнь государства носила на себе печать убежденной, последовательной и далеко идущей реакции положительно сформулированной пресловутым кн. Мещерским, который иногда бывал очень остроумен, в его требовании «поставить точку» после реформ Александра II²; отрицательно она внушила Салтыкову-Щедрину в его «Пестрых письмах» сатирический образ «п р о т и в о р е ф о р м е н н ы х б у н т а р е й», которые довольно забавно мечтали о полном восстановлении дореформенного строя³.

Но независимо от этой любви к свободе, родившейся из богатства духовной жизни тогда уже значительного и все возраставшего высшего слоя русского образованного сословия, мы, этот высший слой, и особенно его молодежь, все время имели перед собой одну постоянную мысль — мысль о народе. Любили ли мы это мистическое и мифическое существо, этот *corpus mysticum* — народ? Конечно, многие из нас любили, но во всяком случае все те, кто действительно и порой страстно любил свободу и жаждал ее в первую очередь для себя все время имел перед собой мысль о народе. О нищем и невежественном народе. А мы хотели видеть его зажиточным и просвещенным.

Из этой-то любви к свободе и жажды ее для себя и из этой мысли о нищем и невежественном народе, который надо сделать зажиточным и просвещенным, и родилось, или, вернее возродилось, общественное движение 90-х годов. Оно отличалось от движения 70-х годов, известного под именем «хождения в народ», тем, что его подлинной любовью, его страстью, его пафосом для огромного большинства интеллигенции было не равенство, не социализм, а с в о б о д а. Никогда со времен декабристов светильник любви к свободе не горел так ярко в русском обществе, как в конце царствования Александра III и начале царствования Николая II, и никогда мысль о народе не была столь сложной, как в ту эпоху. Многие из нас довольно ясно сознавали, что свобода, которой мы, высший образованный слой, столь дорожили, даже если она и была нужна народу, сама по себе мало привлекала его и что, с другой стороны, улучшение его положения и условий жизни представляло крайне сложную проблему, которая не могла быть разрешена чисто политическими способами. Далее, было ясно, что для того, чтобы завоевать свободу, то есть разрешить политическую проблему, необходимо было не только удовлетворить народные нужды и чаяния, но и найти твердую опору в жизни народа, и прежде всего в его экономической жизни

Я уже сказал, что на наше поколение большое впечатление произвел голод 91—92 годов. Эти впечатления породили то течение общественной мысли, которое известно как «легальный марксизм». Я подчеркиваю то обстоятельство, что оно родилось не из книг, а из впечатлений жизни. Правда, более или менее согласованная «марксовская» теория русского экономического, социального и политического развития уже была создана вне России, среди политических эмигрантов, которые были немногочисленны и совершенно оторваны от России, а именно в трудах Плеханова и Аксельрода. Но эта теория, несмотря на всю одаренность ее творцов, была продуктом эмигрантской среды; она не была связана со свежими и непосредственными жизненными впечатлениями. Молодое поколение восприняло такие впечатления от голода 91—92 годов

Из впечатлений этого года родилась новая теория русского социального и, главное, экономического развития. В отличие от народнической и либеральной теорий, эта теория (мой «легальный марксизм») утверждала, что тяжелое положение народа не было следствием ни крестьянского безземелья, ни ошибок правительственной политики. «Марксистский» тезис был совсем иной. Он говорил, что корень зла вообще, и опустошающих Россию периодических неурожаев в частности, лежит в общей экономической и культурной отсталости страны. Мы полностью восприняли идею, когда-то примененную Марксом к Германии, а именно — что мы страдаем не от развития капитализма, а от недостаточного его развития. Утверждая это положение, мы сознавали, одни смутно, другие ясно, что наша концепция — хотя мы, молодежь, и были тогда социалистами и революционерами — связана с жизненной и влиятельной традицией в экономической политике государства и с современными нам могущественными политическими и общественными силами. В самом деле, созревание наших идей в начале 90-х годов совпало с апогеем того чрезвычайно умного и мощного русского «протекционизма», апостолом которого явился великий русский химик Менделеев, автор не только «периодической системы», но и русского таможенного

² Мистическое тело (*лат.*). — Прим. ред.

гарифа 1891 года, к которому он написал комментарий и апологию под заглавием «Толковый гариф». Витте, тогда еще молодой человек, увлеклся теми же идеями и начал проводить их в жизнь. И Менделеев и Витте были поклонниками и последователями Фридриха Листа⁴.

Многих из нас скорее отпугивало, чем утешало это совпадение с буржуазно-националистическими идеями. Я ясно помню, как под давлением Потресова я вычеркнул из своей книги фразу, содержащую сочувственную ссылку на русский протекционизм, как его проповедовал Менделеев и проводили Бунге, Вышнеградский и Витте⁵.

Оправдание промышленной и общеэкономической политики, того насаждения капитализма, которое проводилось Менделеевым и Витте, обосновывалось в нашем «марксизме» гармоничной исторической и социологической концепцией, которая питалась нашей неукротимой любовью к свободе. Существенной чертой русского «легального марксизма» был его интерес к аграрной проблеме. Здесь я должен остановиться на своеобразной и почти забытой личности одного из основателей русского «легального марксизма» — Александра Ивановича Скворцова, который был профессором сельскохозяйственной экономики в Новой Александрии (в русской Польше, прежде называвшейся и теперь снова называющейся Пулавы) и который предвосхитил стольпинскую земельную политику. О себе я могу сказать, что «Капитал» Маркса имел на меня не больше влияния, чем огромная, полуагрономическая диссертация Скворцова под названием «Влияние парового транспорта на сельское хозяйство». В экономической теории Скворцов был настоящим марксистом, то есть он твердо держался так называемой трудовой теории ценности и капитала⁶. В то же самое время он, по-видимому, вовсе не был социалистом. По политическим взглядам он был конституционалист, националист и монархист. В религиозном отношении он был верным сыном Православной Церкви и состоял церковным старостой при Сельскохозяйственном институте в Новой Александрии. Стоя за свечным ящиком, он продавал свечи своим набожным соприхожакам. Он происходил из народа, но впитал в себя много европейской культуры, легко читал на нескольких европейских языках и даже свободно писал по-немецки.

Студентом под впечатлением книги Скворцова, которую я до сих пор считаю классическим трудом и украшением русской экономической литературы, я начал пропагандировать ее среди моих товарищей студентов и вступил в оживленную научную переписку с ее автором. Скворцов сообщил мне, что он написал, в духе, общем нам обоим, длинную статью о причинах неурожая в России. Эта статья была отвергнута журналом «Северный вестник», издававшимся в то время Л. Я. Гуревич при фактическом редакторстве А. Флексера-Вольинского. По желанию Скворцова, я предложил его статью стасюлевичевскому «Вестнику Европы». Но там ее тоже отвергли. Этот эпизод со статьей Скворцова иллюстрирует высказанный мною выше взгляд о двойной цензуре, давившей на всю антинародническую мысль в России. После этой двойной неудачи я убедил Потресова, у которого были крупные личные средства, издать этюд Скворцова в виде книги. Она появилась, если не ошибаюсь, вскоре после выхода моей книги под названием «Экономические причины голодовок в России и меры к их устранению» и явилась в конце XIX века наиболее значительным предвосхищением аграрной реформы Столыпина.

То течение в русском марксизме, которое наиболее полно было представлено в моей книге и наиболее ярко в книге Скворцова, подверглось нападкам с двух сторон: со стороны ортодоксального марксизма, глашатаем которого выступил мой современник В. И. Ульянов-Ленин, и со стороны народнического марксизма. Начну с последнего.

Марксисты-народники, в особенности В. П. Воронцов («В. В.»), заклеили Скворцова и меня как глупых и вредных буржуа, изложив наши мысли следующим образом:

«Научное отречение от Маркса повело к отрицанию и вытекающих из его теории заключений практического характера. Тогда как, по учению Маркса, обращение капиталистического строя в коллективистический явится естественным результатом крайнего развития крупного капитализма, разбивающего все население страны на две группы — небольшую кучку эксплуатирующих и огромную массу эксплуатируемых, г.г. Струве и Скворцов проповедают такую государственную политику, которая создала бы в России мелкую буржуазию, экономически «крепкое крестьянство», народение которого окончательно отымет почву у всех народнических мечтаний (в том числе и мечтаний народников-марксистов, ибо марксист не «струвист» тоже ведь народник, но лишь, так сказать, отсроченный), так как оно осуществит самое опасное для них совпадение интересов промышленной буржуазии и экономически крепкого крестьянства. Таким образом, будучи в научном отношении пред-

ставителями буржуазной экономической школы, в практическом отношении названные писатели являются типическими, но умеренными буржуа».

Что же касается правоверного марксизма, то он занимал иную позицию в отношении того вида критического марксизма, который нашел свое выражение в моей книге и в книге Скворцова. Мы были по крайней мере союзниками в борьбе с народничеством. Не могло также быть сомнения — во всяком случае в отношении меня, — что я был и противником самодержавия, и (тогда!) в значительной мере социалистом. Эти соображения определяли с обеих сторон необходимость дружественного сотрудничества между двумя различными течениями русского марксизма. Этот русский марксизм отнюдь не был однородной концепцией, как ее сейчас понимают многие, говоря о «марксизме». В учении самого Маркса были, конечно, противоречивые и несовместимые элементы; их можно найти в Марксовой исторической и социологической теории экономической и социальной революции. В этом учении был эволюционный исторический элемент, укорененный глубоко в истории, по существу консервативный и восходящий, как я позже показал, к влиянию, с одной стороны, Жозефа де Местра (через Сен-Симона и его учеников), а с другой — к исторической школе в праве (Савиньи—Пухта⁷). Но в то же время в концепции и учении Маркса имелся и революционный элемент, ибо Маркс был политическим революционером, который, в сущности, мечтал и о насильственной демократической революции, и о «диктатуре пролетариата» в демократической республике, диктатуре, осуществляемой в целях насаждения социализма. В лице Ленина безусловно и непримиримо революционный марксизм противостоял моему и скворцовскому марксизму как эволюционному историческому учению.

В один осенний или зимний день 1894 года в квартире Классона на Охте (пригород Петербурга, на правом берегу Невы, почти напротив Смольного института) я познакомился с В. И. Ульяновым-Лениным. Об этой встрече Ленин в 1907 году, перепечатавая свою критику моей книги из марксистского сборника «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», конфискованного цензурой, писал:

«...в основу ее положен реферат, читанный мною осенью в небольшом кружке тогдашних марксистов. От группы с.-д., работавших тогда в Петербурге и создавших, год спустя, Союз Борьбы за освобождение рабочего класса, в этом кружке были Ст., Р. и я. Из легальных литераторов-марксистов были П. Б. Струве, А. Н. Потресов и К.⁸ В этом кружке я читал реферат, озаглавленный: «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Как видно из заглавия, полемика со Струве была здесь несравненно более резка и определена (по социал-демократическим выводам), чем в напечатанной весной 95 г. статье. Смягчения были сделаны частью по цензурным соображениям, частью ради «союза» с легальным марксизмом для совместной борьбы с народниками...»⁸

Вышеназванный сборник был издан за счет Потресова весной 1895 года; за его составлением и печатанием совместно наблюдали в весьма дружественном духе Потресов и я. Как большой том (в нем, кажется, было не меньше 500 страниц), он не подлежал предварительной цензуре; но цензура задержала его, и постановлением Комитета министров, как было в то время принято, он был осужден на уничтожение. Нам удалось спасти около сотни экземпляров, и один из них был послан тогда же в библиотеку Британского музея, где всякий может легко отыскать его.

Реферат Ленина был, разумеется, короче его статьи. Последняя была, в сущности, небольшой книгой, которую нельзя было ни обсудить, ни даже прочесть в один вечер. Может быть, я

⁷ В. В. (В. П. Воронцов), «Очерки теоретической экономии» Эта цитата показывает, что термин «струзизм» был пущен в оборот народниками в их полемике со мной и был позднее заимствован у них ортодоксальными марксистами, которые боролись со мной, и в том числе Лениным. Для резкости полемики того времени характерно, что Воронцов называл меня неведждой и «самозванным экономистом» и сравнивал книгу Скворцова о неурожаях с брошюрой какого-то сумасшедшего, изданной примерно в то же время (насколько я помню, он был архитектором и звали его Тибо де Бриньоль) под заглавием «Социализм как непосредственная причина вырождения крестьянских лошадей и косвенная причина несвоевременного выпадения дождей с середины августа» (под социализмом автор подразумевал общинное землевладение!) Между тем Воронцов, знавший меня лично, хорошо сознавал, что я не невежда и что Скворцов, выступая против общинного землевладения, подхватывал давнюю и серьезную традицию русской экономической и агрономической мысли, ощущавшуюся на всем протяжении XIX столетия.

⁸ Р. Э. Классон. Инициалы раскрыты мной. Но Классона никак нельзя было характеризовать как литератора. К тому же ни Потресов, ни я не были в то время просто «литераторами», которых можно было противопоставлять как таковых практическим революционерам. В то время я был наиболее дискредитированным в глазах полиции. Формально я все еще находился под так называемым «судебно-полицейским надзором», и потому даже моя свобода передвижения была ограничена. В 1907 году Ленин подогнал наши фигуры к отношениям, окончательно сложившимся через 13 лет после нашей первой встречи

ошибаюсь, но мне сдается, что Ленин не читал всей своей статьи в кружке, который он упоминает. Насколько я помню, прочтя краткое резюме своей статьи упомянутой группе лиц, Ленин прочел ее целиком мне одному у меня в комнате на Литейном. Он сделал это с определенной практической целью, общей нам, а именно чтобы сделать возможным ее появление вместе с моим ответом моим критикам в намечавшемся сборнике. Это чтение, требовавшее не только внимательного, но и напряженного слушания с моей стороны и прерываемое разговорами, часто принимавшими характер продолжительного и оживленного спора, заняло несколько вечеров.

Впечатление, с первого же разу произведенное на меня Лениным — и оставшееся во мне на всю жизнь,— было неприятное.

Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какого-то рода издевка, частью намеренная, а частью неударжимая стихийная, прорывавшаяся из самых глубин его существа, в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел как на своих противников. А во мне он сразу почувствовал противника, хотя в то время я стоял довольно близко к нему. В этом он руководился не рассудком, а интуицией, тем, что охотники называют чутьем. Позже мне пришлось иметь много дела с Плехановым. В нем тоже была резкость, граничившая с издевкой, в обращении с людьми, которых он хотел задеть или унижить. Все же, по сравнению с Лениным, Плеханов был аристократом. То, как оба они обращались с другими людьми, может быть охарактеризовано непереводаемым французским словом *cassant*. Но в ленинском *cassant* было что-то невыносимо плебейское, но в то же время и что-то безжизненное и отвратительно холодное.

Многие разделяли со мной это впечатление от Ленина. Я назову только двоих, и притом весьма различных людей: В. И. Засулич и М. И. Туган-Барановского. В. И. Засулич, самая умная и чуткая из всех женщин, каких мне приходилось встречать, испытывала к Ленину антипатию, граничившую с физическим отвращением,— их позднее политическое расхождение было следствием не только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого несходства натур.

М. И. Туган-Барановский, с которым я был в течение многих лет очень близок, говорил мне со свойственной ему наивностью, за которую многие несправедливо считали его просто глупым, о своей неударжимой антипатии к Ленину. Знал и даже был близок с братом Ленина, А. И. Ульяновым, который был казнен в 1887 году за подготовку покушения на Александра III, он с изумлением, граничившим с ужасом, рассказывал, как не похож был Александр Ульянов на своего брата Владимира. Первый, при всей своей моральной чистоте и твердости, был чрезвычайно мягкий и деликатный человек даже в обращении с незнакомыми и врагами, тогда как резкость второго была поистине равносильна жестокости. В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость. Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда предносилась не одна цель, более или менее отдаленная, а целая система, целая цепь их. Первым звеном в этой цепи была власть в узком кругу политических друзей. Резкость и жестокость Ленина — это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи — была психологически неразрывно связана, и инстинктивно и сознательно, с его неукротимым властолюбием. В таких случаях обыкновенно бывает трудно определить, что служит чему, властолюбие ли служит объективной цели или высшему идеалу, который человек ставит перед собой, или, наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь средствами утоления ненасытной жажды власти.

Я только что охарактеризовал самую разительную черту в Ленине, открывшуюся мне с первой же нашей встречи. Это была жестокость в том самом общем философском смысле, в котором она может быть противопоставлена мягкости и терпимости к людям и ко всему человеческому, даже когда это неудобно или неприятно или даже отвратительно для нас лично. Ленин был лишен абсолютно всякого духа компромисса в том англосаксонском моральном или социальном смысле, столь яркое выражение которого можно найти в знаменитом трактате Джона Морлей «On Compromise»⁹. Кстати, этот трактат был в то время переведен на русский язык радикальной писательницей Цебриковой, и на меня он произвел в молодости очень сильное впечатление. С тех пор я пользовался всяким случаем рекомендовать его молодым людям, желающим продумать свое отношение к проблемам нравственной и общественной философии.

В соответствии с преобладающей чертой в характере Ленина я сейчас же заметил, что его главной установкой — употребляя популярный ныне немецкий психологический термин *Einstellung* — была ненависть.

⁹ Таково было также впечатление В. В. Водовозова. Он знал А. И. Ульянова как своего однокашника по Петербургскому университету и печатно высказал свое впечатление.

Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к окончательно уничтожению и истреблению врага, оказалось конгенально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию; не только беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов — «либералов» и «буржуазию». В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо, коренясь в конкретных, а бы сказал даже животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как самое существо Ленина. Однажды, в конце 90-х годов, Потресов, разговаривая со мной о Ленине, обратил мое внимание на огромную самодисциплину, которую этот человек, полный жестокости и напитанный ненавистью, обнаруживал в некоторых мелочах повседневной жизни. «Из аскетизма он откажется от лишнего стакана пива», — сказал тогда Потресов. И я тогда же подумал — и в какой-то форме, кажется, высказал это Потресову, — что это-то именно и было ужасно в нем. В Ленине пугало это сочетание в одном лице настоящего самобичевания, которое лежит в основе всякого подлинного аскетизма, с бичеванием других людей, выражавшимся в отвлеченной социальной ненависти и холодной политической жестокости. Можно сказать почти наверно, что Ленин умер от последствий сифилиса; но на мой взгляд, это было во всяком случае чистой случайностью¹⁰. Понятие распущенности, во французском смысле либо *débauche*, либо *libertinage*, вовсе не вяжется с психологической личностью Ленина. Даже с религиозной точки зрения его личность ставит не проблему банальной греховности рядового человека или крайней свободы, свободы от всяких сдержек и уз, то есть в сущности распущенности, сверхчеловека, а скорее проблему рациональной и дьявольской праведности. Она столь же далека от святости Христа, как фантастический образ Антихриста далек от исторического образа Христа. Для меня эти характеристики не абстрактные рассуждения, а некий осадок того, что я чувствовал и переживал в то время, когда мое общение с Лениным было наиболее интенсивно и когда я прогонял эти мысли и образы как мысленные помехи и осложнения в общении, которое, ради его потенциальной политической пользы, я считал и морально обязательным для себя и политически необходимым для нашего дела.

Как я уже сказал, ленинская критика моих идей в 1894 году отправлялась от ортодоксального понимания марксизма. Он характеризовал мою точку зрения как «узкий объективизм», противопоставляя ей «марксизм» (или «материализм») с его центральными концепциями классовых различий и классовой борьбы и ссылаясь на классическое место, направленное против Прудона как автора «*La Révolution sociale demortrée par le coup d'Etat du 2 Décembre*» в знаменитом памфлете Маркса «*Der achtzehnt Brumaire des Louis Bonaparte*»¹¹.

Соотношение между точками зрения народников, ортодоксальных марксистов (Ленина) и моей может быть сформулировано следующим образом. Народники считали, что плачевное состояние крестьянства является следствием ошибок правительственной политики в разное время; правые марксисты считали, что оно является «необходимостью, обусловленной капиталистическим способом производства, господствующим в России». «Легальный марксизм» в моем лице утверждал, что оно является следствием недостаточной производительности всего народного хозяйства с его недостаточно развитым общественным разделением труда, его недостатком предпринимательского духа, его пережитками отсталых форм докапиталистических экономических и общественных отношений.

О соотношении между большевистским опытом и собственными идеями Ленина не только в период нашего сотрудничества, но и в течение всего периода, предшествовавшего приходу Ленина к власти, я буду говорить ниже. Но этот опыт исторически и экспериментально разрешил наш спор Капитализм, с его частной собственностью на орудия производства, с его свободой экономического общения и накопления капиталов (другими словами — «господство буржуазии»), начисто упразднен, а все экономические недостатки, в которых его обвиняли, не только не устранены, а во много раз усилились. Между прочим, факт большевистского владычества показал и доказал наглядно — чего ни один образованный большевик или коммунист не может сейчас отрицать, — что в оценке русского «перенаселения» был прав я, а не Ленин, который в 1894 году моему простому положению, гласившему, что «производство пищи у нашего крестьянина недостаточно»¹², противопоставлял свое утверждение, что перенаселение является следствием не этого обстоятельства, а «господства капитала» и классовых противоречий капиталистического производства. Сейчас, после

¹⁰ «Социальная революция в свете государственного переворота 2 декабря» (франц.) — *Прим ред*

¹¹ «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (нем.) — *Прим ред*

¹² В XX столетии произошла перемена, и в общем нельзя уже было говорить в применении ко всей России о недостаточном производстве продовольствия, ибо Россия уже вывела свои хлебные излишки. Наиболее мощный толчок в этом направлении был дан столыпинской реформой, но коренное изменение наступило еще до того

всех большевистских опытов, мое положение экспериментально доказано, и то «натурально-хозяйственное», или докапиталистическое, «перенаселение», которое я когда-то положил в основу моей характеристики русского аграрного строя в конце XIX века, восстановлено, после упразднения капитализма большевиками, в еще более резко выраженной форме. Под именем «аграрного перенаселения» оно стало, согласно самим советским экономистам, постоянной и неотъемлемой чертой советского аграрного строя, полностью освобожденного, в порядке социального упразднения и физического истребления, от «Господства капитала» и «буржуазной эксплуатации».

Отрывок из более обширных воспоминаний, напечатанных впервые по-английски в переводе Г. П. Струве. Оригинал затерялся, и тот же текст, в обратном переводе на русский того же Г. П. Струве, был напечатан в журнале «Возрождение», 1950 № 9, 10, 12. Первая его часть была перепечатана в «Вестнике РСХД», 1970, № 95-96

¹ Автор имеет в виду свою первую книгу «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России». СПб 1894, X, 291 стр.

² Мещерский В П (1839—1914) — князь, публицист, издатель журнала «Гражданин»; его высказывание о необходимости «поставить гочку» к реформам Александра II активно обыгрывалось в либеральной и демократической печати.

³ Сатирический образ «Тайного общества Антиреформенных Бунтарей» дан М. Е. Салтыковым-Щедриным в седьмом письме названного цикла

⁴ Об увлечении идеями немецкого экономиста Фридриха Листа см.: Витте С. Ю. Воспоминания. М. 1960, т. 1, стр. 370

⁵ П Б Струве перечисляет министров финансов России с 1881 по 1903 год.

⁶ Скворцов А И. (1848—1914) — русский экономист и агроном; упомянутая Струве работа была издана в 1890 году в Варшаве Ленин (в отличие от Струве) не находил в трудах Скворцова ничего марксистского (см. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 201).

⁷ Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, историк римского права, один из основателей исторической школы права. Пухта Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, последователь Савиньи.

⁸ Ленин В И Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 97—98, цитируется не совсем точно.

⁹ Морлей (Морли) Джон (1838—1923) — английский историк и политический деятель; в упомянутом трактате строго порицал господствующий в Англии дух компромисса (русский перевод Цебриковой — М. 1896).

¹⁰ Существуют различные версии болезни и смерти Ленина, обстоятельный обзор источников см. в работах: Петренко Н. (Равдин Б.), «Ленин в Горках — болезнь и смерть» («Минувшее», вып. 2. Париж. 1986; М. 1990); он же — «История одной болезни» («Знание — сила», 1990, № 4, 6).

¹¹ Одна из работ Б. Д. Бруцкуса была перепечатана в журнале «Новый мир» (1990, № 8).

ХРИСТИАНСТВО И СЛАВЯНСТВО

Несколько исторических обобщений

*Незабвенной памяти дорогого князя
Григория Николаевича Трубецкого.*

Среди событий и развитий мировой истории, научное объяснение которых наталкивается на величайшие трудности, наше внимание естественно останавливается на исторических условиях и следствиях принятия христианства действующими и по настоящее время на попроще истории народами

Эпоха византийской истории с конца VI по половину VII века отмечена славянским захватом опустошенной и обезлюдившей Греции. На этот захват христианская Византия ответила христианизацией и эллинизацией славянского потока: христианством эллинизмо отбилось от нашествия славян, растворив их в себе. Но затем наступает другое соотношение: восприимчивая христианство, славяне христианским культом и культурой укрепляют свою национальность.

Таким образом, тут в истории славянского мира перед нами парадоксальное историческое противоречие: один и тот же процесс охристианения приводит к прямо противоположным результатам, к денационализации в одном, к укреплению национальной культуры в другом случае, и притом мы наблюдаем эти противоположные результаты в эпохи смежные и в отношении племенных элементов, если не вполне тождественных, то чрезвычайно близких, и территорий, если не совпадающих, то во всяком случае соприкасающихся.

Ранее — по сравнению со славянами — принятие христианства германскими «варварами» очень скоро приняло национальный и в то же время еретический, то есть противоселенский или противокатолический, характер. Большая часть германцев прошла через стадию арианства (lex

Известный агроном и экономист Б. Д. Бруцкус весьма настойчиво указывал (см. его статью в «Сборнике статей, посвященных П. Б. Струве», Прага. 1925), как прав я был в моей характеристике русского аграрного кризиса. Мне тем приятнее это отметить, что Б. Д. Бруцкус является способнейшим учеником покойного А. И. Скворцова, которого я теперь, спустя сорок лет, еще больше, чем прежде, рассматриваю как моего близкого союзника в понимании русского экономического и социального развития¹¹.

gotica!), которое для них получило глубоко национальный характер (первый германский перевод Священного писания и первое произведение германской литературы вообще есть дело рук вестготско-арианского епископа Вульфилы, 318—388); богослужение у германцев-ариан, вестготов, готов, вандалов, бургундов, лангобардов совершалось на родном языке! Таким образом, латинство германского мира в богослужении и вообще в церковной жизни есть явление позднейшего порядка, явление, окончательное утверждение которого связано с усилением римского католичества, но и это «латинство» германской (франкской) церкви было гораздо менее абсолютным, чем обычно представляют себе: франкская церковь вовсе не была в рабском подчинении у Рима, ее спасало от этого отчасти политическое могущество франкских королей, отчасти своеобразная феодальная структура этой церкви — имущественно-правовая зависимость церкви как мест богослужения от вотчинников, чисто германский, языческого происхождения институт «собственных церквей». «Латинство» же романского мира, прямого наследника Рима и его языка, было исконное и столь же естественное, как господство в православном славянстве языка церковнославянского.

Но как же случилось, что Византия, государство «Ромеев», которое превратило в греков первых славянских насельников средневековой Греции, не смогла эллинизировать обращенных ею в христианство славян, ни болгар, ни сербов, ни русских, а, наоборот, принятие греческого католичества дало толчок национальному самоопределению и самоукреплению этих народов?

Здесь перед нами факт, который надлежит принять и признать как таковой, но объяснить который не так легко. Знаменитый славист Ягич, скорее склонный недооценивать церковный культ и церковную письменность в их общекультурном значении, так отмечает этот факт: «Помимо литературы латинской, нет другой европейской литературы, которая наравне бы со старославянской в ее трех отраслях: болгарской, сербской и русской — усвоила в весьма древнем переводе весь огромный запас библейско-богословско-литургических произведений христианизированных греков». Это значит: национальное усвоение эллинско-христианской культуры славянами, только что принявшими христианство, было весьма интенсивным.

Тут переплелись разные исторические обстоятельства: естественная юношеская сила южного и северного славянства, религиозное ослабление эллинизма иконоборством (окончательное падение его совпало с обращением болгар в православие) и перенесение освоенного южными славянами православия из Болгарии на Русь тою пришлой в северо-восточном славянстве культурной силой, которая политически и культурно оформила это славянство, дав ему свое имя: варяго-россы (норманны). Варяго-россы восприняли православие из Византии, но через болгар в славянской языковой форме. И это славянское православие они перенесли в Киев и Новгород, им христианизировали «еже ныне зовомуя Русь», а сами себя этим славянским христианством ославили. Христианизация северо-восточного славянства с его варяго-русской верхушкой была и ославлением этой верхушки. Норманнский, «варяго-русский» элемент восточное славянство ассимилировало себе через христианство. Это произошло в эпоху (приблизительно с 860 по 988 год), когда сами северогерманские, норманнские страны — Дания, Швеция и Норвегия были еще языческими. Христианизацией славянская Русь значительно опередила норманнский север — едва ли не на целое столетие этим историческим соотношением, а не чем другим определилась и быстрая и коренная славянизация варяжского элемента восточным славянством. У варягов общим с элементом славянским оказалась прежде всего религия, воспринятая обоими в наиболее им доступной славянской форме.

Процесс христианизации Руси начался по меньшей мере в 60-х годах IX века, когда происходили первые, отмеченные патриархом Фотием в его проповедях, открытых на Афоне знаменитым русским монахом-археологом Порфирием Успенским, обращения в христианство варяго-россов. С этих пор христианство в готовой и доступной форме славянского православия проникает в славянскую Русь, и наш летописец не случайно отмечает, в качестве отдельных носителей христианства в Киевской Руси, именно варягов, начиная со Св. Ольги и кончая безымянными лицами, а договоры русских с греками тоже не случайно нарочито отмечают крещеную Русь от «поганой». Заключительным звеном и, так сказать, торжественным аккордом этого столетнего культурно-политического процесса христианизации варягов (норманнов) и связанных с ними восточных славян, процесса, явившегося по своему национально-культурному содержанию ославлением варягов, было крещение Руси Святым Владимиром.

К этому времени, несмотря на все продолжавшиеся и довольно тесные связи с норманнским севером, русская династия, ведущая свое происхождение от Рюрика, уже ославлена и самое слово «Русь» уже прикрепилось к славянскому населению. Новгород и вообще примыкающий к Балтийскому побережью русский север был первой областью проникновения варяжского (норманнского) элемента на Русь. Киев и вообще вся примыкающая к Черному морю территория была первой

областью проникновения христианства на русский юг — через посредство Византии, но в форме славянского, заимствованного от южных славян (болгар) православного культа, усвоенного прежде всего варягами. Варяги, или норманны, двигались на Русь с Севера на Юг, христианство с Юга на Север, и рядом с варяжским (норманским) политическим объединением Руси происходило, через варягов же, культурное и культовое объединение славян христианством. Это культурное и культовое объединение оказалось в национальном смысле сильнее политического — и через восточное христианство, через славянское богослужение, через эллинскую культуру и славянский культ произошло быстрое славяниение правящего норманства. Потомок Рюрика Владимир Святой — уже совершенно славянский князь, и его дружина, каково бы ни было ее происхождение, откуда бы она ни набиралась, есть дружина славянская. И в то же время Владимир Святой — властитель христианский, не только потому и в том смысле, что христианство, по свидетельству источников, оказало сильнейшее влияние на его личность, но и потому и в том смысле, что его личность как бы замыкает и увенчивает вековой процесс восприятия христианского богопочитания и богослужения русскими славянами, политически объединенными и вышколенными варяжской (норманской) династией.

Приятие христианства везде, во всех формах, восточных и западных, имело решающее значение для национального самосохранения славянства.

В неприятии христианства или, точнее, в слишком позднем его приятии — историческая трагедия той ветви славянства, которая почти без остатка была поглощена германством: я говорю о полабско-прибалтийских славянах. В то время, когда Владимир Святой окончательно закрепляет в России христианство в форме восточного православия, балтийское славянство вело упорную, ожесточенную, кровавую борьбу не только с германством, но и с христианством. Несчастье этой отрасли славянства в ее борьбе с германством состояло не только в том, что оно имело перед собой беспощадного, организованного, более культурного врага, которому помогали другие славяне. С этим приходилось считаться и чехам,⁴ и полякам, и даже русским. Главное несчастье, главная причина гибели полабско-прибалтийского славянства состояла в том, что подлинно и разительно отличает эту славянскую отрасль от других славян и, в частности и в особенности, от русских, — в ее языческом консерватизме. Полабские и прибалтийские славяне, — я говорю это как историк, в порядке чисто научного констатирования, а не богословского поучения, — погибли или были истреблены как национальность потому, что по своему упорству и упрямству в язычестве они лишили свою национальность того упора и той опоры, которые всем средневековым народам, без различия национальности, давало христианство как высшая форма богопочитания и культа.

Языческое упорство полабско-прибалтийских славян красной и кровавой нитью проходит через всю их историю. Быть может, главное объяснение этого их упорства следует искать в том, что они столкнулись с христианством в момент, когда их язычество как культ и культовая организация переживало эпоху внутреннего подъема и расцвета. Полабско-прибалтийские славяне в своем язычестве далеко ушли от того, чем — как язычники — жили остальные славяне, болгары, сербы, хорваты, чехи, поляки и русские: первые имели храмы и жрецов, храмы, которые они еще любили и почитали, жрецов, в которых они еще не изверились; остальные славяне еще не дошли ни до храмов, ни до жрецов, когда уже столкнулись с христианством. У этих славянских народов, как тех, которые стали католиками, так и тех, которые приняли православие, а также у немцев и мадьяр национальное чувство сумело как-то прикрепиться к христианскому вероучению и культу. У полабско-прибалтийских славян оно, наоборот, прикрепилось к язычеству как вероучению и культу. Роковой и символический характер имеет рассказ одного средневекового хрониста о том, что, когда епископ одной германской епархии предложил своим пасомым из славян пропеть «кирие элейсон» (Господи помилуй!), они эти богослужебные слова по чисто звуковому сходству с издевкой переименовали в свою, совершенно лишённую всякого религиозного смысла народную поговорку. Между тем мы знаем, что этот греческий возглас у средневековых немцев-христиан был тем единственным припевом, которым миряне участвовали в богослужении и который стал поэтому возгласом народным, да и у славян и, в частности, в средневековой России он, по-видимому, имел широкое распространение и получил народное значение.

Какое бы место ни уделять, какое бы значение ни придавать так называемому «двоеверию», то есть пережиткам язычества в принявшей христианство России, — дело утверждения в ней восточного православия, связанное с именем Св. Владимира, все-таки поражает легкостью своего совершения, отсутствием сильных и глубоких народных сопротивлений новой вере. С исторической точки зрения это побуждает нас начать христианства на Руси отодвинуть более чем на столетие назад, в первые десятилетия второй половины IX века, а в Св. Владимире видеть государственного утвердителя восточного православия в нашей земле, избравшего православие как славянскую веру, у же облюбованную его дружиной и у же понятную его народу.

Такое понимание роли и дела Св. Владимира нисколько не умаляет ни исторического, ни религиозного значения этого дела, ни величия самого Равноапостольного Князя как человека и властителя.

Белград Июль 1930 г

Впервые напечатано в газете «Россия и Славянство» (1930, № 87), затем в сборнике «Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности» (Париж 1952, стр 305–309) Статья посвящена Г Н Трубецкому (1875–1930) — младшему брату Сергея и Евгения Трубецких, дипломату, русскому посланнику в Сербии, в эмиграции — активному церковному деятелю.

ДНЕВНИК ПОЛИТИКА

219(18). Красная мантия царственного социализма или изъеденный коммунистической тлею мужицкий тулуп? — Революция или реакция? — Торжество или крушение социализма?

Когда в Москве сидели воры

Пушкин

Они еще там сидят, и что мы видим в десятилетнюю годовщину этого проклятого дня?!

Вместо России — изуродованное, урезанное и разрезанное на куски ее тело!

Вместо свободы — властвующий над всем коммунистический застеноч, затмивший своим чекистским «словом и делом» худшие воспоминания о худшем в мире сыске!

Вместо социалистического тысячелетнего царства с молочными реками в кисельных берегах — миллионы безработных и несметные толпы одичавших беспризорных!

Вместо мнимого социалистического плана и порядка — реальный, безысходный и безотрадный беспорядок и глубочайшее хроническое расстройство хозяйственной жизни, в деревне — товарный голод и наглое обирательство окопавшегося против коммунизма, враждебного к нему и озлобленного на коммунистическую тлю крестьянства, несущего «рабоче-крестьянское» тягло; в городах — нищета и голод провозглашенного господином, а на самом деле ставшего государственным крепостным рабочего класса.

Вместо обещанного торжества социализма, упраздняющего «классы», — весь народ под пятой коммунистической партии, окруженной ненавидящей ее, но на нее работающей бюрократией «спецов», как старых, так и новых, «выдвиженцев», и толпою терпимых новой властью, но периодически ею обираемых и ссылаемых новых «буржуа», нэпманов, этого буржуазного «молодняка» в социалистическом царстве, обреченного в нужный момент, по мнению занявших «командные высоты» коммунистов, на — убой!!

Что это, революция или реакция?!

Понятия «революция» и «реакция» сами по себе лишены содержания и смысла. Но если мы условимся понимать под революцией переворот, поднимающий жизнь на высшую ступень, ее обогащающий и совершенствующий, а под реакцией — изменение, тянущее народ и государство книзу, ведущее их к козьяственному оскудению и к культурному упадку, то ясно одно:

Большевицкая коммунистическая революция открыла в России невиданную в истории экономическую и культурную реакцию.

История назовет это десятилетие эпохой коммунистической реакции против национальной России.

В то же время эта ужасная реакция есть не торжество, а крушение и погребение того социализма, который мыслится как некий целостный, заранее выдуманный общественно-хозяйственный порядок, насильственно осуществляемый в смертельной схватке поднимающихся и низвергаемых общественных классов.

Под материальными развалинами отданной на поживу хищным коммунистам исторической России с ее великой культурой похоронены те вымыслы и мечтания целостного, интегрального социализма, которыми жили целые поколения русской интеллигенции. духовно раздавлена идеология классовой борьбы, развенчан и опозорен коммунизм и, в живом историческом опыте великого православного народа, разоблачено и посрамлено — мировое безбожие.

П. Б Струве, взяв на себя в 1925 году руководство ежедневной газетой «Возрождение», стал печатать свои политические статьи под общим, навеянным Достоевским заглавием «Дневник политика». После ухода из газеты он продолжил серию последовательно в газетах «Россия», «Россия и Славянство», «Меч». Общее число статей

достигло ятысот Параллельно общекультурные сватги П.Б Струве печатал под общим названием «Заметки писателя».

Впервые: «Россия», 1927, № 11, под № 219(18) (первый номер относится ко всей серии, второй — к возобновлению серии в газете «Россия»)

«НЕИЗЪЯСНИМЫЙ И НЕПОСТИЖИМЫЙ»

Из этюдов о Пушкине и Пушкинском словаре

Памяти моего сына Льва¹.

3/16 января 1929 г.

I

Пушкин ясен во всем многообразном смысле этого прекрасного русского слова. Он — ясный день, и он — ясный сокол. Он живой и могучий образ творческой гармонии и ясности, он — красота и мера. Пророчески-ободрительно и в то же время на всех деятелей русской культуры налагает величайшую ответственность, что в начале русской подлинно национальной самобытной литературы стоит этот спокойный великан ясной мерной красоты¹.

А в то же время какое было любимое понятие и слово у ясного Пушкина?²

Для Пушкина «небо блещет неизъяснимой синевою»³. Значит, для него и в глубине спокойной и ясной небесной тверди есть что-то, при всей яркости и блеске, неизъяснимое, таинственное. Но и в глубинах человеческой души, с ее смятениями и волнениями, скрываются для взора поэта те же неизъяснимые, таинственные вещи:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог
Итак, хвала тебе, чума!

(«Пир во время чумы», 1830)

Или:

Оставил я людское стадо наше,
Дабы стеречь ваш (богов. — П. С.) огонь уединенный,
Беседу один с самим собой
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают нам знать сердечну глубь,
В могуществе и в немогах сердечных
Они любить, лелеять научают
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат —
Чтить самого себя

(Набросок 1829)

В свое время я уже указал, что едва ли не Карамзин укоренил в русском литературном языке это любимое пушкинское слово «неизъяснимый», мистически характерное для величайшего русского гения. Из Карамзина я приведу один только поздний пример. О побежденных русским упорством и русской зимой французах Карамзин пишет:

Как в безднах темной Адской сени

¹ Я пользуюсь здесь и ниже некоторыми мыслями, выражениями и примерами из своей речи «Русская наука в истории русской культуры», произнесенной в 1921 году на Первом пражском съезде русских ученых и напечатанной в «Возрождении» от 7 июня 1926 года, и из своих «Заметок писателя 3 Русский язык». — «Очистители и засорители» («Возрождение» от 29 апреля 1926 г.) Ср также статью «Именем Пушкина» в «Возрождении» от 7 июня 1926 года

² Интересно было бы проследить употребление слова «ясный» у Пушкина. Но об этом в другой раз и в другом месте

³ Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевою,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет.

(1827)

Толпятся осужденных теи,
 Под свистом лютых Эвменид:
 Так сонмы сих непобедимых,
 Едва имея жизни вид,
 В страданиях неизъяснимых
 Скитаются среди лесов;
 Им пища лед, им снег покров.
 (1814)

Но первый автор, у которого я встретил слово «неизъяснимый», — Державин. В его знаменитой оде «Бог» есть стих:

Неизъяснимый, непостижный.

Тут рядом два прекрасных русских речения, которые мы привыкли связывать с Пушкиным.

II

Остановимся пока на первом из этих речений.

Слово «неизъяснимый» есть не столько перевод, сколько передача французского *ineffabilis*, которое в свою очередь есть уже перевод греческого *ἄρρητος*. Французский язык слово *ineffable* заимствовал (или удержал) из поздней латыни и в частности и в точности из языка Блаженного Августина и церковного поэта Пруденция^{***}. А от Августина и Пруденция его заимствовала вся средневековая латинская литература, и в особенности та, к которой прилагается наименование «схоластической», эта подлинная сокровищница и мастерская самых сильных и самых поэтических речений, которыми располагает человечество.

И вот что примечательно: державинские эпитеты Бога «неизъяснимый, непостижный», именно в этом сочетании одного рядом с другим, мы находим не у кого иного, как у Декарта, который сказал: «*Dieu est ineffable parce qu'incomrehensible*»^{****}. Декартовское же словосочетание надлежит возвести к словоупотреблению схоластическому и святоотеческому, в свою очередь опирающемуся на понятия и выражения греческой философской литературы^{*****}. Но уже после того, как я ознакомился с сопоставлениями «Схоластико-картезианского Указателя» Жильсона, мне удалось установить, что декартовская формула уже на французском языке была предвосхищена Жаном Антуаном де Баифом (*de Baif*), одним из «Плеяды», умершим за семь лет до рождения Декарта:

*Dieu donques est Dieu l'ineffable....
 Dieu que nul mortel ne conçoit*

Формулировка Декарта, может быть, является прямой «реминисценцией» на де Баифа, и весьма возможно, что такую же «реминисценцию» мы находим и у Державина. Правда, в эпоху, когда развивался и действовал Державин, французская поэзия XVI века, с Ронсаром во главе, и в

* «Освобождение Европы и Слава Александра I». В Смирдинском издании СПб. 1848, т. I, стр. 238—254. Едва ли не последнее стихотворение Карамзина.

** Словам *ἄρρητος* resp. *ἀνεκ᾽δλίπτος*, как и *ineffabilis*, собственно соответствуют славяно-русские речения «неизречен(ный)» и «неизглаголан(ный)». Ср. Словари Востокова и Миклошича. У этих слов, кроме первичного и буквального, есть вторичное, так сказать, углубленное значение, указующее на таинственность, мистичность. Такие же два значения прикрепились, во всяком случае со времен Пушкина, и к эпитету «неизъяснимый».

*** Впрочем, впервые это слово встречается, кажется, у Плиния Старшего.

**** По изданию Adam et Tannery, т. III, p. 284 (Бог непостижим, ибо непонятен. — *Прим. ред.*)

***** Этьен Жильсон (*Gilson*) в своем *Index scolastico-cartésien*, 1913, где этот первоисточник знаток средневековой философии, обращаясь к книгам библиотеки коллеги *La Fleche*, в котором учился Декарт, систематически прослеживает его словесные и идейные заимствования у схоластиков, отсылает (I с. p. 146) тут к *Suarez Met. disp. 30, 13, 1' non solum sancti patres (quod in eis frequentissimum), sed etiam philosophi hanc excellentiam Deo tribuerunt esse scilicet ineffabilem*. Далее у Суареза следуют ссылки на Платона, цитируемого св. Григорием Назианзином, и на Гермеса Трисмегиста, цитируемого св. Кириллом Александрийским. (Не только святые отцы (говорившие об этом чрезвычайно часто), но и философы усвоили Богу сей род совершенства, сиречь что Он есть неизречимый (неизъяснимый). — *Прим. ред.*)

***** Mines, f 39 g, ed. 1597, цитировано у *Frédéric Godefroy. Dictionnaire de l'ancienne langue française. Tome X (Complement)*, Paris, 1902, sub voce.

Ж.-А. де Ба и ф (1522—1589) — незаконный сын Лазаря де Баифа, дипломата и гуманиста (1496—1547), ученика Иоанна Ласкариса. Де Баиф-сын был моложе Ронсара, но раньше его погрузился в греческую учебу у гуманиста *Dorat (Auratus, † 1588)*, который сделался учителем и Ронсара. Ср. о гуманизме «Плеяды» и об отношениях на этой почве Ронсара и де Баифа у *Pierre de Nolhac, «Ronsard et l'humanisme»*, Paris, 1921. (Итак, Бог есть непостижный Бог, которого никакой смертный не может понять. — *Прим. ред.*)

самой Франции находилась в незаслуженном забвении (и это продолжалось до Пушкина и отразилось на нем; см. его отзыв о Ронсаре), но ведь французские поэты-гуманисты XVI века были не только поэтами своего народа и века, но и выразителями целой культурной эпохи, основной капитал которой — изучение и восприятие эллинско-римской культуры во всем ее объеме* — в известной мере перешел по наследству к XVII веку с так называемым «ложным классицизмом» и к его преемнику, веку XVIII. Во всяком случае, книжные источники и литературные образцы державинской оды «Бог» и всего его творчества подлежат еще систематическому обследованию.

III

В отличие от эпитета «неизъяснимый» «непостижный» есть слово церковное и внесено в русскую литературную речь прямо из языка церковнославянского (оно встречается и теперь в языке богослужения. Ср. древнейшие ссылки *sub vocibus* в Словарях Востокова и Миклошича, а также словари Памвы Беринды и Федора Поликарпова).

У Пушкина в стихотворениях это слово встречается, кажется, один раз (в прозе, кажется, вовсе не встречается):

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой

Он имел одно виденье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

(«Сцены из рыцарских времен», 1836)

В первоначальном, более раннем наброске этого стихотворения соответствующие две строчки имели, по-видимому, такой вид:

Он имел одно виденье
Непонятное ему.

Эпитет «непостижный» встречается нам прежде всего у Тредьяковского^{***}. К началу 30-х годов относится изучение Пушкиным Тредьяковского по собственному пушкинскому экземпляру издания его стихотворений 1752 года. Весьма возможно, что именно это свежее изучение Тредьяковского натолкнуло взор и слух такого любителя и мастера выразительного слова, как Пушкин, на эпитет «непостижный». С точки зрения истории литературного языка было бы вообще весьма поучительно сопоставить словарь Пушкина со словарем Тредьяковского, с произведениями которого пристальное знакомство Пушкина в пору его полной зрелости точно удостоверено. Правда, мы должны тотчас же заметить, что эпитет «непостижный» мы находим не только у Тредьяковского, но несколько позже и у Ломоносова^{***}; у последнего встречается, кроме того, и форма «непостижимый» (в надписи 1754 года на раку Св. Димитрия Ростовского и тут именно — как эпитет Бога).

Таким образом, в наших двух эпитетах словарь Пушкина явно восходит к его отдаленным предшественникам: к Державину, Ломоносову и Тредьяковскому. Не будем здесь говорить об отношении Пушкина к Ломоносову и Державину; отметим, что относительно высокая оценка Пушкиным Тредьяковского, которого и в те времена осмеивали да и теперь принято осмеивать, не

* Ж.-А. де Банф писал стихи не только французские, но латинские и даже греческие. под конец своей жизни он разочаровался именно в своем поэтическом творчестве на французском языке и усиленно ударился в писание латинских стихов

** В оде XVI «Парафразис псалма 143: Благословен Господь Бог мой» «Сочинения и переводы как стихами, так и прозою», том II. СПб. 1752, стр. 97. Это произведение было впервые напечатано в книжке, изданной в 1744 г. в СПб: «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные через трех стихотворцев» (Тредьяковского, Ломоносова и Сумарокова) — и перепечатано А. А. Куником в его «Сборнике материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII в.», ч. II. СПб. 1865. В переложении псалма 143 только у Тредьяковского встречается слово «непостижный» как эпитет Бога

*** Переложение псалма 145: «Блажен... кто себя вручает Всевышнему . и в помощь призывает живущего на небесах, несчетно многими звездами наполнившего высоту и непостижными делами земли и моря широту» (цит. по «Сочинения М. В. Ломоносова в стихах». Издание А. Ф. Маркса, под редакцией Арс. И. Введенского. СПб. 1893, стр. 21). Первоначально появилось это переложение в «Риторике» Ломоносова. изд. 1748 года

читая, навеяна была Радищевым^{*}. Но Пушкин пошел даже дальше Радищева, сказав, что «изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей»^{**}. С этим можно не соглашаться: Пушкин был исторически не прав в отношении Сумарокова и его языка, но в то же время нельзя не признать, что Тредьяковский в самом деле был замечательным явлением в истории русской образованности вообще и русского языка в особенности. В частности, в отношении словаря Тредьяковский — и по интересу Пушкина к этому словарю и по другим основаниям — заслуживает самого тщательного исторического изучения: как я покажу в другом месте, он является подлинным творцом русской философской терминологии, которая вовсе не была и в пушкинское время столь молода, как думал сам Пушкин, предлагая кн. П. А. Вяземскому заняться работой над созданием русского «метафизического» языка^{***}, — в истории его после Тредьяковского надлежит отвести значительное место не кому иному, как Радищеву, в особенности как автору трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».

IV

Для всякого настоящего художника, творца образов или творца мыслей, слово есть не внешнее орудие, а носитель живого смысла. Оно полномерно и жизненно.

Так и у Пушкина. Речение «неизъяснимый»^{****} исполнено у него глубокого смысла. Можно даже сказать, что именно Пушкин придал этому русскому слову-понятию его углубленный, всеобъемлюще-мистический смысл. Из отрицательного эпитета (Бога), то есть из богословского термина, и из неопределенно-чувствительного определения Пушкин превратил его в слово, обозначающее какую-то предельную для ясного человеческого познания и разумения таинственную черту и тем указующее на мистическую основу бытия как такового.

Тут на этом примере видно, как изучение словаря писателя приводит не только к установлению смысла отдельных употребляемых им слов, но и к истолкованию существенных мотивов его творчества. Сдержанное и стыдливое, далекое от всякой сентиментальности, признание таинственности всякого и всего бытия есть столь же основная и могущественная стихия пушкинского творчества, как и «классическая» ясность его художественного восприятия и строгая четкость его художественных образов. Более того, обе эти стихии в Пушкине со-относительны и со-размерны. Чем яснее и отчетливее видит, чем красочнее пишет, чем выпуклее лепит Пушкин, тем более близко и более властно подводит он нас к черте, за которой лежит неизъяснимое и начинается тайна.

Пушкин поэтому не классик и не романтик в общепринятых смыслах этих обозначений. Рисунок Пушкина точен, его лепка строга и выразительна — без холодности «классицизма». Его краски яркие, его фантазия богата, его чувствительность^{*****} (если это слово применимо к Пушкину) мужественна — он свободен от узорочной пестроты, от кричащих красок, от чрезмерности и расслабленности современного ему «романтизма».

Пушкин заодно пластичен и мистичен.

Он заодно ясен и неизъясним.

Белград, апрель 1929 г.

Впервые в «Пушкинском сборнике» (Прага, 1929), затем в «Вестнике РСХД» (1970, № 95—96).

^{*} Лев Петрович родился в 1902 году в Монтрэ (Швейцария), юрист по образованию, умер в 27 лет от туберкулеза в Давосе (Швейцария), где и похоронен. Написал роман, одна глава из которого была напечатана в журнале «Время и мы» (1979, № 45).

^{**} Говоря, что «в Телемахиде находится много хороших стихов и счастливых оборотов, — Радищев написал о них целую статью» («Мысли на дороге» 1833—1834 годов, там же весьма отрицательное суждение о Ломоносове как поэте), Пушкин имеет в виду «Памятник дактилохореическому витязю» и т. д., перепечатанный теперь в издании В. М. Саблина, под редакцией В. В. Калаша, т. II, М., 1907, стр. 393 и сл.

^{***} Об отношении Пушкина к Тредьяковскому примечание Б. Л. Модзалевского к письму № 265 в его собрании «Писем» Пушкина (СПб., 1928, т. II, стр. 274).

^{****} См. письмо от 1 сентября 1822 года: «образуй наш метафизический язык, зарождающийся в твоих письмах». Ср. письмо от 13 июня 1825 года и примечание к этому письму Б. Л. Модзалевского.

^{*****} Интересно было бы проследить употребление этого слова у других писателей, в стихах и прозе, после Державина и Карамзина, в особенности у Жуковского и Батюшкова. Но здесь мы этим не будем заниматься. Отметим только, что ближайший друг Пушкина и превосходный стилист П. А. Плетнев говорит в 1825 году о «неизъяснимом» простодушии Хемницера и о «неизъяснимой» прелести «Кавказского Пленника» (Пушкина) — в том замечательном «письме к графине С. И. С. о русских поэтах», которое, едва ли не первое в печати, отдает должное гению и историческому значению Пушкина (напечатано в «Северных Цветах» за 1825 год, собранных бароном Дельвигом, изданных Иваном Слениным, стр. 24, 43).

^{*****} Именно этим словом Плетнев характеризует Пушкина в вышеупомянутой статье-письме 1825 года. Ср. также полемику в том же году между князем П. А. Вяземским (в «Московском Телеграфе») и автором «Писем на Кавказ» (в «Сыне Отечества») о чувствительности Жуковского и Пушкина. Ср. Б. Л. Модзалевский в примечании к письму № 144 в его собрании «Писем» Пушкина (СПб., 1926, т. I, стр. 436).

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

In memoriam

В числе убитых большевиками великих князей находится великий князь Николай Михайлович. Смерть этого человека показательна для того режима, который установился в России. Как великий князь покойный Николай Михайлович не играл никакой роли. Политикой он не занимался, и государственные дела его не привлекали. Только однажды, насколько я знаю, он нарушил свое воздержание от политики. Это было, когда он, если не ошибаюсь, как старейший из великих князей, возвысил свой голос в те роковые дни конца 1916 года, когда фигура Распутина стала в качестве какого-то грозного призрака бросать свою тень на русскую землю. Результатом этого вмешательства Николая Михайловича в дела политики, неразрывно сплетавшиеся с делами императорской фамилии как таковой, была высылка великого князя в его херсонское имение. Великий князь в данном случае испытал на себе то самое, что в более суровой форме часто испытывали на себе другие непокорные и «неблагоданмеренные» элементы, приходившие в столкновение с волей Царя или тех, кто направлял его волю. Только революция 27 февраля вернула Николая Михайловича из его кратковременной ссылки.

Я пишу о великом князе здесь не потому, что в его лице большевики замучили человека, который если и боролся в прошлом с чем-нибудь, то только с шарлатанством и деспотизмом. В качестве представителя русской науки я хочу денонсировать перед цивилизованным миром убийство великого князя как убийство ученого историка. Ибо только в качестве такового великий князь Николай Михайлович останется на страницах русской истории. Имя его вписано как имя серьезного работника в области изучения новейшей русской истории. Специальной областью его труда была та во многих отношениях решающая, полная глубоких психологических проблем эпоха русской истории, которая связана с именем Александра I. В центре работ Николая Михайловича стоит капитальная монография, посвященная сопернику и победителю Наполеона I¹. Своим привилегированным положением великого князя Николай Михайлович воспользовался для того, чтобы извлечь из государственных и иных архивов драгоценный материал. Можно спорить с его характеристикой Александра I, находить ее слишком суровой, даже беспощадной. Но в его работе не было ничего, кроме серьезного искания истины, не останавливающегося даже перед фамильным пиететом. Какая страшная игра судьбы в том, что этот скептически настроенный по отношению к человеческим добродетелям и к человеческому величию историк, биограф и летописец Александра I в качестве представителя царского рода был вовлечен в роковую и мученическую судьбу Николая II и в крушение всей династии. Ибо я никогда не мог отделаться от мысли, что все те черты личности и характера, зловещее сочетание которых делало из Александра I такую загадочную фигуру, роковым образом, но только в уменьшенном масштабе получили свое воспроизведение в Николае II. Я намерен в другом месте показать, что как человек и монарх Николай II был во многих и самых важных отношениях маленьким, очень маленьким Александром I, вдвинутым только в совершенно другую историческую обстановку, в которой не могло быть места никаким автократам².

В лице великого князя Николая Михайловича большевики убили скептического до суровости историка одного из самых интересных и лично и по его исторической роли русских царей. Случайно, что этот историк принадлежал к царской семье; не случайно, что большевики посягнули на ученого. Ибо несмотря на все желание некоторых их представителей парадировать в роли коммунистических покровителей науки, — эта банда насильников и убийц хорошо делает только одно дело, дело палачей и истребителей.

Вскоре после февральской революции я несколько раз встречался с вел. кн. Николаем Михайловичем. Скажу откровенно, всего более меня поразила та спокойная отрешенность от всяких политических тенденций, которую я встретил в великом князе. Вообще как факт, к которому можно относиться положительно или отрицательно, следует установить, что члены царской семьи до последней крайности довели в русской революции 1917 и следующих годов свое воздержание от участия в политике и политической борьбе. С почти буддийским спокойствием взирали они на крушение империи и династии.

Таков и ученый историк из дома Романовых.

Печатается впервые по рукописи из моего архива (18 небольших листов с пометками) Копия или беловик находится в архиве А. Тырковой-Вильямс в Британском музее Там стоит дата 25 февраля 1919 г.

Только за эмигрантский период П. Б. Струве написал свыше 30 некрологических характеристик близких друзей и коллег на научном и общественном поприще

Николай Михайлович Романов (1859—1919) — внук Николая I, старший сын младшего брата Александра II,

Михаила Николаевича Состоял членом французской масонской ложи. В ноябре 1916 года подал царю записку, в которой высказался за удаление Распутина.

¹ Монография «Император Александр I» вышла в 1912 году (вторым изданием в 1914-м.)

² Насколько мне известно, к параллели между Николаем II и Александром I П. Б. Струве не возвращался. Трагическую судьбу Николая II он предлагал понимать в категориях религиозных (см. его очерк о Витте и Столыпине).

ТРИ ПИСЬМА К СЫНОВЬЯМ

I

Новороссийск, 3-го февраля
1920 г. ст. ст.

Дорогие мои! Пользуюсь оказией, чтобы написать вам несколько слов. Положение на фронтах удовлетворительное, главным образом потому, что развал и разложение у красных, по-видимому, еще больше, чем в Добровольческой Армии. С казаками состоялось у Деникина соглашение¹, которое есть чистейшая керенщина. К чему она приведет, неясно. Конечно, Деникин не Керенский, *cela va sans dire*², и эта керенщина в конечном итоге может обернуться иначе. Но пока это чистейшая и омерзительная керенщина.

Моя поездка с Врангелем² в Одессу и Крым не состоялась, так как, во-первых, Одесса оказалась большевиками занята, во-вторых, в Крым Врангеля не пустили как официальное лицо, и поехал он туда как лицо частное. Мои планы остаются пока еще неопределенными, и куда я обращу свои стопы, я не знаю. С образованием нового южнорусского правительства мы, т. е. наша газета³ и вообще все наше направление переходят в оппозицию, если не будем прямо подвергаться гонениям, что наиболее вероятно.

Сегодня похоронили Жозика Ельяшевича⁴. Он заболел на фронте сыпным тифом, в ужасных условиях эвакуировался, захватил дифтерит, и на почве дифтерита у него сделалось заражение крови, так как сыворотка была влита слишком поздно.

Вообще кругом все мрут и мрут люди всяких званий, профессий и возрастов. Это какой-то ад кромешный, в котором тем труднее жить, что, вообще говоря, в людях оголились все звериные инстинкты.

Крепко целую вас, мои любимые. Часто очень хочется перелететь к вам. Я рад, что вас здесь нет, ибо ужас положения заключается именно в том, что масса жертв приносится совершенно бесполезно.

Кланяйтесь всем знакомым.

Ваш папа.

Здесь я вижу Дм. Евст. Калиского. Сейчас узнал как якобы достоверное известие, что чехословаки выдали Колчака большевикам, которые его расстреляли. Кажется, даже славяне стараются доказать русским, что они напрасно вели великую мировую войну. Предательство чехословаков, если оно верно, величайшая гнусность.

Германская ориентация делает огромные успехи.

II

Новороссийск
10 февр. ст. ст. 1920 г.

Дорогие мои!

Пишу вам в минуту, когда положение на фронте значительно лучше. Взят обратно Ростов и достигнуты другие успехи. Оставление Одессы есть факт постыдный, объясняемый развалом внутренним армии и главным образом невниманием к офицерству, к его быту и моральному состоянию. Вообще все, что происходит здесь, я не устаю это повторять и всячески это распространять, никакого отношения к «политике» в обычном смысле слова не имеет. И лечение зла «политическим соглашением» с казачеством, образованием демократической южнорусской власти подобно лечению органических болезней «заговором» и вообще т. н. «симпатическими» средствами.

Когда я пишу эти строки, в Крыму происходят серьезные события. Возмущенное несостоятельностью и невыгодностью командного состава офицерство реагирует на это «патриотическими

* Само собой разумеется (*франц.*) — Прим. ред

бунтами», которые не представляли бы никакой опасности, если бы не странное желание Главного командования — игнорировать настроение офицерства и тех немногих лиц, которые как военачальники отличаются печатью даровитости. Сейчас все положение в Крыму изменилось бы, если бы Деникин решился признать значение Врангеля и, следуя голосу армии и общественного мнения, призвать его на пост Главнокомандующего в Крыму. Без этого конфликт будет только углубляться и загоняться внутрь. На необходимость назначения Врангеля указывали и правые и левые общественные деятели, указывали и английские генералы. Наконец, отсутствие во главе вооруженных сил Новороссии и Крыма сильного человека привело к офицерским бунтам. Но Деникин и Романовский остаются глухи к этим указаниям, и к чему приведет эта глухота, никто сказать не может.

Положение на фронте характеризуется так. Обе стороны слабы. Слабы и красные, слабы и мы. Добровольческие части, т. е. казацкие части, дерутся превосходно, и если бы их не было, вооруженные силы Юга России были бы давно сброшены в море, а я лично был бы уже давно на пути к вам. Из казачьих элементов донцы, вытесненные из своей области, отчасти недурно сражаются. Кубанцы же в общем уклоняются от борьбы. Политический парадокс положения заключается в том, что политические уступки делаются казачьим политикам потому и за то, что казаки не мешают сражаться. Издали, может быть, дело представляется так, что «реакционная политика» привела к крушению фронта. На самом деле ничего подобного нет. Развал фронта есть явление, независимое от какой-либо политики, и левой политикой не только нельзя восстановить фронт, но можно его только еще больше развалить.

Но события последнего времени еще больше укрепили меня в убеждении, что проблема борьбы с большевизмом, а тем самым и проблема восстановления России, есть проблема мировая, проблема мировой реакции против лжи демократизма и той демократической идеологии, во имя которой велась война и был сооружен Версальский мир. Поэтому то, что сейчас происходит, есть лишь введение к целому очень сложному мировому процессу.

Здесь по-прежнему масса заболеваний и смертей. Каждый день слышишь о новых жертвах. Это письмо я посылаю вместе с А. В. Кривошеиным⁵, который только что потерял сына на фронте, скончавшегося от возвратного тифа...

Жена А. В., сын его, потерявший пальцы на фронте от отморожения, и младший сын находятся в Константинополе, и он, оказавшись ~~на~~ у дел при новой правительственной комбинации, едет за границу. Он, между прочим, имеет намерение своего сына⁶, который в Москве был на филологическом факультете, поместить в Оксфорд. Я даю ему письма к М. И. Ростовцеву⁷, П. Г. Виноградову⁸ и к тебе, Глебу. Окажи молодому Кривошеину, если он попадет в Оксфорд, всяческое содействие.

Я очень много ваших писем, дорогие мои, не получил. Вина в этом не ваша, милые мальчики, а безобразное неряшество Управления иностранных дел. Только сегодня и только случайно я получил Лялино письмо от 2.Х. из Гренобля со вложением письма к Н. А. Винбергу. В этом же письме обещание фотографии, которой явно нет. Это единственное письмо Ляли, в котором содержится его адрес. Ясно вообще, что целого ряда писем и пакетов я от вас не получил. Пакетов я вообще не получил до сих пор ни одного. По-прежнему повторяю, чтобы вы адресовали все управления мне на имя Анатолия Анатольевича Нератова, причем на внешней обложке не следует даже обозначать моего имени, а внутри следует прилагать вежливое препроводительное письмо на имя Нератова с просьбой возможно скорее доставить мне.

Крепко целую вас, мои дорогие. Как бы хотелось свидеться с вами. Может быть, я при известной комбинации решу все-таки ехать за границу, и тогда мы увидимся. Мечтаю об этом счастье. «Times» отзывает Вилльямса⁹, и они едут в Англию, где ты, Глеб, с ними конечно скоро свидишься. Соня, которая была сестрой в Павловском полку, заболела на фронте сыпным тифом и была эвакуирована через Константинополь в Салоники на Британском судне. Я писал вам, что Жорик Ельшевич умер от последнего дифтерита. Теперь дифтеритом заболели Ирочка и Василий Борисович. Для Василия Борисовича при его болезни это очень опасно.

С. В. Панина получила от матери письмо, в котором сообщается о вас, что вы гостили у Винаверов и все время там проболели. Это не очень удачно, значит, вышло.

Еще раз целую вас, мои любимые.

Ваш папа.

Политическое содержание моего письма Глеб может сообщить Б. Э. Нольде¹⁰ и М. И. Ростовцеву, если он не уехал еще в Америку, как о том были известия.

PS. Сюда приехал Н. В. Чайковский¹¹. Кажется, он мне ничего от вас не привез. Чайковский, которого я раз видел у Бернадцкого¹², ничего в русской жизни не понимает. Я почувствовал на этот раз с поразительной ясностью, что в сущности он иностранец, неспособный видеть ясно русские вещи.

3/16 /IV/ 1920 г. Севастополь

Дорогие мои, пишу опять несколько беглых строк. Газет не посылаю, не успею их собрать, рук у меня мало, а дела масса и притом такого, которое требует величайшего напряжения и в общем и в деталях, при сознании, что из всего этого может ничего не выйти.

Я выписал себе на подмогу из Константинополя П. Н. Савицкого¹³. Надеюсь, что он придет. Я написал вчера письмо Б. Э. Нольде. Может быть, он с вами поделится кое-чем из этого письма. Положение весьма трудное и сложное: то, что произошло, не есть вовсе сдвиг направо *rien est simple**. Это завершение того процесса, который я ощутил в ростовские декабрьские дни как личное крушение главного командования.

Обнимаю и целую вас, милые мои мальчики. Да хранит вас Господь!

Ваш папа.

* Попросту (франц.). — Прим. ред.

Печатается по подлинникам (архив Н. А. Струве).

Письма адресованы к двум старшим сыновьям: Глебу Петровичу (1898—1985) (впоследствии известный литературовед) и Алексею Петровичу (Ляле, 1899—1976), ставшему в эмиграции книготорговцем и библиофилом. Оба выехали из России различными путями для продолжения обучения на Западе: Глеб — в январе 1918 года через Финляндию, Алексей — весной 1919 года из Крыма во Францию.

В то время как жена П. Б., Нина Александровна, с тремя младшими сыновьями скрывалась на севере России, П. Б. Струве в октябре 1919 года из Парижа приехал в Ростов-на-Дону и включился в работу местной газеты «Великая Россия». В январе 1920 года, после падения Ростова, П. Б. перебрался в Новороссийск, где оставался до марта. В Новороссийске им была составлена записка о причинах неудачи денкинского наступления (рукопись хранится в Гуверовском архиве). Основные мысли этой записки изложены в публикуемых нами трех письмах к сыновьям.

¹ Генерал Деникин после многомесячных переговоров дал казачьим областям «широкую, даже слишком широкую автономию — такую, какую свет не видал. Казаки исходят из убеждения, что они создадут заново Россию, поэтому им не приходится получать какие-либо вольности от общегосударственной власти, а наоборот, они уступают ей права в том объеме, какой признают возможным» См.: Трубецкой Г. Н. Годы смут и надежд. Монреаль. 1971, стр. 225.

² П. Б. Струве был очень высокого мнения о военных и государственных качествах Петра Николаевича Врангеля (1878—1928). Он соединился с ним в Константинополе в марте 1920 года и вместе с ним вернулся в Крым, когда, после ухода Деникина, Врангель мог наконец стать Генералом-Правителем.

³ «Великая Россия», в которой П. Б. Струве регулярно писал передовые.

⁴ Жозик Ельяшевич — сын известного правоведа и историка Василия Борисовича Ельяшевича (1875—1957), друга всей жизни П. Б.

⁵ Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — сотрудник П. А. Столыпина, министр сельского хозяйства с 1906 по 1915 год. Двое из его сыновей погибли в рядах Белой Армии.

⁶ Речь идет о будущем архиепископе Василии (1900—1985), ставшем известным патрологом

⁷ Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк древних времен, стал профессором Йельского университета в США.

⁸ Виноградов, сэр Павел (1854—1925) — историк-медиевист.

⁹ Вильямс Харольд (1876—1928) — английский журналист, корреспондент «Таймс», муж известной общественной деятельницы Ариадны Тырковой.

¹⁰ Нольде Борис Эммануилович (1876—1948) — экономист, историк.

¹¹ Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — народник, затем социалист-революционер, один из руководителей Земгора; в 1919 году возглавлял северорусское правительство в Архангельске.

¹² Бернацкий М. И. — экономист, ученик П. Б. Струве.

¹³ Савицкий Павел Николаевич (1894—1968) — экономист, географ, ученик П. Б. Струве. В эмиграции активный участник движения евразийцев. Арестован в Праге в 1945 году, освобожден из мордовских лагерей в 1956 году. Снова арестован в Праге после опубликования в Париже сборника его стихов.

В МИРЕ ИСКУССТВА

БОРИС ЛЮБИМОВ

*

«БОЛЬШЕВИКИ» УХОДЯТ СО СЦЕНЫ?

Заметки о театральном репертуаре

..страстная близость зрителя и сцены делает сильную, органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, по партеру о сцене.

Герцен.

Театр .. таков, какова общественность.

Вяч. Иванов.

Лихорадочное, импульсивное изменение общественной атмосферы видно невооруженным глазом. Конец 1985 года: Н. Рыжков — во главе правительства, Б. Ельцин возглавил Московский горком; кинематографисты готовятся к съезду, новые руководители приходят на телевидение, в «Советскую культуру»; в литературных журналах готовятся в печать «Печальный детектив» В. Астафьева, «Карьер» В. Быкова, «Плаха» Ч. Айтматова; на экраны выходит фильм А. Германа «Проверка на дорогах»; театр будоражит общественность «Серебряной свадьбой», «Диктатурой совести»; спектакль ермоловского театра «Говори...» отражает максимальные претензии общественности: «Дайте поговорить!» Впрочем, название другой премьеры зимы 1985/86 года — «Крик» — предупреждает о тоне гласности конца 80-х. Крик на форумах художественной интеллигенции, крик на съездах народных депутатов, крик на площадях и улицах. XXVII съезд КПСС предвещает радикальные перемены; однако еще более существенно, что по ряду коренных вопросов перемен не происходит. В декабре 1986 года возвращается в Москву А. Сахаров. Полуграмотные «профессиональные» атеисты и неграмотные атеисты-журналисты делают последнюю (?) попытку уберечь «берлинскую стену» между религией и жизнью, искусством, культурой, общественностью.

Зима 1986/87. Прозвучала тема «Покаяния», неотрывно связанная с категориями греха и вины. Авангардом интеллигенции признаны кинематографисты, проходят шумные съезды театральных деятелей; учреждается Фонд культуры; во главе Министерства культуры СССР и Президиума АН СССР, литературных и театральных журналов оказываются новые люди; проза А. Бека воспринимается как откровение, а предполагаемые к печати «Дети Арбата» кажутся верхом политической смелости; отменен проект переброски северных рек; «Огонек» и «Московские новости» начинают готовить новый «краткий курс истории партии»; появляются первые кооперативные кафе; слово «взятка» — самое бранное, понятия «рэкет» и «мафия» еще не вошли в лексику применительно к своей стране; критике подвергаются чиновники, а не партия; «желанный берег» — берег Атлантики — «из тумана выходит к нам». «Из глубины» — глубины духовной — по-новому восстает вопрос: как жить?

Не успели прийти в себя после Чернобыля, как страну потрясло столкновение пароходов — образ поведения капитанов предстал прообразом поведения многих руководителей. Сенсацию делает выступление по телевидению митрополита Минского Филарета. В МТЮЗе репетируется «Собаچه сердце», на сцене появляются С. Беккет, А. Миллер, Э. Ионеско, Э. Олби, из подполья выходят розовский «Кабанчик», «Самоубийца» Н. Эрдмана, совершается грандиозный раскол МХАТа, критика ломает копы вокруг «Спортивных сцен» Э. Радзинского и «Тамады» А. Галина — спектакля, снятого с репертуара не по приказу министерства, а безумием мхатовского полураспада, превратившего театр в Нагорный Карабах. Вспыхивают конфликты, приводящие к смене руководства в Театрах имени Вахтангова, имени Пушкина, Московском драматическом, к смене, говоря откровенно, неглубоко затронувшей внутреннюю суть этих театров. Начинается серия взрывов на шахтах, железных дорогах. Руст готовится к приземлению на Красной площади.

Зима 1987/88. Публикуется «Доктор Живаго» — и, как пена, отступает перед этим стуктом таланта, совести, мысли и чувства недолитература благомыслов и ортодоксов, посмертно воюющих со Сталиным лауреатов премий его имени. Общество продолжает расслаиваться. Появляются партии в партии и даже в высших эшелонах ее. До плюрализма далеко, но дуализм налицо — достаточно послушать по телевидению выступления двух идеологов, двух секретарей ЦК, двух членов Политбюро, чтобы убедиться в наличии оформившихся тенденций в партии. Обнажаются проблемы, обнажаются люди на экранах и на сцене. Лучшие спектакли застойных времен хлынули на Запад под лозунгом «перестройка и гласность». Запад тоже устремился к нам — в лице нескольких заурядных, в основном американских, режиссеров, ставящих плохие спектакли, правда, значительно быстрее наших заурядных режиссеров. Возник вопрос — вернется или нет Ю. Любимов, выйдет или нет «Борис Годунов»? Снова проза со страниц журналов перекоачивает на сцену: «Плаха», «Печальный детектив», «Смирненное кладбище». Уровень либерального мышления в

театре определяет «Брестский мир» М. Шатрова, но уже от пьесы «Дальше... дальше... дальше...» давние сподвижники этого драматурга О. Ефремов и М. Захаров по очереди отказались; как отказались театры от «Белых одежд» и «Детей Арбата». На сцену выходят наркоманы («Плаха»), проститутки («Звезды на утреннем небе»), бомжи («Свалка»). За несколько месяцев до Сумганта создается Театр дружбы народов. Страна готовится к тысячелетию Крещения Руси и к партийной конференции.

Страшная зима 1988/89. Землетрясение в Армении; Фергана; один за другим вскрываются очаги распада в нравственности; политике, экономике. Страна борется за легализацию А. Солженицына и побеждает. Страна борется за советскую власть, и бои идут с переменным успехом. Вспыхивают национальные конфликты в Прибалтике, Молдавии, на Кавказе и в Западной Украине. Кровавое воскресенье 9 апреля в Тбилиси становится трагической кульминацией этой волны, как Первый съезд Советов — кульминацией волны общественной. Кризисы в партии переходят в кризис партии. Продолжается «министерская чехарда», по крылатому выражению Пуришкевича (памятуя бурную реакцию на скрытую цитату из Столыпина, приведенную В. Распутиным на съезде, риску тем не менее процитировать и куда более одиозного политического деятеля). Афиша московских премьер как нельзя лучше отражает везние эпохи: «Записки из подполья», «Маруся отравила сь», «Снег, недалеко от тюрмы», «Приглашение на казнь», «Одержимые», «Новое московское преступление», «Дело», «Мелкий бес», «Бесы», «Хищники», «Аномалы», «Трибунал», «Контракт на убийство», «Свалка».

Согласно современной православной мысли «один из самых общих приемов» «бесов» — навязывание выбора между двумя погубительными путями; когда одно зло предлагается как ложная альтернатива другому злу...». Ложные альтернативы — выбор между разными путями зла — сопровождают общественное сознание на всех перекрестках и распутьях, во всех предвыборных кампаниях.

И — вывод войск из Афганистана...

Зима 1989/90. Партия и правительство вынуждены признать ошибкой вторжение в Чехословакию и Афганистан. Страна читает «Архипелаг ГУЛАГ» и хоронит Сахарова. Пробиваются брешы в берлинской стене. Лех Валенса и Дубчек поднимаются на официальный небосклон. «Правда» печатает статью Р. Медведева о Солженицыне. Поклонники «дяди Джо» в шоке от того, что собеседником М. Горбачева стал не только привычный «дядя Сэм», но и папа римский. Страна читает «Октябрь Шестнадцатого» и смотрит фильм «Так жить нельзя», выбирает Президента, Патриарха, Председателя Верховного Совета и премьер-министра всей Руси.

Пять лет прожито как в лихорадке. Разумеется, в каждой сфере человеческой деятельности, и в особенности в сфере сознания, есть свои симптомы «вековых перемен». Есть они и в театре. Скажем, актер бывшего опального Театра на Таганке — министр культуры СССР. Театры дробятся, дwoятся, переименовываются, втягиваясь в социально-ономастические проблемы нашего времени. (А какое тут могло бы возникнуть замечательное решение: «Театральная площадь имени Свердлова», «Сергиев посад имени Загорского», «Петербург имени Ленина», — как характерно было бы оно для двоемыслия перестройки.)

Еще более очевидны изменения в театральной ситуации у билетных касс. Случаи, когда на сцене многолюднее, чем в зрительном зале, перестают быть редкостью и в Москве, что уж говорить о многострадальной театральной России. Даже в самый популярный в Москве Театр имени Ленинского комсомола (театр, когда-то измерявший успех в зависимости от того, где начинают спрашивать билеты — от метро «Пушкинская» или с угла улицы Чехова) сегодня можно купить билет на прошлогоднюю премьеру в день спектакля, а ведь совсем недавно в теневой экономике билеты в популярные московские театры были эквивалентны запчастям, лекарствам, книгам и косметике.

Театр, пять лет назад бывший рупором не бог весть каких, но носившихся в воздухе общественных идей, ныне вынужден уступить драме жизни с ее интрижущей завязкой, сменой персонажей, непрерывно обновляющейся лексикой и тематикой, хитросплетением сюжета, неожиданными кровавыми конфликтами и столь же непредсказуемыми моментами очищения, катарсиса. Вчерашние статисты получают право на монолог, а зрителем не хочет быть никто — все рвутся к сцене (иногда, как на недавних съездах, в буквальном смысле). Этому Театру сегодня в театре соперника нет. И зритель уходит из зала к экрану телевизора, к радиоприемнику, к газете, журналу и книге; на площадь; в церковь. Видимо, или человек хочет получить глубокую информацию уединенно, у себя дома, или если уж прилюдно, то не оставаясь пассивным наблюдателем, вяло подыгрывающим событиям, а непосредственно участвуя в собрании, митинге, демонстрации, забастовке или соборной литургической жизни церкви. Это изменение ситуации не предполагалось в 1986—1987 годах, когда формировались модели театрального дела, по которым мы сегодня живем, оно никак не учитывается и сейчас.

И все же едва ли не самым явным показателем смены вех в театре является репертуар. То, что происходит за кулисами, известно лишь внутритеатральному кругу, хотя в эпоху гласности на страницах газет выносятся и закулисные «драки». Театральная экономика — опять-таки дело специалистов. Рискну сказать, что и новый художественный язык поначалу принимается или отвергается сравнительно небольшой частью театралов. Но важнейший симптом социальных перемен, повторяю, — репертуар театра. В недавнее время он отражал то, что от него ждали сверху. Кто услужливо забегал вперед, кто (таковых было большинство, только этим театр и держался — политикой пассивного принятия команд, политикой «осторожного согласия») скрепя сердце время от времени ставил спектакль к той или иной дате, выбирая наименее лакейский вариант, дабы выхлопотать право на спектакль по велению сердца, а кто (увы, считанные единицы) крепко упирался — с разными последствиями. Впрочем, как в кино и литературе, в журнальной и издательской деятельности, в литературоведении и философии.

¹ «Материалы к „Богословско-церковному словарю“» («Богословские труды»). 1986. Вып. 27, стр. 328.

Сейчас, когда театр одним из первых шагнул в сторону полурыночных отношений (завися и от государства и от «потребителя»), репертуар, в частности столичный, отчетливо демонстрирует, кого и что театр не хочет играть, а зритель — смотреть, и в меньшей степени что же зритель смотреть хочет. Можно было бы сказать, что театр за пять лет уловил, чего зритель не хочет, но никак не может взять в толк, что же ему, зрителю, надо.

Полагаю, разобратся в этом полезно не только художественным руководителям и завлитам. Конечно, театралы — небольшая часть населения, притом по преимуществу городского. И все же некоторые соображения на сей счет могли бы пригодиться и тем, кого должность обязывает задумываться над желаниями народа.

Итак, от чего же театр отказался (или отказывается) за эти годы?

Прежде всего это так называемые спектакли на международную тему. Не успел один из немногих популярных руководителей последнего времени летом 1985 года возглавить Министерство иностранных дел, как тут же стали исчезать пьесы наших международников, энергичных журналистов, но неумелых драматургов, чьи творения изрядно засорили всесоюзный репертуар в 1982—1984 годах, пьесы Г. Боровика, А. Лауренчукаса и других. И впрямь уж слишком не вылезлись личные впечатления от Запада простого советского человека, когда ему дали возможность там побывать, да и откровенно меняющийся курс международной политики государства, с тем, что прежде являлось со сцены. Обыватель-материалист убедился в том, что чего-чего, а материи там предостаточно, хватает не только буржуям, у нас же, по меткому замечанию А. Белого, с торжеством материализма материя упразднилась.

Что же касается язв капитализма, то А. Миллер или Т. Уильямс разоблачали их с большим знанием дела, а главное, куда талантливее, чем советские журналисты, вообразившие себя драматургами.

Но эта линия (у истоков которой «Русский вопрос» К. Симонова) все же никогда не была ведущей, и полное исчезновение ее из репертуара не столь заметно, сколь двух других, действительно опорных. На языке театральной критики одна из них именовалась производственной драмой. Риску поименовать ее советским вариантом «театра абсурда». Да и как иначе назвать, скажем, «заседание парткома», перенесенное на сцену и в течение двух-трех часов решающее вопросы производства? Или попытку изобретения самого производственного процесса на сцене? Куда там драматургии Э. Ионеско и С. Беккета до «Сталеваров», «Обратной связи», «Погоды на завтра» и их бесчисленных подражаний. До пьес, внушавших двум-трем поколениям зрителей, что если партизано-новатор победит партийца-консерватора, то стали, бетона и автомобилей у нас будет еще больше. Разве не абсурд, что в аппаратно-производственные игры на сцене оказались втянуты, а то и сами втягивались, лучшие из лучших наших актеров и режиссеров, и с каждым следующим спектаклем и ролью их лица в жизни, их речи с театральных, партийных и общественных трибун становились все более похожими на лица и речи тех, кого они изображали на сцене? Стареющие вместе со своими героями, их творцы сегодня тоже на пороге ухода со сцены, оставляя на грани развала театр, как их персонажи — заводы. Сегодня в репертуаре московских театров нет ни о д н о й производственной пьесы — естественная и здоровая реакция театров и зрителей.

Подобно тому как мы имели свой вариант «театра абсурда», был у нас и свой «театр жестокости», или — иначе — «историко-революционная» драматургия. Здесь не место выводить ее родословную (истоки, конечно, в пьесах «просто революционных» — первых лет революции), но вершина ее — театр М. Шатрова, и в частности «Большевики», его лучшая и самая жестокая вещь, апология красного террора. И вот один за другим сходят с московской сцены старые спектакли, посвященные революции, — «Нахаленок» М. Шолохова, «Мистерия-буфф», «Оптимистическая трагедия», даже булгаковский «Бег» и «Революционный этюд» М. Шатрова, возобновленные «Современником» к XXVII съезду «Большевики». И совсем недавняя «Диктатура совести» в этом году уже не идет на сцене Театра имени Ленинского комсомола. Чуткий не только к общей тенденции времени, но и к его нюансам, М. Захаров снял этот спектакль. И впрямь, если в 1986 году вопрос, обращенный в зрительный зал: «Что вы думаете о товарище Рашидове?» — казался синонимом самой гласности, то сегодня в пору спрашивать, «считаете ли вы товарищами Ленина и Свердлова», и у меня нет уверенности, что большинство зрительного зала ответит на это утвердительно.

Если еще в начале 1986 года прогрессивный критик в рецензии на спектакль «Большевики» восхищался «чистыми людьми», принявшими решение о красном терроре, то кто же сегодня, кроме закосневших ортодоксов, рискнет их так назвать? Если еще в 1986 году прогрессивные критики отстаивали «немногие идеи» первых лет революции, возмеща о необходимости «плыть в революцию дальше», и чей голос поддерживали драматурги («Дальше... дальше... дальше...»), то сейчас все большему числу мыслящих людей становится ясно, что «дальше — тишина», что обещанная в «Так победим!» победа оказалась величайшим в истории России поражением, обернувшимся тяжким игром для разных слоев населения. Наступил век, по выражению В. Вейдле, «серпом срезанный, молотом сплюснутый».

В пьесе «Именем революции», обошедшей в конце 50-х сцены ТЮЗов, один подросток спрашивает другого: «А что такое Лубянка? Это страшно?» — «Смотря для кого...» — отвечает его собеседник. Мог ли не знать в 1957 году автор пьесы, что Лубянка была страшна для всех, в том числе и для самих злодеев, что творили суд в 1918 году и впоследствии сгнули в тех же лубянских подвалах. И потому страшна, что Дзержинский, герой пьесы «Именем революции», говорит о своих недавних соратниках-эсерах: «Ни о каком милосердии к этим мерзавцам не может быть и речи! Они все будут расстреляны!»...

Надо ли удивляться, что созданный в 1921 году Всероссийский комитет помощи голодающим просуществовал всего два месяца, а члены его были арестованы по приказу Ленина, давшего газетам директиву в отношении членов комитета: «Изо всех сил их высмеивать и травить не реже

одного раза в неделю в течение двух месяцев². Где, в каких условиях, в какой стране высмеивают и травят людей, которые оказывают помощь голодающим?..

Среди тех, кто сегодня находится на разных платформах КПСС — демократической или марксистской, правой или левой, консервативной или либеральной, — немало таких, кто в возрасте десяти—пятнадцати лет сидел в зрительном зале ТЮЗа и усваивал: «Никакого милосердия... Все будут расстреляны». Слушал реплику Ленина, возмущавшегося теми, кто «найдут негодяя с партбилетом и оклеветают всю партию. Будут кричать о голоде и поставят под сомнение всю власть Советов». И многие ли из тех, кто в конце спектакля «Большевики» в «Современнике» в 60-е встал и пел «Интернационал», отдавали себе отчет в том, что приятие красного террора (ужаса в переводе на русский, ужаса, описанного И. Буниным в «Окаянных днях», И. Шмелевым в «Солнце мертвых») они берут на себя моральную ответственность за расстрел царской семьи, истребление духовенства, дворянства, буржуазии, купечества, крестьянства; что будущие «крутые маршруты» — порождение и следствие «большевиков», что, аплодируя им в 1967 году, зал аплодировал танкам на улицах Праги и БТР на улицах Кабула, высылке А. Солженицына исылке А. Сахарова!

Железнодорожная станция. Назовем ее «Марксистско-ленинская». На одной платформе стоит М. Шатров, на другой — Н. Андреева. Наблюдатель не может не заметить, что они стоят на разных платформах, прот и в друг друга, что поезда, которых они ждут, идут в прот и в оположные стороны. Верно. Но верно и другое. Станция одна и дорога одна — «в пределах социализма», как говорили еще недавно. Станция чудовищно запущена, с пустым буфетом. Это наше настоящее. В пьесе «Именем революции» Ленин говорит: «Ах, как бы хотелось увидеть, что будет с Россией лет через сорок — пятьдесят». Через семьдесят лет он увидел бы, как очередь от Мавзолея переместилась в «Мақдоналдс».

Быть может, потому, что в политике все не так наглядно, как в экономике, в репертуаре московских театров, в отличие от советского «театра абсурда», «театр жестокости» еще держится. Странным образом еще идут «10 дней, которые потрясли мир» — спектакль, столь расхожий с нынешними убеждениями его постановщика. Отчасти это можно объяснить тем, что «идеология» из спектакля за четверть века выветрилась и он являет собой скорее ассортимент режиссерских приемов раннего Ю. Любимова, своего рода учебный материал. Крайне редко, но идет «Так победим!» — по МХАТе, и лишь шатровский «Брестский мир» у вахтанговцев остается уникальным манифестом советского «театра жестокости» второй половины 80-х годов.

И все же можно сказать с известной долей уверенности, что официальные линии нашего театра предшествующего десятилетия, олицетворением которых являются Г. Боровик, А. Гельман, М. Шатров — лауреаты Государственных премий по драматургии 1977—1987 годов, себя исчерпали. В статье «Политический театр Михаила Шатрова» публицист Михаил Назаров, полагая, что пьесы этого драматурга отвечают критерию «частичной правды», писал:

«Но, может быть, настает времена более строгого критерия? А именно: важно не только то, чтобы произведение возвращало нам частицы новой, хоть еще и неполной, правды, но чтобы автор не писал также заведомой неправды? То есть не настало ли в СССР время критерия «жить не по лжи», предложенного 15 лет назад Солженицыным?»

Этому критерию произведения Шатрова, конечно, не удовлетворяют. Не только потому, что белогвардейцы у него готовы «сжечь пол-России и даже залить кровью три ее четверти», «чтобы загнать стадо в стойло», когда «на фонарных столбах закачаются Родзинки и Миллюковы, Струве и Бердяевы» (?!) — такова программа генерала Корнилова в пьесе). Но и потому, что почитать Шатрова — так не было благороднее и искреннее демократа, чем Ильич. Тот самый, который, вспомним еще раз, писал, что ради достижения цели надо «пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае надобности — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы умолчания. раскрытия правды» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 38). В этих методах, как свидетельствует история, преуспели и Ленин, и все прочие «положительные герои» шатровских пьес, начиная с железного Феликса и кончая «любимцем партии» Бухаринным, взгляды которого Шатров выдвигает как главное направление перестройки... Избранная Шатровым область реформаторства — идеология и история режима — такова, что любое нарушение стереотипов здесь чрезвычайно болезненно для партии. Ибо с этими темами связана проблема обоснования самого права КПСС на власть. Партия, которую никто не выбирал, которая захватила власть силой, и ее единственное оправдание этого — что она якобы владеет «единственным верным учением». При таком условии официальные авторы будут вынуждены лгать на эти темы столько, сколько эта партия будет управлять и театром, и средствами информации, и страной³.

Как же жить театру в условиях многопартийности? Линию какой партии намерен проводить сейчас СТД? А если он лишь для того, чтобы проводить программу XXVIII съезда, то, быть может, он и не нужен?

Я помню день выборов на Учредительном съезде СТД РСФСР. В фойе Совмина РСФСР, пока шло заседание партгруппы съезда, Г. Товстоногов и Б. Покровский о чем-то беседовали. И было ясно, что здесь сидят люди, представляющие собой направление в искусстве, а за стеной — члены партии что-то решают. За них и про них. Так было в 1986 году. Сохранится ли это в 1991-м и по-прежнему ли театральное руководство будет представлять собой «театральный райком»?

Очищение театра идет не сверху, от любой надстройки — государственной или «общественной», — оно идет «рыночным путем», через отказ от того, что зрительно обрыдло, и путем проб и ошибок, путем поисков ответа на его духовные запросы. Ясно одно, что единственный «крутой маршрут», выводящий художника из лжи, абсурда и жестокости, — «путь золотой и крылатый, где

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 141.

³ М. Назаров. «Политический театр Михаила Шатрова» («Вече», (Мюнхен), 1988, №31, стр. 102—103)

⁴ Некоторым новым тенденциям в репертуаре театра автор статьи посвятил статью «Императорский театр» («Литературная газета», 13.06.90).

он вышнюю волей храним», путь, каким на нашей недавней памяти шли Пастернак, Ахматова и Солженицын.

Разумеется, в голову приходит вопрос: ну уйдут со сцены «большевики», а кто их заменит? А что вместо? Надо полагать, вопрос этот возникает отнюдь не только в связи с формированием театрального репертуара...

Попробуем ступить на почву прогнозов, сейчас, может быть, особенно зыбкую. Думал ли Б. Ельцин, став секретарем ЦК КПСС в июле 1985 года, что в июле 1990-го он перестанет быть рядовым ее членом? Полагаю, это не приходило в голову ни ему, ни его окружению и сверху и снизу. Да что пять лет, счет идет даже не на годы — на месяцы, а наше нетерпение все торопит, но как за короткое время распутать узлы противоречий, накопившихся за три четверти века? Заметим только, что, прогнозируя, приходится иметь дело с таким материалом, как человек, способный из апостола превратиться в предателя, а из гонителя — в апостола; да еще в сфере искусства, где элемент новизны, непредсказуемости входит в самую его сущность как важный фактор; да еще в области театрального искусства, искусства многосоставного, зависящего от уровня драматургии, от цен на материал, из которого делают декорации, от буфета и даже от работы транспорта и криминальной ситуации на городских улицах во время театрального разъезда... Да еще в наше неутоявшееся, тревожное, чреватое многими опасностями время, с характерной для периода смуты неуверенностью, недоверчивостью, раздражительностью, пронизывающей жизнь по вертикали и горизонтали.

Исторические аналогии здесь вряд ли помогут, ибо наше время не имеет прямых исторических аналогий. Любое «эр сопоставление» — с февралем семнадцатого, с зеплом — наталкивается на такое количество несовпадений, что натяжки становятся видны невооруженным глазом. А главное, наверно, в том, что недостает Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, Михаила Чехова...

Не могоает и сравнение с делами литературными. «Новая проза», русское зарубежье — вот существенный круг чтения в 1989—1990 годах. Предпринимались и в театре попытки ориентироваться на это, но точас же возник ряд препятствий. Проза, скажем, С. Каледина на сцене требует условного воплощения (что может лишить ее своеобразия), иначе она падает сценическим натурализмом. (Кого не пугает, пусть рискнет поставить «Одлян» Л. Габышева...) Дело не в самом по себе натурализме «Стройбата» — как человек, отслуживший год в таких условиях, скажу, что при чтении этой повести у меня возникло ощущение, что С. Каледин просто переписал мой дневник, только у меня все «хорошо кончилось», а у его героев плохо. Но у сцены своя специфика: что при чтении «нормально», то на сцене или фальшиво, или противно.

Русское зарубежье, пришедшее сегодня на помощь текущей литературе, вряд ли окажет такую же помощь театру. Бунин пьес не писал, пьесы Набокова несопоставимы с «Даром» или «Подвигом», Солженицын сам к своим пьесам относится скептически, а писатели меньшего масштаба соответственно и пьесы писали поуже. И хотя такие названия, как «Стройбат» или «Республика труда», значатся в репертуарных планах театров и могут привести к частным достижениям, вряд ли читательские симпатии совпадут со зрительскими.

1987—1989 годы прошли под знаком вторжения на сцену «западного товара» (социолог и этот факт примет к сведению). Мрожек захватил подмостки так же уверенно, как А. Софронов при Хрущеве и А. Гельман при Брежнев. Беккет, Ионеско, Миллер, Олби, Пинтер... — все это на нашей сцене выглядело как подержанные иностранные автомобили: у кого и таких нет, тем в диковинку, ну а знатоки морщат нос.

Сезон 1989/90 принес три спектакля, пользовавшихся, говоря «рыночным» языком, повышенным спросом: «Павел Ю Д. Мережковского в ЦАТСА (режиссер Л. Хейфец), «Поминальная молитва» Г. Горина по Шолом-Алейхему (режиссер М. Захаров), «...И аз воздам» С. Кузнецова в Малом театре (режиссер Б. Морозов). Спектакли, разумеется, разные, но их сближает не только успех у зрителей, но и в какой-то степени сама природа успеха, ответ на зрительский запрос. В спектаклях говорится о проблемах политических, национальных и религиозных; они вызывают к милосердию и состраданию; они будят протест против убийц и непрошенных устройств благоденствия на земле. И еще — режиссерам удается собрать более или менее крепкую команду вокруг популярных актеров старшего поколения — О. Борисова (Павел), Е. Леонова (Тевье), Ю. Соломина (Николай II). Можно предположить, что спектакли с такой направленностью, на достойном уровне поставленные, с использованием неистраченных великолепных актерских сил представляют собой некоторое течение в современном театре.

Выскажу и еще одно предположение. Как бы ни соперничали зрители семье Тевье-молочника или Государя, они смотрят спектакль не о себе. Думаю, спектакль о Степанакерте или Оше зритель смотреть не захочет — малейшая неправда в нем покажется оскорбительной, да и в рамки эстетических категорий такой материал едва ли удастся вмести. Отсюда еще одна репертуарная догадка, подтверждаемая как фактами истории театра (при всей уже отмеченной сомнительности такого рода аргументов), так и некоторыми «театральными фактами» сегодняшнего дня. Стоит задуматься: почему на события октябрьского переворота Станиславский откликается «Канюном Байрона (1920)? Почему Немирович-Данченко в 1920 году ставит оперетту Лекока «Дочь мадам Анго», в 1922-м «Периколу» Оффенбаха, а в 1923-м — «Лизистрату»? Почему Малый театр в 1917 году ставит «Саломею» и «Флорентийскую трагедию» Уайльда, в 1918-м — «Проделки Скапена», в 1919-м — «Собаку садовника» Лопе де Вега и «Электру» Гофмансталь, в 1920-м — «Женитьбу Фигаро», в 1922-м — «Пути к славе» Скриба? Почему Таиров в 1919 году ставит «Адриенну Лекуврёр» того же Скриба, в 1920-м — Гофмана и Клоделя, а в 1921-м — «Ромео и Джульетту», в 1922-м — «Федру» Расина, почему Вахтангов в том же 1922-м ставит «Принцессу Турандот»? А можно вспомнить и более близкую историю: в сезоне 1945/46 года на сцене МХАТа появляется «Идеальный муж» Уайльда, а на сцене ЦТСА — «Учитель танцев» Лопе де Вега, и никакая борьба с низкопоклонством перед Западом не помешала этим спектаклям просуществовать около сорока лет.

Вот почему, когда на афишах или в репертуарных планах театров нынче появляются «Иллюзия» Корнеля, «Валенсианские безумцы» Лопе де Вега или «Идеальный муж», я думаю, что театры идут навстречу зрительскому желанию увидеть на сцене не себя и не своего соседа, а других людей и другую жизнь, желанию, столь часто появляющемуся в период душевной депрессии от социальных катаклизмов, тем более что себя зритель видит в телерепортажах со съездов, митингов, прилавков магазинов, из милиции, суда, с кладбищ и из роддомов, с сеансов экстрасенсов — тут вам и театр, тут вам и цирк.

Хочется «иллюзии» — получаешь «Иллюзию» Корнеля...

Но кроме этого, есть еще и вера. Робкие попытки «Христианского театра» состоялись в прошлом сезоне — надо полагать, что продолжится и в предстоящем. В конце концов чем, как не «только верой» во что-то или в кого-то, мы и живем сегодня.

Вот лишь несколько пунктирно намеченных линий репертуара начала 90-х годов, выведенных чрезвычайно осторожно, с пониманием того, что жизнь может опровергнуть предполагаемое и желаемое, — в конце концов, могут ведь и большевики вернуться, в том числе и на сцену. И все же и на политической арене, и в сфере искусства, и в партере, и на сцене ждешь новых людей, вглядываешься в новые лица.

...Когда стоишь спиной к Большому театру, перед тобой разворачивается многозначительная панорама. Напротив — бюст Маркса. Налево — проспект его имени упирается в памятник Дзержинскому и переходит в Лубянку. От Маркса до Дзержинского и Лубянки всего несколько шагов... А повернешься назад — перед тобой площадь Свердлова: Большой театр, направо Малый в ремонте, налево Центральный детский, с которым столько связано поколений московских школьников. И на вопрос, когда же в театре начнется подъем, рискну ответить: когда старая московская площадь вновь станет Театральной.

PS. Эта статья была написана в июле 1990 года. Немыслимая ситуация с «Новым миром» (как, впрочем, и с другими изданиями) предоставила автору возможность дописать несколько строк в феврале 1991-го. В промежутке между этими двумя датами я высказал соображения по поводу театральной ситуации в статье «Праздник Осени, или Мартобря 86 числа» («Литературная газета», 5.12.90). Ироническая интонация статьи призвана была смягчить впечатление безысходного хаоса, охватившего страну и, как следствие, театр. Январь 1991-го окрашивает финал статьи трагической иронией, тяжкие проблемы театра отходят на задний план, уже не соотносятся со страшными темами жизни.

Кровь в Молдавии и Осетии, Литве и Латвии; «500 дней» и «Как нам обустроить Россию»; разъединение писателей и объединение дворян; распад Союза и союз Германий; президент Союза получает Нобелевскую премию — лауреат Нобелевской премии отказывается от премии России; возлагаются цветы к Мавзолею примерно в те же дни, когда в печати и с экрана телевидения Ленин именуется «величайшим злодеем XX века»; уходят в отставку 20-е годы рождения (Егор Лигачев и другие), на смену им один за другим приходят «рожденные в года глухие», в 1937—1938, — «дети страшных лет России»: Кравченко, Пуго, Янаев, Павлов, Маслюков; обнищавшей стране шлют посылки, а новый премьер-министр реализует принципы экономики двухсотлетней давности, сформулированные известным экономистом XVIII века Иваном Посошковым: «Рубль — это не серебро, а слово правителя»; праздник встречи с Н. Струве и «православным богатством богословия» издательства YMCA-PRESS; создание Союза всех православных братств — и религиозные распри на Украине, убийство А. Меня; Патриаршие богослужения в Кремле и храме Василия Блаженного, обретение мощей преподобного Серафима Саровского... Кончается короткий отрезок времени, шесть лет изживающий семидесятилетнее насилие над миром и человеком, но так и не изживший. Воистину: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить?»» (Лк. 14. 28—30). Разные «основания» закладывались в 1917, 1922, 1953, 1964, 1985 годах. А башня так и не была построена. Быть может, пора перестать перестраивать то, что построить невозможно?

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС

*

СТРАНА СЛОВ

В 1984 году, когда мы начали заниматься шестидесятыми, они казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Застывшая в неподвижности советская жизнь делала бурную реальность оттепельных лет соблазнительной для исследователя.

Перестройка, конечно, смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, здесь мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций. Поэтому, надеемся, новый этап советской жизни сделал историю лишь более актуальной.

Уточним: нас интересовала не история первой оттепели, которую принято датировать 1956—1964 годами, а эпоха собственно 60-х, которые, по нашему счету, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 1968-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип шестидесятника, который так часто вспоминается сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка обнаружить некоторые характерные тенденции, воспроизвести атмосферу 60-х, описать не события, а нравы, образ жизни, стиль эпохи.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ. С тех пор как страна взяла курс на строительство коммунизма, все острее становился вопрос — кому его строить?

Чтобы ответить на этот вопрос, 60-е должны были найти своих героев. Не Павку Корчагина, не Александра Матросова, не Алексея Стаханова, а кого-то нового. Старые герои свое дело сделали. Можно спорить, хорошо или плохо, но уже было ясно, что будущее должны строить люди, не запятнанные прошлым.

Коммунизм призван был исправить все ошибки социализма. Новая большая государственная правда обязана базироваться на прочном фундаменте, не подверженном политическим толчкам. XX век резонно предлагал в качестве фундамента науку. Советское общество с ним согласилось и произвело ученых в героев своего времени.

В глазах общества ученые обладали решающим достоинством — честностью. Она же искренность, порядочность, правдолюбие. Эпоха делала все эти слова синонимами и вкладывала в них глобальный, мировоззренческий смысл.

Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и математикой пролегла незатейливая, но убедительная параллель. Наука стала критерием объективности, который позарез нужен обществу. После того как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы. Наука казалась тем долгожданным рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на фундаменте точных знаний. И осуществят вековую мечту человечества не сомнительные партработники, а ученые, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали представлять силу и здоровье нации.

Результаты не заставили себя ждать. Впервые советские физики стали получать Нобелевские премии (1958, 1962, 1964). Была реабилитирована кибернетика. Шла отчаянная борьба за генетику. Возникали новые научные центры — Дубна, Академгородок. В 1962 году по экранам с огромным успехом прошел фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года». Новый герой был найден.

Молодость и талант соответствовали коммунистическому курсу страны. Ирония позволяла спуститься с героического олимпа до повседневности. Мелкие грешки оттеняли патетику подвига. А смертельный риск придавал необходимую значительность всему остальному. Ну и конечно герой должен был быть физиком. Эта наука объединяла тогда авторитет абстрактного знания с практи-

ческими результатами. С атомной бомбой, например. Кстати, молчаливо подразумевая связь физики с войной, добавляла герою значительности. Если линия фронта проходит через ускорители и реакторы, то физики всегда на передовой. Эпоха сняла с них мундиры и нарядила в белые халаты.

Пожалуй, наиболее существенной чертой облика нового героя был юмор. Физики не просто шутили, они обязаны были шутить, чтобы оставаться физиками. Восторг вызывало не качество юмора, а сам факт его существования:

Плазма — очень хитрый газ,
Плохо слушается нас.
Хороша ты, с маслом каша.
Холодна ты, плазма наша

Тут, конечно, существенно панибратское отношение к тайнам природы. Но еще более существенно, что юмор поднимал ученых над толпой. Они трудились шутя.

Пафос плохо сочетается со смехом: смех унижает пастику. Герои могут смеяться, но лишь отдыхая от подвигов. А вот ученым 60-х смех не мешал. Напротив, он подчеркивал, что труд им не в тягость. Жертва, которую они приносили на алтарь науки, была сладка и желанна.

Традиция предписывала подвигу мученический характер. Она утверждала, что к звездам можно попасть только через тернии. Новые герои смещали акценты с результата на процесс. Наука прекрасна сама по себе, даже без славы и зарплат. Ученые считались привилегированным сословием, и их привилегией был творческий труд. Страна с завистью следила за людьми, наслаждающимися своей работой. Наука требовала к себе искренней любви и отвечала взаимностью: она дарила ученым счастье творчества. И эта награда была растворена в ней самой.

Ученые стали не просто героями. Общественное мнение превратило их в аристократов духа. С толпой их связывали лишь человеческие слабости (твист). Наука становилась монастырским орденom, слившим цель со средством в единый творческий порыв. И кто посмеет вмешаться в прямой диалог с природой? Ведь не авторитет, а истина — высшая инстанция в науке.

Чистое и светлое царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал Чернышевский. Счастливицы, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя — без крови, жертв и демагогии. Шутя.

Естественно, что нагляднее и доступнее всего создавала и обслуживала миф о науке как бы специально для этого придуманная фантастика. Не случайно этот жанр стал самым популярным в стране. Любопытно проследить эволюцию представлений о социальной функции науки в сочинениях братьев Стругацких, лучших и самых любимых советских фантастов.

В их первой книге «Страна багровых туч» (1959) коммунистическое общество еще очень мало отличается от советской действительности ранних 50-х. И вот всего через пять лет появилась другая книга Стругацких — «Понедельник начинается в субботу». В ней уже не осталось и следа от туповатых ученых, дисциплинированно цитирующих «Правду» XXI века. Новые герои Стругацких полностью соответствуют бородатым кумирам 60-х годов. Они погружаются в веселую кутерьму науки со всем пылом молодых энтузиастов. Никто из них не осмелится встать в позу, чтобы произнести монолог о величии своих дел. Поэтому за них это делают авторы: «Люди с большой буквы... Они были магами, потому что очень много знали... Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться». Как ни наивно выглядят постулаты этой научной религии, они оказали огромное влияние на общественные идеалы 60-х.

Чтобы перегнать Запад по числу бомб и урожаем кукурузы, ученым необходима была определенная свобода. И они ее получили.

Облеченные доверием партии и народа, ученые не могли не чувствовать своей ответственности перед обществом. Для них — единственных в стране — наука была не мифом, а реальностью. Они видели в ней социальный рычаг и не имели права пренебрегать ее возможностями. Научная интеллигенция явочным порядком реализовала запретные для других конституционные свободы. Когда в 1966 году в ЦК было направлено письмо об опасности реабилитации Сталина, под ним стояли подписи крупнейших ученых страны — П. Капицы, Л. Арцимовича, М. Леонтовича, А. Сахарова, И. Тамма. Вот как позицию ученых выразил академик Капица: «Чтобы управлять демократически и законно, каждой стране абсолютно необходимо иметь независимые институты, служащие арбитрами во всех конституционных проблемах. В США такую роль играет Верховный суд, в Британии — палата лордов. Похоже, что в Советском Союзе эта моральная функция выпадает на Академию наук СССР».

Ученый растворил двери храма и пошел в народ или правительство. Снимая с себя сан, превращался в гражданина.

Однако в России это место было занято поэтом. Это про него было известно, что он «гражданином быть обязан».

Абстрактное знание терпели, пока оно было знаменем эпохи. Но когда сами физики захотели спуститься с эмпиреев, чтобы заняться черной работой государственного строительства, общество увидело в них равных. Перед равным стесняться не стоило. Раз ученые опустили до реальности, реальность сможет за себя постоять. Когда физики перестали шутить, с ними перестали считаться.

Все это означало, что спор между физиками и лириками вступил в новую фазу.

Когда таблица умножения не справилась с жоммунизмом, ее признали ошибочной. Недавних кумиров обозвали «образованщиной». На разгул материализма Россия ответила идеалистической реакцией. Лирики брали реванш у физиков, поэзия торжествовала над прозой, и романтическое невежество отплясывало на руинах уже не нужных синхрофазотронов. Правда ушла в почву.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ АЙСБЕРГ. АМЕРИКА. Каждая страна ввозила в Россию свои культурные ценности. И никого не смущала специфика этого импорта. В 60-е Польша, например, поставляла в СССР абстракционизм, Италия — кино и болоньи, Бразилия — футбол, Франция — песни и пикантное свободомыслие.

Но гигантская могучая Америка выпадала из этого списка. Она была слишком чужой и слишком далекой, чтобы сосредоточиться на двух-трех пустяках. Как и во времена Колумба, Америка была землей возможностей. 60-е видели в ней реализацию государственных и человеческих потенций.

Друзьями советского народа становятся Рокуэлл Кент и Ван Клиберн. Тройню называли в честь космонавтов — Юрий, Герман, Джон. Чтимой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходил дар Нового Света — кукуруза.

В 60-е Америка вошла в каждый советский дом. Американец — герой каждого анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева. И главная цель советского общества — коммунизм — недостижима, пока СССР не обгонит США.

И все же по-настоящему Америку в России представлял человек, который там толком и не жил. Который откровенно предпочитал Испанию родному Иллинойсу. Который вместо автогонок воспевал корриду и ловлей рыбы интересовался больше, чем президентскими выборами. Главным американцем в советской истории стал писатель Эрнест Хемингуэй. Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников.

Хемингуэй существовал не для чтения.

60-е перевели на русский не столько его книги, сколько его манеру жить. При этом писателем распоряжались с тем бесцеремонным произволом, который может оправдать только всепоглощающая любовь.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами.

Хемингуэевский стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.

По сравнению с теологической атмосферой сталинской эпохи хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся. Телесные функции организма здесь важнее умственных.

В советской кулинарной книге (1953) сказано: «Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека». У Хемингуэя едят, потому что вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х.

Грубость, имевшая много оттенков, стала одним из первых ее проявлений. Грубость — это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии: есть то, что есть, и не больше. Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засильем аллегорий. Поэтому он так настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящие старик и настоящее море.

Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, закономерен, хоть и странный. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, книжное знание подозрительны. Эрудиция несовместима с грубой природой. «Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, — не помню чего. Мне сбор показался красивым...»

Однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимали, что он впадает дурака. Айсберг был поистине тотален. Чем больше немудреной простоты виднелось на поверхности, тем утонченной казался невидимый багаж знаний. Нельзя рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться. Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям — вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники. В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Кто же были «свои» в России?

Смена эпох выражается сменой знаков. Новое начинается тогда, когда старое заменяется на противоположное.

Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. Оно, как басня, имело мораль. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они просто заменили знаки. И общество 60-х стало несерьезным.

Продуманное, ответственное, целеустремленное отношение к жизни привело к катастрофе, о которой народу подробно рассказали, в 1956- и 1964 годах. Естественно, что выход из тушика следовало искать в противоположных мировоззренческих установках.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь — от государственной до частной — стала главным врагом 60-х. «Правда — бог свободного человека». Этот горьковский тезис положили на хемингуэвскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному — чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или — хотя бы — говорить грубо.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели предельную честность и надрывную откровенность. Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий — искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэвского диалога. Герой «Фиесты» признается: «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю». Грубость заменяет ему нежность, хамство — лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу. Но она загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя выставлять наружу — иначе они засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, защищавшей чувства от инфляции. Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство своих. Те, кто воспринимал жизнь напрямую и не стеснялся об этом говорить, попадал в армию непроходимых дураков.

У своих было хорошо. В их компаниях всегда царил особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием своих адептов. И самым ярким, самым значительным событием в хемингуэвском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов. Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолично замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

Круг читателей хемингуэвского стиля не имел своей программы. Объединяло их только мироощущение, в котором сконцентрировались самые экстремальные черты философии Хемингуэя: примат интуитивного подхода над аналитическим, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное — абсолютное преимущество подразумеваемого перед наличным, подтекста перед текстом.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Вот почему эфемерные радости дружеского общения ценились несравненно выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть своим казалось, да и было, важнее любых официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х так заметно рушились незыблемые устои, что самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы.

Дружба — эмоция, оккупировавшая 60-е, — стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального. Остракизм своих был более грозной силой, чем служебные неприятности. Этикет требовал честности и искренности. Пока (в начале 60-х) эти качества не противоречили общегосударственной политике, можно было совмещать служение родине с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора, которой раньше практически не знали, появилась только благодаря мощному влиянию альтернативного общественного мнения. А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров. Допотопной глупостью стали казаться торжественные собрания, кумачовые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере фамильярного контакта. Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность (тот же КВН) давала сто очков форы профессионалам. Музыка исполняли не симфонические оркестры, а одинокие люди с гитарой. И даже Первый секретарь Центрального Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех жанров — жанру дружеской попойки.

Естественно, что вместе с древними карнавальными формами 60-е оживляли и старинную традицию философского пира. Как и во времена Сократа, пьянство служило средством утверждения принципиально неофициального общения. Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматичного ответственного, гражданского мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Сам характер алкогольного действия предусматривал отсутствие иерархии пьющих. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру: все было в

равной степени важно и не важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, подвести ее к тому состоянию, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Только атмосфера тотальной дружбы позволила родиться такому оригинальному жанру. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х. Пожалуй, можно сказать, что в ней эпоха выразила себя с наибольшей свободой и фантазией.

В 60-е больная печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья — в мистическом, полубожественном творческом горении, которое осеяло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал.

Но в отличие от сократовских симпозионов здесь рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось не в философской полемике, а в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удалиться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст. Тогда сообщая они сооружали из ничего не значащих реплик общее интуитивное родство, тогда им удавалось дойти до *н а с т о я щ е г о*, в чем бы оно ни заключалось. Иногда *н а с т о я щ е* проявлялось в драке, иногда в готовности пропить собрание сочинений Рабиндраната Тагора, иногда в автографе, взятом на спор у постового милиционера. Карикатурный, абсурдный поступок был внешней формой глубинного карнавального осознания несерьезности мира. И пьянка превращалась в акт служения этому идеалу. Она становилась мистерией, в которой посвященные отправляют эзотерический культ. Пьянка, как и религия, давала не результат, а давала состояние. И оставляла она после себя не похмелье, а братскую приобщенность к высшему знанию.

Чтобы удержаться на такой метафизической высоте, пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий карнавал не существует без трагической темы. Боль, смерть, кровь, разочарование могут им профанироваться, но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс.

У Хемингуэя трагедия оставалась в подтексте. Война, бой быков, несчастная любовь — все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками. Но Советский Союз не вел тогда войн, не разрешал корриду, и тюрьма еще не казалась неотвратимой альтернативой. Поэтому трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной мужественности — готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепсов.

Собственно, настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и адепты пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастливы ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями и — часто — настоящими пьяницами. Они, как Рахметов, уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но все откладывалась пора созидания — книг, государства, семьи.

Хемингуэвский образец создал сильного, красивого, правильного человека. Но не показал, что ему делать. В России опять появились «лишние люди».

Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Разрушительная деятельность ранних 60-х закоснела в уже устоявшихся формах протеста против серьезного мироощущения. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйству фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью. Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми. Если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя, то теперь — его недостатки. Подтекст мстил за свою неопределенность. Жажда искренности превратилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, стала просто хамством. К тому же лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов: если нечего делать — все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хемингуэевской школы — пьянство: оно неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэвский идеал слыл с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же — с бородой, гитарой и стаканом. Но приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну. И оказалось, что она очень похожа на ту, перед которой преклонялись раньше.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины (только в зоне можно найти исключительно мужское общество). Они тоже презирали книжное знание, их тоже интересовало только материальное начало. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к странному феномену. Романтический феномен сменился натуралистическим. Бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом. Напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной, новый герой эпохи, — незаконнорожденный сын русского Хемингуэя. Но при всей

яркости, обостренности, экстремальности облика он крайне далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемингуэя было отрицательным (в целом) — оглуляющим — созданием образа декоративного мужчины, в котором «честность» заменяет мозги».

Хемингуэевская эпидемия прокатилась по России, оставив после себя оскомина. Но как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. «Он мог научить, как жить, но не давал ответа — зачем», — сетуют теперь его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Он учил воспринимать жизнь как данность, оставив в подтексте все метафизические проблемы, ей сопутствующие. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил всему поколению презрение к позе. Он подарил счастье мгновенного, внерассудочного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей.

Конечно, хемингуэевский идеал негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы бывают куда опаснее мужественного и застенчивого умолчания.

ДОРОГА НИКУДА. Одной из важнейших стилевых доминант 60-х была стихия движения. После многолетнего застоя в сознании страны произошел сильнейший сдвиг, и сдвиг вызвал движение. Съехало с привычных мест все: мнения, критерии, верования — и люди. Стиль эпохи требовал легкости, подвижности, открытости. Даже кафе стали на манер аквариумов — со стеклянными стенами всем на обозрение. И вместо солидных, надолго, имен вроде «Столовая № 43» города и шоссе-ные дороги страны усыпали легкомысленные «Улыбки», «Минутки», «Ветерки». По дорогам с ветерком поехали невнятные люди без командировочных удостоверений. Куда и зачем? — да куда и за чем угодно. В том-то и состояла новизна, что определенной цели у этих кочевников как бы и не было.

Цель выглядела туманно и заманчиво — романтика. Именно невнятность цели обеспечивала сознанию ту новую питательную среду, в которой свобода — любая, вообще, как таковая — была главным компонентом. Собственно, в те годы романтика и свобода стали синонимами.

В 50-е тоже ехали. «Едем мы, друзья, в дальние края...» — пели обреченные на созидательный счастливый труд целинники. Но там было не только все ясно, но и вполне официально санкционировано. Когда-то таким манером отправлялись на коллективизацию двадцатипяти тысячники, чтобы застыть в бронзе, приняв смерть от кулацких обрезов. Партийная путевка на освоение целины была воинским приказом, не подлежащим обсуждению.

Новое брожение по стране такой определенностью не обладало. Это было нечто вроде стихийной миграции леммингов, только шестидесятники топили себя в бескрайнем море романтики. Точнее всего, как это часто бывает, сформулировала задачи и цели движения песня. Не просто комсомольская песня о тернистых путях, хотя в этой сфере активно трудились сотни профессионалов во главе с композитором Александрой Пахмутовой: «Твой путь и далек и долог, и нельзя повернуть назад...» Официоз был продолжением героики первых пятилеток и той же целины.

Но 60-е принесли с собой новое явление (даже можно утверждать, во многом были сформированы им) — песни бардов. Барды — поэты, композиторы, музыканты и певцы в одном лице — так же универсальными оказались в умении превращать любую чувственную эмоцию в романтическое чувство. Они пели приблизительно то же самое, что комсомольцы, но их песни были искренни, неформально лиричны и отчаянно прославляли идею бесконтрольной свободы. Барды были по-своему целенаправленны:

Люди посланы делами, люди едут за деньгами.
Убегают от обиды, от тоски
А я еду, а я еду за мечтами.
За туманом и за запахом тайги.

Само слово «романтика», смутно связанное со школьным Байроном и «Бахчисарайским фонтаном», уверенно заняло место на первых полосах газет. Самый популярный раздел «Комсомольской правды» назывался, отсылая к повести беззаветного романтика 20-х годов А. Грина, — «Альпий парус». Особый вариант советского романтизма 60-х годов делал ставку на коллектив, и не быть романтиком не позволял общественный этикет, куда более сильный, чем передовицы и молодежные рубрики.

Что касается поэзии, то возникала ситуация такая, что в интонации новомирских критиков звучит даже некоторая растерянность: «Иногда кажется, что все поэты куда-то разъехались и в Москве или в Ленинграде стихов теперь больше не пишут, а пишут их преимущественно в тайге и в тундре, и в русской поэзии наступил кочевой период».

Даже у такого сосредоточенного на бытийных темах поэта, как Иосиф Бродский, тогда явственно выступали атрибуты романтизма: «Да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будет метели, снега, дожди и бешеный рев огня...» Бродский не миновал всеобщей участи геологических изысканий, и у него в эпоху движения появились стихи с характерными названиями — «Шествие», «Пилигримы»:

И 'значит', не будет толка
от веры в себя и Бога
И значит, остались только
Иллюзия и Дорога

Дорога — это было ключевым понятием. Она как заклинание являлась в песнях бардов, будто сама по себе дорога способна дать ответ на все жизненные противоречия. Так оно, впрочем, и выходило, потому что Дорога и была Иллюзией.

Известно было, что с собой берут в дорогу некоторое количество вещей — рюкзак, ледоруб, томик Гарсиа Лорки. Но главным походным предметом являлась гитара, которая заменила в 60-е забытую российскую гармонь и предвосхитила грядущий западный транзистор.

Вот так, налегке, с одной гитарой, в которой даже все струны не требовались, потому что бардовские аккорды прекрасно исполнялись на четырех, уходили в путь романтики. Идея необремененности вещами была для них столь же принципиальной, сколько и необязательность вознаграждения. Вместо денег была дорога.

В одном из главных фильмов 60-х — «Девять дней одного года» М. Ромма — ученый Куликов (И. Смоктуновский) приглашает к себе в институт ученого Гусева (А. Баталов):

«— Переходи ко мне. Мы получаем двенадцать квартир.

— Зачем мне квартира?..»

В рамках романтического этикета это говорится совершенно естественно, без всякого надрыва:

Вместо домов у людей в этом городе небо,
Руки любимых у них вместо квартир.

Стилевой разницей, который вносили в общий одухотворенный порыв одиночки-стяжатели, нарушал гармонию. Несогласным присвоили имя — мещане — и принялись отчаянно с ними бороться.

Обвинительное дело на мещанство нарастало снежным комом, и если когда-то бичевали только абажуры и слоников на комодах, то постепенно мещанство было объявлено истоком всех бед человечества — от невыученных уроков до фашизма. Агрессивная нравственность строителя коммунизма не хотела ждать, когда мещанин поползет к плотине с динамитом в зубах, — мещанина следовало обезоружить в стадии пассивной подготовки: на диване. Ему было слишком удобно лежать и не стремиться в путь. Наверное, поэтому особую ненависть романтиков вызывала мягкая мебель: плюшевое кресло, кровать с шарами, тахта-лира. Взамен следовало уснастить быт трехногими табуретками-лепестками, легкими торшерами, узкими вдовьими ложами, низкими журнальными столиками. Безразличный алюминий и холодная пластмасса вытеснили теплый плюш. Такая квартира ощущалась привалом в походе за туманами.

Чеканную формулировку романтизма оставил популярный бард тех лет Юрий Визбор:

Будем понимать мы эти штормы
Как желанный повод для борьбы.

Требовалась экстремальность ситуаций — такое развитие событий, которое вело бы к оптимистической трагедии. Проза и поэзия в изобилии поставляли образы героев, которые гибли даже не во имя чего-то, а просто чтобы выжить свою самодостаточность. Писатели косили персонажей, как в криминальных хрониках. Тихому врачу Саше Зеленину из аксеновских «Коллег» недостаточно было честно трудиться — требовалось бросаться на спасение неподведомственных больницы амбаров, чтобы нарваться на нож. Даже невинное право на современные вкусы приходилось отстаивать ценой жизни: «носил он брюки узкие, читал Хемингуэя», за это получил презрительную кличку «нигилист», что оказалось впоследствии ошибочным: «Могила есть простая среди гранитных глыб. Товарища спасая, «нигилист» погиб».

К услугам шестидесятников была суровая романтика революции и гражданской войны. Тогда тоже люди не занимались пустяками и даже не болели, следуя основному принципу: «Если смерти — то мгновенной, если раны — небольшой». Неулыбчивые нежные комиссары, всю мебель которых составляла деревянная кобура маузера, стали стандартными героями 60-х. С ними сверялись в мечтах, они снились ученому перед ответственным опытом, как в 50-е перед посевом колхознику снился Сталин. Апелляции к образам гражданской были настолько обиденными, что даже у совершенно разных литераторов тех лет встречаются почти текстовые совпадения. «Грозные, убежденные, в меня устремляя взгляд, на тяжких от каплей буденовках крупные звезды горят» — у Евтушенко. «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» — у Окуджавы. Именно шашкой красного конника молодой бунтарь рубит мещанскую полированную мебель в пьесе Розова.

Стихия бунта, мятежа, конной атаки подкупала своей искренностью и чистотой и сама очищала вовлеченных в вихрь страстей. Сильное чувство было ценно само по себе, причем настолько, что в человеческой жизни высвобождалась даже одна сфера, свободная от космического коллективного романтизма. Любовь.

Любови, как и дороге, надлежало быть трудной. Самый простой вариант — разлука. Ничуть

не сниженным аналогом революционного быта («Даң приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...») выступала мирная действительность: «Ты уехала в дальние степи, я ушел на разведку в тайгу...» Дистанции на одной шестой суши таковы, что географическим препятствиям конца не предвиделось. Возможны были сотни вариантов: он — рыбак, она — сезонный рабочий; он — строитель, она — геолог; он — ученый, она — стюардесса. И опять-таки внезапно обретенный возлюбленный мог погибнуть: спасая пассажиров, дамбу, улов трески или просто не дойдя чуть-чуть до россыпей колчедана.

Но все же настоящая революция в области постижения интимной жизни произошла без вмешательства стихий. Главная идея романтического конфликта — преодоление — была сохранена. Но теперь преодолевался стереотип семьи и брака, стереотип любви к «правильному» человеку.

Отбросить комфорт бытовой — палатка вместо «паласа» — нетрудно. Куда сложнее обстояло дело с комфортом социально-психологическим, в котором так уютно чувствовали себя социалистические любовные противоречия: у него 105 процентов нормы, у нее 110, но комсомольская свадьба не за горами.

Внебрачная любовь уже шла широким потоком, а в массовом искусстве предпочитали называть «это» как-нибудь по-прежнему — как в фильме «Девять дней одного года»: «Ты сказала, что мы с тобой... ну... решили пожениться?» Это означало, что персонажи слят друг с другом, и таинство брака тут ни при чем, но речевой этикет часто отстает от реалий жизни.

Единственным и достоянным обоснованием любви стало наличие сильной и искренней эмоции. В этом и состояла новизна: любить не за что-то, а просто так. Это уже само по себе было подвигом, и можно не посылать объект вождения на камчатские вулканы — хватало и того, что у него жена и дети. Интим был как бы личной границей каждого, куда не дотягивался пристальный взгляд общества. Убежище от социальных стихий напрямую пришло от Ремарка и Хемингуэя, но получило советское гражданство с тем большей легкостью, что иных убежищ не было. В этом, как в дороге никуда, была чистота романтической идеи: любить напряженно, вопреки быту и общественной морали, любить не за качества, а потому что любитесь.

В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы: ассонасная рифма (Рождественский, Вознесенский), лирический интим (Ахмадулина), белый стих (Солоухин). И — стихи стали петь.

Готовые образцы авторских песен существовали: французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Бааз, незатейливое гитарное бречание Пита Сигера. Наконец, свой Вергинский, воскрешенный в 60-е. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не сядились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в лугах с любимой.

Охранители встревожились: пугала массовость. На помощь гитаре пришел магнитофон, и песни распространялись в буквальном смысле со скоростью звука.

Своей высочайшей художественной вершиной творчество бардов достигло в песнях Булата Окуджавы. В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Визбора. Подобно тому как Евтушенко оставил конспект событий и направлений эпохи, Окуджава записал конспект настроений и эмоций. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет:

А женщину зовут Дорога .
Какая дальняя она!

Окуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке. В общем-то, весь мир для него был некой женщиной, Прекрасной Дамой, и в песнях Окуджавы идея интима доведена до бескрайних пределов. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, — Вера, Надежда, Любовь; его маленькие люди «в красной шапочке смешной» творят чудеса: «...и муравей создал себе богиню по образу и духу своему; даже к Всевышнему он обращается, как к любимой: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!»

При этой напряженной работе по превращению вселенной в свой личный мир — бесконечности в точку — Окуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда отстена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настоящей прозаической языком. Иронией, без которой столь хваленая в те годы искренность оставалась таким же плакатом, как и хулимая в те годы лакировка действительности.

Окуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а «мальчики», которых ждали «девочки», — и поколение заново узнавало войну. Арбат был предметом любовных переживаний («Ты — и радость моя, и моя беда») — и знакомый город обретал новые очертания. Даже скучный троллейбус стал в сознании рядом с пушкинской бричкой, потому что о нем пел Окуджава. И конечно, он пел о любви в самом прямом смысле — о любви к «плохой» женщине, — и незатейливый сюжет о каком-то конкретном, с именем и фамилией, невезучем любовнике каждый мог приспособить к себе:

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
 Ведь он ни в чем не виноват.
 Она сама его морочила.
 А он ни в чем не виноват.

Вселенский интим Окуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра. Такое лирическое сгущение позволило его песням пережить крах романтики, когда гитары перешли в разряд трогательного и стыдного — как солдатики и куклы.

Химеру Романтики погубила химера Интересной Работы.

Эти два направления долго сосуществовали, переплетаясь и совпадая, пока не разделились окончательно и не вступили в непримиримую борьбу.

Перелом в осмыслении места романтики в жизни и труде назревал постепенно, и если старший брат уже проникнут идеей будничности подвига, то младшему еще — хотя бы по возрасту — нужен штормовой труд рыбака, и на стройке он предпочитает лихо ломать старые стены, а не скучно возводить новые. Но настоящего конфликта между ними пока нет — они братья, и тут борются не мировоззрения, а опыт с молодостью, лучшее с хорошим.

Однако со временем точка зрения старшего брата возобладали как имеющая большую хозяйственную ценность.

Повседневность героизма, утверждаемая повсеместно, вызвала чудовищную нравственную смуту. Сама идея подвига как явления исключительного претерпела необратимую инфляцию. Романтик-эпидемиолог, герой-сантехник, подвиг на свинарнике... Получить четверку — это никак, а пятерку — героизм. Иерархия романтических деяний рухнула: подвигом стало все.

Бюрократизация мечты превратила мечтателя в бюрократа, а героический поступок — в фактор народнохозяйственного плана. Но что же осталось от романтики?

Прежде всего свободный романтический порыв, вызванный эпохой движения, породил саму идею лирики. Стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, рассказы Казакова, песни Окуджавы, «Иваново детство» Тарковского, «Листопад» Иоселиани, «Мне двадцать лет» Хуциева — все это лирика 60-х может с достоинством предьявить потомству. Романтическая революция вглубь, в интим, оказалась плодотворной — вероятно, именно потому, что надежнее всего была укрыта от заботливого внимания коллектива.

Еще пришла в жизнь и задержалась в ней экзотическая мечта, которая одна только, собственно, и была романтикой в чистом виде — какая-то неведомая и прекрасная Страна Дельфиния. Она одна и осталась, когда выяснилось, что подвигам, героизма и романтики так повсюду много, что уже и вовсе нет. Дельфиния могла быть где угодно — в иных галактиках, как в научной фантастике, или в собственной комнате, отгороженной от окружающего мира чем-то личным, своим: обычно, по-русски, книгами.

Еще называли «Зурбаганами» рыбацкие суда, а «Аэлитами» — кафе и дочек, еще кто-то привычно брэнчал про то, как «в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса». Но уже были смешны эти кукольные флибустьеры — такие игрушечные с безнадежно далекой дистанции. Бригантина поднимала паруса, чтобы уходить, и романтика обретала совсем иной, обыденный облик. «На безопасном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культурработника, плелась Романтика...» (Аксенов).

Коллектив оказался сам по себе, занятый своей Интересной Работой — всегда и неизменно творческой, героической, важной и нужной. А мечтатели остались мечтать. И вот уже создатели-коллективисты мчатся вперед, к подвигам, и «вроде колбасится за ними по дороге распроклятая Романтика, а может, это была просто пыль».

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ. Плакаты, заголовки газет, радиопесни, призывы с трибун — все напоминало человеку 60-х: жизнь прекрасна! А прекрасна она прежде всего потому, что будет еще прекраснее. Собственно, это понимал каждый, и никакого особого принуждения к радости не требовалось. В то время как сталинские годы постулировали: жить стало лучше, жить стало веселее, — 60-е делали упор на предстоящих радостях. И поскольку чувство предвкушения всегда сладостнее и взволнованнее чувства обладания, ощущение подъема было по-настоящему искренним. Одно дело, когда о наличии счастья рассказывают с трибуны, другое — когда его ожидание каждый воспринимает по-своему и по-своему трактует.

В 60-е смеялись все, и смеялись не над чем, а отчего. История смеха рисует довольно ясно отчетливую схему противостояния двух родственных понятий — смешного и веселого. Например, Дон Кихот и Чичиков очень смешны, но совершенно не веселы: Пантагрюэль и Остап Бендер — наоборот. Зошенко пишет смешно, а Пушкин — весело. Смешное имеет отношение к объекту, то есть к вопросу, над кем и над чем смеялся. Веселость — свойство субъекта, то есть мировоззрения, тонуса, настроения. В этом смысле 60-е были веселыми: настрой задавался общей направленностью жизни — от лжи к правде, от зла к добру.

«Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта! Как хорошо, что земля — шар!» Вот это ощущение не до конца понятного восторга, особую прелесть которому придавала именно недоговоренность, было по-настоящему искренним и новым. Это чувство господствовало в одном из самых характерных фильмов тех лет — «Я шагаю по Москве»: «Все молодые герои, населяющие картину, живут «душа нараспашку», с завидной, ничем не замутнен-

ной открытостью». И гимном неясному восторгу ожидания стала песня из фильма: «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь...»

Бодрость имела вполне реальное физическое воплощение. Даже по воскресеньям с утра будило радиосопрано: «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!» — с 60-го года эта передача стала частью жизни для всей страны. Что касается будней, то день начинался с зарядки: «Доброе утро, товарищи! Встали. Распрямите корпус... Прямее! Прямее! А теперь прогнулись. И — выпрямились. Очень хорошо. Поставьте ноги на ширину плеч. Вот так. Руки в стороны. Разводя руки, глубокий вдо-о-ох. Вы-ы-ыдох... А теперь переходите к водным процедурам. Шагом марш!» И весь Советский Союз шагал на водные процедуры, из которых главной можно считать обливание мокрым полотенцем, ваннх и душей в коммунальных квартирах явно не хватало. Как было принято говорить, в данной области существовали резервы роста.

Слово «эстетика» только что перекощевало из философских трактатов в популярные журналы, и никого не шокировал заголовок «Эстетика колхозного рынка». Красивым было все, потому что красивой была цель. Ясно, что надо создавать материально-техническую базу нового общества, но делать это нужно соответствующим образом: «Неприлично, когда из-под юбки торчат штаны, неприлично, когда женщина, одетая в юбку, взбирается на леса, и не только вполне прилично, но и необходимо надевать брюки или комбинезон женщине — строителю, крановщице, сварщице...» Никто не сомневался, что женщина должна варить сталь и месить бетон, но — изящно и эстетично.

Слово «мода» перестало быть ругательством, просто следовало различать легкую и открытую моду — требование сегодняшнего дня, и моду тяжеловесную, вычурную — приходящую с Запада или доставшуюся в наследство от прошлого. Строгие, прямые линии побеждали барочные завитушки «эпохи украшательства»; намек на усложненность рисунка или изысканность ткани немедленно связывался с мешанством, барством, скучной праздностью.

Настоящая революция произошла в цветовой гамме страны. Буквально всей страны. Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески. Граждане, одинаково, на манер Китая, наряженные в китайские же синие плащи, вдруг накрутили яркие шарфы, надели светлые пальто и вышли на пляж в пестрых ситцевых халатах. Никого не смущали безумные сочетания ярко-красного с ярко-зеленым — «рязанская гамма».

Изменился интерьер квартир: стало модно красить стены одной комнаты в разные цвета. Самые передовые отваживались на ультрамариновый потолок и алую уборную.

Яркость как философская альтернатива предыдущей мрачной эпохе отразилась на лице народа буквально — в косметике. Прежде применение косметики носило некий корпоративный характер: красились женщины из мира искусства, или зрительницы в театре, или только столичные жительницы, или, наконец, женщины легкого поведения. Так или иначе, в сознании была необходима оговорка, что косметикой пользуется или определенная группа, или обычная женщина, но по особому случаю. На низком же социальном уровне понятия «накрашенная» и «проститутка» были, несомненно, тождественными. Массовое употребление косметики стало и протестом против мешанского ханжества, и утверждением свободы личности в противовес стадному обезличиванию, и закреплением права на красоту в индивидуальном порядке.

Веселым настроением, боевым огоньком, звонким смехом откликнулись литература, музыка, театр, кино. По всей стране шли дискуссии о месте комедии в советской жизни, неизменно подводившие оптимистический итог: комедии — быть! Радио и грамзапись безудержно тиражировали развеселые песни, начисто лишённые идеологического содержания, как, впрочем, и любого другого.

Настоящий смеховой переворот произошел в кино. Консерваторы сетовали на засилье «смеха без причины» и были не правы, возможно, для веселья был незначителен повод в каждом конкретном случае, но причина несомненно присутствовала. Веселый, громкий, идеологически не нагруженный смех ярче всего иллюстрировал идею внезапной свободы. В зрелищных искусствах эта непредсказуемая раскованность именуется эксцентрикой.

Подлинными героями смехового кино были режиссеры Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. Рязановский «Человек ниоткуда» — первый эксцентрический опыт 60-х — поражает дикой эклектикой, в точности отражающей эклектику всей эпохи. Зато незамутненной чистотой идеи радовали ленты Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „БГ“», «Кавказская пленница». Стремительное мельтешение по экрану, вызывавшее приступы животного хохота, было рождено стихией освобождения. Так беспорядочно машет руками и бессмысленно смеется выпущенный из неволи человек.

Где-то в глубине души разухабистые смехачи 60-х чувствовали, что протаскивают что-то не вполне законное, вроде порнографии. Они ведь были тоже детьми серьезного поколения и подозревали, что смех — преступен, потому что разрушителен в своей основе, что там ни говори о его жизнеутверждающей силе. Даже насквозь шутовская молодежная проза знала свой предел:

«— Ребята, выьем за дружбу, — тихо сказал Зеленый и встал.

— Виват! — закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый». Но это уже касалось своего, заветного. А перед ликом мракобесов весельчаки демонстрировали тактическое мастерство полемики. Тут на выручку приходили авторитеты: задорный Пушкин, юморист Чехов, язв-

тельный Достоевский, насмешник Гоголь. Апелляция к авторитетам была оружием не новым, но действенным, и тут на помощь приходили силы покрупнее, чем классики литературы. Прежде всего выяснилось, что развеселыми людьми были основоположники. В те годы к месту и не к месту цитировались слова Маркса о комическом осмыслении жизни: «Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым». Маркс получался завзятым шестидесятником.

Марксова формула была главным заклинанием вместе со знаменитым ленинским смехом. Как, оказывается, хохотал Ленин! Содрав с вождя партийно-чиновничий глянец, 60-е окунули Ильича в большевистскую простоту и комсомольский задор. В новой трактовке Ленин без устали сыпал глупыми и скабресными шутками: «Вот вам очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа», «Нет, господа-товарищи, даму с ребенком снова невинной не сделаешь!» Ленин был просто болезненно, невпопад смешлив. Как в пьесе Шатрова:

«П е т р о в с к и й. ...Сразу же после Октября декрет об отмене смертной казни.

К о л л о н т а й. А вы помните, как отреагировал на это Ильич? Как он расхохотался... Я отлично помню его слова! "Как же можно совершить революцию без расстрелов?..."»

Благотворная роль смеха, веселья, юмора сомнений не вызывала. Жизнь всегда трагична, серьезна и смешна. В течение долгих лет крайности — трагедия и смех — приходили неполными, искаженными, фальшивыми. Оставалась одна лишь скучная серьезность. Общество, потрясенное крайней, неведомой прежде степенью трагизма (лагеря), задохнулось и рванулось к свежему глотку воздуха — настоящей, запретной прежде веселости. Смех стал синонимом правды.

Общество требовало от своего члена веселья, и член охотно откликался на императив эпохи. Человек неостроумный или хотя бы несмешной был обречен, его не упоминали в прессе, не звали в компанию, не замечали девушки. Всесоюзная вакханалия шуток обязывала буквально на все откликаться юмористически, иронически, весело. Широко распространились типы шутников: балагуры, каламбуристы, остряки-интеллектуалы, юморные ребята, ироничные супермены. Самый простой вопрос вызывал лавину острот: «Бригадир, рубать чего будешь? — Устриц в томате, — отвечает Рыбкин, — и омаров на постном масле», «Ну, как жизнь?.. — Бьет ключом, и все по голове». Даже о святом чувстве любви следовало рассказывать с претензией на остроумие: «Я почувствовал, что еще минута — и я к ней прилипну, и весь транспорт московского коммунального хозяйства меня не оттащит от нее до пяти утра».

Журналистика, строго регламентированная идеологически в содержании, взяла свое в форме: лихие зачины, эффектные концовки, прибаутки и анекдоты украшали каждую статью. Особенно развилось с легкой руки редактора «Известий» Алексея Аджубея смелое искусство заголовков и подписей под фотографиями. Тут никого не волновал ни смысл, ни соцреалистическое соответствие формы содержанию, ни простой здравый смысл: «Косинус альфа кроит пиджак», «Турбинные ювелиры», «Осетры полетят в Монреаль», «Жители этого города приготвили свой утренний завтрак на энергии расщепленного урана», «Донецкий колхозный рынок похож на цирк».

Под стать времени были и кумиры. Трудно передать ту истерическую любовь, которую испытывала вся страна к Аркадию Райкину. Само смешное звучание короткой фамилии выдающегося комика вызывало хохот. Никому не было дела ни до райкинской лирики, ни даже до райкинской сатиры, но все взахлеб повторяли райкинские словечки вроде «уже смеюсь» и «бу сделано!». Только словечки и оставались в памяти, и они-то приносили настоящую народную любовь и славу.

То же самое произошло с любимыми писателями 60-х — Ильфом и Петровым. Воскрешенные романы 30-х годов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» совершенно не воспринимались как цельное повествование с сюжетом и композицией. Произведения знаменитых юмористов «с легкостью разменивались на десятки и сотни афоризмов... они растаскивались на цитаты-блоки, цитаты-плиты, цитаты-кирпичики...». Поднаторевший в Ильфе и Петрове человек мог практически на любую тему объясниться с помощью цитат из этих книг. У цитаты был свой триумф, когда великий Шостакович написал музыку к текстам «Нарочно не придумаетшь» — рубрики «Крокодила», состоящей из смешных цитат.

Такое театрализованное общее веселье ярче всего зафиксировалось во всенародной игре КВН. «Клуб веселых и находчивых» стал повальным увлечением: состязания остряков собирали тысячные аудитории, миллионы телезрителей. Лучшие капитаны КВНовских команд были знамениты, как кинозвезды: одессит Валерий Хаит, рижанин Юрий Радзиевский. Разухабистый студенческий капутник, эксплуатирующий и производящий цитаты, стал кульминацией веселья эпохи.

Но постепенно импровизацию заменил сценарий, возникли заученные роли, заготовленные реплики — и капутник стал спектаклем. Праздник — мероприятием.

То же самое произошло со смехом в масштабе страны. На смену вдохновенному скомороху-импровизатору Хрущеву пришли тусклые, безликие вожди, которые и назывались-то не по именам, а скопом: коллективное руководство. Беззлая шутка, не находя своей главной питательной среды — положительного идеала, — прошла стадию насмешки и трансформировалась в разрушительную иронию. Цинизм — это было надежное убежище для бывшего веселого-хорошего человека.

Другим способом укрытия стала замена коллективистского идеала личным, интимным, религиозным.

Но индивидуализм, по определению, не может быть веселым. Плакать можно в одиночку,

смеяться — никак. В лучшем случае усмехаться. Наверное, главное, что осталось от бодрой веселости и залихватского хохота шестидесятников, — юмор как бесценный дар отстранения, способность ко взгляду извне на себя и на окружающий мир. Юмор как способ жизни, как философия, как мировоззрение.

Храни, о юмор, юношей веселых
В ночных круговоротах тьмы и света
Великими для славы и позора
И добрыми для суетности века.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. Представление о циклическом развитии истории вызывает досаду и приносит облегчение. Мысль о том, что все уже было, одновременно унижает и возвышает. С одной стороны, идея повторяемости лишает настоящее уникальности. С другой — цикличность напоминает о причастности к вечным основам бытия.

Даже беглый взгляд на развитие российского общества услужливо предлагает аналогии — 60-е прошлого века, 60-е века позапрошлого... «Особенно восхищало... то, что... уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово». О каких 60-х это сказано? Похоже, о любых. Из 60-х XIX столетия Добролюбов писал о 60-х XVIII, но мог иметь в виду и 60-е XX.

Либеральные реформы Екатерины воодушевляли общественность не меньше хрущевских перемен, вызывая благодарный восторг творческой интеллигенции. «И знать и мыслить позволяешь и о себе не запрещаешь и быть и небыль говорить». Та оттепель тоже шла широким фронтом, рационализируя сельское хозяйство (Вольное экономическое общество) и выдумывая жанр сатирических объявлений (журналы Новикова) за двести лет до «Рогов и копыт» из «Литературной газеты». И после оттепели также наступило безвременье, когда на десять лет в Сибирь отправился Радищев и в Шлиссельбургскую крепость — изобретатель «Рогов и копыт» Новиков.

Еще разительнее параллели соседних веков — 60-е XIX и XX. Герцен пишет о «той письменной литературе, которая развилась с необыкновенной силой... после смерти Николая I. Это первые опыты... после тридцатилетнего молчания». Здесь достаточно заменить одно имя собственное — и можно переносить свидетельство на сто лет вперед. «Современник» Некрасова — «Новый мир» Твардовского. Славянофильский «День» — русофильская «Молодая гвардия». Расцвет юмористики со «Свистком» и Козьмой Прутковым — юмор как доминанта стиля с клубом «Двенадцать стульев» и Евгением Сазоновым. В «Новом мире» господствовала эстетика Чернышевского (прекрасное есть жизнь) и основной задачей искусства в 60-е XIX и 60-е XX признавалось служение обществу, отражение и объяснение реальной жизни. Для усиления хронологической мистики с разницей ровно в сто лет появились две программные статьи: Чернышевского «Об искренности в критике» и Померанцева «Об искренности в литературе». Главным врагом искусства и там и тут объявлялись риторика и лакировка действительности. Общество обоих периодов возлагало надежды на естественные науки в применении к социальным проблемам, и сеченовские «Рефлексы головного мозга» читались как детектив, как через столетие — публикации о генетике и кибернетике. Распространение народничества и торжество деревенской прозы озаменовали следующие этапы — 70-е XIX и XX веков.

Множество ярких и массовых движений 60-х — вроде нагруженного символикой покорения космоса и Сибири, революционно-гитарной романтики, беззаветной веры в чудотворность науки — были мифами. Или, снижая жанр, заблуждениями. Но они возникли и существовали, и важно понять, кто породил их.

Мифотворчество как идеологическое самообслуживание общества. Этим общечеловеческим талантом советский человек наделен в особой степени. Первой причиной тому — специфический характер русской культуры, всегда отождествляющей себя с искусством. Культура социальная и материальная выводилась за скобки, внутри которых привольно и ущербно развивалась культура духовная. Отсутствие парламента и унитаризма никогда не унижало человека, знакомого с Достоевским и Бердяевым. Среди искусства во все времена господствовала литература. Литературоцентристская русская культура дала миру не только мастеров слова — от Пушкина до Бродского, не только учителей жизни — от Толстого до Солженицына, не только шедевры словесности — от «Героя нашего времени» до «Москвы — Петушков», но и уникального потребителя всего этого грандиозного потока слов, составляющего жизнь.

Исключительность 60-х как раз в том, что слово было произнесено вслух. Советский человек заговорил сам. Оказалось, что говорит он охотно, горячо и на разные темы. 60-е поражали многоголосьем, и нужно было молчание 70-х и новое оживление 80-х, чтобы с расстояния четверти века расслышать единую тональность в этом хоре. При явном разномбое голосов отчетливо ощущается, что все они принадлежат в конечном счете одному человеку — советскому. Этот человек выражает себя в слове, искренне и убежденно верит в слово, любит слово, ненавидит слово, для него нет ничего дороже дружеского разговора и ничего святее печатного текста. Можно исповедовать разные веры, можно восхищаться Маяковским или Фетом, изучать Киреевского или Чаадаева, зачитываться Распутиным или Битовым, но антиподы сходятся на одном и том же поле — белом поле страницы, осененной божественным законом слова.

Когда мы рассуждаем о великом противостоянии Обломова и Штольца, которые будто бы олицетворяют Восток и Запад в российской судьбе, мы часто забываем, что все-таки главное не то, что один ничего не делает, а другой делает много, главное — что оба они об этом говорят.

Говорят долго и иступленно — и только в этих жарких молитвах разным богам существуют для нас и Обломов и Штольц. Эти российские близнецы не антагонисты, а разные инструменты одного оркестра, в котором кларнет не хуже и не лучше альта и оба предназначены для услаждения слуха, а не для забивания гвоздей.

Общественное сознание, вектор которого в начале 60-х был направлен в будущее, а в конце — в прошлое, во всех случаях призвано решать проблемы сегодняшнего дня. 80-е обнаружили, что крах 60-х не прошел даром, что на острые вопросы современности некому отвечать — потому что за годы, протекшие с августа шестьдесят восьмого, опозоренное идеологическое слово превратилось в фикцию.

60-е изъяснялись словами и могли их услышать. На пороге 80-х произошел поворот к молчанию: новое поколение, да и большинство их разочарованных отцов, привыкло к другому способу существования, предпочитая потреблять культуру либо безмолвно и в одиночестве (телевизор), либо сообщая, но бессловесно (громкая музыка). От слов отвыкли — и своих и чужих.

Напрямую из культа слова вытекают те следствия, которые делают советского человека исключительным событием XX века. Прежде всего это установки на коллективизм и превосходство духовного над материальным.

Под бесконечными языковыми наслоениями затерялся изначальный смысл простых понятий, и для советского человека никогда радиоприемник не был изделием электронной промышленности, а куртка — промышленности текстильной. Все это были символы, имевшие словесное выражение с неперменной оценочной характеристикой.

По сути дела, все явления 60-х связаны с событиями — успехом или неудачей — в сфере слова. Пока Программа КПСС трактовалась как литературное произведение, она служила инструментом социальных преобразований, но с уходом поэтической атмосферы подъема проступила ее нелепая буквальность. Хемингуэевский подтекст смоделировал этикет поведения целой эпохи — но, рекомендуя, к а к жить, умалчивал з а ч е м. Коллективный юмор трансформировался в индивидуальную иронию. Не предназначенное к пониманию слово богемы вывело ее за пределы главных сражений времени и тем позволило уцелеть. Стилевые поиски Солженицына и тексты писателей-деревенщиков наметили духовное развитие общества после разгрома шестьдесят восьмого.

В 60-е годы советский человек и его образ жизни проявились наиболее полно и внятно, показав все, на что способны. Советский человек произнес множество слов, заложив идейное многообразие будущего развития.

Мифотворчество 60-х может выглядеть наивностью подростка, торопливо тасующего перспективы и идеалы. Но такие порывы, заблуждения, поиски складываются в процессе роста, и никому не дано прожить зрелость прежде юности. Потому авторы тешат себя надеждой, что их выкладки и наблюдения не окажутся бесполезны.

Нью-Йорк, 1984—1987, 1990.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

ЭПИЛОГ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

А н д р е й Б е л ы й. На рубеже двух столетий. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М. «Художественная литература». 1989. 543 стр.

А н д р е й Б е л ы й. Начало века. Подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М. «Художественная литература». 1990. 687 стр.

А н д р е й Б е л ы й. Между двух революций. Подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М. «Художественная литература». 1990. 670 стр.

«Серебряный век» русской культуры: fin de siècle минувшего и «начало века» нынешнего (вступившего уже и в свой «коонец»)! Эпоха, окутанная фиолетово-сиреневыми туманами, насыщенная горечью тубероз, ароматом терпких духов и ладана, сквозь который явственно пробивался сладковатый запах тления; в вознесшихся к небу башнях творились элевсинские мистерии, в великокняжеских дворцах и villa'х устраивались афинские ночи; в далеких скитах и монастырских кельях иноки изнуряли себя в постах и молитвах; в деревенских избах кружились хлысты в белых одеждах. Эпоха, когда купцы промывали миллионы — на женщин, в карты и на выпуск декадентских изданий, превращали свои палаццо в великолепные картинные галереи, где могучие былинны богатыри соседствовали с прозрачно-призрачными, тянущимися вверх силуэтами кисти прерафаэлитов; сквозящая «тайным светом» и умиротворяющая «смиренной красотой» природа левитановских пейзажей — с яркими пятнами панно Матисса, а нестеровские пустынножители — с томными таитянками Гогена. Эпоха, когда «чаяли воскресения мертвых» немедленно и во плоти — и эстетизировали самое смерть, превращая даже тронутое тлением тело в объект художественного любования. Эпоха, когда действительность превращалась в фантазмагорию столь же легко, как фантазмагория в действительность; когда «погибшие, но милые созданыя» представлялись воспаленному взору Незнакомками и Прекрасными Даминами, а в спутниках жизни прозревались черты «подруги вечной», земного воплощения Das Ewig-Weibliche. Эпоха, когда предметом творчества становилось не только искусство, но и сама жизнь, когда любили по «Оправданию добра» и «Смыслу любви», а философские системы создавали на материале собственного житейского романа...

26 февраля 1900 года в зале столичной городской думы многолюдная аудитория, собравшаяся на лекцию знаменитого философа, с удивле-

нием внимала странным пророчествам об «антихристе и конце всемирной истории». Внезапно раздавшийся грохот заставил многих вздрогнуть. К счастью, то не было началом пришествия врага рода человеческого: просто в публике кто-то задремал и упал со стула. Шутка удалась, и газетные фельетонисты долго смеялись. Читавший лекцию Владимир Соловьев шутки тоже очень любил, но в этот раз не развеселился, а, напротив, выступил с небольшой заметкой (оказавшейся его последним печатным словом), которая заканчивалась еще более мрачным прогнозом: «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела известно».

Так «на рубеже двух столетий», накануне календарного «начала века» — стоящий у края могилы философ уловил гул «двух революций», почувствовал, что мир, и по крайней мере Российская империя, вошел в эпилог своего исторического развития. И спустя семнадцать лет В. В. Розанов, так остроумно пошутивший на лекции Соловьева об антихристе, покидая земной мир, напишет свой «Апокалипсис нашего времени», где прозвучат его слова о «железном занавесе, опустившемся над Россией».

Автобиографическая трилогия Андрея Белого — своеобразный летописный свод всех пяти актов этой драмы, на фоне которой разворачивалась и духовная драма того поколения, к которому принадлежал Андрей Белый. «По широте охвата исторической жизни, обилию и яркости индивидуальных характеристик, — замечает во вступительной статье к трилогии А. В. Лавров, — мемуарный цикл Белого выдерживает сравнение, пожалуй, лишь с двумя аналогичными произведениями русских классиков — «Былым и думами» А. И. Герцена и «Историей моего современника» В. Г. Короленко». Действительно, Белый, нередко называвший свои мемуары «моими „Былым и дума-

ми»», мог бы использовать в качестве эталона фа с ним известную характеристику, данную Герценом собственной автобиографии: «...отражение истории в человеке, случайно попавшем на ее дороге». Подобно «Былому и думам», воспоминания Белого «не столько психологическое самораскрытие, сколько историческое самоопределение человека», а их автор «при всей остроте личного самосознания всегда ощущает себя представителем поколения, представителем исторического пласта». Хотя приведенные цитаты, заимствованные из работы известного литературоведа Л. Я. Гинзбург, являются наблюдениями над текстом «Былого и дум», они вполне адекватно определяют особенности мемуарной прозы Белого: при всем подчеркнута крайнем субъективизме художественного метода Белого главным действующим лицом описанной им драмы выступает поколение; отдельные его представители — герои уже второго ряда. А всего в этой драме участвует около трех тысяч персонажей — согласно аннотированному указателю имен, который, помимо своих прикладных функций, может служить прекрасным словарем деятелей политики, науки и культуры конца XIX — начала XX века.

Поколение Андрея Белого уже в юности предчувствовало «неслыханные перемены, невиданные мятежи», через которые всем им суждено было пройти в течение жизни. Пророчества Соловьева о конце всемирной истории воспринимались молодыми декадентами и символистами как подтверждение собственных прозрений. «...с 1896 года видел я изменение колорита будней; из серого декабрьского колорита явил мне он явно февральскую синеву... кто имеет глаза, тот уж знает: приблизилось таяние с ветрами и снегопадами, возмещающими выступление из берега растопленных вод...» Весной 1898 года юный Борис Бугаев пишет мистерию на тему: пришествие Антихриста под маской Христа. Знаменательно и образное представление переживаемой эпохи как драмы Ибсена: «...декаданс конца эпохи выметился отчетливо; то же, что переходило „рубеж“, являлось в символе „засмертного“; отсюда же символика заглавия драмы: „Когда мы, мертвые, пробуждаемся“».

Историческая действительность в литературных мемуарах преломлена личностью их автора; читатель понимает: тот луч света, что высвечивает перед ним картины давно минувшего, прошел сквозь сложную оптическую систему, отражаясь от множества искривленных зеркал, преломляясь в линзах причудливой формы и изменяя окраску в череде светофильтров. В воспоминаниях Белого мы сталкиваемся с оптикой исключительно сложной, подвергающей историческую действительность, по образному

выражению А. В. Лаврова, «безудержному эстетическому преобразению».

Все эти обстоятельства, однако, не лишают воспоминания Андрея Белого огромной исторической ценности. «Будущий историк символизма впадет в безнадежную ошибку, если вздумает пользоваться беловскими характеристиками без проверки и пересмотра, — писал В. Ф. Ходасевич в рецензии на «Начало века». — Но такую же ошибку он совершит и в том случае, если не станет с этими характеристиками считаться» (см. «Новый мир», 1990, № 3).

К счастью, читатель рецензируемого издания мемуаров Андрея Белого имеет возможность самостоятельно осуществлять проверку «беловских характеристик», обращаясь к комментариям, сопровождающим каждый том. Со стороны рецензента было бы в высшей степени нескромно давать оценку этим комментариям — для этого надо заработать научный авторитет, хоть сколько-нибудь сравнимый с авторитетом комментатора. Профессиональный филолог понимает, что составление такого комментария является итогом многолетних кропотливых трудов, архивных разысканий, сопоставления многочисленных источников и документов — словом, напряженной исследовательской работы. Реальный комментарий, выполненный А. В. Лавровым, уже своим объемом (около 350 страниц) может сравниться с серьезной монографией; по своей же научной и культурной значимости — несравненно значительнее многих из существующих. Собственно, три тома воспоминаний Белого вместе с комментарием А. В. Лаврова — лучшее из всех существующих исследований по истории русского символизма.

Приведем один лишь пример комментаторского искусства А. В. Лаврова. Так, в одной из глав третьей книги Белый в присущей ему манере сатирического гротеска излагает эпизод посещения Н. С. Гумилевым маститых декадентов — Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, при котором ему довелось присутствовать. Молодой поэт здесь выглядит достаточно комично. Отказавшись от собственных комментариев, А. В. Лавров приводит в примечаниях свидетельства участников этой встречи (письмо Гумилева Брюсову) и дает отсылки к публикациям писем З. Н. Гиппиус и Андрея Белого тому же Брюсову, отправленные непосредственно после описанного эпизода. Доступность документального материала дает возможность заинтересованному читателю рассмотреть данное событие сразу с нескольких точек зрения и максимально скорректировать неизбежные субъективные искажения и ошибки памяти мемуариста.

В то же время произведение мемуарного жанра несет на себе отпечаток того времени, в

которое оно создавалось (и издавалось). Идеологическая обстановка конца 20-х — начала 30-х годов в подробной характеристике не нуждается, а цензурная история первого издания воспоминаний Белого подробно изложена А. В. Лавровым в сопроводительном комментарии. Однако один из аспектов этой проблемы заслуживает, на наш взгляд, более пристального рассмотрения.

Насколько автор «Симфонии» и «Петербурга», кантианец и антропософ, был искренен в настойчиво заявляемой близости собственного мировоззрения «диалектическому материализму» — это обсуждалось уже многими персонажами мемуарной трилогии, позднее оказавшимися в роли ее читателей и критиков. Правда, дебатировалась в основном нравственная сторона избранной мемуаристом тактики и не подвергался сомнению самый факт идейного компромисса: попытки сблизить символизм и марксизм показались неуклюжими не только «сочувственникам» и «совоприсникам» Белого, но и представителями той идеологии, на которых эта тактика была рассчитана. Все это не снимает вопроса о том, какова действительная мера «рenegатства» Белого. Имелась ли какая-то идейная основа для подобного рода компромисса?

Большевиестские комиссары несомненно опекали вернувшегося из-за границы Белого с особым вниманием: далеко не каждый символист удостоивался к своей книге предисловия «самого» Л. Каменева!¹ Тем не менее в отечественных издательствах в то же время выходили воспоминания В. Пяста (1929), П. Перцова (1933) и другие, авторы которых обошлись в своем портрете эпохи без рискованных идеологических сближений.

Один из активных деятелей «начала века» — Ф. А. Степун, кажется, глубже других уловил единую психологическую основу мемуаров Белого. «Утверждение марксистской революционности, — писал он в собственной летописной версии эпохи, мемуарах «Бывшее и несбывшееся», — отчасти самообман, отчасти вынужденное приспособленчество; но в чисто психологическом плане последнему автопортрету Белого нельзя отказать в некоторой убедительности...»; Степун при этом называет Белого «типичным духовным революционером».

Наблюдения Степуна высветляют духовную драму поколения «детей рубежа», к которому принадлежали и Андрей Белый, и Ф. А. Степун, и действующие лица их автобиографических хроник — персонажи эпилога исторической драмы.

Одновременно с выходом трилогии Белого издательство «Современник» выпустило «Воспоминания» П. Н. Милюкова, впервые появившиеся в нью-йоркском издании в 1955 году. Как

видим, первые издания этих исторических летописей разошлись и во времени и в пространстве — как разошлись в истории России и их авторы. Поучительно прочесть эти мемуарные хроники одну за другой: в них действуют в основном одни и те же персонажи; совпадает и время и место действия: Россия рубежа XIX — начала XX века. Но возникают перед читателем абсолютно разные, не понимающие друг друга социокультурные миры.

Один из этих миров отразился в другом: устоявшаяся обстановка культурного быта либерально-позитивистских, профессорских «гнезд», в которой проходило становление автора «Воспоминаний», вызвала самое яростное, переходящее в агрессию неприятие со стороны сверстников и сподвижников Андрея Белого. Преломленный сквозь оптическую систему художественного метода Белого, этот культурный быт предстает перед читателем трилогии (и в особенности ее первой книги) и смешным и нелепым. Смешон М. М. Ковалевский — в образе дьякона некой либеральной «общины», с шапоклаком вместо Евангелия в руках, провозглашающий под хоровое пение *Gaudeamus*, перед «образами» Спенсера и Конта: «Кон-сти-ту-ция!»; заслуживает снисходительной усмешки «дарохранительница» М. Л. Лясковская — «вся насквозь «Вестник Европы» и мыслящая по Стасюлевичу»; не вызывает особых симпатий и групповой портрет в жанре гротескного шаржа «апостолов гуманности» — этих утомленных статистическими данными земских деятелей и приват-доцентов, способных разве что на бессмысленные либеральные «протесты»: составить депутацию, подписать воззвание, дружно подать в отставку...

А в другом мире: «златоунный мистагот символизма» со своей супругой — «Деметрой в пурпурной трапочке»; декадентская мадонна, Зинаида Прекрасная, в густой пудре и с боль-

¹ Одно из рванувшихся на арену культурной жизни книгоиздательство выпустило в минувшем году репринтное воспроизведение первого издания книги «Начало века» — вместе с каменевским предисловием и без каких-либо редакционных комментариев. Подобного рода издательская практика заслуживает всяческого порицания, но на сей раз вышло нехудо: читая этот образец марксистско-ленинского литературоведения — с традиционными обвинениями художников и мыслителей в «неслыханном падении к поповской рясе», с высокомерно-агрессивным отношением к творениям искусства и культуры, не укладывавшимся в рамки доктринерской эстетики, — лишний раз убеждаешься, что движения истории не остановить. Герои воспоминаний Белого, писал В. Ф. Ходасевич в цитированной выше статье, далеко опережали эпоху, «заглядывая в очень отдаленное будущее: через голову надвигающегося большевизма — уже в ту эпоху, которая сейчас еще не настала...». А когда это время придет — «тогда с большим почитанием, чем даже нам сейчас кажется, оно назовет имена многих людей, которые изображены в книге Андрея Белого».

шим черным крестом на всегда белом платье; патриарх русского декадентства в картинно-демонической позе: скрещенные на груди руки, безумие во взоре...

Там — скучный жанр прившихся передвижников; здесь — изысканная, легкомысленно-эротическая линия Обри Бердслея, переходящая в инфернально-сексуальную тьму рисунков Фелисьена Ропса. Эстетическая предпочтительность очевидна: доживи консерватор и охранитель Константин Леонтьев до «начала века» — наверняка бы сидел у Дягилева под люстрой-драконом (так испугавшей поначалу его ученика, В. В. Розанова; но ведь так быстро освоился!); и на «башне» бы появлялся, и в декадентские «Весь» свою «эстетическую критику» наверняка бы посылал!

В иронически-гротескной стилистике мемуаров Андрея Белого А. В. Лавров выделяет градацию двух основных типов: шарж разоблачительный и шарж лирико-патетический; и ведь разоблачительному шаржированию подвергаются не столько конкретные фигуры профессоров-либералов (у которых юный Боря Бугаев на коленях сидел, бородой играя, и от которых гостинцы к Рождеству и Пасхе получал), но вся традиция русского либерализма: «идеалистов сороковых годов», двигателей Великой реформы, мировых посредников, деятелей земских и судебных учреждений, проповедников конституционализма и правового порядка. Наверное, частная обстановка чьей-то профессорской квартиры отталкивала своим «мещанским бытом» взрослеющих почитателей Бодлера и Шишывевского, Метерлинка и Ибсена; но вместе с этим частным бытом отталкивался уже достаточно прочный пласт русской городской культуры, представленный «ученым сословием» и той самой «социальной прослойкой», которая, по известному выражению, совсем даже не «мозг нации, а г...». Так что «духовный революционер» Андрей Белый не столь уж кривил душой перед новой властью, убеждая ее в близости столь далеких, казалось бы, идейных течений начала XX века.

В названных «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова нарисованный Белый «социальный портрет» либеральной интеллигенции не обойден молчанием: «Профессорский круг, в который мы входили, был впоследствии изображен в комическом и злобном освещении сыном одного из профессоров... Он вырос в оппозиции к «старшим», и его талант наблюдателя дал ему возможность отметить многое, действительно смешное в этом маленьком мире... Но было бы очень жаль, если бы это тенденциозное и капризное освещение московского университетского либерального кружка конца века перешло в историю». Действующие лица «рубежа сто-

летий», вжившие в культурно и эстетически чуждую Белому социальную группу, оставили многочисленные мемуары, запечатлевшие лик эпохи с иных позиций. К сожалению, большая часть из них вышла в эмиграции, и остается только надеяться, что широкий читатель получит доступ и к воспоминаниям И. И. Петрункевича, А. А. Кизеветтера, Е. Н. Трубецкого, Д. Н. Шипова и других.

Существует немало способов погрузить людей в историческое беспамьятие. А. В. Лавров точно указал проявившуюся с начала 30-х годов (и впоследствии все крепнущую) тенденцию «поставить заслон всякому мемуарному мышлению, всякой памяти о прошлом», ибо «по вступающему в силу закону магии назвать означало вызвать к жизни то, что обречалось на забвение, что мешало созиданию новой мифологии». Поскольку мешало почти все, в те же годы были ликвидированы (впрочем, наряду со многими другими) книгоиздательства, не утерьявшие вкус к сохранению прошлого «в памятниках и документах» (издательство М. и С. Сабашниковых с их серией «Записи прошлого», «Academia»). Идеологически и фактологически очищенные курсы истории (начиная с краткого и кончая многотомными) не могли принять на себя неистребимый интерес к прошлому, в результате чего собственно историческая наука репрезентировалась для широкого читателя историческими романами и беллетризованными биографиями «замечательных людей». Основной корпус издававшихся мемуаров составляли сборники тщательно отобранных, чаще всего сокращенных воспоминаний о тех же «замечательных людях», круг которых, впрочем, был строго ограничен: Пушкин, Л. Толстой, Герцен, Чехов, Щедрин «в воспоминаниях современников» — вот, собственно, основной репертуар отечественных издательств (появление совсем недавно аналогичных сборников, посвященных Достоевскому и Блоку, воспринималось как цензурный порыв).

Будем же надеяться, что воздвигнутый мемуарному мышлению заслон опрокинут окончательно, что не утратила интереса к минувшему широкая читательская публика (коммерческий — не побоимся этого слова — успех мемуарной трилогии Белого вселяет такую надежду), что обреченное на забвение прошлое восстанет к новой жизни и никакая новая мифология уже никогда не убьет эту жизнь. Ибо, как пишет А. В. Лавров, перефразируя формулировку Гёте, «мир, постигаемый через историю индивидуальной жизни, сам обретает свою биографию, рассказ о судьбе человека становится новым словом о мире и новым пониманием мира».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

АЛЕКСАНДР ЕЛЬЧАНИНОВ. *Записки.* 6-е изд. Париж. YMCA-PRESS, 1990. 175 стр.

Размышления русского священника, включившие отрывки из дневника, письма к молодежи, беседы перед исповедью, размышления о православии и католицизме.

ДЖЕМС В. КАННИНГЕН. *С надеждой на Собор.* Русское религиозное пробуждение начала века. Перевод с английского протоиерея Георгия Сидоренко. London. Overseas Publication Interchange Ltd., 1990. 353 стр.

Основанная на тщательном изучении источников, в том числе и малоисследованных, таких, как годовые отчеты Св. Синода, собрание отзывов епархиальных архиереев по вопросу церковной реформы, протоколы Предсоборного Присутствия — попытка пересмотреть установившийся среди антицерковной интеллигенции взгляд на Русскую Церковь как служанку самодержавного государства.

МИНУВШЕЕ. *Исторический альманах*, вып. 9. Париж. ATHENEUM, 1990. 510 стр.

В альманахе помещены материалы о религиозном и философском возрождении в России в начале XX столетия, свидетельства о судьбах деятелей той эпохи в советское время. Среди публикаций — письма В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, С. Н. Булгакова к А. Г. Достоевской, письма Н. А. Бердяева к З. Н. Гиппиус и Д. В. Filosoфовой (1906 — 1908), неизданная статья Л. И. Шестова «Роковое наследие», неизданные фрагменты воспоминаний А. Белого о русских философах, в том числе о Н. А. Бердяеве, С. Н. Булгакове, Е. Н. Трубецком, письма С. А. Аскольдова к А. А. Золотареву из новгородской ссылки (1937 — 1941) и др.

АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС. *На путях к свободе.* 2-е изд. Послесловие Бориса Филиппова.

London. Overseas Publication Interchange Ltd., 1990. 473 стр.

Воспоминания писательницы и члена ЦК партии народной свободы (кадетов) о детстве в дворянской усадьбе в Новгородской губернии, об общественной жизни в России в начале XX столетия, о революции и о годах эмиграции. Воспоминания написаны в 1940 — 1943 годах во Франции. Первое издание вышло в 1952 году в Нью-Йорке в Издательстве им. Чехова.

СЕРГЕЙ ГОЛЛЕРБАХ. *Жаркие теги города.* Очерки и эссе. Предисловие Ренэ Герра Париж. «Альбатрос» 1990. 203 стр., с илл.

Записки художника о современной художественной жизни на Западе, о салонах живописи и вернисажах в Нью-Йорке, Париже, а также размышления о судьбе русского футуризма.

ВАЛЕНТИН НИКИТИН. *Сумерки смертного дня.* Избранные стихотворения Париж. YMCA-PRESS, 1990. 62 стр.

Стихотворения московского поэта и сотрудника издательского отдела Московской Патриархии, органически сочетающиеся, по словам автора предисловия Виктории Андреевой, «метафизическое беспокойство, интеллектуальную искусственность и творческую самоотверженность».

АНДРЕЙ САХАРОВ. *Горький, Москва, далее везде.* Нью-Йорк. Издательство им. Чехова 1990. 288 стр.

Воспоминания о трудных годах, проведенных в ссылке в Горьком, о возвращении в Москву в 1986 году, доведенные до I съезда народных депутатов СССР. В приложении: письма родным в США, президенту Академии наук СССР, генеральному секретарю М. С. Горбачеву. Хронологически продолжают вышедшую недавно книгу воспоминаний.

Составитель А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 04.02.91 г.

Подписано к печати 20.05.91 г.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,52 усл. кр.-отт.) 28,01 уч.-изд. л.

Тираж 953 000 экз. (1-й и 2-й заводы 1 — 668 000 экз.) Цена 2 р. 10 к.

При участии издательства «Известий Советов народных депутатов СССР» 103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5

Набрано и изготовлены диапозитивы в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано на комбинате печати издательства «Радянська Україна». 252047, Киев-47, проспект Победы, 50. Зак. 01420041.

***В 1991 году «Новый мир»
предполагает опубликовать:***

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодалный социализм (место номенклатуры в истории);
ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;
В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);
И. А. ИЛЬИН. Из философского наследия;
АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман), Рассказы;
М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Рассказы;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);
ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (эссе, перевод с французского);
П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть), Рассказы;
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва (роман);
Н. САРРОТ. Дар слова (повесть, перевод с французского);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;
И. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого;
Н. ТОЛСТОЙ. Жертвы Ялты (главы из книги);
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН. Пещера (роман, перевод с английского);
ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;
а также другие произведения.
Следите за нашими анонсами.

Цена 1 номера — 2 р. 10 к. Подписка на квартал — 6 р. 30 к., на полгода — 12 р. 60 к., на год — 25 р. 20 к. Подписка принимается без ограничений до 1-го числа предподписного месяца.